НОВЫЙ МИР

1

1969

НОВЫЙ МИР
1
1969

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLV № 1 Январь, 1969 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

Стр

ЕФИМ ДОРОШ — **Иван Федосеевич уходит на пенсию.** Деревенский дневник. 1961 3
А. ТВАРДОВСКИЙ — **Из новых стихотворений** 42
В. ЧЕРНЫШЕВ — **Волчик, Волченька,** рассказ 50
АЛЕКСЕЙ ЯРУШНИКОВ — **Поездка в Крым,** рассказ 62
В. БОРНЫЧЕВА — **День страхового агента,** очерк 73
АЛЬБЕР КАМЮ — **Жена. Немые,** рассказы 100

ЛЕНИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

ИЗ ПИСЕМ В. И. ЛЕНИНУ (1920—1921). Публикация И. Брайнина 118

ПУБЛИЦИСТИКА

ВЛ. АРХАНГЕЛЬСКИЙ — **Дунай, Дунай!..** 140

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

В. КАВЕРИН — **Собеседник.** Заметки о чтении 155

В МИРЕ НАУКИ

Академик С. Б. ВЕСЕЛОВСКИЙ — **Род и предки А. С. Пушкина в истории** 170

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Н. АТАРОВ — **Корни таланта** (О прозе Фазиля Искандера) 204
НАТАЛИЯ ИЛЬИНА — **Литература и «массовый тираж»** (О некоторых выпусках «Роман-газеты») 210

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Стр.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство 230

В. Соловьев. Недалеко от Москвы.— **Б. Рунин.** О красоте и пользе.— **Мирон Петровский.** Тринадцатый критик — **А. Берзер.** Загадки и ребусы Олеся Бенюха.— **В. Харитонов.** Серьезные чудеса.

Политика и наука 247

В. Далин. Штрихи к портрету Ильича.— **Л. Леонтьев.** Глазами вдумчивого экономиста.— **В. Шляпентох.** Теория общественного мнения.— **А. Гуревич.** Право и человеческая личность.— **В. Френкель.** Современники о Нильсе Боре.

КОРОТКО О КНИГАХ — Рыцарь революции. Воспоминания современников о Ф. Э. Дзержинском.— Проблемы познания социальных явлений.— Танзиля Зумакулова. Радуга над домами.— П. М. Керженцев. Принципы организации — В. Д. Бонч-Бруевич. Воспоминания.— Русские. Историко-этнографический атлас.— Э. Добровольская. Ярославль.— В. Л. Мальков, Д. Г. Наджафов. Америка на перепутье — Ильяс Есенберлин. Схватка.— Роберт Оппенгеймер. Летающая трапеция: три кризиса в физике.— Тайсто Сумманен. Иду по родной земле.— А. Западов. Новиков — Артур Кларк. Сокровище Большого рифа.— М. А. Ананьев. Международный туризм.— А. Аникст. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга 266

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ 277

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 286

ЕФИМ ДОРОШ

★

ИВАН ФЕДОСЕЕВИЧ УХОДИТ НА ПЕНСИЮ

Деревенский дневник. 1961

Начав этот «Дневник» в 1953 году и ведя чуть ли не каждодневные записи в течение десяти с лишним лет, пока сама жизнь не развязала тем или иным образом организующий его работу сюжет, автор не считает себя вправе выбросить из приближающегося к своему завершению труда что-либо, существенно влиявшее на жизнь родного ему Райгорода.

Автор при этом отчетливо представляет себе, что некоторые из его записей могут показаться устаревшими. Многое изменилось в деревне после решений известного мартовского Пленума ЦК КПСС 1965 года, осудившего волюнтаристское, прожектерское вмешательство в сельское хозяйство, после решений XXIII съезда партии. Установлен основанный на твердых планах принцип заготовок сельскохозяйственных продуктов и введено материальное стимулирование сверхплановой продажи зерна, повышены заготовительные цены, введена ежемесячная гарантийная оплата труда в колхозах, личное хозяйство колхозников, да и жителей маленьких городов, ограждено от разного рода стеснительных ограничений, престарелым колхозникам выплачиваются пенсии.

Все эти и многие другие меры, как сказал на октябрьском Пленуме ЦК КПСС 1968 года товарищ Л. И. Брежнев, «способствовали росту сельскохозяйственного производства, дальнейшему подъему его важнейших отраслей — полеводства и животноводства, укреплению экономики колхозов и совхозов». Вместе с тем товарищ Л. И. Брежнев предупредил, что «было бы неправильным, если бы мы подошли к оценке положения, в сельском хозяйстве односторонне, некритически, отмечали бы только успехи, не видели недостатки и не использованные еще возможности».

Говоря о недостатках и о том, что еще надлежит сделать, товарищ Л. И. Брежнев упомянул среди прочего большие потери продукции из-за слабой борьбы с сорняками, недооценку местных удобрений, бесхозяйственное использование земли, недостаточную ответственность земельных органов за положение дел в сельском хозяйстве...

Эти факты наблюдались и в то время, о котором идет речь в публикуемых здесь главах «Дневника». Другие из упоминающихся в «Дневнике» фактов, мешавших развитию сельского хозяйства, по счастью, стали достоянием истории, правда, недавней. Едва ли кто из местных руководителей отважится сегодня запрещать какую-либо культуру, как это было с овсом и клевером, или, вопреки экономической целесообразности, перекраивать составленные в колхозах посевные планы. Однако исторический опыт для того и нужен, чтобы извлекать из него пользу. Наивно думать, что вовсе перевелись люди, какие, по невежеству либо из усердия, доводят до абсурда любую разумную меру. Это — во-первых. Во-вторых же, рассказывая о так называемом волюнтаристском вмешательстве в сельское хозяйство, автор имеет в виду преимущественно нравственную сторону вопроса, так как такого рода явления всегда пагубно отражаются на сердцах и душах знающих свое дело людей.

Вот почему автор ничего не меняет в публикуемых главах.

Автор.

ЛЕТО

И опять пахнет травой — не цветами ее, а соком.

Приехал я вчера поздно вечером, и после московской духоты, по обыкновению, особенно острым и резким был запах травы. Заметно было преобладание одного цвета — зеленого, различимого и в сумеречном свете летней северной ночи. Напившись чаю, я прогуливался по

пустым улицам с едва поблескивающими черными окнами домов и не без тревоги размышлял о том, какие новости ожидают меня в Райгороде.

И вот сегодня — первая новость.

Александр Сергеевич, секретарь райкома, едва поздоровавшись, говорит: «Приятель-то ваш... на пенсию уходит!» Я не соображу, о каком приятеле речь, и Александр Сергеевич объясняет: «Да Иван». Он рассказывает, что Иван Федосеевич еще весной объявил, что хочет уйти на пенсию, отдохнуть, подлечиться, а там, возможно, он опять начнет работать. Я слушаю секретаря райкома и понимаю только одно — и в моей жизни чему-то наступает конец, под чем-то подводится черта.

Вместо Ивана Федосеевича, рассказывает Александр Сергеевич, председателем будет бригадир из Стрельцов, его уже на партийном собрании провели. Сегодня соберут общее собрание в Васильчикове, завтра — в Стрельцах... Теперь ведь колхоз велик, всех сразу не соберешь.

На пенсию по инвалидности уходит и Кирилл Федорович.

Я не успеваю спросить, что же это случилось с председателем «России», недавно еще таким деятельным и шумным, как Александр Сергеевич выкладывает главную, по его мнению, новость: овес изгоняется, травы изгоняются, Вильямс объявлен устаревшим, вводится новая структура посевов — по зонам... однако кукуруза обязательна для всех зон.

Мне странно, что я, столичный житель, об этом не слышал.

Александр Сергеевич говорит, что скоро услышу. Из Москвы к ним сюда приезжал руководящий товарищ, занимающийся сельским хозяйством. Он созвал в областном центре совещание, на котором обо всем этом и объявил. Он сказал, что травопольную систему земледелия надо заменить новой, что совершенно по-новому следует организовать животноводство — не пасти скот, а держать его в стойлах.

«Вроде и луга отменяются»,— говорит Александр Сергеевич.

Голос у него негромкий, рассказывает он с некоторым недоумением, однако же не без грустной усмешки. Он говорит, что приезжий товарищ, открывая совещание, сказал, что разговор должен быть откровенный, дружеский, имеющий целью выяснить, что нужно сделать, чтобы поднять здешнее сельское хозяйство. К сожалению, замечает Александр Сергеевич, ни дружеского, ни откровенного разговора не получилось. Едва только главный агроном области заявил, что без клеверов в наших местах не обойтись, как товарищ из Москвы тут же его и оборвал, назвал отсталым человеком. Вообще он все время перебивал — репликами, вопросами...

— Не такие уж мы дураки,— замечает Александр Сергеевич,— кое-что понимаем. Там, где мы сеем овес, берем пускай только шесть центнеров, там кукуруза вообще расти не будет. Это ведь бедные, избыточно увлажненные почвы, да и без удобрения. Кстати, кроме зерна, мы получаем еще и солому, а овсяная солома почти что как сено.

Он говорит еще, что приезжий товарищ все время рассуждал об агротехнике, как будто колхозники и те, кто ими руководит, так-таки ничего не понимают в своем деле. Конечно, агротехнические советы нужны, только пускай уж советуют специалисты, а главное все же в решении целого ряда социальных, экономических и организационных вопросов.

Недавно к нему в райком, продолжает он рассказывать, зашел инспектор по заготовкам, который только что вернулся из колхоза, где проводил собрание — обязательства принимали. Инспектор рассказал, что обязательства приняли быстро, а потом, поскольку давно не собирались, решили обсудить некоторые подзалежавшиеся дела.

Первым стоял вопрос об оплате труда агронома, зоотехника и председателя колхоза. С агрономом и зоотехником все обошлось благополучно, хотя и не без шума. Было принято решение положить им по семьдесят рублей в месяц. А вот когда зашла речь о председателе, крик поднялся страшный. Все в один голос стали говорить, пускай председатель переходит на трудодни: мы-де по гривеннику получаем, а он сто двадцать станет каждый месяц огребать — не хотим, и все!

Инспектор насилу уговорил колхозников, что председатель так работать у них не сможет. У него ведь нет времени заниматься усадьбой и коровой. Он просто уйдет от них.

Вторым вопросом обсуждали, как быть с теми колхозниками, кто без уважительных причин не выработал минимума трудодней. Зачитали список, чтобы решить, у кого причины уважительные, у кого нет.

И снова все стали кричать.

Один мужик подскочил к столу президиума, машет кулаками на председателя колхоза и приезжего инспектора: вы-де такие-сякие, ваши бабы в городе эвон какие толстые, а не работают, а наших баб заставляете. Инспектор ему отвечает, что ведь это ваша воля, вы сами должны решить, кто по уважительной причине не работал, а кто без причины... Но мужик все кричит свое.

С превеликим трудом удалось успокоить собрание. Стали разбирать, почему кто не работал. Эта, мол, болела. У той дети малые, как она от них пойдет — яслей в бригаде нет. А вон та злостная.

Наконец, третий вопрос — разбор заявлений о выходе из колхоза. Собрание готово хоть всех отпустить. Одну девушку отпустили — замуж в город выходит. Другой, тракторист, давно сбежал, устроился на работу и хотя явился по вызову председателя, однако оставаться в колхозе не хочет. И его отпустили. Когда стали разбирать последнее заявление, председатель не выдержал, начал кричать, что вы, мол, решайте, как хотите, можете отпустить его, только я печать не поставлю и подписи своей не дам, я лучше уйду из колхоза. Этого оставили.

И вот инспектор, в прошлом хозяйственник, впервые практически познакомившийся с деревней, пришел к Александру Сергеевичу, говорит, что ночь не спал... Он теперь не уверен, что колхоз выполнит обязательства, хотя приняли их сразу.

Александр Сергеевич рассказывает еще, как проводил отчетно-выборное собрание в одном из дальних колхозов и как перед собранием разговорился с женщинами-коммунистками — их там одиннадцать человек из двадцати членов партии, все солдатские вдовы. Разговор шел о новой программе. Женщины интересовались, как это произойдет, что наступит коммунизм, какой он будет? Они говорили, что до коммунизма им не дожить — каждой уж под пятьдесят, а переживаний сколько, какая работа тяжелая! И все спрашивали, что же с ними-то станет, надвигается старость, как они будут жить?

Нравится мне здешний новый секретарь райкома.

* * *

В городских автобусах, в маленьких окошках спереди, наверху, куда вставляют номер, и на грузовых машинах, на ветровом стекле,— вырезанные из журналов портреты Гагарина — сами шоферы вывесили.

* * *

Вот уже год, как я обзавелся собранием сочинений Прянишникова и с усердием прозелита рассказываю всем о его работах, трактующих проблемы сельского хозяйства нечерноземной полосы. Рассказал я о них

и Николаю Семеновичу Зябликову, хотя мог бы сообразить, что ему, старому агроному, все это известно. Николай Семенович и виду не подает, что это мое стремление просветить его насчет таких вещей, как влияние торфа на урожайность зерновых культур в Архангельской губернии, представляется ему наивным. Напротив, он охотно поддерживает разговор.

Он говорит, что в старое время, когда студентам рассказывали об удобрении торфом, пропущенным через скотный двор, то приводили примеры из практики шведского или датского земледелия. И только после революции, когда кончилась гражданская война, стало известно, что способ этот давно и с успехом применяется у нас в Архангельской губернии. Это можно объяснить тем, что среди сражавшихся с интервентами на Севере красноармейцев и командиров были агрономы, вероятно и ученики Прянишникова. Николай Семенович знавал как раз одного агронома, ярославца родом, который воевал в Архангельской губернии, видел, как там применяют торф, и, вернувшись домой, рассказывал об этом. Впрочем, бывало и так, что бывшие красноармейцы, особенно из крестьян, поступали в сельскохозяйственные институты, поскольку образование стало доступным, и от них тоже становилось известно о торфе. Так или иначе, но появилась возможность ссылаться и на своих мужичков.

Николай Семенович вспоминает, как в середине двадцатых годов он поехал в Архангельск, чтобы выяснить на месте, из каких болот там берут торф на удобрение. Когда он попросил, чтобы ему рекомендовали район, где применяют торф, архангельские товарищи сказали: ткните карандашом в карту губернии, куда попадете, туда и поезжайте. Николай Семенович так и сделал — он сошел с парохода в первой приглянувшейся ему деревне. Мужик, которого он попросил показать болото, откуда возят торф, взял лопату и повел его. Когда они шли полем, спускавшимся с холма, мужик копнул землю и спросил: что это у нас за почва? Земля была черная, но не мог же Николай Семенович ответить: «Чернозем»,— это в Архангельской-то губернии с ее сильно оподзоленными почвами! И как ни совестно ему было, признается Николай Семенович, он все-таки сказал мужику, что не берется определить, какие у них здесь почвы.

Болото оказалось сфагновым, то есть так называемым верховым, какие расположены главным образом на водоразделах и покрыты сфагновыми мхами. Торф из таких болот употребляется для удобрения, причем предварительно его подстилают скоту, поскольку он прекрасно впитывает влагу — никаких жижесборников не надо. Мужик так и объяснил Николаю Семеновичу, что скотина у них всю зиму стоит на торфе, и солому стелют, а уж этот перемешавшийся с навозом, жижей и соломой торф вывозят в поле. Все было точно так, как рассказывал воевавший в здешних местах агроном, как вообще известно из науки.

Николай Семенович поинтересовался узнать, давно ли в здешних местах удобряют землю торфом, и мужик ответил, что это еще его деду было известно, а дед от своего деда знал... Подсчитали — пожалуй, лет двести будет. Тут Николай Семенович вспомнил, как мужик спросил его дорогой, что это у них за земля. Он прикинул, сколько в течение двухсот лет было вывезено удобрений, и пришел к выводу, что крестьяне сами создали эту черную благодаря торфу почву — своеобразный чернозем.

— Кстати сказать,— объясняет мне Николай Семенович,— помимо питающих растение свойств, черные тамошние почвы имели еще и ту особенность, что они конденсировали солнечное тепло, весьма скудное в тех краях. Почвы там, следовательно, хорошо нагревались.

* * *

Михаил Васильевич, у которого я, как всегда, остановился, лежит на постели, стонет, жалуется на сердце. Он разглядывает потолок и говорит, имея в виду трещины посреди матиц: «Дерево и то ведь как по сердцу рвет!» Редкое у него чувство языка: середина — сердце.

Хлопает калитка, и Дарья Васильевна, взглянув в кухонное окошко, восклицает: «Иван Федосеевич!» Я только лишь собирался съездить к нему, а он, прослышав, должно быть, о моем приезде, не замедлил явиться. У него ведь теперь много свободного времени,— приходит мне на мысль,— и как это он станет жить без дела, даже вообразить нельзя.

Я говорю ему об этом. Он смеется: «Думаете, заскучаю? Полно!»

Он бодр, видимо, новизна положения, возможность поступить и так и этак возбуждает его, волнует. Он говорит не без удовольствия, что только что встретил председателя горсовета и тот спросил, не думает ли он пойти на какую-нибудь работу в городе. Он спрашивает вдруг Дарью Васильевну с Михаилом Васильевичем, нет ли где поблизости продажного домика? Потом он рассказывает, что, когда мать узнала о его уходе на пенсию, она была очень недовольна, однако тут же с деловитостью крестьянки,— он так и сказал: «Она ведь крестьянка, выгоду ищет»,— принялась наставлять его: «Так ты возьми машину, пока хозяин, дров на зиму припаси, на родину свози меня, а то уйдешь — не дадут».

После обеда мы отправляемся с Иваном Федосеевичем к нему в Любогостицы. Выехав из города, мы съезжаем с шоссе на проселок, который уходит все вправо и вправо. Я никогда здесь не ездил. Иван Федосеевич говорит, что это старый большак. Если всмотреться, по обеим сторонам дороги можно различить заплывшие канавы. Дорога сереется, извиваясь, посреди зеленой низменности, похожая на левитановскую Владимирку. Иван Федосеевич говорит, что вдоль канав росли березы. Некрасов мимо них ездил. Большак шел на Любогостицы и Николо-Перевоз. Однако новое шоссе, построенное году в одиннадцатом, пришлось отнести в сторону, так как николо-перевозские мужики не хотели дать под него землю.

Впереди, правее большака, работает бульдозер.

Иван Федосеевич велит остановить машину. Он объясняет, что бульдозер копает пруд и что для пруда — здесь в его голосе слышится хвастливая нотка — им самим выбрано вот это естественное понижение. Я подозреваю, что из-за пруда он и повез меня не по шоссе, а большаком.

Тракторист гоняет бульдозер вперед и назад, углубляя центр впадины, где среди сероватой глины уже стоят мутные лужицы. Иван Федосеевич говорит, что место здесь низкое, вода сама нальется, однако ждать он не станет. «Знаете,— спрашивает он меня,— откуда мы возьмем воду?» — и, довольный тем, что я не найдусь ответить, ведет меня к шоссе, неподалеку от которого чуть краснеется в траве заржавленная крышка водопроводного колодца. И хотя он ходит с палкой — клюшкой, как здесь говорят,— и позвоночник у него поврежден, он с такой стремительностью нагибается и поднимает чугунную крышку, что я не успеваю помочь ему. Он показывает трубу, и вентиль, и патрубок внутри колодца, будучи уверенным, конечно, что я этого никогда не видел, и принимается объяснять, что с помощью пожарного рукава нальет пруд. «Пускай пьют коровы!» — говорит он, и это у него звучит так, как будто он бог.

Он предлагает мне проехать в некий «угол», где, по его словам, я никогда не бывал — за Стрельцы. Земля там из-под кустарника, рас-

корчеванного машинно-мелиоративной станцией. Когда мы приезжаем туда и выходим из машины, лицо его мгновенно багровеет, он с силой опирается на свою инвалидскую клюшку с резиновым наконечником, заскользившим по твердой, но склизкой после недавнего дождика земле проселка, и мне вдруг приходит на мысль, что у него одинаковый с Грозным патрон — неистовый и темнокрылый, каким рисуют его на иконах, Иоанн Предтеча.

Засохшие, белесые глыбы сильно оподзоленной земли тянутся рядами к низкому горизонту. Машинно-мелиоративная станция взодрала землю, но не разделала, бросила, и земля окаменела. Иван Федосеевич объясняет мне это, вперемежку понося мелиораторов, затем, несколько успокоясь, невесело говорит: «Я еще и уйти не успел, а уже никому нет дела».

Я спрашиваю его: что за человек стрельцовский бригадир, которого выбрали председателем? И он говорит, что выбрали не стрельцовского бригадира — тот в последний момент отказался,— выбрали Речкина... Признаться, я и в мыслях не держал, чтобы неизменный заместитель Ивана Федосеевича, молчаливый, дородный Речкин, выглядевший, правда, весьма осанисто, однако способный лишь по указанию председателя продать колхозный товар или же достать что-либо необходимое колхозу,— чтобы этот не то агент по снабжению, не то уполномоченный по сбыту продукции занял место, которое в течение чуть ли не тридцати лет с достоинством и честью занимал Иван Федосеевич.

* * *

Ранний вечер в башне у Сергея Сергеевича в кремле. Озерный воздух входит в открытые окна. В который уже раз за те годы, что здесь живет архитектор, я любуюсь отсюда Дмитриевским монастырем на дальней косе. Монастырь освещен садящимся сзади него солнцем. Строгие полукружия классических куполов, пышные формы барочных маковиц и остроконечные шатры ложноготических беседок на башнях выглядят плоскими. Между косой и кремлем зеркально блестит залив с торчащими из воды рядами шестов, на которых сушатся сети. А из других окон видны уголки кремля, откуда уже ушло солнце, и каждая подробность здесь — алтарные абсиды церковки, бочкообразные колонки, поддерживающие кровлю перехода, оконный наличник на гладкой стене — представляется мне укрупнившейся, должно быть оттого, что я долго рассматривал далекий Дмитриевский монастырь.

Часу в одиннадцатом ночи возвращаюсь домой пустыми улицами. Ни темно и ни светло — сумерки. Чем ближе к дому, тем ощутимее запах воды с озера. Даже главная улица, где весь день нельзя дышать от коптящей солярки идущих через город тяжелых машин, наполнилась свежестью. Возле нашего дома слышно прерывистое вжиканье — сосед обкашивает канаву: вжик... вжик... Запах истекающей соком травы мешается с запахом озерной воды.

* * *

В шестом часу утра меня будят голоса. Я выхожу во двор и застаю у нас Александра Ивановича, живущего наискосок через дорогу. Большой, румяный, бритоголовый, с большими руками, исцарапанными крыжовником, Александр Иванович выглядит лет на пятьдесят, хотя давно уже на пенсии.

Утро стоит солнечное, однако небо в дымке, обещающей дождь.

Александр Иванович, размахивая руками, громко рассказывает Михаилу Васильевичу, как полезно вставать рано: и для организма, и для

работы, все равно — физической или умственной. Воздух, объясняет он, еще чистый, пыли нет, ультрафиолетовые лучи свободно проходят прямо к телу, ласкают его... При этом он берется негнущимися пальцами за майку, чуть оттягивает ее на груди, потряхивает, иллюстрируя таким образом рассказ об ультрафиолетовых лучах, стремящихся с неба к жаждущему их человеческому естеству. Взгляд его обращен вверх, в голосе звучит восхищение.

Он говорит, что встает в пять утра, выпивает граммов восемьсот крепкого сладкого чаю с круто посоленным черным хлебом и принимается работать в саду. Поработает он часов до восьми, без рубашки, и чай у него весь потом выйдет. А в восемь Катерина Иванна встанет. Он и с ней выпьет восемьсот граммов крепкого сладкого чаю с посоленным черным хлебом. И опять в сад, до двенадцати. Жидкости в организме как не бывало.

«А природа утром!» — умиляется Александр Иванович. Яблоньки, говорит он, встречают его улыбкой.

Михаил Васильевич иронически подмигивает мне — умиленность и восторженность Александра Ивановича представляются ему забавными. Возвышенное состояние духа нашего соседа он объясняет, конечно же, тем, что тот с утра выпил нечто более существенное, нежели крепкий чай.

Потому и вставали прежде в деревне в четыре часа, продолжает рассуждать о пользе раннего вставания Александр Иванович, что условия для организма прекрасные. А ложились в восемь. И работали много.

«А теперь до часу ночи гуляют», — говорит Михаил Васильевич.

«Теперь потребности другие»,— замечает Александр Иванович.

Он вспоминает, как до восьми лет, пока в школу не пошел, бегал в красной бумазейной юбке: разбежишься купаться, скинешь ее — и в воду. После эту юбку младший брат носил, потом самый меньшой... Ребятишки, если вспомнить, кто в мамкиной кофте и в тятькином картузе до бровей, кто в пиджаке тятькином — латаном-перелатаном и рукава до земли... А теперь как в деревне детей одевают — разве сравнишь!

Мы рассуждаем с Александром Ивановичем о том, что в современном крестьянине сильно развито стремление к материально оборудованной, что ли, хорошо обставленной, культурной жизни, да и сознание, что деревенский житель имеет такое же право на эту жизнь, как и городской. Но в деревне скучно, жизнь здесь все еще плохо устроена...

Михаил Васильевич поспешно и не без сарказма говорит: «А в городе кино! Танцы...»

Ради танцев, замечает он с неприязнью, и бегут в город.

Но ведь так было и прежде, говорю я, даже хуже. Не в том ли тут дело, что крестьянин жил особенными, отличными от городских интересами — землей, лошадью, коровой, которые не только отнимали все его время, все силы, но и питали его мечты, нравственные воззрения, и он, мне кажется, считал себя особенным, отличным от горожанина существом, для которого как бы и не существовали всякого рода городские затеи?..

Еще в годы моей юности крестьяне, с которыми я был знаком, из всего, чем город отличался от деревни, считали достойным внимания лишь учебные заведения, при советской власти ставшие доступными, и, что называется, сами увязая в навозе, учили детей. Удивительно ли, что дети и внуки этих крестьян считают себя равными горожанам.

Я вдруг догадываюсь, что собеседники мои не поняли меня. «Город деревней стал»,— ворчит Михаил Васильевич.

Он имеет в виду, мне кажется, не только переселившихся сюда во множестве деревенских жителей, но и то, что чуть ли не вся свободная от построек городская земля распахана,—обстоятельство, на мой взгляд, скорее положительное, однако почему-то вызывающее осуждение не одного только Михаила Васильевича, но и здешних городских властей.

К полудню устанавливается нестерпимо тяжкий зной.

Солнце выпаривает отовсюду влагу, и воздух полнится ею.

В третьем часу стало темнеть, московскую сторону закрыла туча с полыхающими в ней белыми молниями и льющимся из нее дождем, черным из-за расстояния. Тучи клубятся уже и над городом, но дождя здесь еще нет, лишь изредка падают капли, оставляя следы на крышах и земле.

Полыхает уже и за озером. Молнии как бы изнутри раскалывают тучи. По обыкновению, гроза силится перевалить через озеро, но только краем своим достигает городского берега, и над городом то брызнет слегка, то перестанет, однако темень стоит, как поздним вечером...

Изредка проясняется, даже солнце проглядывает, затем снова моросит, а вокруг все чисто — гроза ушла... В одиннадцатом часу над городом клубится мглистое небо, срываются редкие капли, сумеречно, на западе, за черными крышами домов, светится желтая полоса зари.

* * *

Виктор, старший сын Натальи Кузьминичны, работающий плотником в кремле, спросил меня сегодня, правду ли говорят, что Иван Федосеевич ушел на пенсию. Он сказал еще, что слышал, будто клевера станут распахивать, наверно Иван Федосеевич не согласен, потому и ушел.

Никуда не денешься от деревенских проблем.

* * *

Последний день июня. Жарко. Повсюду вдоль дорог мужики обкашивают канавы. Встречаются бабы с граблями и вилами. В лесах цветут гравы. Орехи обильно светлеются среди круглых листьев на лещине.

* * *

С Максимом Герасимовичем, коренным райгородским жителем, переплетчиком, давно уже вышедшим на пенсию, мы сидим у него во дворе и рассуждаем о том, что во всем городе, пожалуй, только у него одного растет эстрагон. С нами сидит и Николай Семенович. Он говорит, что не то что в городе, во всем районе нигде не найти эстрагона, да и сельдерей почти перевелся. Конечно, пустяк, но от этого все же как-то беднее становится жизнь.

Без эстрагона, соглашается Максим Герасимович, огурчик не тот. Он рассказывает, что кое-кому из любителей давал корешки, хотя жена и возражала — конкурентов боится, объясняет он с улыбкой. Однако ни у кого эстрагон не прижился, сгнил. «Растение это, изволите знать, капризное,— говорит Максим Герасимович,— оно любит хорошую садовую почву и открытое местоположение».

Я вдруг догадываюсь, что усадьба его, занимающая острый угол на скрещении двух улиц, всегда доступна солнцу и хорошо проветривается. Я вспоминаю, как он рассказывал, что и опилки валил сюда, и сухой лист — навозу взять было неоткуда! Над ним смеялись, а вышло преотлично.

Я любуюсь плоскими, будто отбитыми по линейке, чисто прополотыми грядками, на которых каждое растение рассматривается в отдельности — картошка, уже подсыпанная, листья капустной рассады, перья лука, петрушка, огурцы... Несколько грядок занято высоким кустистым эстрагоном, узкие и легкие листья которого сообщают ему пушистость.

Максим Герасимович объясняет, отчего, по его мнению, в районе перевелся эстрагон. Он говорит, что в колхозе, где две, три, а то и четыре тысячи гектаров земли, капризному этому растеньицу не мудрено пропасть. У них ведь там и зерно, и картошка, и цикорий, и лук — да все на тысячи счет! — где уж тут заниматься эстрагоном или, к примеру, репой... Вот она — репа, кажется, прост овощ, а без нее тоже нельзя.

Я поддакиваю: ребятишкам, мол, лакомиться!

«Нет,— говорит Максим Герасимович,— ребятишки теперь репу не едят, им яблоки подавай, апельсины. Репа, если штучки три кинуть,— в супе хороша: от нее своеобразный дух... А ведь почти перевелась. Лук переводится — вот что говорят! В Москве будто бы египетским торгуют».

Луку, подтверждает Николай Семенович, из года в год сажают все меньше. Он согласен с Максимом Герасимовичем, что укрупненные колхозы, быть может, хороши в степях, где трактор как начал сеять пшеницу, так его ничто не остановит. А у нас — болота, перелески, холмы, овраги... У нас поля маленькие. И занимаются исстари овощами, луком, чесноком, пряными растениями. Да еще на грядках, без механизации. И картофель с цикорием тоже почти не механизированы. Зачем было здесь укрупняться!

Николай Семенович вспоминает, что в маленьких колхозах овощей производили куда больше. Был колхоз, где чуть ли не на одной репе специализировались, выращивали семена на продажу и от этого богатели.

Максим Герасимович говорит, что никак не возьмет в толк, зачем это нужно все менять да переделывать. Он сидит между мною и Николаем Васильевичем, сухонький, я бы сказал тщедушный, поглаживает седую щеточку остриженных под машинку волос и в недоумении спрашивает, почему даже улицу, на которой он живет, третий раз называют по-новому.

Должно быть, лет шестьдесят, не считая того времени, когда он воевал, сперва на германской, а потом на гражданской, Максим Герасимович изо дня в день ходил в одну и ту же типографию и переплетал книги. Он достиг в своем ремесле такого совершенства, что всякий раз, когда я вижу, как он берет бумажный лист, я дивлюсь не только изяществу, но и непроизвольности движений его рук. Вот так же, не глядя, разговаривая о постороннем, он достанет из кучи хлама в сарае бог весть когда и откуда попавший туда деревянный брусок, примерит его к полусгнившей оконной раме, и при этом окажется, что длина в бруске достаточная и толщина подходящая.

Каждую осень, скоро уже десять лет, как я наблюдаю это, Максим Герасимович, убравшись на огороде, сваливает в дальний угол огуречные плети, и картофельную ботву, и пустые, обобранные кусты помидоров, чтобы с течением времени, когда это все перегниет, образовался компост. Потом он глубоко, но грубо перекапывает гряды, и крупные комья земли, промерзнув за зиму, становятся к весне рассыпчатыми. Он делает это, не задумываясь над тем, что ему уже за семьдесят и у него, естественно, нет уверенности, что будущей весной он снова посадит овощи.

Эта повторяемость рабочих приемов, круговорот явлений, составляющих, в сущности, жизнь Максима Герасимовича, не только выработали в нем определенные привычки и навыки, но и сформировали взгляды, нравственные представления, вследствие чего, например, когда он вдруг узнает, что овес собираются повсеместно упразднить, он прежде всего дивится легкомысленности, несерьезности такого намерения, а когда слышит хвастливое заявление о том, что мы-де вон что сделаем, снисходительно усмехается: «Нечего шуметь, сделаем, так видно будет». Найдутся, быть может, охотники отнести нашего Максима Герасимовича к числу людей косных. что же до меня, то когда я держу в руках переплетенную стариком книгу или вижу этот его возделанный на месте заболоченной луговины огород, на мысль мне приходит, что так вот и создается культура.

Сколько я знаю, со мной согласен и Николай Семенович.

Как бы в подтверждение того, что и он противник не вызванных необходимостью упразднений и нынешних шумных новаций, Николай Семенович рассказывает о своей недавней поездке в соседний с нашим район. Он бывал там и прежде, и не один раз, особенно же в трех лесных деревеньках, где еще в начале тридцатых годов мужики организовали промколхоз. Жили там очень хорошо. Предприятие, как называли колхозники свою мастерскую, работало зимой, изготовляло мебель — столы, табуретки, кухонные шкафы... Было установлено правило, согласно которому к работе в мастерской допускался лишь тот, кто исправно работал в поле, и благодаря этому в промколхозе всегда в срок и сеяли, и пололи, и убирали, потому что были заинтересованы в зимнем заработке.

Максим Герасимович замечает, что и в прежнее время в здешней деревне зимой занимались ремеслом: плели корзины, а то и дачную мебель, откармливали каплунов, делали крахмал, работали скобяной товар, отправлялись в извоз либо на какой-нибудь другой отхожий промысел.

В коренных русских губерниях, соглашается Николай Семенович, иначе нельзя было: во-первых, удобной земли мало и небогатая она, во-вторых, лето короткое, а зима долгая; летом, чтобы скорее убраться, необходимо большое количество работников, а зимой их занять нечем. Кроме того, некоторые сельскохозяйственные продукты, как и все, что можно взять в лесу — ягоды, грибы, прут, древесину, выгодно перерабатывать на месте, особенно при кооперативных формах хозяйствования.

Однако, возвращается он к своему рассказу, промколхоз, о котором идет речь, был ликвидирован. Он узнал об этом от хозяйки дома, где ночевал. Мастерскую, рассказывала она, передали совнархозу, откуда приехал директор с полной при нем канцелярией. А землю, можно сказать, бросили. Еще прошлым летом, когда стало известно, что они уже у себя не хозяева, колхозники почти перестали выходить в поле,— неубранным осталось много отличного овса, и зимой директор по дешевке продал его на корню какому-то колхозу. Нынешней весной посадили сколько-то картошки для столовой. А вся остальная земля брошена. Об этом последнем, говорит Николай Семенович, женщина рассказывала с особенной горечью. Ладно, говорила она, про ту землю, что деды наши распахивали, лес корчевали, про нее говорить не будем, это прошло, это не на нашей памяти. Забросили ведь и ту, которую мы сами из-под леса поднимали, при колхозе... Куда-то вот едем за тысячи верст, а тут бросаем. «Для чего такая пертурбация!» — недоумевает Максим Герасимович. Он обращает наше внимание на то, сколько народу стало в городе, и всё — из деревни. Здесь ему готовое подай, а там его место гуляет.

Мы принимаемся рассуждать, отчего это все происходит.

Я говорю, что Иван Федосеевич, бывший любогостицкий председатель, рассказывал мне недавно, как года два назад, осенью, заехал к нему однажды под вечер попить чаю проезжавший мимо тогдашний секретарь обкома. Секретарю, пока он ехал, повстречалась семья лосей, и он, рассказав об этом, заметил, что расплодились они чрезвычайно. Потом пошутил: без обкома и без райкома. А вот овец, сказал он уже серьезно, стало меньше, да и коров... Иван Федосеевич ответил, что если бы их оставили в покое, как лосей, то и они бы расплодились.

Максим Герасимович говорит, что мужика у нас вроде считают маленьким. Он удивляется, для чего это в городском саду столько раскрашенной фанеры: кукуруза там нарисована в виде принцессы, тимофеевка — наподобие ведьмы... Хорошо, замечает он, что колхозники туда не ходят, а то ведь совестно.

Николай Семенович говорит, что и специалисты, к сожалению, бывают столь же несерьезны. Он рассказывает, что еще до коллективизации неподалеку от тех мест, откуда он родом, существовала сложившаяся исстари следующая система земледелия: два занятых поля, пар, перелог. Самое интересное, что на перелогах там великолепно рос местный красный клевер, хотя ученые и утверждают, что в районах с большой плотностью населения человек давно уничтожил дикие клевера,— правда, тамошние мужики собирали семена и подсевали клеверок. Перелоги эти выкашивались, потом их пахали, и получались хорошие урожаи. В сущности говоря, одно поле было под травами. Но так как их не сеяли, а травосеяние всегда считалось признаком прогрессивного ведения хозяйства, то волость числилась отсталой, и это было огорчительно для начальства.

В эту закосневшую в невежестве волость послан был молодой, только что окончивший институт агроном, энергичный и знающий. Ему поставлена была единственная задача — добиться, чтобы упрямые мужички начали сеять клевер. Если он добьется этого, то сможет рассчитывать на всяческое к нему благоволение и покровительство.

Такое напутствие побудило и без того энергичного молодого человека действовать решительно. Мужики пытались объяснить ему, что им незачем сеять клевер, что у них, слава богу, он сам собой растет, но молодой человек стыдил их, уговаривал, грозил, пока не настоял на своем. Присланы были семена, стали производиться посевы, и дивный естественный клевер, смешиваясь с привозным, постепенно выродился, исчез. Между тем, говорит в заключение Николай Семенович, если бы молодой агроном спокойно огляделся, поверил мужикам, изучил бы могучие тамошние клевера, стал бы работать с ними — получился бы хороший местный сорт.

Давний этот случай, рассуждает Николай Семенович, хотя и смахивает он на анекдот, весьма характерен. Даже специалисты, не только имеющие право, но и обязанные учить, часто учат не тому, чему следует, и причина здесь не в заблуждении, пускай нежелательном, но естественном, а в угодничестве, слабой воле, быть может в равнодушии.

Разговор заходит о профессиональной совести.

Я привожу в пример главного агронома областного управления сельского хозяйства, как он выступил на совещании, созванном недавно приезжавшим сюда из Москвы руководящим товарищем, и единственный из всех сказал, что упразднение клеверов, да и вообще травосеяния в полевых севооборотах считает вредной ошибкой. Руководящий товарищ, вспылив, спросил его, кто он такой, и тот с гордостью ответил: «Агроном!» — «Плохой агроном!» — отрезал руководящий товарищ.

Николай Семенович говорит, что такие агрономы украшают корпорацию. За прямоту его, если бы он даже и ошибался, он достоин похва-

лы, продолжает Николай Семенович, однако после этого выступления ему предложили уйти на пенсию. Это дурно отзовется на всех остальных.

Я говорю, что об увольнении главного агронома уже слышал.

Максим Герасимович, несколько недоумевая, говорит, что колхозам вот запрещают сеять клевер, а в городе коров не велят держать, откуда же взяться молоку и мясу! Он признается, что ему непонятно, кому это может помешать, если хозяйка привяжет теленка у канавы. В маленьких городах, рассуждает он, где повсюду трава, и у всех ботва с огородов, надо бы еще и премию выдавать, если кто выкормит бычка или телку.

Мне почему-то вспоминается Михаил Васильевич, как он посиживает у окна, грея на животе праздные руки, никогда не державшие заступа, поглядывает через дорогу, где за забором темнеет сад, и неодобрительно говорит: «Опять Александр Иванович яблоки повез на рынок!»

В этом есть нечто, объединяющее наш сегодняшний разговор. Мещанин не только не ценит чужого труда и, как говорится, считает у соседа в кармане, он ведь еще и хвастлив, самоуверен, хотя одновременно исполнен чинопочитания; он любит всех поучать и не терпит возражений, особенно со стороны тех, кого относит к стоящим ниже его. Об этих своих мыслях я пока что не говорю собеседникам.

Я смотрю, как в лучах переместившегося солнца стала вдруг золотистой зелень на посветлевших и все же черных грядках, вдыхаю запах горячей, хорошо удобренной земли и не слушаю уже сидящих рядом друзей.

Вечером, когда я пишу эту страницу дневника, на память мне приходят древние слова о человеке, который занимается резьбой: «Сердце свое он устремляет на то, чтобы изображение было похоже».

* * *

В первом часу пополудни, раскрасневшийся от жары, является вдруг Иван Федосеевич. Он в новых, на резинках, дорогих башмаках— «генеральских», говорю я о них, и он чрезвычайно этим доволен. Он говорит, что заплатил триста рублей, то есть тридцать на новые деньги, а так ведь и за семь можно взять. «И пиджак купил,— оглядывая себя, похлопывает он по необмятому коломянковому пиджаку.— Еще и брюки куплю».

Он рассказывает, что катал дочку на пароходе по озеру, а недавно возил ее в областной город. Она там ни разу не была и по озеру не каталась. Собирается он и в дом отдыха съездить — впервые в жизни. Мне приходит на мысль, что он никогда не был так свободен в своих поступках и что в этом новом своем положении он находит много интересного.

Я жалуюсь на жару, говорю, что лето, видать, будет жаркое. «Полно!»— возражает Иван Федосеевич.

Лето, говорит он, будет сырое и прохладное, вернее сказать — июль, август. Хотя будут и жаркие дни, но больше прохладных и дождливых. А сентябрь выстоит сухой, теплый. Это ведь ясно, рассуждает он. Декабрь и январь были теплые — когда снег выпадет и растает, когда дождь. Так и июль и август. А потом морозы были. Значит — в сентябре сухо... Урожай будет. А сенокос плохой. Уборка же будет отличная.

* * *

Завтра мы едем с Николаем Семеновичем в Осокино — к Люде, которую в марте выбрали там председателем. Помнится, года полтора назад, поздней осенью, я получил от нее письмо, встревожившее меня не столько даже тем, что она, как я узнал, оставила колхоз и уехала из Го-

родища, сколько некоторой нарочитой бодростью гона. «Вы, конечно, думаете,— писала Люда,— что испугалась я трудностей. Это не так. Не хочу хвастаться, но трудное меня почему-то не пугает сейчас и никогда не пугало. Хочу даже уехать отсюда на Север. Нет, ушла я из колхоза не потому, были другие причины, личные... Вы уже, наверное, не знаете, что и подумать. Что это, мол, случилось с молодым агрономом! Ничего... Жива, здорова».

Впрочем, наигранной этой бодрости хватило ненадолго. В конце Люда сообщала, что пишет из небольшого поселка под Райгородом и что собирается домой, к маме, чтобы посоветоваться с ней, что ей делать. После этого, заметив, что «написала, наверное, не очень грамотно и хорошо», несколько растерянно и откровенно признавалась: «Просто сейчас такое состояние у меня, что ничего не могу правильно даже сообразить». Я понял, что с Людой случилась беда, но не мог догадаться, какая именно, отчасти еще и потому, что несколько раньше, в самом начале осени, она писала, что дела у нее обстоят неплохо, совсем неплохо. «Почти выкопали картофель,— сообщала Люда в том своем письме,— прибрали зерновые, а сейчас принялись поднимать лен со стлищ». О льне она добавила, что он уже начинает улеживаться и у нее нет даже и тени сомнения или боязни, что она его, как у них здесь говорят, не произведет в дело. «Я могу погордиться,— простодушно радовалась Люда,— мой народ лучше, честнее относится к колхозному добру, чем на том участке. За всю осень (верно, осень нынче была сухая) у нас тут не сгорело ни одной зернинки, несмотря на то, что складов почти нет. А ведь тот участок намного сильнее, и все-таки хлеб у них греется и немало испортилось».

Люда писала еще, что даже «нелепая история», то есть скандалы ревнивой жены председателя колхоза, на ее счастье, кажется, кончилась. Правда, с самим председателем отношения сложились очень плохие. «Это нехороший человек, хитрый,— аттестовала его Люда.— Он любит дутую славу, любит похвалиться, обвинить кого угодно, когда виноват сам. А я этого терпеть не могу». Все же она утверждала, что ни за что не уйдет отсюда, потому что и к работе привыкла, и «еще тут есть причина...».

Кончалось письмо тем, что «зима в деревне не менее красива, чем лето или другое какое-либо время года», почему Люда и приглашала приезжать. Она передавала поклоны от «тети Ани, и тети Нади, и Светы», о которых с восторгом писала, что все они — «замечательно хорошие».

А через месяц пришло это письмо из небольшого поселка под Райгородом, куда Люда, как мне вообразилось, кинулась бежать от какого-то несчастья, чтобы никто из тех, с кем она жила в счастливые свои дни и кто знал, какая свалилась на нее беда, не напоминал ей хотя бы одним только видом своим о том, что с ней случилось, чтобы перетерпеть свою боль в одиночестве, среди посторонних, ничего не знающих про нее людей.

Со двора поспешно входит Михаил Васильевич. «Дождь висит!» — сообщает он как чрезвычайную новость.

И верно, с утра было солнце, а сейчас, к девяти часам, небо обложило серыми темными тучами, клубящимися, с белесыми просветами — это все еще просвечивает солнце. Дым стелется низко. Свежеет. Тучи как бы смазываются, сливаются. Небо затягивает сплошь, ничего не клубится в нем, не светлеется, оно ровное, серое... И вдруг — полило.

Льет холодный упорный дождь.

Никуда не выйти, и я записываю, как это все было с Людой.

Прошло месяцев пять или шесть, в течение которых она не подавала о себе вестей, а я не знал, куда ей писать, как вдруг она прислала письмо, причем, что совсем уже было неожиданно, из прославленной в ту пору области, отстоящей километров на двести южнее Москвы. Как я понял, она уехала туда чуть ли не тогда же, осенью, или в начале зимы.

Люда писала, что живется ей, наверное, неплохо, так как жаловаться не на что. Она работает агрономом отделения совхоза (бывший колхоз), причем совхоз, надо сказать, не бедный. В отделении у нее тысяча сто гектаров пашни, состоит оно из одного села. Село большое, грязное, особенно сейчас, когда снег сошел, а зелень еще не распустилась — такой неприглядный вид имеет село! Ей показался странным местный говор, она не сразу научилась его понимать и простодушно ужасалась: «Боже! Как же они тут избезобразили русский язык! Что ни слово, то смех». Она писала, что впервые увидела здесь кошели, с которыми бабы ходят на базар. И точно таким же тоном сообщала, что «открыла неприглядную сторону выполнения повышенных соцобязательств по животноводству — фиктивные квитанции». Впрочем, она посчитала необходимым сейчас же заметить, что это, возможно, для всей области не типично, но не скрывала и того, что в областном городе нет ни масла, ни молока, ни колбасы...

«А сам город красивый, лично мне понравился»,— писала она далее, после чего перешла к тому, чем была занята: «Сейчас у нас весенняя посевная. Садим картофель, сеем... Пришлось столкнуться с овощами — есть здесь парники, теплица,— с ними раньше я не имела дела и сначала было трудно, но сейчас освоилась, приобрела кое-какие навыки».

Случилось так, что в начале лета, отправившись в гости к знакомому агроному, я проезжал теми местами, где жила Люда. Я ехал речной поймой, необыкновенно широкой, где уже начали косить,— как я понял, на силос, потому что отовсюду тянулись вверх, к стоявшим неподалеку от села скотным дворам, телеги со свежескошенной травой. Было часов десять утра, Люду я не надеялся застать дома, и так как силосование трав — одна из первых летних работ, то я решил поискать ее здесь. Я свернул с дороги и, когда поравнялся с силосорезками, швырявшими измельченную траву, спросил утаптывавших зеленую массу баб, не знают ли они, где их агроном. Бабы отвечали все вдруг. Одни высказали предположение, не ушла ли агрономша в декрет, однако другие возразили, что ей еще не приспело время и сейчас она скорее всего на овощах. Я подумал было, что ошибся селом или что Люда не работает уже в совхозе, на всякий случай справился у баб, как звать здешнюю агрономшу, но оказалось, что все правильно.

Свидеться с Людой мне пришлось только на обратном пути.

Я приехал в село под вечер. Собирался дождь. В комнате, где жила Люда, я застал и Свету, ее сестру, проходившую в совхозе практику, были здесь еще девушки, и мы вышли с Людой на крыльцо. Беременность сильно изменила Люду, она как-то огрузнела, лицо ее несколько припухло, волосы потемнели и будто бы даже посеклись, их словно стало меньше, они были гладко зачесаны и стянуты в маленький тугой узелок.

Я не нашелся, что сказать, молчала и Люда.

Помнится, я стал спрашивать, как прошла посевная, и Люда отвечала, однако думал я совсем о другом, и не столько даже о случившемся, сколько вообще о деревенских девушках — агрономах, фельдшерицах, учительницах, каждая из которых, едва ей исполнится девятнадцать или двадцать лет и она окончит техникум, оказывается ответственной за хлеб для сотен людей, за их здоровье, за непреложность первоначальных

истин, какие по преимуществу от нее узнают впервые семилетние мальчики и девочки, с энтузиазмом новообращенных повторяющие: «Клавдия Иванна сказала!»

Почти всегда бывает, что живут они у одиноких пожилых женщин или старух, в холодных, обветшавших без мужика избах. И пускай льет дождь и грязь такая, что ног не вытащить, они бегут в тапочках на босу ногу либо в резиновых сапогах, после которых чулки хоть выжми, километров за шесть в поле, где начали было сеять и увязили трактор, а начальство требует сломать «мокрые настроения», или в соседнюю бригаду по случаю загоревшегося там зерна, на скотный — к трудно телящейся корове.

Когда от осеннего ветра с обдутых деревьев вдоль шоссе, кажется, вот-вот начнет срываться кора, или зимой, когда от мороза синий дым стоит в воздухе, такая, в сущности, девочка в остроносых модных ботинках терпеливо дожидается попутной машины, а если не дождется, боясь опоздать на совещание, поспешает пешком, помахивая портфельчиком.

Случается, ей приказывают, если девушка наша агроном, сделать что-либо противное тому, чему ее учили уважаемые учителя, и никому не приходит в голову, что это безнравственно и жестоко — понуждать отказаться от учителей или считать истиной сегодня одно, а завтра — другое.

Если же она учительница или фельдшерица, а председатель колхоза, бывает, заматерел в повседневности, состоящей не из одних только хозяйственных забот, но и понуканий и дерганья, нелегко ей добиться у него лошади или машины, чтобы привезти дрова для школы либо медпункта. Да хотя бы и отзывчив был председатель, и внимателен, немало натерпится она, пока, всполошив среди ночи и его, и шофера, и кладовщика, чтобы заправиться, отвезет в больницу больного с приступом аппендицита.

За всем тем, едва кончится учительская конференция или совещание специалистов сельского хозяйства и в фойе Дома культуры зазвучит радиола, либо в деревне, где она живет, киномеханик после сеанса станет крутить музыку, наша девушка, подхватив подружку, пустится танцевать, раскрасневшаяся, счастливая, если у себя в деревне — так и в валенках.

Она найдется, кажется, в любых обстоятельствах, и только однажды в жизни вдруг ощутит свою слабость и неподготовленность, а рядом нет ни матери, ни старшей сестры, и так мало, оказывается, прочитано книг, да и не те они, чтобы можно было разобраться, что же это происходит с нею и что за человек этот вернувшийся домой сержант, или приехавший в колхоз механик, или встретившийся на танцах кто его знает кто!

Агроном, у которого я был в гостях, приехал со мной в совхоз, чтобы повидаться с управляющим отделением. Он предложил и мне пойти с ним. Когда мы вернулись, лил дождь, заметно стемнело, Люду я не нашел ни на крыльце, ни дома. Я решил было ехать, не попрощавшись. Однако оказалось, что Люда сидела в машине и, как мне вообразилось, плакала.

Позднее, в последние дни лета, Люда писала мне, что вот уже второй месяц пошел, как она родила девочку, что же до того времени, когда я навестил ее в совхозе, то она едва ли не путала тогда день с ночью — все было черное. Сейчас же она счастлива тем, что у нее дочь, и ей хочется лишь одного — побывать у себя в области, проехать по шоссе через все наши старинные города, так она соскучилась по родным местам.

С тех пор почти в каждом письме Люда писала, что тоскует по родным краям.

* * *

Сегодня воскресенье, на шоссе много грузовых машин, украшенных красными флажками, с празднично одетой молодежью. Сперва это все встречные машины, они идут в Райгород, потом, когда мы выезжаем за пределы нашего района, появляются обгоняющие нас, которые следуют в соседний районный центр. При встрече нас как бы накрывает слитный шум песни.

И в Осокине стоит перед конторой машина в красных флажках.

Девушки, взвизгивая и придерживая юбки, лезут в кузов.

Нам показывают дом, где живет Люда,— несколько осевший набок, черный, с тесовой крышей в зеленых пятнах. Стучимся, но никто не отзывается. Входим в сени, в избу, спрашиваем: есть ли кто? Молчание. Наконец, из передней половины слышится неспешный голос, справляющийся: кого надо? Там, поперек кровати, прислонившись к стене, сидит старуха в теплом платке и больших валенках. Она говорит, позевывая, что Люда уехала; на наш вопрос: куда? — отвечает: должно, к Надежде... в Нагорье...

Пока мы едем в Нагорье, я вспоминаю, как однажды Люда сообщила мне вдруг, что была у родителей отца своей дочки. К тому времени я уже знал от Светы и Николая Семеновича, что Люда выходила замуж, но через неделю убежала от мужа. Помнится, мне рассказывали, будто малый этот не хотел регистрировать брак, поскольку был единственным кормильцем в семье, и его, как он утверждал, поэтому не брали в армию, но коль скоро станет известно, что он женат,— обязательно заберут. Мне еще подумалось тогда, что одна только эта «предусмотрительность» молодого человека, которому едва исполнилось двадцать лет, могла бы помочь Люде разобраться в нем. Однако Люда согласилась с его доводами. Должно быть, этот предполагавшийся брак и был той самой «причиной», из-за которой ей не хотелось уходить из колхоза, о чем она писала перед своим бегством из Городища. Почему она сбежала оттуда, вернее сказать, чем оттолкнул ее муж, я так и не узнал. Впрочем, Люда писала не о бывшем своем муже и не о том, как его родители отнеслись к привезенной по их просьбе девочке.

Оказывается, она повстречала там секретаря райкома, который был в отпуску в памятные дни ее бегства из тех мест, и секретарь предложил ей вернуться в район, пойти председателем в Осокино. «Мама моя против,— признавалась Люда.— Мама говорит, что у меня и так достаточно забот, а тут я с ума сойду... Часто получалось так, что мама оказывалась права, и мне в этом важном вопросе необходимо найти правильное решение. Собственно, мне самой очень хочется стать председателем колхоза. Тихая жизнь меня не прельщает. И в то же время я боюсь — а вдруг не справлюсь! Ведь самое худшее, когда люди садятся не в свои сани».

Сколько я помню, было это в самом начале зимы, некоторое время Люда ничего не писала, затем, вскоре после Нового года, от нее пришло совсем короткое письмо, кончавшееся следующими строчками: «Еду в родные края. Думала давно и все же надумала. Работаю здесь только до февраля. Уже написан приказ о моем увольнении... Рада без памяти».

А в апреле я получил письмо, в первой же строчке которого содержалась новость: «С приветом к Вам председатель колхоза». Люда писала, что колхоз небольшой — девятьсот пятьдесят гектаров пашни. Расположен удобно, на шоссе,— впрочем, это последнее, конечно, мне известно, поскольку я проезжаю мимо, когда еду в Райгород. Беда толь-

ко в том, что колхозники не рассчитаны с января и платить нечем, потому что доходу было семьсот тысяч на старые деньги, а долгов — миллион. В свое время колхоз перешел на денежную оплату, нормы установили совхозные, а расценки в три раза меньше, но если бы хоть это регулярно выплачивали людям, то и то было бы хорошо. Конечно, сейчас колхоз плохой, но хочется верить, что он станет хорошим. «Не может того быть,— не то утверждала, не то искала поддержки Люда,— что я вкладываю все свои силы впустую».

После этого Люда ничего не писала.

Но вот и Нагорье...

Отыскиваем дом Надежды Алексеевны — «третий от лавки», как объясняла она, приглашая в гости два года назад. Дом небольшой, покрашен суриком, в белых наличниках, с розовыми и красными геранями на подоконниках. Хозяйка как раз идет с подойником — с полдней. Она вскрикивает, исчезает куда-то, появляется, оправляя на себе только что накинутое пестрое платье, говорит, что Люда пошла прогуляться, скоро придет, зовет в избу и одновременно вытряхивает золу из самовара, наливает его водой.

В избе, наставляя самовар, Надежда Алексеевна рассказывает, как трудно ей было додержать до весны корову — корм дорогой. Она прибавляет не без гордости, что из последнего выбилась, но покупала и сено и зерно. Раз в десять дней — объясняет она нам свои обстоятельства — она ездит с молочным в Москву... Иначе ведь жить не на что.

Надежда Алексеевна женщина деятельная, умная. Она звеньевая, депутат областного Совета, вообще активистка. Если бы работа в колхозе давала хоть сколько-нибудь приличный заработок, разве стала бы она биться с кормами для коровы, ездить за сто двадцать километров в Москву!

Входит Люда с ребенком. Она такая же, как прежде,— высокая, статная, с прямыми плечами и хорошо посаженной головой на худощавой шее; только волосы уже не летят назад выгоревшей на солнце светлой гривой, а небрежно собраны в большой пучок. На ней розовое, эффектно расклешенное платье — она знает, конечно, что этот цвет ей к лицу,— и я вспоминаю, как увидел ее впервые, тоже в розовом, и как она кинулась тогда на шею Николаю Семеновичу. Сейчас она поздоровалась сдержанно, не выказав ни радости, ни удивления, словно мы вчера с ней виделись, сбросила — нога об ногу — черные лакированные туфли, сказав, что жмут, неспешно прошла босиком к постели, уложила уснувшую дочку, после чего только несколько оживилась, стала спрашивать нас, откуда мы и куда...

В свою очередь и мы принимаемся расспрашивать.

Люда рассказывает, ожидая, конечно, похвалы, что очень хорошо у нее с клевером получилось — сто гектаров посеяла, на что Николай Семенович с горечью замечает, что как бы ее теперь не стали за это прорабатывать: клевер, оказывается,— крамола, его повсюду изгоняют.

«Как же это можно без клевера!— в некотором недоумении говорит Надежда Алексеевна, как мне кажется, принимая слова Николая Семеновича за шутку, не совсем ей понятную.— Без клевера у нас пропадешь».

«Правда, правда»,— убеждает ее Николай Семенович и в доказательство того, что не шутит, ссылается на передовую статью в сегодняшней газете, где говорится, что не клевер, или вообще какие-либо травы, и не овес, а кукуруза и сахарная свекла обеспечат нам кормовую базу.

Люда, покраснев, выговаривает со злостью: «Ну и пусть... Передохнут коровы, тогда поймут».

И Надежда Алексеевна, но только без зла, а озабоченно, с тревогой говорит, что без клевера, с кукурузой этой — вернее, без кукурузы, так как она не растет, окаянная,— коровы и впрямь передохнут.

Поговорив об этом, мы перестаем: что нам тут толковать.

И опять, как это часто случается в последнее время, я мучаюсь тем, отчего это дельные и спокойные мысли моих здешних друзей с некоторых пор находятся в удручающем противоречии с иными хозяйственными установлениями, какие вводятся, казалось бы, для их же благополучия.

* * *

Без четверти семь. Тихо. В сером небе, в том месте, где солнце, светится белесое пятнышко. На улице еще ни души. Роса такая, как будто дождь прошел. Пахнет прибитой пылью и вымокшей за ночь травой.

Идут три женщины, лет под сорок каждая, некрасивые — две из них коротконоги, толстоваты, без талии, а третья, напротив, длинная, плоская, с худыми ногами. На усадьбе недостроенного дома, еще не огороженной, возится в грядах женщина их же возраста, хотя и не блещущая красотой, однако приятная, полнотелая, смуглая и черноволосая, должно быть только что выскочившая из дому в одном платьишке на голом теле, не успев даже умыться. Не та ли это, ради которой хозяин дома, строивший его вместе с женой, оставил жену, разделив дом пополам? Одна из идущих мимо женщин громко и насмешливо спрашивает: «Много ли огурцов нащупала?» Другая поддерживает ее: «Чего щупаешь-то? Безо время не щупают!» Женщина на огороде отвечает, что щупают не здесь. Все трое живо отзываются на это, и разговор принимает некий другой смысл.

Мимо идущие женщины скорее всего безмужние.

* * *

Лиза Хлебникова, архитектор областной реставрационной мастерской, рассказывает, что в рядной грамоте семнадцатого века, среди условий, какие обязалась выполнять срядившаяся со здешним монастырем артель каменщиков, было и такое: «Ни за каким дурном в город не ходить».

Мы едем с Лизой из областного города в Райгород. Лиза реставрирует монастырский собор и кельи, ей хочется, как это было в старину, покрасить их цветными глинами, обнажения которых будто бы обнаружил Николай Семенович, и она едет к нему, чтобы узнать, в каком месте они находятся. Лиза рассказывает, что при постройке келий в основу взята была типовая, как мы сказали бы сегодня, «келья-двойня с сенями», количество которых определялось тем, что такие кельи должны были простираться «в длину на сорок саженей», причем каменщики обязались «сделать у того келейного дела дверей и окон сколько понадобится и где пристойно».

Я думаю о том, что это и есть мера прекрасного — «сколько понадобится и где пристойно», и что заказчик, не указав числа и места окон и дверей, тем самым с уважением отнесся к мастерству каменщиков.

Справа надвигается на дорогу нависшая над вечереющими полями аспидная ночная туча. С исподу она плоская, в поперечных волнистых полосах, а верх ее дымится. Над самой дорогой и левее ее небо светлое. Пробежавший только что впереди тучи вихрь сорвал с берез по сторонам дороги толстые кривые ветки; они лежат на сером, без теней асфальте, и на одной из них чернеется среди листьев косматое грачиное гнездо.

Навстречу с зажженными фарами, хотя еще светло, идет автобус.

Лиза говорит, что переписала для меня в монастырском архиве любопытный документ — «Ивашкино челобитье». Знаки препинания, говорит она, передавая мне сложенный вчетверо листок, она расставляла сама, по принципу «как бог по сердцу известит». Она объясняет еще, что в рукописи предлоги и союзы писаны вместе с соседними словами, например: «збратиею», «иободрался». Но это не Ивашкины ошибки. Так писали все. Сам Ивашко, наверное, был неграмотным. Челобитье его написано красивой уверенной скорописью на узкой полоске бумаги черными чернилами — говорят, разводили на квасу. На обороте документа, выражаясь современным языком, имеется резолюция архимандрита. Он написал свои несколько строк так же лихо, как писец, но без бюрократических длиннот, лаконичнее...

Интересно, рассуждает Лиза, что архимандрит, живший все же в семнадцатом веке, писал не так громоздко, как тот из его преемников, который предпринял перестройку монастыря. Этот изъяснялся на бумаге совсем тускло и суетно, хотя жил уже при Пушкине. Лиза предлагает послушать один из его рапортов. «Стены сей церкви,— медленно и несколько нараспев выговаривает она,— внутри и снаружи оштукатурены вновь и наружные покрыты колерами и по имеющимся в полуциркульных впадинах и в крыльцах фронтонах зделано на масле девять исторических живописных штук, а на фронтонах крылец обрезные на железе ангела с держащими свитками, на которых зделаны приличные надписи».

Лиза уверяет, что архимандрит именно так и писал: «в крыльцах фронтонах» и «держащими свитками». Впрочем, смеется она, как видно из рапорта, он обращался с архитектурой так же, как с русским языком.

* * *

Вот переписанное для меня Лизой «Ивашкино челобитье».

«Государю отцу архимандриту Игнатию иже о Христе з братиею бьет челом пречистые богородицы и ваш, государь, сирота служень сынишко Ивашко Фомин. По твоему, государь, властелинскому указу с прошлого со двусотого году майя с 6-го числа и по нынешней 201 год ноября по 9-е число в летнем времени и осеннем стерег я ваших домовых коней и после сторожи работал в вышеписанные числа на конюшем дворе и заскорбел, а за работишку мне, сироте вашему, на платьишко не выдано денежного жалованья ничего. От скорби встал и ободрался всем платьишком, а взять негде и кормица нечем. Милостивый государь, отец архимандрит Игнатий иже о Христе з братиею, пожалуй меня сироту своего — укажи, государь, казначею монаху Епифанию денежного жалования на платьишко мне выдать, что тебе, государю, бог по сердцу известит, и вели, государь, мне быть в монастыре и учитца часы переводить, потому что у меня обещание постритца. Государь, смилуйся».

Архимандрит написал на челобитной следующее:

«По сей челобитной казначею старцу Епифанию выдать ему за конскую сторожу и за конюшенную работу двадцать пять алтын, а чесы учился ломать, и как выучится водить, тогда и в монастыре велим жить».

Это может показаться наивным, но я дивлюсь чуду, благодаря которому воскрес и живет смышленый, однако же по-детски простодушный подросток с его мечтой заводить монастырские часы, высказанной им в ноябре 1693 года, ради чего он будто бы и «постритца» обещался, вероятно, уже заводивший их тайком, почему и пишет архимандрит — «учился ломать».

* * *

Тихо и сумеречно. На кухне у нас пахнет крепким чаем и размокшими в горячей воде ягодами клубники. Михаил Васильевич и Дарья Васильевна, не зажигая огня, сидят друг против дружки за узким столиком возле окна, по обеим сторонам умолкшего самовара, и через силу допивают чай.

Михаил Васильевич спрашивает: отчего это в Японии наводнение?

Слышно, как перед воротами останавливается машина.

Отворяется калитка, и во двор входит Андрей Владимирович, мелиоратор, как всегда по приезде несколько озабоченный, в распахнутом брезентовом плаще, с туго набитым вещевым мешком в руке — он ездит обычно со своими продуктами, отчего мы зовем его старовером, однако сейчас это его обыкновение представляется мне весьма разумным, потому что в здешних магазинах, говоря словами Михаила Васильевича, взять нечего.

Вслед за Андреем Владимировичем идут еще люди — целая комиссия.

Хозяева мои с восклицанием «батюшки!» вскакивают из-за стола, Дарья Васильевна тащит в сени самовар и гремит там ведрами, Михаил Васильевич, включив повсюду свет, ищет зачем-то кепку, которая обнаруживается у него в комнате на столе, куда он ее предпочтительно и кладет.

И вот уже Андрей Владимирович, сняв пиджак, в голубой зефировой рубашке с темнеющими на ней помочами, разрумянившийся, поблескивая исподлобья татароватыми своими глазами, рассказывает новости, схлебывая с блюдечка чай. Он сообщает, что снова создано Министерство водного хозяйства, восстанавливаются его органы в областях, уже и бывший начальник областного отдела водного хозяйства Федор Иванович Головин приезжал в Москву, будет восстановлена также должность районного мелиоратора.

А комиссия, рассказывает о своих товарищах Андрей Владимирович, приехала затем, чтобы организовать здесь опытное хозяйство, где будет поставлено комплексное изучение того, как поведут себя те или иные сельскохозяйственные культуры в условиях различных водных режимов.

Я порадовался энергии Андрея Владимировича, завидной его неутомимости, однако не мог не вспомнить, что Министерство водного хозяйства, в нашей стране, конечно, необходимое, было упразднено совсем недавно, что семь лет тому назад об эту же пору он тоже приезжал сюда с комиссией, изучавшей влияние сапропеля на урожайность и наилучшие способы его добычи, причем до сих пор так ничего и не сделано, и мне вдруг представилось, как тяжело должно быть таким людям, как Андрей Владимирович, немолодым уже специалистам, переносить все эти реорганизации и перестройки.

Красное солнце садится в иссиня-серую тучу. Сперва видны отдельные рваные пятна, они быстро соединяются, складываются в большой багровый диск, отчетливо круглящийся посреди плоской тучи.

Душный вечер, и ночь — душная...

* * *

В райкоме у Александра Сергеевича председатель приехавшей с Андреем Владимировичем комиссии, большой добродушный мужчина с шишковатой бритой головой, после разговора о том, что на рынке за бараниной очередь и цена ей три рубля, со вздохом говорит: кто бы подсказал, за какое звено ухватиться, чтобы вытащить сельское хозяйство.

Входит заведующий инструкторским отделом, среди прочего, отвечая на вопрос секретаря, докладывает, что ни один колхоз косить не начинал, но вдоль дорог, замечает он, уже косят, на что председатель комиссии понимающе и как бы сочувствуя говорит: дорожники запасаются!

Александр Сергеевич объясняет, что это не дорожники — колхозы косят. Вот уже лет пять, как полосу отвода, или отчуждения, говоря по-старому, едва поспеет трава, скашивают колхозы — наша, мол, земля.

«А у самих луга остаются невыкошенными,— вставляет свое слово Андрей Владимирович.— И чем же, позвольте узнать, кормить коров?»

Разумеется, он прав, однако дело не только в той нелепости, что колхозы, не успевая выкосить собственные луга, отнимают у рабочих шоссейных и железных дорог их сенокосные участки, оставляют принадлежащих им коров без корма, но еще и в том, что у одних это разжигает некий злой азарт, а у других вызывает чувство обиды и ожесточения.

Комиссия собирается ехать по колхозам, зовут и меня, однако я отказываюсь, сославшись на то, что условился встретиться с Иваном Федосеевичем, хотя знаю, что приятель мой держится правила «дело на безделье не меняют» и не станет обижаться, если я к нему не приеду, но такое ли уж для меня «дело» — поездка еще с одной комиссией.

И вот я сижу у Ивана Федосеевича, жалуюсь на жару, высказываю опасение, не будет ли и сегодняшний год засушливым, а он, снова напомнив, какими были декабрь и январь, утверждает, что в июле и в августе будут дожди, сенокос будет трудный, надо побольше силосовать.

Разговаривая, Иван Федосеевич собирает на стол.

Он приготовил селедку с гарниром — лук, огурец, вареная морковь, картофель — и разложил порциями по тарелкам, как в ресторане. Сварив гусиных яиц, он ставит перед каждым из нас по штуке, слегка стукнув тупым концом об стол. Затем он разливает чай в стаканы, и я не говорю ему, что чай остынет, как говорил, бывало, в первые годы нашего знакомства, потому что он как бы и не слышит этого, делает по-своему. Он оглядывает стол, лезет в буфет, достает четвертинку, наливает нам с ним по стопке, оставшееся убирает и говорит при этом, что больше пить не станем, от вина у него последнее время голова болит.

Мне странно, что в будний летний день мы сидим с Иваном Федосеевичем за чаем, разговариваем и он никуда не спешит. Я говорю ему об этом, спрашиваю, сколько же лет он проработал здесь, почему вообще снова пошел в колхоз, если после Пожарского, где у него были одни неприятности, его направили на работу в кофе-цикорный трест. «А вот так же зашел чаю попить»,— смеется Иван Федосеевич.

Он рассказывает, что однажды, когда он уже работал директором здешней цикорной сушилки,— правда, он ее тогда еще достраивал, строил дом под столовую и себе под жилье, березки вон сажал,— его встретил в городе начальник политотдела МТС, которого он до этого хорошо знал,— тот был секретарем райкома и председателем райисполкома в районах, где ему приходилось работать,— ну и зазвал чаю попить, а за чаем говорит: шел бы, мол, опять в председатели, ты же двадцатипятитысячник, в колхоз послан был с производства... Дадите паек первой категории, говорю, пойду, больно голодно живу. А он — дадим.

И вот в самый вечер новоселья, продолжает он рассказывать, когда убирали мусор со двора,— уже и вино на столе, и закуска, гости подходят,— приезжает машина секретаря райкома, черный горьковский

«газик», только что стали их выпускать... Зачем-то вызывает секретарь. Пришлось сказать гостям, чтобы начинали без него, он подъедет.

Иван Федосеевич вспоминает, как секретарь райкома, едва он к нему вошел, не то чтобы спросил, скорее выразил удовлетворение: «Так ты дал согласие председателем в Стрельцы!» — «Нет,— удивился Иван Федосеевич,— не давал». Секретарь напомнил ему разговор с начальником политотдела, на что Иван Федосеевич сказал, что верно, был такой разговор: мол, дадите первую категорию, тогда пойду, отчего бы и не пойти...

Вызван был товарищ, ведающий пайками: есть у нас свободный паек первой категории? Тот посмотрел список, говорит, что первой уже нет. «Станешь давать вторую да скажешь, чтобы добавляли чего-нибудь»,— приказал секретарь. «А платить сколько будете?» — осведомился Иван Федосеевич. Секретарь сказал, что платить будут, чтобы паек выкупить было на что, и встал: согласен? Иван Федосеевич ответил, что согласен.

На следующий день повезли его в Стрельцы на собрание. Мужики говорят: расскажи — откуда, чей? Рассказал. Подходяще, говорят. И проголосовали. Надо принимать колхоз. Бывший председатель сует печать — больше сдавать нечего, кладовщик остается прежний, пиши расписку.

Начал он, рассказывает Иван Федосеевич, с того, что объявил всем раскулаченным — а их никуда не вывезли,— ежели, мол, желаете работать, идите в колхоз. И приказал — у кого что взяли, чтобы им вернули. Недосчитались, правда, кой-чего из продуктов: муки там, солонины... А так — валенцы, шубы, сапоги или из посуды что — все вернули.

Он объясняет мне, да я и сам понимаю это сейчас, что «раскулаченные» в Стрельцах никакими кулаками не были, то есть никого не эксплуатировали, и устранение их из производственной жизни Стрельцов сразу же сказалось на общем количестве производившегося здесь картофеля и цикория, а из-за барахла, которое у них отобрали, такая завелась свара, какую и вовек бы не вывести.

Трезвый крестьянский расчет, свойственный Ивану Федосеевичу, позволил ему распутать экономический и нравственный узел, завязанный перегибщиком-уполномоченным, не понимавшим деревенских обстоятельств.

Я размышляю о том, как тесно переплелись природные, хозяйственные и моральные категории в том сложном мире, какой издавна и привычно называют деревней. Мне приходят на память давешние слова председателя комиссии о звене, которое надо найти, чтобы ухватиться и вытащить сельское хозяйство; я рассказываю об этом Ивану Федосеевичу, на что он, не задумываясь, как о само собой разумеющемся, говорит: «Платить надо колхозникам».

Я возражаю на это, что не «им», колхозникам, надо платить, а «они», колхозники, сами себе должны платить, то есть заработать эту плату, и только что ушедший на пенсию единодержавный председатель, живо взглянув на меня, соглашается, что это, пожалуй, так, затем говорит несколько покровительственно: «И вы, значит, стали в нашем деле разбираться».

Неожиданно входит Андрей Владимирович.

Оказывается, комиссия отправилась обедать в город.

Приятели принимаются вспоминать, как они осушали здешние болота, и Иван Федосеевич, воодушевившись, словно он все еще председатель колхоза, предлагает Андрею Владимировичу: переходи, брат, к нам — землю дадим, дом построишь, на что тот возражает: а есть что буду? «Господи боже мой! — говорит Иван Федосеевич.— Гляди...»

Он подводит Андрея Владимировича к окну — видишь кусочек? И объясняет: «Я что думаю сделать — поставлю парничок, тепличку, постоянно у меня свежие овощи. И ты можешь — землю ведь дадим! Будет у тебя и картошка с капустой, огурцы, лук, помидоры...» Чувствуется: приведись нужда, он так и сделает, дай ему только землю, заступ и семена.

Это и есть крестьянин — человек, не отвлеченно, а всем своим естеством чувствующий, что земля — кормилица, как это в голодные военные годы почувствовали и городские люди, когда земля, по которой они ходят, вскопанная и засаженная картошкой, стала осуществлять свою главную функцию — кормить человека.

Когда мы уезжаем от Ивана Федосеевича, он предлагает мне съездить с ним на днях в Данилов-Ям, где теперь живет тот самый секретарь райкома, который в свое время послал его на работу в деревню, и после того, как я говорю, что поеду, объясняет мне, что хочет подавать на персональную пенсию, чтобы можно было, если захочет, еще поработать, ради чего, поскольку бумаги утеряны, собирает свидетельские показания.

Дома, вспомнив давешние мысли о крестьянине и земле, решаю, что надо перечитать «Власть земли» Глеба Успенского, которую читал давно.

* * *

Воскресное утро, нежаркое и тихое. С Николаем Семеновичем и Сергеем Сергеевичем выезжаем прогуляться. Едем в сторону Павловска. Небо местами в темных тучах. Солнце то скроется, то снова проглянет. Николай Семенович, ходивший накануне на метеостанцию, говорит, что температура ожидается 19—20 градусов, временами — кратковременный дождь.

Влево от шоссе уходит сухой проселок, и мы решаем свернуть.

«Это дорога на Скнятиново»,— говорит Николай Семенович.

Впереди, у въезда в ту часть села, какая разместилась на возвышенности, белеет за оврагом высокая церковь. Овраг, рассадив крутую гору, по которой теснятся с обеих его сторон избы, все расширяясь, извилисто спускается в приозерную котловину. В глубине оврага, поблескивая на солнце, местами почти неразличимый, так как сквозь воду просвечивает темное дно, течет как бы прерывающийся ручеек.

В гору мы идем пешком, иначе, если бы мы смотрели из окна машины, этот особенный уголок земли с негромким шумом воды в овраге и сквозящей оттуда свежестью, с крутой тропинкой, желтеющей в мураве, с запахами нагретой солнцем унавоженной земли и огородных растений, доносящимися из-за тщательно заплетенных плетней, словно бы и не существовал.

Наверху не только просторно, но как бы даже светлее.

Высокая, в два этажа, церковь с серебристыми чешуйчатыми маковками и несколько тяжеловатыми пышными наличниками стоит посреди улицы, широко расступившейся, едва только она выбралась из-под горы.

Сергей Сергеевич, обратив наше внимание на некоторую чрезмерность в каменном узоре наличников, характерную для барокко, говорит, что церковь — конца семнадцатого века. Наверху, объясняет он, летний храм, а в нижнем этаже, в подклете — пещерный. Употребленное им название теплой части церкви наводит на мысль о первых христианах.

Еще не отошла обедня, и сверху доносится пение, довольно приятное. Старуха с ребенком выглядывает из окна паперти верхнего этажа — должно быть, привезла крестить и дожидается конца службы. Ло-

шадь, таская за собой полок, на который брошена охапка сена, пасется возле ограды, привязанная к ней вожжами. Невдалеке прогуливается молодая женщина в сером костюме и черных прорезных туфлях на высоком каблуке, хотя и вышагивающая независимо, всем видом своим показывая, что она здесь сама по себе, однако чем-то, мне представляется, смущенная.

Я высказываю предположение, что это мать, ожидающая, когда окрестят ребенка, но Николай Семенович, будучи завзятым спорщиком, утверждает, что женщина привезла отпеть покойника, на что я в свою очередь возражаю, что ради похорон полок застлали бы чем-либо, хоть попоной, да и на похоронах женщина не испытывала бы неловкости.

Мы принимаемся рассуждать о том, что в отношениях значительного числа граждан с церковью есть некая неестественность, словно это не один из реальных фактов современности, как бы мы к нему ни относились, а нечто, существующее вне того мира, в каком мы живем, у одних вызывающее снисходительную усмешку, у других — ощущение неудобства, у третьих — любопытство.

Вот и сейчас, поднявшись в церковь, мы почувствовали себя здесь посторонними, чужими людьми — более далекими всему происходящему, нежели магометане или буддисты, по замечанию Николая Семеновича, словно все эти женщины в платочках, подходившие к кресту, после чего они шли домой, попутно крестясь на иконы, а к иным и прикладываясь,— словно все они, в большинстве своем наши ровесницы, пожилые крестьянки, были существами с иной планеты, тогда как у них дома или в поле между нами сразу же установились бы естественность и простота.

И еще есть неловкость в том, что от нас, возможно, опасаются услышать насмешку, что со стороны мы представляемся высокомерно поглядывающими на заблуждающихся невежд; наконец, что в церковь каждый приходит с чем-то личным, иной — с горем, а нам все это как бы театр.

Неестественность в отношениях между церковью и некоторой частью общества, быть может, вызвана еще и тем, что атеизм многих наших граждан, в том числе и коммунистов, можно бы назвать стихийным, бессознательным, бытовым, подобно тому как существует стихийная, бессознательная, бытовая вера, то есть религиозность по привычке. Эти люди простодушно убеждены, будто источником и распространителем религии являются так называемые предметы культа и церковный ритуал — кресты, иконы, колокольный звон, песнопения,— в чем по существу не отличаются от богомольных старушек, искренне верящих в святость и чудодейственную силу всего этого. И если такого рода атеист занимает руководящую должность, он сочтет необходимым — только бы ему позволили — в вверенном ему районе церкви упразднить, не подозревая, что он является, в сущности, последователем г-на Дюринга, о котором, как известно, Энгельс писал, что тот «натравливает своих жандармов будущего на религию и помогает ей, таким образом, увенчать себя ореолом мученичества и тем самым продлить свое существование».

Я вспоминаю, как Алексей Петрович, бывший секретарь Райгородского райкома партии, человек трезвого образа мыслей и самостоятельный в поступках, по обстоятельствам своей жизни весьма близкий к тому, чтобы понять любую набожную вдову, находящую в религии одновременно и утешение, и единственное удовлетворение духовных потребностей, рассказал мне однажды о некоем казусе, случившемся в районе, где он был тогда секретарем.

Как-то ему стало известно, рассказывал Алексей Петрович, что священник одной сельской церкви решил завести колокольный звон, чего давно уже у них в районе не бывало, организовал сбор средств и даже купил колокол, и тогда, вызвав председателя тамошнего сельсовета, Алексей Петрович распорядился, пускай тот как знает, но только без каких-либо запрещений, а никакого звона чтобы в селе не было.

Председатель сельсовета, купив два пол-литра, зазвал попа в гости и, после того как водка была выпита, стал ему выговаривать, что-де всегда считал его человеком, а он эвон что выкинул — звон ему понадобился, на что поп, крестясь, отвечал, что у него и в мыслях ничего такого не было, и если председателю от этого неприятности, так хрен с ним, со звоном, без колоколов обходились, и велел послать еще за пол-литром.

Анекдотический этот случай, мне думается, говорит не только о своеобразной крестобоязни, имеющей распространение среди известной части районных работников, но еще и побуждает задуматься над тем, как по-житейски, что называется, в своем обиходе, поладили председатель сельсовета с попом, а это в свою очередь наводит на мысль о том, что церковь занимает еще место в жизни некоторой части народа.

Ведь все эти женщины, старые и пожилые, осиротевшие матери и рано овдовевшие жены, на какой-нибудь час или два отвлекшиеся от будничных забот и семейных дрязг, исполненные сейчас покоя и благости, мирно беседующие, по две и по три неторопливо сходя по деревянным крашеным ступеням застланной половиком лестницы,— разве они не народ!

Мне думается, если бы, не боясь оскоромиться, простодушные наши иконоборцы заглядывали иногда в церковь, особенно сельскую, они поняли бы, во-первых, что в божьем храме, где все, казалось бы, священно, торжественно, значительно больше обжитости, домашности, чем в ином сельском клубе; во-вторых, что из всех общественных зданий в округе — при множестве наличествующих здесь бытовых подробностей, связывающих церковь с деревенским домом, хозяйка которого и опрятна и рукодельница,— это если не самое большое, то самое монументальное здание, красиво и у места поставленное, хорошей архитектуры, художественно украшенное.

Вот и в этой церкви на паперти специально стоит узкий стол, за который обычно присаживаются после обедни пожевать хлебца прибредшие издалека старухи и на котором теперь лежат смятые, попахивающие младенцем простынки и одеяла, вдоль стен на полу пристроены всякого рода сумки, бидончики, аккуратно сложены плащи и жакетки, а самый храм убран вышитыми полотенцами, кружевными подзорами на одних иконах и бумажными розанами на других, лентами, свисающими с лампад...

Все это придает церкви сходство с прибранной к празднику избой — сложенная на паперти одежда и поставленные рядом сумки напоминают о забежавшей ненадолго соседке, разувшейся у порога,— и вместе с тем что-то городское, даже столичное есть в белом двухсветном зале трапезной и в соединенном с нею посредством арки собственно храме.

Там, за аркой, стены как бы покрыты сплошь многоцветным ковром, образовавшимся из яркой, слащавой, в «итальянском» вкусе росписи и темноватых икон, сквозящих киноварью и охрой сквозь старую олифу. Эта грубая живопись, слившись, на расстоянии выглядит весьма эффектно.

Несколько театрально, косыми дымчатыми столбами падает сверху, из высоких окон, солнечный свет. Сияет огнями старинное посеребренное паникадило. Поблескивает красное дерево ампирного иконостаса.

Тем временем церковь пустеет. Только в трапезной чуть сгорбленный в жесткой своей ризе старый поп совершает обряд крещения и, дожидаясь очереди, теснятся вокруг купели старухи с орущими детьми.

Вся в черном, прямая, ходит от иконы к иконе и от подсвечника к подсвечнику старостиха, крестится, гасит свечи, попутно спрашивает, не нужна ли она нам, и когда мы говорим, что нет, идет прочь.

Одна из старух говорит: «На городу-то не кстят!», объясняя этим наше здесь присутствие, и хотя такого рода любопытство, если судить по ее приветливому тону, она извиняет, быть может даже находит лестным, нам все же представляется, что нас принимают за соглядатаев, пришедших высмотреть наготу земли сей, и мы поспешно уходим.

Николай Семенович замечает, что не берется судить, как обстоит в больших городах, а у них здесь из всех так называемых христианских таинств по преимуществу соблюдается таинство крещения — мало кто считает нужным венчаться, но детей, бывает, и комсомольцы крестят.

Я рассказываю, что недавно прочитал, как еще в двенадцатом веке, то есть уже двести лет спустя после принятия Русью христианства, церкви приходилось ценить, если родители решили крестить новорожденного; один из епископов, объясняя, что «нетуть в том греха», рекомендовал попам, дабы не упустить случая, бросать службу и идти крестить.

Конечно, за восемьсот лет можно было привыкнуть, однако, считает Сергей Сергеевич, не только обычаем вызвано то, что многие до сих пор крестят ребят и отпевают покойников, часто заочно, но еще и смутным беспокойством — «а вдруг там что-то есть!», так как именно с этими обрядами связывается представление о душе и загробной жизни.

Пускай неосознанно, но человек продолжает страшиться бездны, и хотя он едва ли верит в потусторонний мир, однако не отваживается признаться, что со смертью образуется пустота, почему и держится привычных обрядов, оставляющих если не надежду, то успокоительную возможность не думать, закрыть глаза и не видеть ожидающего впереди зияния.

Я говорю, что это все тот же первобытный страх.

С религией связан еще и страх наказания, говорит Николай Семенович, вообще-то унизительный, но не упразднению ли самого понятия «грех» в какой-то мере обязаны мы существованием людей, считающих, что все позволено!

Я возражаю на это, что религиозность, как мы знаем хотя бы из старой литературы, никогда не останавливала преступника, разве что иные из них после раскаивались ради так называемого спасения души— побуждения по сути своей эгоистического, так как вызвано оно заботой о себе, о собственном душевном спокойствии здесь, на земле.

В церкви, говорю я, ищут утешения, сочувствия.

Мы соглашаемся в том, что в церковь ходят не из одной только издавна укоренившейся привычки или ради доступного каждому развлечения, но еще и потому, что немалому числу людей она и сегодня дает иллюзию счастья, о которой писал Маркс. Маркс назвал религию вздохом угнетенной твари, и хотя Октябрьская революция отменила

угнетение человека человеком, но болезнь, семейные неурядицы, одиночество, бытовое неустройство и даже обыкновенная скука тоже ведь гнетут, вызывают потребность облегченно вздохнуть, утешиться иллюзией счастья.

Я рассказываю, что спросил как-то Василия Васильевича, когда тот был у нас секретарем райкома, почему улицы в Райгороде носят названия, ничего общего с городом не имеющие, например, Гоголя, Делегатская, тогда как нет ни одной, которая называлась бы, допустим, именем местного крестьянина-краеведа, жившего в прошлом столетии, или другого здешнего крестьянина, известного в свое время петербургского огородника-селекционера, на что Василий Васильевич мне ответил, что люди, имеющие власть наименовывать улицы, не знают ни моего краеведа, ни селекционера, а те, кому они известны, таковой властью не обладают.

Мне кажется, продолжаю я развивать свою мысль, что это имеет касательство к сегодняшним нашим наблюдениям, потому что живая народная жизнь состоит из множества подробностей, зачастую противоречивых, и не может быть втиснута в схему хозяйственно-политических кампаний, какими по преимуществу успевают заниматься некоторые районные руководители.

Мне вспоминается Наталья Кузьминична, тоже ведь вдова, рано потерявшая мужа, до недавних лет, пока не выросли сыновья, жившая нелегко, все отношения с религией у которой сводятся к тому, что в праздник она зажжет лампадку перед иконой и к пасхе вымоет избу.

Быть может, говорю я, причина в ее натуре, отзывающейся на явления жизни с какой-то языческой поэтичностью, и тут же добавляю, что интересны и психологические причины религиозности.

Женщины по одной расходятся по домам.

То ли потому, что улица в этом месте села так широка и облачное небо над нею кажется низким, то ли из-за того, что человеку свойственно ощущать высоту, я чувствую под собою округлую вершину горы, на которой стоят эти крепко срубленные дома с раскинувшимися за плетнями яблонями и вишнями.

Перед домами светлеются поленницы березовых дров. Терпко и сухо пахнет коротко нарубленный, увязанный в пучки и сложенный штабелями хворост. В одном месте старик выстругивает тесину; в другом, погромыхивая, ходит по крыше с малярной кистью малый в закатанных выше щиколоток штанах... Повсюду делается какая-нибудь домашняя работа.

В голове вертятся еще дорогой вспомнившиеся, когда мы проезжали тихие села с белыми занавесками на окнах и раскиданным перед домами сеном, тургеневские слова: «О довольство, покой, избыток русской, вольной деревни!»

Выходим в поля, постепенно опускающиеся в приозерную низменность. На крутом склоне, совсем не на месте, торчит чахлая капустная рассада. Низкий и редкий горох не очень чист. И тимофеевка стоит редкая — клевер, должно быть, выпал, считает Николай Семенович.

Сколько видит глаз, нигде ни души. А видно здесь далеко.

«Довольство» и «избыток», следовательно, не с этих полей.

В Павловске, в книжном магазине, нам объясняют, как проехать к Печегодскому городку, мы пересекаем железную дорогу, некоторое время едем разбитым булыжным шоссе с желтеющей в иных его местах «матушкой-мореной», как говорит Николай Семенович, и, когда шоссе вдруг исчезает, останавливаемся посреди заросшей травой деревеньки.

Николай Семенович уверяет, что есть деревни, где трава — по пояс. Сено там косят, настолько они запустели. А в здешних местах живут неплохо — сообщение хорошее и с областным городом, и с Москвой.

Сто с лишним лет тому назад Тургенев, рассуждая о различии между орловским мужиком и мужиком калужским, изобразил обстоятельства, в каких они живут, среди прочего назвав лес, которым бывает по большей части окружена калужская деревня, причем легко догадаться, что это и был главный источник благосостояния калужского мужика.

Мне приходит на мысль, что относительное материальное благополучие современного райгородского крестьянина объясняется близостью дороги, и не столько железной, сколько автомобильной с ее рейсовыми автобусами и попутными грузовыми машинами, благодаря чему он торгует в Москве даже парным мясом, не говоря о картошке и луке.

К сожалению, этот серьезнейший фактор никак не сказывается на характере здешнего колхозного производства, которому продолжают планировать продукты, какие можно бы производить и за тысячу километров от рынка сбыта, тогда как выгоднее было бы и колхозам и государству, чтобы отсюда поступали дорогие скоропортящиеся продукты.

Николай Семенович отправляется спросить дорогу.

Полил вдруг дождик, с улицы все побежали прочь, однако Николай Семенович идет спокойно — привык в своих пеших странствиях.

Потом мы едем колеистым, пропадающим в траве проселком, мимо одичавших, давно не паханных полей с торчащими на них остроконечными метлами конского щавеля и желтыми тощими кисточками осота, среди которых стоят одинокие колосья ржи; мимо дрянных, засоренных овсов, перемежающихся кочковатыми пустошами...

Останавливаемся мы в деревне, откуда дальше не проехать.

За деревней земля полого опускается.

Мы идем пестрым от цветов склоном. Пахнет медом, еще какими-то сладкими цветами, теплыми, мокрыми травами. Николай Семенович, называя каждое растение, говорит, что это бурьяновый перелог.

Трудно предположить, чтобы хозяева этого поля, как и других встречавшихся нам в пути залежей и зарослей, сознательно выбрали столь древний способ восстановления плодородия почвы, рассчитанный чуть ли не на четверть века, но ведь если они забросили пашню просто из-за того, что не могут ее обработать или вследствие сильной истощенности, делающей невыгодной эксплуатацию, все равно в густонаселенном центре страны это представляется варварством, дикостью.

Я смотрю на простершуюся перед нами обширную низменность, середина которой занята заросшим холмом с плоской вершиной, а края мягко поднимаются вверх, и вспоминаю, как автор одной старой книги о здешних местах рассказывает, что Печегодский городок лежит в глубокой котловине, обнесенной цепью холмов, имеет вид усеченного конуса и окружен со всех сторон речкою и топкими болотами, подойти же к нему можно с северной стороны, откуда ведет извилистая тропинка.

Вот это и есть та тропинка, светлеющая в низеньком, словно только сейчас взошедшем овсе, готовом, однако, выбросить свою метелку,— сеяли его поздно, явно для сводки, но ничего и не могло вырасти на этой виднеющейся сквозь редкие растения серой, как зола, земле.

Тропинка сворачивает в сторону, пересекает понизу косогоры, на склонах которых среди мохнатых от цветения колосков и трепещущих лиловых и серебристых метелок пестро рябят цветы — желтые, синие, белые, собранные в зонтообразные пучки, унизывающие остроконечные султаны, а в посветлевшей уже ржи на иных косогорах синеют ва-

сильки и желтеет пупавка, и все это мокрое, сияющее после дождя, сладко пахнущее, и над всем этим чистая синева неба в снежных, легких, как бы смазавшихся, размытых с одного края облаках.

Потом мы идем самой низиной, заросшей высокой травой.

Дважды мы переходим по камням безымянную родниковую речку, очень прозрачную,— она впадает в Печегду, оставшуюся правее.

И снова идем серым, почти белым подзолом в тощих колосьях ржи, в хорошо раскустившихся васильках и цветущей крупными ярко-фиолетовыми цветами полевой живокости... То ли это необработанный пар, то ли сильно изреженные, засоренные озими.

Сквозь кусты ольхи, с которых каплет вода, в первобытной траве, пестреющей множеством сочных цветов, мы выходим на узкую площадку, род террасы, по словам Николая Семеновича, опоясывающей холм, поднимаемся по открытому, свободному от кустов склону и оказываемся на плоской вершине городка, по краям которой растут невысокие крепенькие дубки, а в центре возвышается коренастая раскидистая сосна.

Дух захватывает, так далеко видно отсюда.

Вокруг, до самого горизонта, темнеют леса, посреди которых, на пологих склонах холмов, то и дело меняясь в цвете, волнуются хлебные нивы, деревни стоят в хлебах, железная дорога прямой жесткой линией пересекает мягкие округлости рельефа. Вся эта всхолмленная земля возле самого городка вдруг опускается, образуя плоский цветущий луг с протекающей по нему в круглящихся кустах речкой Печегдой.

Сергей Сергеевич говорит, что славяне в противоположность финнам, преимущественно селившимся в низменности, возле озер, расселялись по высоким местам, вероятно, ради того, что они удобны для хлебопашества, и показывает на сереющие среди полей по холмам деревни.

Однако холм, на котором мы стоим, никогда не был обитаем.

Быть может, это насыпанный людьми курган — могильник.

Или мерянский сторожевой пост, какие могли существовать в этой обширной стране между двумя великими озерами, по берегам которых преимущественно и обитали коренные насельники здешних мест — меряне.

Или священный холм древних славян.

Николай Семенович говорит, что на его памяти сюда со всей округи съезжался в троицын день народ, главным образом молодежь: устраивалось гулянье со всякого рода играми, плясали, шла торговля сластями, квасом, галантереей...

В десятом часу вечера, когда я записываю все, что видел, слышал и о чем думал сегодня, еще настолько светло, что я не зажигаю огня.

* * *

Жаркий, ветреный полдень в Козьмодемьянах.

Посреди бугристой булыжной площади, над которой то и дело проносится колючая пыль, стоят двое. Мужчине лет тридцать пять, он полноват, затылок у него почти догола выстрижен, короткий чуб торчит над низким лбом. На нем длинная клетчатая распашонка, открывающая выше локтей полные загорелые руки в крупной татуировке. Широкие его брюки набегают на оранжевые, в дырочках, тупоносые туфли. А женщине, собственно — девушке, на вид нет и двадцати, она невелика ростом, круглолица, с серыми навыкат глазами и светлыми, па-

дающими на плечи волосами, в белой, сквозящей розовым блузке, в обтягивающей бедра юбчонке.

Говорят они вполголоса, причем мужчина, должно быть, позволяет себе двусмысленности, потому что девушка, стесненно улыбнувшись, робко протестует, однако он вкрадчиво и ласково возражает ей, и она опять улыбается, теперь уже от удовольствия, а он произносит нечто еще более откровенное, и она даже вскрикивает, выговаривает ему, как это он может сказать такое малознакомому человеку, но он продолжает говорить свое, и голос его звучит все так же сыто, довольно...

Мимо идет парень помоложе, говорит: «Я туда шел, ты стоял, обратно иду, ты все стоишь...» Девушка, вконец смутившись, принимается прощаться, протянув руку, спрашивает: «Так вы найдете мне работу?»

Мужчина смеется: «Я уже нашел, я же сказал».

И не выпускает руки.

Девушка, высвобождая руку, твердит: «Я серьезно, прошу вас».

* * *

Вдоль дороги тянется вал из выкорчеванных бульдозером корней, кустарника и клочьев дернины — на будущий год он зарастет всякой дрянью. За валом чернеется недавно вспаханное поле. Это свели молодой лес — поднимали целину. Вот уже в третьем районе наблюдаю я эту картину.

Между тем повсеместно встречаются брошенные, заросшие поля.

Не лучше ли, чем поднимать целину, привести их в порядок!

Да и молодой этот лес, пусть мелкий, небогатый, однако все же лес, подрос бы еще и лет через пять-шесть стал бы давать древесину.

Но всюду поднимают целину, и наша область тоже не отстает.

* * *

На всю жизнь запомнились мне прочитанные однажды у Глеба Успенского слова о тоненькой травинке, от которой полностью зависит человек — огромный мужик с бородой, с могучими руками и быстрыми ногами. Травинка может вырасти, может и пропасть, все будет так, как захочет земля, как она будет в состоянии сделать, уточняет автор.

Власть земли над человеком представлялась мне унизительной.

И я радовался тому, в чем видел освобождение от этой власти, не будучи здесь одиноким, сколько мне помнится. Я восхищался тем, например, что в бывшем Волоколамском уезде Московской губернии, где сеяли лен и сажали картофель, стали сеять, как писали газеты, «ценную продовольственную культуру пшеницу», что пшеничной становится, по выражению тех же газет, «кукурузная» Грузия, тогда как Кубань, исстари знаменитая своей пшеницей, напротив, возделывает хлопок, хлопководческий Узбекистан закладывает плантации цитрусовых, подмосковные поля засеваются чумизой, и даже арбузы растут в Кунцеве, под Москвой.

Что до арбузов, то впоследствии председатель одного подмосковного колхоза рассказывал при мне, как им посчастливилось вырастить в траншее арбуз, не так чтобы большой, но и не маленький, каковой надлежало представить на областную выставку, однако накануне кто-то его украл, и когда они всем правлением обсуждали, чем оправдаться перед начальством, старик сторож, сознававший свою вину, простодушно предложил съездить в Москву и привезти от Елисеева другой арбуз, еще лучше.

По мере того как рассеивались иллюзии относительно власти человека над землей, я все чаще вспоминал «Власть земли» Глеба Успенского, запомнившуюся мне только лишь тем, что крестьянин весь в кабале у зеленой травинки, и когда недавно, после многих наблюдений и размышлений, понял вдруг, что чем больше человек зависит от земли, тем лучше она его кормит, потому что он вынужден тщательнее обрабатывать ее, мне показалось необходимым перечитать знаменитый очерк.

Уже само начало поражает меня.

Я задумываюсь над утверждением Успенского, что точно так же, как у актера, играющего Мефистофеля или Демона, до тех пор лицо будет казаться огненным, покуда оно будет освещено огненным светом, точно так и крестьянин до тех пор будет обладать свойственными ему драгоценными качествами ума и сердца, пока он весь «проникнут и освещен теплом и светом, веющими на него от матери — сырой земли».

Успенский имеет в виду не какую-нибудь аллегорическую или отвлеченную, иносказательную землю, а ту самую, говорит он, которую «вы принесли с улицы на своих калошах в виде грязи», которая «лежит в горшках ваших цветов», то есть обыкновенную, натуральную землю.

И вот эта-то земля, в том случае, если существование человека настолько с ней связано, что он не может ослушаться ее повелений, будто бы служит ему источником физических и нравственных сил, известным образом развивает его ум, сообщая ему такие качества, какие великий знаток русской деревни назвал драгоценными.

Из моего окна мне виден дом, перед которым растут вдоль тротуара какие-то неизвестные мне, я почему-то считаю дальневосточные, кусты, по весне расцветающие крупными розовыми цветами. С хозяином дома Александром Ивановичем я знаком вот уже скоро десять лет.

Строитель по специальности, Александр Иванович, купив этот дом лет тридцать тому назад, стал возить тачками землю, чтобы несколько поднять низменный, опускающийся к озеру участок за домом, после чего насадил яблонь и слив, редкостных сортов крыжовник, смородину, даже виноград... Когда я бываю летом в саду Александра Ивановича и запах унавоженной, рыхлой, обильно политой горячей земли мешается с запахами наливающихся яблок, спеющих ягод, цветов, ботвы, а разной величины и формы чистые, промытые листья — от плоских, вырезных, как бы прозрачных листьев винограда до мелкой, выпуклой, темной с серой подбивкой листвы какой-то поздней яблоньки — трепетной массой нависают над головой и колышутся у пояса, пропуская сквозь себя солнце или отражая его, мне приходит на память древнейшее из упоминаний работы на земле: «И насадил господь бог рай в Едеме на востоке...»

Александр Иванович хотя и не живет садом, что, впрочем, не исключает продажи излишков яблок и ягод, однако в самом корне его существования, употребляя слова Успенского, лежит невозможность ослушания повелений земли, и это, я бы сказал, возвеличивает моего соседа.

Если взять его отдельно от земли, особенно после того, как он ушел на пенсию, то на чье-либо скорое суждение он и сквернослов, и даже спекулянт, как назвал его однажды фельетонист районной газеты. Я же вижу этого рослого, с бритой сократовской головой шестидесяти с лишним лет мужика красным от первого весеннего загара; вижу его большие руки с толстыми, слегка растопыренными пальцами в глубоких, присохших царапинах от шипов крыжовника; вижу следы химикатов на его облегающих ляжки и икры брюках, на заскорузлых башмаках.

Лицо его, когда он показывает сад, выражает состояние высшего удовлетворения. Земля не позволяет Александру Ивановичу работать плохо, иначе она зарастет сорной травой и червь источит дерево, приносящее плоды, поэтому называть спекуляцией продажу собранных им со своего сада яблок и ягод я считаю безнравственным. И когда он, рассказывая что-либо, по-детски просто, с естественностью, свойственной человеку, знающему, чем удобряют землю и отчего завязывается плод, употребляет в разговоре первозданные, точные слова, то только ханжа может посчитать это сквернословием.

Я всегда с удовольствием слушаю Александра Ивановича.

Тридцать с лишним лет тому назад в степном украинском селе, куда, учась живописи, я приехал на этюды, посиживая в жаркие послеобеденные часы в стоявшей под горой у въезда в село прохладной пивной, где останавливались ехавшие с базара мужики, я впервые понял, как интересно слушать крестьянские разговоры, и не только из-за естественности и одновременно метафоричности самой речи, но еще и оттого, что содержание ее материально, изобилует многими подробностями, причем — и в этом вся суть — сводится к вечному, коренному кругу вещей и явлений: земля, растения и животные, стихийные силы природы...

Мне припоминаются здешние мои знакомые, та же Сонька и ее мать Лизавета, как они, каждая прибавляя что-нибудь свое, рассказывают о каком-то на диво удавшемся поросенке, который так себя оправдал, ну так оправдал: ведь и продали сколько, и сами ели, и сбоем всех соседей одели; или Наталья Кузьминична, из памяти которой много лет нейдет какой-то баснословный год, когда на диво в здешних местах уродились помидоры, и потолоку всю она завалила ими, и на печи доспевали...

Подобные истории равнозначительны древнему рассказу о том, как сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый и сказал брату: «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал»; и дал Иаков ему хлеба и кушанья из чечевицы, и Исав ел и пил, и встал и пошел.

Я не знаю, потому ли рассказы моих деревенских друзей представляются мне исполненными поэзии и величия, что они похожи на библейские истории, или же, напротив, обстоятельства крестьянской жизни, изображенные в этих историях, сообщают им величие и поэтичность.

Пожалуй, последнее вернее, и когда мне случается читать, как господь обонял приятное благоухание, исходившее от сжигаемых на жертвеннике мяса и пшеничной муки, я вижу пашущего землю и пасущего стадо мужика, по образу и подобию своему сотворившего бога, как и мужик, радующегося запаху горячего бараньего жира и свежеиспеченной лепешки.

Я снова принимаюсь за Успенского, и мне вспоминается вдруг летнее утро в Ужболе, громко переговаривающиеся женщины на улице и скачущий стоя в телеге тщедушный, однако начальнически важный мужичонка в армейской фуражке и грубошерстном форменном кителе какого-то ведомства.

Я знал его по прежним моим приездам, на моей памяти он был бригадиром, заведовал клубом, потом вроде болел, когда-то, говорят, даже в председателях ходил, и вот, как объяснили мне стоявшие под окном женщины, исполняет специально учрежденную Ромкой Глебушкиным, новым председателем, должность ужбольского брандмейстера, хотя в команде всего двое штатных пожарных, всегда обходившихся без начальника.

В течение того времени, что я прожил тогда в Ужболе, я наблюдал, как он то и дело ходит из пожарки в контору и обратно, проедет куда-

нибудь в телеге или в кузове попутной машины, обязательно стоя, всегда озабоченный, строгий, а село меж тем косит, и жнет, и обирает ягоды, горошек, двое же пожарных, как это всегда было, сменяясь, днем подремывают в холодке под навесом, а ночью отбивают часы.

Когда стали поспевать ягоды и у баб появились деньги, энергическая деятельность брандмейстера внезапно прекратилась, точнее сказать, он перенес ее в сельскую лавку, где в компании с Пугачом и Свайкиным, давно уже отошедшими от каких-либо иных занятий, под карамель, а то и «мануфактуру», как говорится, помогал продавщице выполнить план.

Свайкин и Пугач — совсем отбившиеся от земли мужики, хотя последний все же кормился ею, собирая ягоды с дичающего, когда-то отличного сада. В то лето они жили вместе, в избе Пугача, жена которого ушла от него к сыну, тогда как Свайкин, напротив, сам ушел от жены.

Мне запомнился случай, связанный с этим обстоятельством.

Однажды перед домом, где поселилась жена Свайкина, потому что собственный их дом Свайкин намеревался продать, я увидел в устроенном на некотором расстоянии палисаднике выдернутые, валяющиеся на сухой земле огуречные плети с обвислыми, увядшими листьями и цветами.

Случившаяся здесь тетка Лизавета рассказала мне, что хозяева этого дома переехали в город, оставив брата, восемнадцатилетнего паренька, у которого, чтобы обихаживать его, и поселилась жена Свайкина. Весной, когда пришло время копать усадьбу, оказалось, что у нее имеются семена помидоров, а у него — огуречные, и они решили, не тратя денег, обойтись этими семенами, а огурцы и помидоры делить пополам. Но в скором времени паренек куда-то завербовался и уехал.

Поспели первые огурцы, жена Свайкина, разделив их поровну, собралась было в город, к сестре паренька, но здесь явился сам Свайкин, рассудил, что земля «уличная», иначе сказать государственная, значит, никому ничего за нее не следует, забрал огурцы и удалился.

Хозяйка дома, приехавшая за своей долей, не захотела дожидаться, пока наспеют новые огурцы, разозлилась и выдрала все плети, распорядившись таким образом и своей долей.

Я вспоминаю, как в подмосковной деревне, обитатели которой в большинстве своем работали где-то на стороне, шел я однажды задами, между тянувшимися вдоль дороги изгородями и высокой, созревающей пшеницей, и вдруг остановился, сперва даже не понимая, отчего я это сделал, но тут же догадавшись, что мне показались странными и несообразными две широкие короткие, никуда не ведущие тропинки, пролегшие одна рядом с другой в сплошной массе хлебов и как бы выстланные колосьями.

Оглянувшись, я увидел сваленные за изгородью усадьбы, как раз напротив зияющих в хлебе тропинок, брикеты торфа, и понял, что это привозивший их шофер, разворачивая машину, въехал в пшеницу.

Между тем, приходит мне сейчас на мысль, всего только в годы моего детства почиталось за великий грех бросить на землю корку хлеба, и не то что проехать, даже пройти поспевающим хлебным полем никто не решился бы, а луга заказывались задолго до покоса.

Существовало множество убеждений и правил, являвших собою соединение первобытных поверий с хозяйственными соображениями, среди них, на иной взгляд, были мелкие, незначительные, и все они, взятые вместе, выражали всю сложность отношений крестьянина с землей.

Будучи в полной от нее зависимости, крестьянин вместе с тем в ней же самой находил силу, необходимую, чтобы снести тяжесть этого со-

стояния, о чем и рассказал в былине-загадке про Святогора-богатыря и Микулу Селяниновича, мудро истолкованной Успенским.

Святогор, рассказывается в былине, выехал во чисто поле прогуляться, горделиво помышляя найти себе по своей силе богатырской державу, однако на пути ему повстречался всего лишь прохожий мужичок с сумочкой за плечами. «Едет Святогор рысью, а прохожий все идет передом». Святогор во всю прыть поскакал за прохожим, но так и не сумел его догнать, тогда он крикнул, чтобы тот его подождал.

Прохожий остановился, снял из-за плеч сумочку, сложил ее на землю. «Наезжает Святогор на эту сумочку; своей плеточкой он сумочку пощупывал: как уроспая, та сумочка не тронется... Святогор с коня хватал ее рукой, потягивал: как уроспая, та сумка не поднимается».

Слез с коня Святогор, приладился, взялся обеими руками, во всю силу богатырскую натужился, от натуги по белу лицу ала кровь пошла, а поднял суму только на волос, сам же по колена в землю угряз.

Святогор спрашивает прохожего, что у того в сумочке накладено, да и сам он кто есть, как звать его по имени, и прохожий отвечает, что тяга в сумочке «от матери — сырой земли», а сам он — мужик Микула Селянинович, после чего говорит: «Меня любит мать — сыра земля».

Тяга и власть земли огромны, а между тем эту тягу и власть народ несет легко, как пустую сумочку, разгадывает загадку Успенский, и к этому можно лишь прибавить, что слово «тяга» в русском языке означает не только вес, тяжесть, но и стремление, влечение.

Потому-то и говорит Микула Селянинович не без гордости: «Меня любит мать — сыра земля», что и он ее любит, испытывает к ней влечение, тягу, вызванную тягой, тяжестью, какую ему приходится нести, исполняя весь тот труд, к которому земля обязывает земледельца и которым наполняет его существование. Это последнее, то есть полнота существования, и помогает крестьянину легко нести свою ношу, следовательно, пока есть тяга — тяжесть, есть и тяга — влечение.

Рассуждая о власти земли над человеком, Успенский оставил в стороне те социальные условия, в каких этот человек существовал, ради того, вероятно, чтобы ничто не отвлекало от самой сути исследуемого явления, в чем и сегодня имеется настоятельная необходимость, так как иные не представляют себе существа и особенностей земледельческого труда, другие же рассматривают каждого, кто прикосновенен к земле, как скрытого до поры собственника, словно сама земля, а не социальный строй, при котором она является частной собственностью и где существует эксплуатация человека человеком, этому способствует.

На памяти немало случаев, когда хозяйственный, самостоятельный председатель колхоза подозревался в собственнических, чуть ли не кулацких пережитках; корыстолюбивыми и низменными изображают обычно фельетонисты горожан, имеющих корову или сад, да и крестьянская усадьба с коровой по временам рассматриваются как некий источник почти что нетрудовых доходов.

Я не беру сейчас в расчет материальную сторону, то есть то, сколько молока, овощей, мяса и фруктов дополнительно получено таким способом в стране, по преимуществу с земельных угодий, которые иначе едва ли можно вовлечь в хозяйственный оборот; сколько телевизоров, ковров, велосипедов, детских пальто, башмаков, школьных портфелей куплено на вырученные за все это деньги, добавочные к основному доходу семьи.

Меня занимает сторона нравственная.

При всем том, что со времени первой публикации «Власти земли» прошло семьдесят девять лет, из которых больше половины падает на коренным образом отличный от предыдущего общественный строй, и да-

же профессии, не говоря уж об обстоятельствах, упоминаемые Успенским, давно исчезли, я все же считаю неустаревшими его соображения относительно крестьян, отделившихся от труда и «вылезших» к деньгам, шеголяющих «анкерными» часами, исполненных пошлости, глупого «форцу».

Однажды в Ужболе, вернувшись с прогулки по окрестным оврагам, мы с Николаем Семеновичем, постоянно вовлекающим меня в такого рода предприятия, застали на крыльце дома Натальи Кузьминичны двух посиживающих, развалясь, молодых людей, приятелей младшего сына хозяйки, приехавших из каких-то столиц в родную деревню «казать себя».

Один из них, крупный блондин в белой майке и синих спортивных шароварах, подтянутых им до колен, чтобы широко раскинутые ноги открыты были солнцу, опершись локтями о ступеньку и поигрывая массивной золоченой браслеткой часов на загорелой руке, не догадываясь, что он не дает нам пройти в дом, искренне полагая себя человеком, достигшим высот культуры, снисходительно улыбаясь, проговорил, адресуясь к Николаю Семеновичу: «В вашем возрасте туризмом увлекаться не следует».

А другой, мелкий, чернявый, сидевший рядом и тоже не сообразивший встать и дать нам пройти, сперва подобострастно взвизгнул, но затем вдруг вскочил и завопил: «Нинка!.. Джимма!» Он еще и какие-то галантерейности выкрикивал проходившим по другой стороне улицы двум девушкам, при этом объясняя приятелю, что с них надо пол-литра стребовать, на что тот лениво возразил, что сейчас не пьет, однако тоже поднялся с крыльца и загоготал в том же галантерейно-жеребячьем роде.

Откуда, подумалось мне тогда, этот писарской, приказчицкий, лакейский, как я сказал бы, вспомянись мне Успенский, «форц», и посчитал, что всему причина поверхностная грамотность и материальная обеспеченность, доставшаяся куда более легким трудом, чем крестьянский.

Однако сейчас, перечитывая «Власть земли», я уточняю сказанное в том смысле, что крестьянин, оторвавшись от земли и не получая взамен ни того, что дает труд индустриального рабочего с его коллективизмом и материальностью, ни той напряженной духовной жизни, какая составляет сущность труда истинного интеллигента, становится мещанином.

Любая бабка, вскапывающая и засевающая по весне свою грядочку, потом, дождавшись, когда земля зазеленеет, выпалывающая цепкие сорняки и оставляющая едва различимые, с двумя семядольными листочками растеньица, поливающая их ежедневно, рыхлящая спекшуюся корку, наконец, перевязав мочалкой пучки морковки, редиски и петрушки, выстаивающая полдня у дверей московского «гастронома»,— любая такая бабка представляется мне духовно богаче вспомнившихся сейчас «цивилизованных» молодцов.

Глеб Успенский рассказывает, как разговаривал он с одним старым-престарым крестьянином, который вырастил и пристроил всех детей, похоронил жену, сдал землю в общество, так как не было у него уже сил работать, и вот, стоя на краю гроба, вспоминает не какое-либо знаменательное событие, свидетелем которого был, но только землю. На вопрос Успенского, жалко ли было ему бросать ее, старик ответил: «Вот как жалко, сказать не могу... И-и, матушка родная!..» Писатель замечает, что продолжал крестьянин с буквально плачущими нотами в голосе: «По де-вя-но-сто мер хлеба се-я-ал!.. Ов-вес у меня крестецкий, тя-а-желый-претяжелый... Бывало, до свету примутся мои бабы жать, что огнем палят...»

Быть может, кому-либо, у кого и тридцать лет спустя после коллективизации мужицкое влечение к земле и к животному все еще под подозрением, такого рода чувства представятся собственническими.

Но вот я вспоминаю, как в одном из колхозов где-то между Винницей и Одессой, в самые жнива, наблюдал немолодую уже колхозницу, не то звеньевую, не то бригадира, которая со своими бабами до свету принималась молотить, и когда мне представляются сейчас эти женщины в повязанных по самые глаза и закрывающих рот платочках, когда я вижу их проворно снующими в пыли и в летучей полове вокруг грясушейся молотилки, мое тогдашнее восхищение ими я могу передать лишь словами старика из очерка Глеба Успенского — «Что огнем палят!».

Да и в старике этом, сдавшем землю в общество, стоявшем «на краю гроба», говорил не собственник, иначе он вспоминал бы, сколько выручал за свой «крестецкий» овес, какой у него был достаток, как он жил хорошо...

В этом убеждает следующее удивительное замечание Успенского. Он говорит, что Сара Бернар, когда будет старой старушкой, вероятно, с таким же умилением будет вспоминать восторги, которые она вызывала в массах зрителей, какое испытывал этот старик, вспоминая время, когда он сеял «де-вя-но-сто» мер, вспоминая «крестецкий» свой овес и «своих баб», до свету принимавшихся за жнитво.

Мне думается, писатель, увидевший в земледельческом труде поэтическую его сущность, сравнивая крестьянина с актрисой, то есть труд земледельца с трудом художника, имел в виду не литературный прием, но таким образом определил самый характер крестьянского труда.

Я перелистываю не менее знаменитый, нежели «Власть земли», очерк Успенского «Крестьянин и крестьянский труд» и в главе «Поэзия земледельческого труда» мне встречаются рассуждения автора о том, что точно так же, как художник, переносящий от своего академического начальства любые несправедливости, «не вынесет, если начальство вздумает взять кисть, да приделает на картине художника, всецело ею поглощенного, какую-нибудь фигуру или черту», точно так и «поэт-мужик» не потерпит, чтобы «непрошеные посетители попробовали похозяйничать там, где крестьянин наиболее чувствует самостоятельность». Вот и не потерпел мой «поэт-мужик», председатель колхоза Иван Федосеевич, искоренения клеверов,— мелькнуло вдруг, но тут же эту мысль вытеснила другая: труд земледельца походит на труд художника еще и тем, что он точно так же не может быть разделен на отдельные, разными людьми выполняемые операции.

Мне случилось однажды наблюдать в деревне, как часов около восьми утра, перед этим порассуждав, с граблями велели выходить или с вилами, здешние бабы отправлялись в соседнюю деревню, где бригадир наряжал на работу, затем, с час времени спустя, они неспешно проходили мимо моего дома в прямо противоположную сторону, поскольку именно там им предстояло работать, и так было каждый день в течение лета.

Не то чтобы я до этого не встречался с подобным, просто в то лето я впервые задумался над тем, что так называемая материальная заинтересованность в сельском хозяйстве вовсе не сводится к тому, чтобы, определив, сколько следует платить человеку за ту или иную выполненную им работу, деньги эти аккуратно ему выплачивать.

Женщины, о которых идет речь, получали заработную плату.

Но платили им безотносительно к тому, вырастет или пропадет зеленая гравинка в поле, и этим, как я понимаю теперь, а не слабой орга-

низацией труда и недостаточностью разъяснительных и воспитательных мер обусловлен был весь ход работ.

Надо ли доказывать, что все, к чему я клоню, никак не противостоит коллективному хозяйствованию на земле, о чем свидетельствуют не только «мирские» работы прежних времен, иные из которых превращались даже в праздник, как, например, сенокос, но и практика лучших современных колхозов и совхозов, где какой-либо крупный хозяйственный организм — бригада или звено — со всем своим инвентарем, рабочим скотом и машинами поставлен в зависимость от травинки в поле.

Я вспоминаю, как Иван Федосеевич, когда мы однажды ехали с ним полями его колхоза, показав на зеленеющий вокруг клевер с тимофеевкой, принялся рассказывать, что здесь у него столько-то осушенной и окультуренной земли, кормится на ней полтораста коров, обслуживают их двадцать два человека: доярки, пастухи, учетчик, возчик молока...

Между тем, продолжал он, если разбить пастбище на загоны и оградить их проволокой, построить деревянное помещение с бетонированным полом, оборудовав его электродоильными аппаратами, выкопать артезианский колодец,— если всем этим обзавестись, достаточно трех человек: двух доярок и тракториста-электрика, который станет пахать и сеять, следить за током в ограде и регулировать доильные аппараты, подстилать торф на время дойки, выгребать трактором навоз.

Впрочем, кому, когда и что делать, будет решать само звено, люди сами сообразят, как им распорядиться, чтобы молока было больше, а расходов — меньше.

И еще как-то, размышляя над тем, отчего это в здешних местах, где чуть ли не со времен Грозного народ «пахал лучишко с чесночишком» и этим кормился, овощей теперь производят все меньше и меньше, любогостицкий председатель со свойственным ему в такого рода делах азартом стал говорить, каким образом следует организовать труд колхозников, чтобы заработок каждого из них зависел от количества и себестоимости выращенного им лука, огурцов, помидоров, капусты...

В рассуждениях моего приятеля, возможно, не все было верно, суть не в этом, своих мыслей он никому не навязывал, однако меня они еще тогда побудили задуматься над тем, что это ведь не обязательно, чтобы по всей огромной стране, во всех колхозах, находящихся в разных, иногда прямо противоположных условиях, благоприятных для производства разных продуктов, от пшеницы и до лука, от молока и мяса и до клубники, были одни и те же формы организации труда.

Помнится, я тогда же рассказал Ивану Федосеевичу, как однажды в воронежской степи, разъезжая с кем-то из местных работников по району, оказался в колхозе, председатель которого был на плохом счету из-за так называемых антимеханизаторских настроений, но при этом собирал самый высокий по тем местам урожай. Спутник мой, невзначай упомянувший о столь странном случае, стал уверять меня, когда я сказал, что хочу побывать у этого председателя, что писателю он не интересен, поскольку в нем ничего передового нет.

Я настоял на своем, и мы остановились в селе, запомнившемся мне чисто выбеленными хатами под щегольскими, крытыми вприческу соломенными крышами. Мои представления о хорошо поставленном хозяйстве были таковы, что я, хотя шел всего лишь третий послевоенный год, не только не оценил эти новые, на диво прочные крыши, ничего не стоившие, кроме усилий, какие были затрачены, чтобы иметь необходимую для них старновку, то есть немятую, получаемую при ручной молотьбе солому, но еще и подумал о здешнем председателе, что он действительно отсталый человек: урожаи богатые, а живет под соломой.

По счастью, я ему этого не сказал.

Я спросил лишь его, чем объяснить то предпочтение, какое он отдает лошадям перед тракторами и комбайнами, причем самый тон, каким задан был вопрос, безукоризненная его вежливость заранее предполагали ошибочность взглядов, которых придерживается собеседник.

Во всем этом я честно признался Ивану Федосеевичу, как и в том, что председатель, запомнившийся мне почему-то бородатым, хоть это и редко, во всяком случае каким-то земляным мужиком, взглянул на меня, как отец его или дед, должно быть, глядел на образованного барина, наставлявшего в необходимости сеять мак или живокость.

Он сказал, что тракторов и комбайнов у них в МТС мало, да и старые они, ломаются часто, и если дожидаться их, то и не вспашешь, не посеешь и не уберешь в срок, а это скажется на урожае, к тому же и трактористы получают не с того, что уродило, а с гектара — «в переводе на мягкую пахоту»,— вот кабы самим купить трактор!..

Не скрыл я от Ивана Федосеевича, что председатель, да еще бородатый, вообразился мне человеком, в котором социалистические начала совмещены с мелкособственническими крестьянскими, хотя и крыши из непокупной соломы, и лошади — не только в достаточном количестве, но и хорошо кормленные, иначе не управишься,— выдавали, как мы согласились с моим приятелем, осмотрительного, расчетливого хозяина.

Сейчас, вспоминая тот наш разговор, я бы еще сказал, что поступками председателя руководила земля, которая не могла дожидаться пока МТС пришлет в колхоз тракторную бригаду, которой нужен был пахарь, живущий зеленой травинкой, а не какой-то там мягкой пахотой.

Я понимаю, что и вспомнившиеся мне рассуждения Ивана Федосеевича были направлены к тому, как превратить работника в «поэта-мужика», существование которого неотделимо от вечного и обыкновенного чуда превращения семени в питающий нас плод.

Так складывается у меня убеждение, что в поисках средств, способных укрепить то или иное хозяйство, совхоз или колхоз — безразлично, следует исходить из той истины, что чем сильнее власть земли над крестьянином, тем большую власть над собой она ему дает.

(Спустя пять лет в статье «Крестьянский труд» («Правда», 9 октября 1966 года) я писал об этом следующее:

«Минувшим летом под Москвой и в областях, лежащих на северо-восток от нее, я снова наблюдал то, что мне приходилось видеть и до этого — заполонившую поля стихию сорняков: осота, молочая, сурепки. А сколько раз, идучи полем, видел я как бы островки густого, мощного хлеба, возвышающиеся среди низкорослых, тощих хлебов, что выглядело отпечатком того, как вносились здесь удобрения.

В этих и подобных случаях суть заключалась в том, что люди, работавшие в поле, не были заинтересованы в конечных результатах труда, они как бы получали плату за урок, тогда как труд на земле требует, чтобы человек был ее полноправным, ответственным хозяином.

А чувство хозяина приходит с чувством зависимости от земли.

Открытая Глебом Успенским «власть земли» заключается не только в том, что человек, «огромный мужик с бородой, с могучими руками и быстрыми ногами», полностью зависит от тоненькой травинки в поле, но еще и в том, что «для этой травинки, для того, чтобы она могла питать, нужна масса приспособлений, масса труда, масса внимательности во взаимных человеческих отношениях». А из этого и проистекает то, что в самой земле, в обязанностях, возлагаемых ею на крестьянина, он находит силу, позволяющую ему снести тяжесть земледельческого труда и обрести в нем радость.

Владея крестьянином, земля дает ему власть над собой.

Существо этой власти коренится во множестве свойств и особенностей, обусловленных зависимостью крестьянского труда от различнейших обстоятельств, и можно только сожалеть, что все еще встречаются кое-где люди, считающие, например, свойственную земледельцу трезвость суждений и его недоверие ко всему, что не испытано временем, его приверженность к сложившимся в течение веков срокам производства

тех или иных работ, его привязанность к корове, свинье, курам, ради которых он и недоспит и недоест, его расчетливость, не позволяющую ему, если он председатель колхоза, продать весь хлеб и остаться без семян, его граничащую со скупостью бережливость, наконец,— считающие все это недостатками крестьянина, свидетельством его чуть ли не собственнической сути, его отсталости, косности...

Между тем любая машина и любая научная рекомендация в сельском хозяйстве— мертвы, если их не соединить со всем, что без преувеличения можно назвать великой крестьянской культурой».)

Может показаться странным, что я, перечитывая очерк русского писателя-народника, соотнося его с разного рода собственными наблюдениями, то и дело вспоминаю древнейшую из книг, составленную из притч и сказаний, в которых вперемежку с фантастичными историями о грозном боге и анекдотами из жизни предков приводятся обстоятельные подробности, касающиеся земли, скота, урожаев и недородов, и которые рассказывались при свете сложенного из скотьего помета костра или под журчание воды в арыке в послеполуденный жаркий час на винограднике.

Пожалуй, только в русских летописях рядом с известиями о смерти князей и епископов, сообщениями о военных походах, вражеских нашествиях и закладке городов и церквей, описаниями чудесных и грозных явлений природы можно встретить библейской простоты и силы записи о засухах, жестоких ранних морозах, затяжных дождях, о том, что «всякое жито под снег паде» и «на Москве оков ржи по рублю, а на Костроме по два рубля, а в Новеграде и Нижнем по двести алтын оков ржи».

Все дело в том, что я, хотя это мое утверждение может прозвучать столь же архаично, как библейская «ефа» ячменя или летописный «оков» ржи, настаиваю на необходимости каждому, кто жив хлебом, ощущать прямую свою зависимость от земли, как это было с древними людьми.

(Окончание следует)

А. ТВАРДОВСКИЙ

★

ИЗ НОВЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ

1

НА СЕНОВАЛЕ

Ты помнишь, ночью предосенней,—
Тому уже десятки лет,—
Курили мы с тобой на сене,
Презрев опасливый запрет.

И глаз до света не сомкнули,
Хоть запах сена был не тот,
Что в ночи душные июля
Заснуть подолгу не дает...

То вслух читая чьи-то строки,
То вдруг теряя связь речей,
Мы собирались в путь далекий
Из первой юности своей.

В ту пору не было, пожалуй,
Беды иль радости такой —
С одним из нас — хотя бы малой,—
Чтоб неучастен был другой.

И вот мы вместе покидали
Глухие отчие места,
И столько нам завидных далей
Сулила общая мечта.

Мы не испытывали грусти,
Друзья — мыслитель и поэт,
Кидая наше захолустье
В обмен на целый белый свет.

Мы жили замыслом заветным
Дорваться вдруг
До всех наук —
Со всем запасом их несметным —
И уж не выпустить из рук.

Сомненья дух нам был неведом;
Мы с тем управимся добром
И за отцов своих и дедов
Еще вдобавок доберем.

Мы повторяли, что напасти
Нам никакие нипочем,
Но сами ждали только счастья,—
Тому был возраст обучен.

Мы знали, что оно сторицей
Должно воздать за наш порыв
В премудрость мира с ходу врыться,
До дна ее разворотив.

Готовы были мы к походу.
Что проще может быть:
Не лгать,
Не трусить,
Верным быть народу,
Любить родную землю-мать,
Чтоб за нее в огонь и в воду.
А если —
То и жизнь отдать.

Что проще!
В целости оставим
Таким завет начальных дней.
Лишь от себя теперь добавим:
Что проще — да.
Но что сложней?

Такими были наши дали,
Как нам казалось, без прикрас.
Когда в безудержном запале
Мы в том друг друга убеждали,
В чем спору не было у нас.

И всласть толкуя о науках,
Мы вместе грезили о том,
Ах, и о том, в каких мы брюках
Домой заявимся п о т о м.

Дивись, отец, всплакни, родная,
Какого гостя бог нанес,
Как он пройдет, распространяя
Московский запах папирос.

Москва, столица — свет не ближний,
А ты, родная сторона,
Какой была, глухой, недвижной,
Нас на побывку ждать должна.

И хуторские посиделки,
И вечеринки чередом,
И чтоб загорьевские девки
Глазами ели нас потом,
Неловко нам совали руки,
Пылая краской до ушей.

А там бы где-то две подруги,
В стенах столичных этажей,
С упреком нежным ожидали
Уже тем часом нас с тобой,
Как мы на нашем сеновале
Отлет обдумывали свой...

И невдомек нам было вроде,
Что здесь, за нашею спиной,
Сорвется с места край родной
И закружится в хороводе
Вслед за метелицей сплошной...

Ты не забыл, как на рассвете
Оповестили нас, дружков;
Об уходящем в осень лете
Запевы юных петушков.

Их голосов надрыв цыплячий
Там, за соломенной стрехой,—
Он отзывался детским плачем
И вместе удалью лихой.

В какой-то сдавленной печали,
С хрипотцей истовой своей
Они как будто отпевали
Конец ребячьих наших дней.

Как будто сами через силу
Обрядный свой тянули сказ
О чем-то памятном, что было
До нас.
И будет после нас.

Но мы тогда на сеновале
Не так прислушивались к ним,
Мы сладко взапуски зевали,
Дивясь, что день, а мы не спим.

И в предотъездном нашем часе
Предвестий не было о том,
Какие нам дары в запасе
Судьба имела на потом.

И где, кому из нас придется,
В каком году, в каком краю
За петушиной той хрипотцей
Расслышать молодость свою.

Навстречу жданной нашей доле
Рвались мы в путь не наугад, —
Она в согласье с нашей волей
Звала отведать хлеба-соли.
Давно ли?
Жизнь тому назад.

2

СТИХИ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

***

Оркестры смолкли, отзвучали речи,
Парадных флагов свернут пестрый фронт.
И этот гром неповторимой встречи,
Как гром грозы, ушел за горизонт.

И новый подвиг совершился в мире,
И новый праздник грянул на порог.
Он был еще торжественней и шире
И только первым быть уже не мог.

***

Отыграли по дымным оврагам
Торопливые воды весны.
И пошла она сбавленным шагом
В междуречье Пахры и Десны.

Где прямою дорогой, где кружной —
Вдоль шоссе, по закрайкам полей.
И помятые, потные дружно
Зеленя потянулись за ней.

***

На дне моей жизни,
на самом донышке
Захочется мне
посидеть на солнышке,
На теплом пенушке.

И чтобы листва
красовалась палая
В наклонных лучах
недалекого вечера.
И пусть оно так,
что морока немалая —
Твой век целиком,
да об этом уж нечего.

Я думу свою
без помехи подслушаю,
Черту подведу
стариковскою палочкой:

Нет, все-таки нет,
ничего, что по случаю
Я здесь побывал
и отметился галочкой.

***

Огромный, грузный, многоместный
И тесный — через всю страну
Тянул в пустыне поднебесной
Свою тяжелую струну.

С натугой ровной делал дело,
Тянул — ни кренов, ни толчков.
И небо нижнее синело
Кой-где в разрывах облаков.

По стрелкам выверенным правил —
Видна земля иль не видна.
И, как канат на переправе,
Брунжала басом та струна.

***

Чуть зацветет Иван-чай,—
С этого самого цвета —
Раннее лето, прощай,
Здравствуй, полдневное лето.

Липа в ночной полумгле
Светит густой позолотой,
Дышит — как будто в дупле
Скрыты горячие соты.

От перестоя трава
Никнет в сухом опереньи.
Как жестяная, мертва
Темная зелень сирени.

Где-то уже позади
День равноденствие славит.
И не впервые дожди
В теплой листве шепелявят.

Не пропускай, отмечай
Снова и снова на свете
Легкую эту печаль,
Убыли-прибыли эти.

Все их приветствуй с утра
Или под вечер с устатку...
Здравствуй, любая пора,
И проходи по порядку.

***

Там-сям дымок садового костра
Встает над поселковыми задами.
Листва и на земле еще пестра,
Еще не обесцвечена дождями.

Еще земля с дернинкою сухой
Не отдает нимало духом тленья,
Хоть наизнанку вывернув коренья,
Ложится под лопатой на покой.

Еще не время непогоди сонной,
За сапогом не волочится грязь,
И предается по утрам, бодрясь,
Своим утехам возраст пенсионный.

По крайности — спасибо и на том,
Что от хлопот любимых нет отвычки.
Справляй дела и тем же чередом
Без паники укладывай вещички.

***

Полночь в мое городское окно
Входит с ночными дарами:
Позднее небо полным-полно
Скученных звезд мирами.

Мне еще в детстве, бывало, в ночном,
Где-нибудь в дедовском поле
Скопища эти холодным огнем
Точно бы в темя кололи.

Сладкой бессонницей юность мою
Звездное небо томило:
Где бы я ни был, казалось, стою
В центре вселенского мира.

В зрелости так не тревожат меня
Космоса дальние светы,
Как муравьиная злая возня
Маленькой нашей планеты.

***

В чем хочешь человечество вини
И самого себя, слуга народа,
Но ни при чем природа и погода:
Полны добра перед итогом года,
Как яблоки антоновские, дни.

Безветренны, теплы — почти что жарки,
Один другого краше, дни-подарки
Звенят чуть слышно золотом листвы
В самой Москве, в окрестностях Москвы
И где-нибудь, наверно, в пражском парке.

Перед какой безвестною зимой
Каких еще тревог и потрясений
Так свеж и ясен этот мир осенний,
Так сладок каждый вдох и выдох мой?

***

Допустим, ты свое уже оттопал
И позади — остался твой предел,
Но при тебе и разум твой, и опыт,
И некий срок еще для сдачи дел
Отпущен — до погрузки и отправки.

Ты можешь на листах ушедших лет
Внести еще какие-то поправки,
Чертой ревнивой обводя свой след;

Самозащите доверяясь шаткой,
Невольно прихорашивать итог...
Но вдруг подумать:
— Нет, спасибо в шапку,
От этой сласти береги нас бог.

Нет, лучше рухнуть нам на полдороге,
Коль не по силам новый был маршрут.
Без нас отлично подведут итоги
И, может, меньше нашего наврут.

***

Время, скорое на расправу,
В меру дней своих скоростных,
Власть иную, иную славу
Упраздняет — и крест на них.

Время даже их след изгладит
Скоростным своим утюжком.
И оно же не в силах сладить
С чем, подумаешь! — со стишком.

Уж оно его так и этак
Норовит забвенью предать
И о том объявить в газетах
И по радио...
Глядь-поглядь,

За каким-то минучим сроком —
И у времени с языка
Вдруг срывается ненароком
Из того же стишка —
Строка.

***

К обидам горьким собственной персоны
Не призывать участье добрых душ.
Жить, как живешь, своей страдой бессонной,—
Взялся за гуж — не говори: не дюж.

С тропы своей ни в чем не соступая,
Не отступая — быть самим собой.
Так со своей управиться судьбой,
Чтоб в ней себя нашла судьба любая
И чью-то душу отпустила боль.

1967—1968.

В. ЧЕРНЫШЕВ

★

ВОЛЧИК, ВОЛЧЕНЬКА

Рассказ

Волчонка поймали совхозные рабочие, ездившие в лес за хворостом. Заинтересовавшись, откуда так «душно́» пахнет, они нашли в болоте среди густых тальников и сухого тростника звериное логово с маленькими, сбившимися в дальнем углу щенками. На упругом зеленом мху подле логова были видны следы звериных лап, валялись перья и объеденные кости, запах которых привлек людей. Со злорадным любопытством рабочие извлекли из норы упиравшихся щенят — их было пять — и стали рассматривать, гадая, волчьей или лисьей они породы. Определив, что это волчата, они перебили их, кроме одного — его решили привезти напоказ живым,— и, наслышанные о мести волчицы, опасливо оглядываясь, поспешно выбрались из сухого болота.

В совхозе о волчонке в тот же день узнал директор и решил его взять себе. Однако жена директора рассудила иначе, и волчонок был предложен нам.

Жили мы в то время в Зауралье, в небольшом совхозе, где работал мой отец. Я учился в седьмом классе маленькой школы-семилетки. Совхоз располагался двумя заимками по берегам открытого просторного озера. Сразу же за домами начинался светлый березовый лес. Он принимался зеленеть весной всегда неожиданно, в одну ночь, и утром было радостно увидеть вдруг зеленую дымку там, где еще вчера мертво сквозили голые ветви берез. В эту пору по ночам над нашим домом шли одна за другой утиные стаи, а утром прямо с крыльца было слышно, как токуют, бормочут в лесу тетерева-косачи.

Мне было разрешено пользоваться отцовской тяжелой двустволкой. Целыми днями пропадал я в лесу, стараясь подслушать, подсмотреть скрытную жизнь его обитателей, известную мне до того лишь по книгам Формозова и Бианки.

Как я обрадовался, узнав о волчонке!

Дом директора стоял на другой стороне озера. Я отправился за волчонком на лодке. На обратном пути я не сводил с него глаз. Волчонок оказался совсем еще маленьким, с детскую рукавичку, с тяжелой лобастой головой, которую ему было трудно держать на весу. Его покрывала не шерсть, а какая-то серо-желтая подпушь, неопрятная, точно тронутая паршой, с редкими, более длинными волосиками. Волчонок, вероятно, лишь недавно прозрел, да и то не совсем: глаза его были подслеповаты, будто прорезались не до конца, в них стояла еще голубовато-молочная тусклая муть. Он карабкался, путался в разостланном на дне лодки старом ватнике и дрожал от холода и пережитого за день.

Я принес волчонка домой и положил в кухне посредине на полу. Он попытался подняться на ноги, с напряжением удерживая голову, она мотала его тельце, это заставляло его, чтоб сохранить равновесие, переступать передними лапами. И тут наша кошка Лаврушка, дремавшая на плечике русской печи, вдруг прыгнула сверху на волчонка и, крича утробным, не своим голосом, начала драть его прямыми передними ногами. Успев за время нашего знакомства проникнуться к волчонку горячей жалостью, я кинулся к нему на помощь, оторвал кошку, наподдал ей в сердцах и выбросил за дверь. После этого Лаврушка домой не вернулась. Ее трехнедельный сын Пестерюшка остался сиротой. Причины исчезновения кошки мы тогда так и не выяснили. Неужели она, оскорбленная в материнском чувстве, обиделась настолько, что ушла, бросив и дом и котенка?

Перед нами встала задача, чем и как кормить нашего приемыша. Мы тыкали его в блюдечко с молоком, пытались научить пить с пальца, как припаивают новорожденных телят, но волчонок только облизывал мокрый от молока нос и не понимал, что от него хотят. Пришлось, прибегнув к силе, разжать ему рот и осторожно сливать молоко через край. Так волчонок и привык пить, как человек, через край блюдца. Позднее, став побольше, он брал блюдце в зубы и ставил его перед людьми, давая понять, что время кормежки подошло и посуду пора наполнить.

В молоко для волчонка мать обычно добавляла несколько капель витамина Д, предупреждавшего рахит и способствовавшего росту. Волчонок очень быстро усвоил, что его еда связана с этим пузырьком, стоявшим на холодном подоконнике. Заслышав глухой звук ручки подойника, наполненного пенистым парным молоком, он бежал теперь к окну с пузырьком витамина Д, нетерпеливо приглашая следовать за ним, посматривая снизу вверх широко расставленными, грустными, еще хранившими лиловатый отблеск глазами.

На семейном совете мы долго обсуждали, какое имя дать волчонку, и решили назвать его просто Волком. Нам хотелось этим как-то скрыть его происхождение от людей, чье любопытство могло причинить вред ему и излишние хлопоты — нам.

— Скажите, это правда, что у вас живет настоящий волк?

— Да, правда. Волк, Волчик, иди сюда, иди ко мне!

— Так это просто имя такое — «Волк»?

— Ну, конечно же, имя, всего-навсего — имя!

Волчонок очень скоро привык к своему имени и отлично понимал интонацию голоса и настроение людей, когда они называли его ласково Волчком, Волченькой, Волчишкой.

Он очень подружился с осиротевшим Пестерюшкой. Они вместе спали, свернувшись клубочком, греясь теплом друг от друга, и вместе ели: Волк пил молоко через край, Пестерюшка чистенько лакал сверху. Целыми днями они барахтались и возились на полу и разыгрывали сцены охоты, затаиваясь и нападая один на другого, носясь из одной комнаты в другую, натыкаясь на косяки и попадая под ноги людям.

Было очень забавно наблюдать возню наших зверят, столь различных по наследственным привычкам. Лишенные гнезда и родителей, они были детенышами одной матери — природы.

Но с возрастом у Волка отчетливее стал проявляться инстинкт зверя-охотника. Игра в охоту становилась все более азартной. Подстерегая Пестерюшку, волчонок кидался на него, сбивал грудью, отскакивал и снова наступал, высоко выкидывая прямые передние лапы (кажется, в школах высшей верховой езды жокеи называют такой шаг лошади «испанским»). Затем он брал котенка в зубы поперек и относил на свою подстилку — «логово». Эти игры становились для Пестерюшки все бо-

лее несносными. Он спасался от них, запрыгивая на табурет. Быстро опередивший в росте своего товарища, искавший игр с движением и возней, Волк заглядывал к нему, пытаясь достать, приглашая к игре, и эти отлучки Пестерюшки лишь усиливали азарт, с которым Волчик снова набрасывался на котенка, как только тот появлялся на полу. Но в играх Волчик был беззлобен, и котенок, видимо, понимал это, потому что игра их никогда не переходила в драку. Котенок покорно переносил волчьи зубы и, попав в них, беззвучно открывал рот, жалобно прося «пардону». Мы были бессильны удержать волчонка от его жестоких игр, он охотился за всем, что двигалось: за веником, которым подметали пол, за ногами людей, ходивших по комнатам. С шершавыми, обмусоленными Волком боками котенок стал грустен, начал хиреть и в конце концов подох.

Эта потеря не очень тронула Волка. Он поскучал немного и теперь чаще искал нашего внимания.

К этому времени Волк заметно подрос, покрылся серо-рыжеватой шерстью и стал величиной с небольшую лайку. Непропорционально лобастая голова и большие передние лапы свидетельствовали о том, что со временем это будет крупный зверь.

Он начал шкодить дома: грыз, как все щенки, обувь, рвал половики и однажды стащил со стола скатерть, заинтересовавшую его болтавшимся углом.

Волк не мог спокойно видеть тряпку, которой мыли пол: неожиданно, из засады, он бросался на нее и вцеплялся зубами; разжать их можно было только силой или хитростью. Можно было поднять тряпку, но он оставался висеть на ней, скосив глаза и выжидая, скоро ли от него отступятся. Он до полусмерти напугал этим женщину, приходившую к нам мыть полы.

В семье появилась тягостная тема разговора: как далее держать его дома?

Волк привязался к нам, скучал без нас и радовался нашему приходу домой. Приложив уши, он тыкался головой в руки, испрашивая ласку, и довольно повизгивал и урчал. За ним было интересно наблюдать, отмечая в его поведении и играх звериные, отличные от собачьих, привычки. Нам не хотелось лишать его свободы и тяжело было представить сидящим на цепи.

Но квартира становилась тесна Волку. Он искал возможности выбежать на улицу или хотя бы в длинный общий коридор, где жили еще четыре семьи.

Мать предлагала перевести Волчика на жительство в палисадник — ничего другого мы придумать не могли,— но мы с отцом все оттягивали это.

Наконец, нам привезли на заказ изготовленную конуру и длинную цепь с ошейником.

Мы поместили Волка в палисаднике под окном у врытого в землю круглого стола со скамейкой, которые должны были разнообразить унылое пребывание Волка на цепи и давали нам возможность посидеть у него «в гостях».

Лишенный постоянного общения с людьми, Волк на цепи заскучал. Сначала он все время старался освободиться от ненавистного ошейника, беспокойно крутился на привязи, то и дело влезая на стол и вновь спрыгивая вниз, поскуливал и с надеждой посматривал на раскрытое окно, откуда доносились знакомые голоса. Затем, осознав тщету своих усилий, он свыкся с ошейником, но к цепи так и не привык и тяготился ею.

Оттого, что мы, стараясь возможно облегчить участь Волка, не затягивали туго ошейника, ему не раз удавалось от него освободиться. Почувствовав себя на свободе, он в восторге мчался вокруг дома к крыль-

цу, совершенно не обращая внимания на тот переполох, который поднимался из-за него на улице и в коридоре, и нетерпеливо царапался в нашу дверь. Дома он стремительно, точно сознавая краткосрочность своего визита, обегал комнаты, торопливо обнюхивал знакомые предметы и, ласкаясь к нам на ходу, метался от одного к другому, не зная, кому отдать предпочтение.

Завидев в коридоре Волка, соседки на кухне тотчас закрывали дверь или, если не успевали этого сделать, старались укрыться хотя бы за громадной русской печью. Дети, которые в это время оказывались на кухне, забирались на длинную лавку у стены и «плясали» на ней, если Волчик, забежав туда, мимоходом обнюхивал их ноги.

Как-то раз он прибежал домой, когда не было ни отца, ни меня. Мать не стала водворять его на цепь и, чтобы не путался под ногами, закрыла Волка до нашего прихода в столовой.

Вернувшись домой из школы, я заглянул в стеклянную дверь и не сразу решился открыть ее: диванные подушки и бумаги со стола были на полу, в комнате летал пух, а виновник этого столпотворения сидел на столе, скатерть с которого была также спущена вниз. Прилипшее к губе перышко придавало его морде потешное выражение. Довольный результатами своих проделок, Волчик прислушивался, скосив голову, к шагам за дверью, готовый улыбнуться при появлении хозяев.

В полуторамесячном возрасте Волк неожиданно отказался от молочной пищи. Он сделал это вдруг и наотрез. Мы были не подготовлены к смене меню и стали предлагать Волку то же, что ели сами. Но почти все оказалось ему не по вкусу. Хлеб и картошку он не ел совсем и согласился, да и то неохотно, только на мясную похлебку, которую в те полуголодные годы мы сами не часто видели на нашем столе.

Поголодает — и будет есть все подряд, подумали мы. Но голодная диета не сломила упрямства Волка. И мы поняли, что эта пища для него была просто несъедобной — так же, как, например, сено. Пришлось уступить: все-таки ведь это был волк!

Мы стали давать Волку сырую конину, несмотря на общее мнение, что от такого мяса волчонок одичает. Когда в совхозе подыхала лошадь, я просил отрубить мне падали столько, сколько могло сохраниться летом в погребе.

При виде мяса волчонок преображался. Он нетерпеливо дергал цепь и рвался навстречу, его взгляд был прикован к куску мяса, в глазах появлялся жадный блеск. Прихватив мясо передними ногами, Волк отрывал от него куски и проглатывал, почти не жуя. В это время он никого к себе не подпускал, даже меня, приносившего ему еду. Я пытался воздействовать лаской, пытался в конце концов утвердиться в положении хозяина силой — все было тщетно. Кончилось тем, что он прокусил мне заскорузлый рабочий сапог — не повредив, к счастью, ногу. Как воспитатель я был оскорблен, я не выдержал и жестоко отодрал его. Мне удалось это лишь потому, что он сидел на цепи. Потом я отнял у него мясо, Волк перестал огрызаться, его стало возможно погладить, почесать привычно за ухом. Но все внимание его было обращено к куску мяса, который я отшвырнул ногой, он чувствовал его запах и натягивал цепь. Я вернул ему кусок — и он снова стал зверем. Наступив на мясо ногой, Волк считал его своей добычей, на которую только он один имеет теперь право, и готов был умереть, отстаивая это право, кто бы на него ни покушался, даже хозяин, кормивший его.

Так было все время, что он жил у нас. Мне пришлось смириться. В этой истории проявилось свойство характера нашего Волчика, столь отличавшее его от большинства собак,— отсутствие какого бы то ни

было угодничества, удивительное прямодушие, которое мы затем отмечали в нем не раз и которое не могло не вызывать к нему расположения.

У Волчика была слабость, свойственная почти всем кошкам: он очень любил валерьянку. Он подходил то с одной, то с другой стороны к накапанной на полу жидкости, жеманился и щурился от резкого ее запаха, затем, когда она, видимо, несколько выдыхалась, осмеливался лизнуть ее и остатки вытирал плечом и шеей — не валялся, как кошка, а «ездил» по полу плечом, стоя на задних ногах. То же самое он делал, обнаружив где-нибудь на дороге раздавленную и затоптанную, подванивающую лягушку или высохшие рыбьи внутренности.

Как собаки и кошки, он выискивал внимательно какие-то особые съедобные травинки и жевал их, скалясь, подворачивая голову, стараясь извлечь запавшую за десну травинку и откашливаясь, когда она прилипала к нёбу.

Однажды — это было в конце лета — Волк опять освободился от ошейника, прибежал домой и тут же обнаружил под кроватью зеленые помидоры, положенные туда доспевать. Он поспешно расшвырял кучу и, отыскав несколько наиболее красных, тут же съел их.

Навестив нас дома в другой раз, он увидел у меня в руках тетеревиные чучела, которые я готовил к охоте. Запах ли убитых птиц, обычно лежавших в сетке-ягдташе вместе с чучелами, или инстинкт, определивший лесную, привычную волкам дичь — осталось непонятным, что подтолкнуло его,— Волчик вдруг подпрыгнул, ухватил и стал рвать у меня из рук тряпичного косача. Я поднял чучело, Волк повис на нем, наблюдая за мной, скоро ли я сдамся. Но тут тряпка порвалась, Волк упал, из чучела на него посыпались опилки. Он был заметно сконфужен и потерял к чучелам интерес.

Всех членов нашей семьи Волк выделял среди других людей своей привязанностью. Но к нашим знакомым он относился неодинаково, испытывая симпатию порой к очень редким посетителям и оставаясь при этом равнодушным к соседям, которых он часто видел и мог бы к ним привыкнуть. Даже при встрече во время наших прогулок с людьми, которых он видел впервые, Волчик неожиданно обнаруживал расположение к ним. Особенно радовался он моему однокласснику, приходившему ко мне. Услышав, как мой гость за заборчиком палисадника выводил на разные лады своим тонким и каким-то жалобным голосом: «Волченька бедненький, Волчик хорошенький»,— Волк, вызывая во мне ревность, начинал крутиться на цепи, поскуливал и просился поласкаться.

Мы долго не могли объяснить эту особенность поведения Волка и поняли, наконец, что, при прочих равных условиях, он выделяет людей по голосам. Ему были приятны высокие и певучие голоса, поэтому он больше симпатизировал женщинам, к которым неожиданно для них вдруг стремился приласкаться, пугал их и от их вскриков становился еще более настойчивым.

Его волновало пение, но особенно — игра на гребенке. Дребезжащие, ноющие звуки этой импровизированной губной гармошки приводили его в чрезвычайное беспокойство, он испытывал мучительное волнение, вставал на грудь передними лапами и тянулся к источнику звуков, затем отбегал в сторону и садился, стараясь быть подчеркнуто равнодушным, но не выдерживал и снова начинал метаться вокруг. В конце концов он усаживался рядом и начинал выть.

Это были душераздирающие концерты!

Слышавшие их признавались, что волчий рыдающий вой порождал в них темное желание бросить людские дела, встать на четвереньки рядом и присоединить свой голос.

На домашних животных, с которыми Волку приходилось встречать-

ся, он обычно не обращал большого внимания. Освободившись от цепи, он бежал к крыльцу мимо коровьих стаек и левад. Дремавшие на солнышке коровы тотчас отличали его от собаки, глаза их наливались кровью, они тяжело, грудным голосом мычали, клонили головы и стучали в слеги левад рогами, когда Волк пробегал вблизи. Не останавливаясь, лишь отстраняясь, обеспечивая себе безопасное расстояние, Волк мчался домой.

Без особого интереса он наблюдал, сидя на цепи, за бродившими по палисаднику курами. Наиболее приблизившихся он отгонял, кидаясь с громыханием в их сторону, однако это была скорее обычная охрана своего участка, нежели охота. Но однажды курица неосторожно подошла к Волку в то время, когда он ел, и жестоко за это поплатилась: Волк бросил мясо, стремительно метнулся к ней, одно движение зубами — и отброшенная несушка с разорванным боком забилась в траве.

Не удостоил вниманием он немецкую овчарку, которую привели к нему в гости. Не поняв, с кем имеет дело, овчарка стала приставать к Волчику, приглашая его к играм. Но занятый предоставленной ему на это время свободой более, чем новой знакомой, Волк в конце концов гневно закашлялся, словно бы отхаркивая обильно отделившуюся слюну, показал десны — и собаку пришлось взять на поводок.

Во время одной из прогулок с Волком я зашел к шорнику-охотнику. Шорная мастерская, просторная и полутемная, была наполнена острыми запахами отмокавшей в чану кожи и дегтя. Сам шорник сидел у дальнего окошка на низеньком табурете с плетеным из сыромятины сиденьем и прошивал хомут. Не в пример овчарке, его гончая сука Найда, бывшая в мастерской, сразу распознала в пришельце зверя. Поджав хвост и дрожа, она забилась под стоявшую у стены скамью.

Волчик нашел среди обрезков кожи наиболее остро пахнувшие кусочки, потерся о них шеей и обследовал мастерскую. В то время, как он пробегал близко от скамьи, Найда, взъерошенная, как ламповый ерш, в истерической решимости разыгрывала наскоки на Волка, но он, почти не останавливаясь, обнажал в своей страшной улыбке зубы, и собака с жалобным визгом, точно ее огрели камнем, укрывалась под скамьей. Затем убедившись, видимо, в том, что от хозяина ждать помощи нечего, она кинулась в дверь, открыла ее толчком передних лап и пустилась к дому.

К зиме Волчик покрылся густой, пушистой шерстью. Ростом он стал с очень крупную немецкую овчарку. Из-за гривы и пышного беловатого седла на холке он казался еще выше.

С наступлением холодов легче стало подолгу сохранять мясо, кормежка стала регулярной. Волк стал матереть, особая звериная осанистость и стать не позволила бы теперь спутать его с собакой и неискушенному человеку. Особой остротой отличался от собачьего взгляд его светло-карих небольших глаз. Волк был здоров, уравновешен, на цепи он тосковал, но не озлоблялся и очень радовался нашим визитам.

Меня тоже тяготила цепная жизнь Волчика. Я искал всякого случая, чтобы освободить его от привязи и дать ему возможность побегать. Зимой мы чаще всего уходили с ним на заснеженное озеро. На его середине, в отдалении от домов и людей, я спускал Волка со сворки. Радостно было видеть восторг этого сытого, сильного и красивого зверя, в который приводила его предоставленная ему свобода! Наконец-то получали работу его тосковавшие по движению мышцы!

Мы играли с ним в игру, напоминавшую салки. Делая возле меня круги, Волк увертывался от расставленных рук, отбегал, замирал на миг, припадая на передние лапы, и снова проносился мимо так близко, чтобы только не быть пойманным. Затем он наступал вдруг на меня, вы-

кидывая прямые передние лапы — «испанским шагом» — и вступал «врукопашную»: вскидывал на плечи лапы, валил меня с ног, и мы барахтались в снегу. Высвободившись из моих объятий, он принимался носиться кругами, проваливаясь в глубоком снегу, напрягаясь спиной, и захлебывался от охватившей его радости — так же, как делают это и молодые собаки. В этой возне он прихватывал меня зубами за ногу или за руку, тянул, поймав, за рукав, но не было случая, чтобы когда-либо сделал больно.

Наигравшись, он чистил шерсть, валяясь на снегу, что-то разнюхивал, забирался в снег по уши и, следуя обнаруженному им запаху, греб снег носом.

Иногда, идя домой на обед, завидев нас далеко на озере, к нам заворачивал отец. Он останавливался на тропинке, протоптанной к проруби, свистел и делал знаки рукой. Волк настораживался, остро всматривался и, узнав отца, мчался на махах к нему, струясь пушистой шерстью спины, разбрасывая снег и наслаждаясь скоростью и простором озера.

Наши прогулки прерывала белая тряпка, вывешенная в форточке кухонного окна, обращенного на озеро,— условленный знак, которым меня звали домой.

И в неволе Волк оставался преимущественно ночным животным. Я иногда просыпался ночью от звяканья его цепи. Лунно светились морозные окна, необыкновенно громко отстукивали время часы. С пушечным гулом лопался от мороза лед, звук катился по озеру и утыкался, глох на берегу.

Я шлепал по холодному полу к окну, в оставшийся около рамы чистый краешек стекла смотрел на Волка. Он бродил по недлинному рыскалу, взбирался, гремя цепью, на стол, прислушивался к гудевшим от стужи проводам, завороженно всматривался в темнеющий за озером лес.

От этого ли заунывного гуденья проводов, от ночного ли одиночества — зимой Волк часто выл. Он делал это всегда на столе. Забравшись на него, он крутился на маленькой круглой столешнице, поскуливая, тоскуя все более, наконец садился и, задрав голову, начинал выть. Мне видны были его полузакрытые глаза, парок над пастью, светлый пушистый подгрудок...

На другой день старухи-соседки жаловались на кухне:

— Опять нонча ночью анчихрист пел. Уж я ворочалась-ворочалась, крестилась-крестилась — нейдет сон, душа от страху жмется. Вот помяните: накличет он своих, будет беда...

Но только раз я видел следы двух волков, появление которых вблизи заимки вряд ли было вызвано пребыванием на ней нашего Волчика: они прошли нежилым берегом и краем озера, не выказывая желания приблизиться к домам, и скрылись в лесу.

В одну из ночей, сжалившись над Волком, я оделся потеплее и вышел к нему. Он не сразу узнал меня в отцовском полушубке, насторожился. Но, услышав голос, закрутился, заюлил, вскинул по обыкновению лапы на плечи, чуть не свалив меня в тяжелом моем одеянии. Не опасаясь испугать кого-нибудь из соседей, я спустил его с цепи тут же у конуры.

Мы долго гуляли по безлюдной, странно изменившейся заимке. Темные окна домов отражали свет полной луны, стоявшей в морозном зеленоватом кольце, заиндевевшие коровьи стайки, казалось, были окутаны облаком парного воздуха.

Волк не был, как обычно, расположен к играм. Он сосредоточенно принюхивался к различным следам, оставленным днем людьми, прислушивался, будто обнаружив это впервые, к скрипу снега от моих шагов, к гулу лопавшегося на озере льда.

Тихо было до той поры, покуда нас не обнаружила какая-то собачонка. Она истошно заголосила, залилась под крыльцом. Ей ответила другая, третья, подключились собаки с заимки на том берегу...

Продрогнув на сорокаградусном ночном морозе, я с удовольствием забрался опять в кровать, еще хранившую тепло. Засыпая, я долго слышал, как перебрехивались и подвывали, подзадоривая друг дружку, взбудораженные собаки.

С наступлением весны мы с Волчиком стали делать ближние прогулки в лес. Уходили мы недалеко, в лесок за совхозные конюшни, углубляться далее я не решался.

Возвращаясь как-то с охоты, я встретился под вечер с его диким сородичем не дальше, чем в километре от домов, и опасался, что известная поговорка: «Сколь волка ни корми, он все в лес смотрит»,— не находившая пока подтверждения во время наших прогулок, может оказаться пророческой при встрече с «настоящим» волком в лесу. В самом деле, кто мог сказать, чем кончилась бы подобная встреча?

Несмотря на то, что в недалеком будущем нам предстоял переезд из Сибири в Воронежскую область, где мы жили до войны, вопрос, как быть с Волчиком, еще не был решен, и мне было бы, признаться, очень горестно видеть нашего Волка, уходившего в лес навсегда, неблагодарно и вопреки хозяйской воле.

Ближе к отъезду на семейном совете было решено отвести Волчика в лес и предоставить его себе. При этом было опасение, что вскоре он доверчиво может вернуться к людям и будет встречен выстрелом или, напротив, превратится в изощренного хищника, вора домашнего скота. Но что было делать с ним, если на житье к себе его никто не брал, а дальний переезд по железной дороге в шумный районный центр с его двадцатитысячным населением ничего не сулил ему, кроме неприятностей?

Поднять ружье, как советовали некоторые, и разом разрешить вопросы относительно будущего Волка — было сверх наших сил.

Я пошел с Волчиком в лес под вечер. Спущенный со сворки, он по обыкновению попытался поиграть со мной, но я не поддержал его, и он занялся своими делами. Я был занят мыслями о его судьбе, о расставании, которое должно было произойти сегодня, и о том, как это произойдет.

Мы зашли в лес так далеко, как никогда еще не забирались. Вечер уходил, сгущались сумерки. На полянах, как дым от далекого костра, слоился тонкий туман. Кончили свое вечернее бормотание косачи, лишь сонно побрехивала, встревожившись, сорока, призывно кричала где-то на луже утка, и в залитых полой водой тальниках ей отвечал, потрескивая, селезень-чирок. Потом он перелетел, и я слышал, как, легко всплеснув, он снова сел в темных кустах.

Все для Волка было здесь ново и крайне интересно. Он неторопливо, внимательно обнюхивал вытаявшие мышиные ходы, червячки тетеревиного помета в местах ночных снежных лунок.

В лесу наступало время зверей и птиц, когда, покинув лежку, оставляет первые следы заяц, вылетает сова, мягко огибая стволы деревьев, и, наткнувшись вплотную, неслышно шарахнется в сторону. Мигнула и зажглась над лесом первая звезда.

Каждый звук, рождавшийся в безмолвном лесу,— отпавшая ли сухая ветка, шорох ли мыши, хрустнувший под чьей-то осторожной ногой сучок — все занимало, настораживало Волка, заставляло его прислушиваться и ловить верхним чутьем долетавшие из чащ лесные запахи.

Я предполагал, что это время было наиболее подходящим для начала новой жизни Волка, а длинная ночь, проведенная среди лесных

обитателей в пору их самой активной деятельности, должна была переломить Волчика и пробудить его инстинкт дикаря. Во всяком случае мне так хотелось, поскольку уж мы решили расстаться с Волком таким образом.

Волк тем временем взял чей-то след и, останавливаясь то и дело и разнюхивая его, потихоньку пошел по нему и скрылся в густом осиннике.

Оставшись на поляне один, я облюбовал большую развесистую березу, сделал несколько путаных ходов, заячьих «двоек» и «сметок» и, допрыгав до березы, забрался повыше и затаился в ветвях.

Довольно долго Волка не было. Затем он появился из осинника и остановился, отыскивая меня глазами.

Все дальнейшие его действия мне были сверху отлично видны. Не обнаружив меня, Волк кинулся к тому месту, где последний раз видел меня. Он покрутился там, взял след и, тщательно разбираясь в моих хитростях, сколовшись не однажды на моих сметках и начиная каждый раз сначала, в конце концов оказался у моей березы. Дальше след исчезал. Я видел, что Волк был очень обеспокоен. Он торопливо, но старательно еще раз обшарил всю поляну и, снова в точности повторив все мои движения, опять оказался подо мной.

Далее следа не было! Это было выше его понимания. Волк заметался в панике под березой и, отчаявшись, вдруг — завыл.

Тая дыхание, я сидел не шелохнувшись.

А Волк продолжал выть. Он выл совсем не так, как зимними ночами, сидя на столе,— вой его был сейчас отрывист, со всхлипами. Он был растерян: лес, родной, спасительный лес обернулся для него безмолвной пустыней, исполненной ужасов и одиночества.

Я был растроган привязанностью Волчика, от его тоскливого воя сердце мое сжималось жалостью.

Время шло, но Волк не собирался уходить из-под березы.

Что мне оставалось делать?

Я не выдержал и начал спускаться вниз. Боже, как обрадовался мне Волчик! Он закрутился, запрыгал вокруг, вскинулся мне на грудь и облапил меня, словно опасаясь, что я опять могу исчезнуть.

Больше его сейчас ничто не интересовало в лесу. На обратном пути он держался неподалеку, заигрывал и искал руку.

Домой мы вернулись, когда уже совсем стало темно.

И вот пришло время нашего отъезда. Волка нам пришлось взять с собой.

Грустно было расставаться с привольем светлых березовых лесов, только что одевшихся молодой листвой, с озером, на середине которого привычно чернел табунок нырков, с охотой, начинавшейся сразу за огородами...

Что ждало Волчика в дальней дороге и на новом для него месте?

Пережив два нелегких года эвакуации, люди готовились к переезду на родину, как к празднику.

От совхоза до станции было двадцать пять километров. Длинным эшелоном повозок тронулись мы в путь.

Волчика привязали к телеге около заднего колеса. Суета сборов, шумная вереница повозок, крики и говор многих людей выбили его из колеи уединенной жизни в тихом палисаднике под окном. Волка пугало катившееся рядом колесо с мелькавшими спицами, он нервничал, и наши слова утешения не имели действия. К тому же лошадь, как только он появлялся сбоку в поле ее зрения, всхрапывала, шарахалась, дергала телегу и привязанного к ней Волка. Он натягивал цепь, крутился и в конце концов угодил пальцем под колесо.

Я не мог больше видеть метавшегося Волчика, слез и взял его на

цепь. Мы пошли лесом вдоль дороги. Волчик повеселел, и хотя палец ноги у него оказался сломанным, он не обращал на это внимания и почти не хромал. Его нельзя было упрекнуть в изнеженности, видно, не к легкой жизни готовила его природа!

Так мы шли лесом, пока не наткнулись на стадо. Глухо мыча, коровы окружили нас кольцом. Даже дальние коровы, заслышав мычание, устремились рысцой к нам, тряся подгрудками, звякая колокольцами, чтобы принять участие в этой блокаде.

Оскалившись, Волк метался то в одну, то в другую сторону, отщелкиваясь зубами. От наскоков Волка коровы пятились, но круг нацеленных на нас рогов не размыкался. Крутясь вокруг меня на цепи, Волк запутал мне ноги, я упал, а он забрался на меня. Положение становилось неприятным. Совсем рядом я видел налитые кровью глаза коров, пригнутые к земле головы. Я боялся пошевелиться, чтобы не разрушить положение того неустойчивого равновесия, которое наступило, когда ни одна из коров не решалась напасть первой, а Волк сидел на мне, скалился своей адской улыбкой и «стрелял» зубами.

Нас выручил пастух. От щелкания его кнута коровы с облегчением, как мне показалось, отпрянули в сторону, и мы побежали догонять обоз.

Неизвестно, как сложилась бы судьба Волка, если бы мы продолжали жить в Зауралье, но с отъездом оттуда для него наступили тяжелые времена. В поезде его поместили в вагон, одну половину которого занимали тюки прессованного сена, а другую — несколько веялок. Вагон только что прошел дезинфекцию, в нем было трудно дышать от густого, першившего горло запаха карболки.

Навестив Волчика на остановке, я обнаружил его залитым маслом — вероятно, это было дело рук испугавшегося смазчика, обходившего состав с молоточком и длинногорлой масленкой. Несколько перегонов я ехал в вагоне с Волком и оттирал его от солярки сеном. Мне казалось, что он страдает не только физически от запаха масла и слипшейся шерсти, но и морально, чувствуя несправедливость того, как с ним поступили.

Приехав на место, мы поместили Волка в глубине парка, примыкавшего к нашему дому, в стороне от людских глаз. Но весть о том, что у нас есть самый настоящий, дикий волк, быстро разнеслась по всему районному центру. К нам началось паломничество. Приходили знакомые и незнакомые, поодиночке и группами, экскурсии пионеров с учителями биологии. Приходили охотники, владельцы борзых — а чаще выборзков — с просьбой попробовать притравить по волку своих собак.

Мы потеряли покой, выдворяя то и дело из парка непрошеных посетителей. Многие из этих назойливых гостей относились иронически к нашим увещеваниям. Они недоумевали, как можно защищать волка, по их мнению — это животное находилось вне закона.

Площадка около Волчика забрасывалась кусками хлеба, который он по-прежнему не ел, палками и камнями. Он стал раздражителен, предпочитал забиваться в конуру от надоедавших ему людей, которые желали видеть его таким, какими они, далекие от природы, представляли себе волков — злыми, кровожадными.

У Волчика появилась привычка, как у зверей, сидящих в клетках зверинцев, бессмысленно бегать из стороны в сторону. Наши прогулки стали теперь редкими. Я боялся спустить его со сворки, опасаясь встреч с людьми; часто нас сопровождали зеваки, которых я вынужден был терпеть, так как запрещение приближаться озлобляло их, при удобном случае они могли выместить эту злобу на Волке.

Недоверие к людям, появившееся в Волке, в какой-то степени распространялось и на меня. Я с грустью чувствовал, что «золотая» пора

нашей дружбы, не омраченной этим недоверием, прошла. Ясно было, что при той неугодливости и негибкости, которой отличался характер Волка, ее уже было не вернуть.

После переезда мы стали жить вместе с дедом. Моя и его кровати стояли летом на веранде, выходящей в парк, где сидел Волк. Вечером, ложась спать при свете свечи, дед вставал на старый коврик и поворачивался к маленькому образку, висевшему у него в головах кровати. Этот образок из потемневшего дутого серебра с овальным эмалевым изображением божьей матери посредине был знаком мне с раннего детства, он позванивал о кровать, когда я кувыркался на ней, и не раз рассматривал иконку, привлеченный этим позвякиванием.

Я обычно не спал, но догадывался, что деду хотелось бы свершить молитву наедине, и потому делал вид, что сплю. Он не был набожным, эта короткая молитва перед сном, самым таинственным временем, отделявшим один день от другого, была его единственным разговором с богом. Я подсматривал за молившимся дедом. Мне приятно было видеть его лицо с оттопыренной нижней шепчущей губой, морщинистый голый затылок, становившийся смиренным, как у школьника. Дед был глух и, как все глухие, шептал слова громко, с присвистом, но я все равно не мог разобрать ни одного слова.

В тот запомнившийся мне вечер я, укладываясь спать, принес и поставил на подоконник две горящие свечи, потом еще одну принес дед. Прервав шепот молитвы, он вдруг поспешно потушил одну. Я удивленно приоткрыл глаза.

— А, ты еще не спишь,— сказал он, вздохнув, и пояснил, помолчав: — примета плохая: три свечи — к покойнику.

Меня поразили его слова. Я только что, глядя на молившегося деда, думал о всех нас, о том, каким будет завтра день.

К какому покойнику? И как близко это может коснуться нашей семьи, в которой все были бодры и здоровы?

Проснувшись, я вспомнил разговор накануне и с облегчением узнал, что все у нас было благополучно, за окном вставало великолепное утро, в парке вздорили воробьи и ворковала где-то горлинка.

Я выскочил босиком на теплое от солнца крыльцо и, как обычно, свистнул издали Волчику, подготавливая к радостной встрече. Но Волк лежал на боку и не поднял головы. Приближаясь к нему, я окликнул его еще раз и заметил вдруг синичку, безбоязненно прыгавшую так близко от лежавшего врастяжку Волка, как никогда бы не осмелилась, если б...

Сердце у меня екнуло от страшного предчувствия. «К покойнику»,— вспомнил я слова деда. Это было, конечно же, совпадением, но — Волк был мертв. Он был убит железным ломом, валявшимся тут же.

Волк запутался цепью за дерево — это лишило его возможности увертываться и защищаться. Он не умел ни визжать, ни лаять и оборонялся молчком, гневно кашляя, вероятно, отщелкиваясь и пытаясь вырвать лом зубами, часть которых оказалась у него выкрошенной. Я был от Волка недалеко, но ночью ничего не слышал и не пришел к нему на помощь.

Прошло много лет, но дружба с Волчиком не забылась. Благодаря этой дружбе я навсегда сохранил особое отношение к волкам.

Не раз я участвовал в охотах на волков. Однажды были зафлажены четыре волка. Стрелки встали на номерах в продолжение линии флажков. В глубине оклада тихо ходили, негромко посвистывая, постукивая палочкой по стволам деревьев, два загонщика.

Три волка были взяты в первый день охоты, а четвертый — он был ранен — остался в кругу. Ранние зимние сумерки помешали нам взять

этого последнего волка. Кумачовые флажки стянули вкруговую, и они остались стоять до следующего дня.

Мы ночевали на маленьком глухом кордоне, окруженном лесом. Удачливые охотники ужинали и пили водку, «гусарили», оживленно вспоминая за столом события сегодняшней облавы и прошлые охотничьи истории.

Я выходил на крыльцо дохнуть свежего воздуха. Великолепным было высокое звездное небо. В темных чащах мороз постреливал изредка сучком, прохватывал ноздри, студил разгоряченные после долгого пребывания на воздухе и жаркой избы щеки. За бревенчатой стеной слышались голоса и смех охотников.

Где-то в темном лесу сидел в глухом окладе раненый волк. Нелепой казалась простота умного, сильного зверя, не позволявшая ему переступить черту оклада, непостижимым был простодушный страх волка перед кумачом безобидных флажков. Я вспоминал простака-волка, вмерзшего в прорубь в ожидании рыбы, которого наутро бабы отлупили бельевыми вальками,— как точны в характеристиках своих героев русские сказки.

Отдохнувшие, выспавшиеся, мы пришли на другой день к месту облавы. Волк из круга не вышел. Сняв часть флажков, цепью расставились стрелки. Стоя на номере, я слышал, как далеко в лесу начали «пошевеливать» зверя загонщики, думал о раненом волке — последнем, вероятно: о волках давно не слышно было в наших краях,— который провел тяжелую ночь в зафлаженном лесу, когда мы спали в избе.

Он вышел на меня неожиданно близко. Я увидел его всего сразу: слипшуюся от крови, с примерзшим розовым снегом шерсть на ляжке, приставший на шее обыкновенный, как у собаки, репей, его ненавидящие и полные ужаса глаза — он уже знал, что сулит ему встреча с человеком. Я еще раньше, слушая приближавшихся загонщиков, задумал не стрелять этого волка, коль он выйдет на меня. Впервые с тех пор, как у нас жил Волчик, я видел так близко живого вольного волка.

Я не поднял ружья: непросто выстрелить по последнему зверю, даже если он волк.

Вадим Петрович Чернышев родился в 1929 году. По специальности — инженер-судостроитель. Живет в Москве, работает в Министерстве судостроительной промышленности. Публикуемый рассказ — его первое выступление в печати.

АЛЕКСЕЙ ЯРУШНИКОВ

★

ПОЕЗДКА В КРЫМ

Рассказ

Дорога вела в Крым, или, вернее, к покосам, которые так назывались.

Лошадки бежали шустро. Маленькие, мохнатые, обросшие куржаком, они поматывали головами, косили необыкновенно живыми карими глазами на седоков в фуфайках и весело, не надсадно пофыркивали. Их не понукали, ими не правили, вожжи болтались свободно по бокам. И видно было, что эти две лошадки, похожие друг на друга и мастью, и нравом, и бе́гом, знают дело и без вожжей и что эти двое седоков полностью доверяют им.

Тем более что дорога была без свертков. Вилась себе и вилась по снегам. Огибала горы, заросшие сосняком, елкой, осиной, ныряла в частые лога.

Ехали Ванька Петров, или — Кутя, и Император.

Ваньке нравились в это утро и дорога, и лошади, и онемевшие на морозе леса. Ему даже нравился сам мороз, нравилось вдыхать его так глубоко, что пяткам, трижды замотанным и перемотанным в байковые портянки и обутым в серые толстые валенки, делалось щекотно.

Ему нравилось подставлять задубелое, красное лицо ветру, которого вообще-то и не было. Но так как лошадки шустрили славно, то ветер получался от движения.

И особенно ему нравилось холодное, белое и высокое небо. Солнце, висевшее над самым горизонтом, и сам горизонт, недалекий по здешним гористым местам, но, как и везде, отливавший дымчатой синевой, хрусткой и заманчивой.

И что больше всего нравилось Ваньке, так это то, что он один, что он сегодня сам по себе. Что он может сейчас оставить лошадку и взобраться на любую гору, сбегать в тайгу и поискать кедровых шишек. И никто его не окликнет. Никто. Потому что он с сегодняшнего утра расконвоирован. Потому что он отсидел уже треть срока. И вчера сам начальник колонии сообщил ему о «расконвойке».

И никто больше его не охраняет. И не будет охранять за территорией колонии. И никогда он уже не почувствует на своем затылке или на своей щеке настороженный взгляд.

И еще сказал начальник:

— Смотри, Петров, нарушишь режим — опять под конвой.

Ванькина лошадь бежит себе, помахивает хвостом, косит на Ваньку карим веселым глазом и пофыркивает.

Плывут мимо сосны, словно девки, краснотелые и голенастые. А елки, те ни дать ни взять бабы в трауре, задрапированные по самые подошвы.

Хорошо Ваньке Петрову без конвоира, вольготно. Легко дышится, славно думается, далеко смотрится.

Ванька перебирает в своей памяти все, что недавно волновало его, чем он жил. Считался Ванька и в колонии, и еще когда на свободе жил, парнем «что надо». Мол, этот не промах. Мол, этот свое у жизни вырвет. И Ванька кичился, из кожи лез, чтоб поддержать свою репутацию. Хоть, прямо надо сказать, из кожи лез редко, так как ему все давалось легко. Он и воровал запросто, и дрался запросто. И дали — даже для первого раза маловато — пять лет, тоже запросто. И отсидел треть запросто.

«Фарт,— посмеивался он сам и его дружки.— О, это великая штука — родиться под звездой. Одним словом — фарт».

И Ваньке завидовали. Ваньку уважали его единомышленники. Он был здоров, и силен, и хитер. Хитер не по мелочам. Хитер по крупной. Он мог работать, как черт. Но уж если не хотел работать, то напрасны всякие уговоры.

Ванька с улыбочкой вспомнил и последний свой трюк.

Захотелось ему отдохнуть. И отдохнул. Проглотил домино. Было такое пластмассовое, беленькое. Штук десять, наверно.

Ходил по бараку, попрыгивал, а домино — звяк, звяк в животе. Звяк, звяк... Всем смешно, а ему — смешнее всех. Два месяца отдыхал в больнице. На свежих простынях, на панцирной сетке и в чистом халатике. Два месяца.

И вот сегодня, сейчас все это «запросто и легко» показалось таким ничтожным и дешевым, что у него дух захватило и заныли коленки, и легкая судорога повела ноги. Точь-в-точь такая же у него бывала частенько при воспоминании о женщинах. Да-да, он о них вспоминал. Ему ведь двадцать шесть. Но всегда женщины и судорога. А сегодня судорога и женщины. «Вот черт, условный рефлекс, как у собаки»,— подумал Ванька и засмеялся. Хотя коленки ныли по-прежнему. Хотя перед глазами стояла уже мать, старенькая, чистенькая, с большими серыми глазами, всегда мокрыми от слез и испуганными.

И он, Ванька Петров, он, ее злополучный сын, подходит к ней, а под рукой у него краля. Ах, пальчики оближешь, какая краля. Подходит, значит, Ванька и говорит: «Знакомься, мама, это моя невеста».

А мама, как всегда, в слезы. А сын, как всегда, сдержан: «Поплачь, мама. Эти слезы последние. Сын тебе плакать больше не позволит. Поплачь, мама».

И мама плачет. Она плачет и берет невесту за руки, вглядывается в ее красивое лицо, в ее красивые, добрые глаза. И Ванька видит, что матери нравится невеста. И еще видит Ванька, что невеста очень похожа на мать. Просто вылитая мать, когда она была еще молода и ее глаза еще были не зареваны.

Ванька от такого неожиданного сходства даже смутился, даже кашлянул в кулак и сдержанно сказал: «Мама, ты сама хотела, чтоб я женился».

Ванька отсидел зад. Он встал на коленки и взялся за передок саней руками.

Вдали, на самом горизонте, показался утес, кривой и острый, как боронный зуб. Он возвышался над окрестностью. Он стоял, как бог, посреди этой снежно-каменно-деревянной немой пустыни. А для Ваньки он двигался. Ванька от солнца, а утес — к солнцу. Наползал на него медленно, неумолимо. Вот напоролся на солнце, опалил в нем свою вершину с одиноким корявым кедром, покраснел, будто кусок металла.

Ванька прищурился. Он целил в холодное солнце. Мушкой был утес. И когда утес распорол солнце на две равные половины, он махнул рукой:

— Пли!..

Взрыва не последовало. Но утес уже сползал с солнца. Уже остывал. Вот он опять, иссиня-черный, над снежным горизонтом. Все тянется за Ванькой. Не хочет от него отставать. Но где ему, каменному, угнаться за его мохнатой лошадкой.

Ванька только собрался по этому поводу хорошенько пофилософствовать, как над самым ухом услыхал ровное сопение. Повернулся и чуть не опешил. Прямо над ним седая голова лошади. Серая от инея. И прет прямо на него седой и тяжелой грудью.

Ванька схватил лошадь за узду и придержал:

— Пардон, мадам...

И в это время к нему на сани прыгнул Император, здоровенный и мордастый, как Ванька, парняга. Он привязал свою лошадь к Ванькиным саням за ременный повод. Оттолкнул ее от себя:

— Н-но, родимая... Поотстань, поотстань чуток.— И когда лошадь отстала на длину повода, он достал из кармана ватных брюк кисет с махрой, газетку и протянул Ваньке: — Закуривай.

Ванька оторвал квадратик газеты, сыпнул в нее щепотку табаку, скрутил цигарку, прикурил от спички, которую протянул ему Император, и затянулся. Дым пускал от первой затяжки ртом, ровными махонькими кольцами. Кольца, удаляясь, разрастались, таяли. После второй затяжки дымил ноздрями.

Император курил как-то неистово. Он со свистом и часто посасывал свою цигарку. Она у него трещала и сыпала искрами. И если у Ваньки цигарка была еще почти целая, то Император уже обжигал пальцы и губы.

Вот он раздавил ее о подошву пима, скрутил в катышек и выстрелил пальцами. Потом потянулся:

— Однако градусов тридцать будет.

— Прохладно,— подтвердил Ванька, затягиваясь и выбрасывая недокуренную цигарку.

Он вдруг схватил Императора под мышки и толкнул с саней. Тот от неожиданности даже рук не успел протянуть. Как сидел, так и сунулся лицом в снег.

Ванька ринулся прямо на него, подмял под себя. Но Императора голыми руками не бери, добр лосина. Вывернулся из-под Ваньки, вскочил. Схватили они друг друга за грудки и давай кружить, пурхаться по снегу. Снег глубокий, едва не по пояс проваливаются.

Ванька скалит зубы:

— Ну, что? Что тебе надо? В снег тебя закопать?

— Я т-тебе закопаю... Я т-тебе уработаю,— пыхтит Император. И мотает, подергивает Ваньку так, что у него голова болтается, а ноги порой взлетают к небу, порой, словно циркулем, чертят со свистом вокруг Императора снег.

Крутит Император Ваньку, как балалайку, а уронить не может. Одно слово — Ванька-встанька.

Запыхался Император, упарился. Лицо и без того красное, а тут краснее медного самовара. И руки от усталости дрожат, и ноги дрожат, и голос дрожит.

— Отстань, Кутя... Завязывай.— Он знал. что от Ваньки так просто не отвяжешься, что тот на полдороге не остановится, поэтому чуть не стонет: — Завязывай, Кутя.

У Императора пот по щекам. А Ванька сух и неумолим. Вот он ловко нырнул под Императора, поднял его на себе и с силой бросил в снег. Император упал на спину, вытянулся во весь свой богатырский рост.

Глаза залеплены снегом. Он прочистил пальцем один глаз, открыл его и бесхитростно, просто спросил:

— Ну, доволен, дубина?

Ванька действительно доволен. Он улыбался. Улыбался широкими плечами, улыбался лбом (шапка была сдвинута на затылок), улыбался ушами. А лукавые глаза, губы, нос так и сияли. Ванька похож сейчас на сытого, щедрого мальчишку. Вот он протянул великодушно руку Императору, помог ему подняться и подмигнул:

— Ну, сколько градусов?

— Все сорок,— протянул распаренный, словно после бани, Император.— С тобой не замерзнешь.

И тут же присвистнул:

— Э, Кутя, а лошади наши где?

Сколько они ни вглядывались, лошадей не было видно.

Ванька выскочил на дорогу. И опять подмигнул Императору:

— Ножками, ножками, милый. Лошади давно сено кушают и нас поджидают.

И он пошел беззаботный. Зная, что лошади не потеряются, что до покоса осталось километра три. А свертков здесь нет.

Император догнал, пристроился сбоку и сокрушенно вздохнул:

— Эх, один градус — градус, сорок градусов — водка. Одно несчастье — несчастье, сто несчастий — Находка.

— Был, что ли, и в Находке? — покосился Ванька.

— Был,— подтвердил Император.

Ванька потер шубенкой нос.

— Да-а, а я вот дальше Урала нигде не бывал. Не приходилось как-то.

Шли они, судачили о том да о сем. Ванька по сторонам поглядывал. Он здесь зимой еще ни разу не ездил. Летом сено косил под конвоем, а зимой впервые. И без конвоя.

Дорогу помнил с лета. А лучше всего знал ее по рассказам. Собственно, и знать-то ее нечего. Как у самой колонии свернул с большака, так и шуруй без оглядки. И попадешь в Крым.

Император здесь не впервой. Он давно уже в расконвойке. И поэтому ему иногда приходилось зимой приезжать за сеном сюда.

Почему иногда? Потому что работа эта шла у них за первый сорт. Подумаешь, набрать воз сена. А так сиди и покуривай. Десять километров сюда, десять обратно.

Это тебе не повал леса.

Вот и посылают сюда поочередно, как бы для отдыха. Съездил, а там — опять на повал.

Ваньке повезло. Первый день в расконвойке и сразу за сеном. А может, это просто политика, чтоб человек почувствовал, что он действительно свободен?

— Ха,— ухмыляется добродушно Ванька.— Не на каждого, конечно. Но меня, например, срезало насмерть.

Дорога резко крутанула вокруг горы и уперлась в маленькую рубленую избенку с одним-единственным насквозь промерзшим окном, слеповато смотревшим на расстилавшуюся перед домом елань, на которой стояли стога сена.

Елань со стогами была похожа чем-то на заснеженное болото с гигантскими волосатыми кочками. И Ваньке так и казалось, что вот сейчас выйдет из тайги великан под стать этим кочкам и начнет собирать клюкву, легко сшибая с кочек шапки снега.

Но великан не появился. Вместо него из-за избы вышли навстречу парням маленькие, заиндевевшие лошадки и весело заржали.

Они переступали с ноги на ногу, мотали головами, хвостами и ржали, ржали. На этой солнечной поляне с маленькой избушкой.

Ванька подошел к первой лошади, потрепал уши, челку, запустил руку в гриву:

— Ну что, заждались?

Лошадь потянулась к нему носом, дохнула ему прямо в лицо. Ванька отмахнулся:

— Ну, вот еще, расчувствовалась.

И тут же уставился на Императора, на его брови, ресницы, заиндевевшие, белые, будто вымазанные сметаной, и засмеялся:

— Брови-то отморозил.

Император в свою очередь засмеялся, глядя на Ваньку.

Ванька провел рукой по своим густым, сросшимся бровям и почувствовал, как они, замерзшие, захрустели.

Стояли они, смеялись, а вокруг все искрилось и сияло. Все выглядело свежим и молодым. И сама заснеженная, ослепительная поляна, и стога, обложенные высокими сугробами. И даже елки, обступившие поляну, обычно угрюмые, сейчас не казались хмурыми. И след лося, пробиравшегося к сену, вначале спокойный, потом вдруг начавший отмерять саженками, видно вспугнул кто, выглядел необыкновенно свежим и теплым. Казалось, вот-вот прошел лось. Выбеги из-за стога — и еще увидишь его рыжеватую сильную хребтину, мелькающую между деревьев.

Ванька, осмотрев поляну, повернулся к избе и чуть не носом ткнулся в лыжи. Они стояли прямо перед ним, прислоненные к бревенчатой стене. Блестящие, новенькие. Чудо, а не лыжи. И крепления целы.

Ванька толкнул Императора:

— Смотри!

Тот, увидев, тоже чуть не задохнулся:

— Вот это подарочек. Сейчас бы ружьишко и — в горы.

Ванька взял лыжи, надел и пошел чесать по поляне, пошел куролесить. Обежал круг, пошел на второй. Сзади только снег завихривает белым буруном по пятам.

Прибежал красный Император, руку поднял:

— Стоп машина.

Надел сам и давай взбрыкивать по целине, как жеребенок.

Ванька проводил его глазами, взял с саней штыковую лопатку и направился к ближайшему стогу. Начал его огребать от снега.

Император кружнул вокруг поляны, подбежал:

— Э, ты чего это?

— Как чего — сгребаю. Накладывать сено-то надо.

Император скинул лыжи и присвистнул:

— Тю-ю-ю, ну и дубина. Ты наберешь, приедешь раным-рано, и тебя же еще работать заставят... Ну, нет. Раз приехал в Крым — значит, давай загорать и не мозолься.

И он принялся распрягать ближайшую к нему лошадь.

Ванька воткнул лопатку в снег и направился было к Императору, но тот махнул рукой:

— Ладно, без тебя распрягу. Давай, раз начал, натереби немного сена лошадям, чтоб не скучали.

Ванька взял опять лопатку и побрел по сугробам к стогам. Он огреб крайний и стал теребить сено. Теребил из одного места, как бы делая пещерку.

Вначале теребилось туго. Но по мере того как пещерка разрасталась, сено поддавалось лучше и лучше. И вот оно уже пошло пластами. Только бери его.

Ванька не заметил, как перебросал чуть не половину стога. Император унял:

— Хватит, Кутя.

Он распряг лошадей, привязал их к саням. Подошел к Ваньке, руки в бока, ухмылка до ушей:

— А ягоды чего не пробуешь?

— Какие ягоды?

— Какие,— передразнил Император.— Эх, дубина ты все-таки, Кутя. Стоишь на них, гребешь их.

И Император вытащил стебелек клубничника, на котором полностью сохранились и листья и ягоды, только сушеные.

У Ваньки заблестели глаза. Он ткнул Императора в бок, выхватил у него ягоды и моментально обобрал их. Поднес ягоды на ладони к носу, принюхался и закатил глаза:

— Вай-вай, куда я попал!.. Вай-вай, и правда в Крым!..

После такого вступления он сунул ягоды в рот, медленно разжевал их, проглотил и только тогда открыл глаза и уткнулся в сено:

— Где они? Где?..

Но их не надо было даже искать. Надо было просто приглядеться, и они — вот, прямо перед тобой. Маленькие, сморщенные, а когда разжуешь, по-летнему ароматные и вкусные.

И Ванька вспомнил, что, когда косили сено, ягод было видимо-невидимо. Они объедались ими... Они, раздетые, спали на них. И спины, животы были красны от раздавленной клубники.

И вот теперь, зимой, опять ягоды.

Ванька неторопливо обирал их, неторопливо совал в рот и все щурился, щурился.

— Хорошо все-таки на воле. И кто ее придумал! — говорил он сам с собой.

Император кивал головой и тоже ел ягоды, рассуждая:

— Ха, подвезло насчет лыж. Какая-то растяпа оставила, а нам праздник. Спрячем их где-нибудь и будем покатываться, когда путь сюда выпадет.

Вокруг было тихо и светло. Стояло в морозном круге солнце над горизонтом. Немо вздымались к небу покатые лбы гор. И так же немо чернели на них леса.

И вдруг над этой тишиной проплыл слабый, протяжный звук. Он был неясен. Он проплыл и затих. Но Ванька и Император перестали жевать, подняли головы и уставились в ту сторону, откуда он прилетел.

Они узнали его. Они узнали бы его, будь он еще слабее. Эти парни с обветренными, задубелыми лицами, с крепкими зубами, с крепкими носами жадно прислушивались.

Они ждали, что где-то там, за горами и лесами, еще раз прогудит поезд. Ну что ему стоит. И до них долетит, докатится этот слабый, заманчивый, о многом напоминающий звук.

Но было тихо. Даже слишком тихо.

И Ванька вздохнул:

— Да, дурак же я все-таки был.

— И я дурак,— вздохнул Император.— По глупости срезался. А ведь как жил... Мечта...

Ванька потянулся, зевнул:

— Император?

— А?..

— Хочешь, я тебе в морду дам?

— За что? — спокойно спросил Император.

— Да так.— Ванька опять зевнул и потянулся.— Соснуть бы часок-другой.

Император поднялся на ноги:

— Пойдем.— И, прихватив большую охапку сена, направился к избе. Возле саней бросил сено и сказал лошадям: — Жуйте, труженики.

Он прошел к небольшой поленнице дров, стоявшей возле самого окна, наложил себе порядочную ношу, до самого подбородка, и проплыл, отдуваясь, как женщина, в избу.

Когда Ванька пришел туда, печурка уже пыхтела вовсю. Дверцы ее были открыты, и по закопченным стенам, по потолку плясали огненные блики.

В избе было тесно. По бокам — нары в два яруса. Между ними — узкий проход. И у самого порога печурка. В стенах изо всех пазов торчал мох. Видать, не скупились те, кто рубил эту избу. Да и чего скупиться: иди и дери в любом болоте. Богато насчет мха.

Ванька завалился на нары, вытянул ноги.

Потрескивали дрова в печурке, гудело и рвалось в трубе пламя. И Ваньке этот приглушенный гул казался непрерывным криком поезда, летящего по синим стальным рельсам.

Вот черт, даже как-то не по себе. И такая тоска навалилась.

И ведь совсем рядом от поезда. На лыжах, напрямую, всего полтора часа ходу.

А почему их летом не слышно?

Ванька повернулся к Императору, хотел спросить у него об этом. Но не спросил, только посмотрел протяжно на блаженную улыбку Императора, на его спокойные руки, сжатые в кулаки и чуть не засунутые в печурку, красные и здоровые, как кувалды.

Чему тут улыбаться? Так тошно, так тоскливо на душе. Ванька опять завалился на спину.

Вот черт, цепей ни на руках, ни на ногах нет, а прикован. И еще одно навалилось на Ваньку. Ему вдруг мучительно захотелось жареной картошки, и чтоб запивать парным молоком. Даже в животе засосало.

С этими мыслями Ванька и задремал. Да так задремал, что стены избенки дрогнули от богатырского храпа, что четыре часа мигом показались. Будто только прилег, закрыл глаза, и сразу толкают в бок. Не открывая глаз, вспомнил, что он в Крыму, что толкает Император. Наверно, пора сено накладывать, вот и будит. Вот черт, пинает он, что ли? Дыхание от его толчков захватывает.

Открыл глаза и увидел перед собой начальника охраны, молодого, розовощекого лейтенанта. Хохла — по прозвищу.

Ванька глазам не поверил. Начал их кулаком протирать. Продрал, посмотрел. Нет, точно Хохол перед ним. В черном полушубке. При погонах.

Ванька лениво сел, потянулся, зевая широко и счастливо:

— А, милости просим, гражданин начальник. К нам, значит, на балаган.

Лейтенант смотрел на него, а он говорил и говорил. У Ваньки всегда так. Как только кто-нибудь из начальства стоит рядом, так язык и начинает молоть всякую всячину. Ванька не хочет, а язык мелет. Вот уж действительно без костей.

— Как охота, гражданин начальник?

А то, что лейтенант был на охоте, Ванька не сомневался. Во-первых, Хохол — заядлый охотник. Во-вторых, в Крым иначе и не попадешь... Не приехал же он сюда, чтоб посмотреть, как они с Императором сено будут накладывать.

И Ванька продолжал:

— Много ли зайчишек подстрелил? А может, лису-огневушку с пушистым хвостом? А может, рысь когтистую? Хорошо, если рысь. Обдерешь шкуру и постелешь на пол. Утром проснешься, спустишь ноги с койки, а там вместо холодного пола теплая и мягкая шкура. Да-а, хорошо, если рысь подстрелил, гражданин начальник. Но лучше, если медведя из берлоги выкурил. У медведя и шкура больше. У медведя и мясо кушать можно. Вкусное мясо. И много его. На всю зиму хватит. Подвесил тушу в чулане за задние ноги и ходи, руби каждое утро по куску: на щи, на жаркое, на пельмени. А самое главное, самое ценное у медведя — это сало. Слыхал небось, гражданин начальник. Медвежье сало от всех болезней лечит. Медвежье...

Лейтенант, иронически и высокомерно слушавший Ваньку, вдруг стал суров и строг лицом.

— Ладно, кончай балагурить, Петров. Выходи давай из избы.

Ванька встал, еще раз потянулся.

— Петров Иван Васильевич тоже чувствует, что пора кончать. Пора сено накладывать нам с Императором.

Он вышел из избы за лейтенантом. Вышел и сразу увидел трех солдат с автоматами. И вездеход. И сразу понял по их настороженным взглядам, по их деловым, озабоченным лицам — беда.

У него вдруг защемило в груди, заныли и покрылись холодной испариной коленки, пересохло во рту. В голове стало ясно и пусто. Все лишнее куда-то исчезло из нее. Уступило место вопросам и ответам. Почему? Что? Где Император?

Он заглянул в вездеход: не там ли? Нет, не видно. Хотел пройти мимо вездехода, отгородившего его от стогов и поляны, но один солдат прихватил его легонько за рукав фуфайки и потянул в машину:

— Сюда, сюда...

Ванька посмотрел в его раскосые, азиатские глаза, улыбнулся растерянно, глубоко вздохнул:

— Стало быть, нельзя, солдатик.

И полез в машину. Забился там в угол. Ванька думал. Он лихорадочно и торопливо думал. И слышал одновременно, как лейтенант отдавал солдатам распоряжение:

— Иркимбаев, запрягай коней. Поведешь их в колонию.

Лейтенант еще суетился около избы, а Ванька уже опять поднял голову, распрямился в спине. Он снова был самим собой. Он снова походил на наивного Ваню-дурачка, простака и балагура с большими ушами, торчавшими из-под шапки, с розовыми щеками.

Он понял: Императора нет. Император тю-тю. На лыжах к железной дороге. И ему вдруг так захотелось, чтобы Император ушел, исчез, чтобы его не поймали. Так захотелось. Но холодная, безжалостная логика подсказывала другое. Император спекся. Его уже взяли или заметили у железной дороги и сообщить успели. Поэтому начальник охраны и прикатил сюда. Других вариантов нет. Только так.

Как ненавистна ему сейчас собственная догадливость, которая рвет у Императора из-под ног последнюю надежду на удачу. У Императора не будет ее. Потому что он ушел вслепую. Потому что эти лыжи совершенно случайны. В последнем даже сомневаться не приходится. Ванька бы почувствовал, если бы тут было нечисто, с утра. Слава богу, опыт. Слава богу, интуиция. Но у Императора все случайно, все по настроению. А так хотелось, чтобы у него все было хорошо. Так хотелось.

В машину влезли солдаты, за ними сам лейтенант. Солдаты устроились на заднем сиденье, где сидел Ванька. Лейтенант уселся впереди, возле шофера.

Машина тронулась, закачалась на колдобинах и раскатах.

Ванька смотрел в важный затылок лейтенанта.

Вот всегда он такой — важный. А уж умник, не приведи господь. Слова не вымолвит просто, все норовит соригинальничать. И еще любит лейтенант книжки читать. Все больше классику. Его книжки можно увидеть и на вахте и в машине. С книжкой в руках он обычно обходит посты.

И Ваньке, глядя на его многозначительную сдержанность, кажется почему-то, что эти книжки он читает, как устав.

Ванька заерзал на сиденье. И вдруг заговорил:

— Ох, и дурак же Император. Какой дурак! И осталось-то ему досидеть всего ничего, год. За что, спрашивается, пять лет бухал!

Лейтенант, не поворачивая головы, обрезал:

— Хватит паясничать, Петров.

— Слушаюсь, гражданин начальник.

Ванька вдруг почувствовал, что холодеет. Медленно, но холодеет. Холодеют уши, холодеет нос, будто его, голенького, на мороз вывели, на ледяной ветер. И он промерзает. Вначале кожа, потом мышцы, его сильные мышцы, потом печенка, легкие, он чувствует, как их пронзают ледяные иглы, как они превращаются в куски льда.

— О-о-о,— застонал Ванька. Он побледнел, он задыхался, во рту пересохло, язык распух, руки в поту, ноги в поту, в холодном, липком. Ванька тыльной стороной ладони провел по лбу — тоже в поту. Вот сейчас, сейчас все будет кончено, сейчас сердце превратится в кровяной кусок льда. И Ванька торопливо подумал: «Не хочу умирать. У меня есть мать. Я хочу жить».

И он не умер. Он сидел онемевший, съежившийся и прислушивался к своему сердцу. Но его будто и не было в груди. Его не слышно, затаилось, оно прислушивалось к Ваньке, совершенно здоровое. «Вот черт, выдумал я про сердце, что ли? — думал Ванька.— В психиатрическую ложиться надо. Однако перетрусил порядочно. Однако трус я. Скажи кому — не поверят. Вчера и сам не поверил бы про себя, что — трус».

Мозолит Ваньке глаза затылок лейтенанта. А руки все потные и ноги потные, спина мерзнет. Ее будто корова мокрым шершавым языком лижет на сквозняке. Машину трясло, мотало из стороны в сторону. И было довольно нудно ехать в ней. Тем более что боковые стекла замерзли и ничего не видно: ни гор, ни тайги. Лишь затылок маячит перед глазами. В переднее стекло через головы лейтенанта и шофера много не насмотришь, надо вытягиваться, как гусаку.

К колонии подкатили лихо. С шиком тормознули у вахты и встали.

Ванька вылез из машины за лейтенантом и солдатами и направился в проходную. У вахты помахал лейтенанту рукой и подмигнул:

— Гражданин начальник, вы забыли поздравить меня с расконвойкой.

Его тут же одернули:

— Петров, к начальнику.

Ванька пришел в штаб. Секретарша разрешила ему пройти.

Небольшая, знакомая Ваньке комната. Письменный стол, стулья. Много стульев. Майора Ивлева, начальника, в кабинете не было. Но зато там перед столом сидел Император. Сидел угрюмый. Он улыбнулся, увидев Ваньку.

— И тебя привезли...

Ваньке почему-то не улыбнулось, он вздохнул и сел:

— С комфортом.

Только выговорил, вошел майор Ивлев. Ванька снял шапку:

— Здравствуйте, гражданин начальник.

Майор Ивлев направился к столу:

— Здравствуй, здравствуй, Петров.

Он, начальник, невысокий, худой, пожилой уже, был по-домашнему прост. И немножко свернутый набок нос, и припухшие губы настраивали на мирный, добродушный лад.

Майора Ивлева в колонии уважали. И хотя ему приходилось и наказывать, и кричать, его никто не боялся. Его уважали. И оправдывали в таких случаях: значит, допекли, значит, иначе нельзя.

Вот и сейчас Ваньке после тряского вездехода, после важного лейтенанта вдруг стало покойно и тепло. И, глядя на начальника, он тихо улыбался и думал: «Интересно все-таки человек устроен: чем он умнее, тем он проще». Ванька расстегнул фуфайку и стал крутить шапку, продолжая улыбаться.

Майор Ивлев смотрел на него, стучал пальцем по коробку спичек, лежавшему на столе. Вот кончил стучать, встал, заходил по комнате.

— Да, наработали опять, наработали.— Остановился возле Императора.— Ну, вот скажи ты мне все-таки, зачем бежал? Зачем?..

Император захлопал глазами:

— На волю потянуло, гражданин начальник.

Начальник остановился около Ваньки:

— А ты что скажешь, Петров?

Ванька пожал плечами:

— Ничего не скажу, гражданин начальник.

Майор Ивлев повернулся к Императору:

— Да, ни шиша ты так и не понял. Пять лет отбухал, а каким пришел к нам, таким и остался. Ну, да ладно, иди, Андрей Андреевич Пронюшкин. С тобой все ясно, иди.

Когда Император вышел, он взял стул и подсел к Ваньке:

— А лыжи где достали, Петров?

— Там были, гражданин начальник. Около избы стояли.

— Кто же их там поставил для вас?

— Не знаю, гражданин начальник.

— А все-таки?..

— Может, лейтенант Хохол. Он ведь ходит с солдатами на охоту. Он и лыжами заведует. Может, и лесник оставил...

— Да-а, плохо дело, Петров. Плохо. Не мог ты остановить Пронюшкина. Ведь год ему оставалось, всего год.

Ванька заулыбался шире:

— Куда мне, гражданин начальник. Я бы и сам ушел, если бы еще лыжи были. Мы из-за них чуть не подрались, жребий тянули. Где мне других отговаривать.

Майор Ивлев поскреб подбородок:

— Ну, ты бы, допустим, и не ушел, не прибедняйся.

— А вы откуда знаете? Я же вор, бандит.

— Знаю, Петров. Я все про вас знаю.— Майор встал.— Вот так-то, друг. Расконвойки тебя, видимо, лишат. Правда, говорит Пронюшкин, что ты ничего не знал, что ты спал, но навряд ли поверят. Вы все одно и то же говорите. Одним словом, решать будем сегодня вечером. Решать...

Ванька отмахнулся небрежно, продолжая улыбаться:

— Подумаешь, расконвойка. Не понравилась мне она. Боязно как-то. Едешь и оглядываешься: вдруг шатун на дорогу вылезет, намнет кости. То ли дело, когда солдат с автоматом рядом, спокойнее. Человеком себя чувствуешь.

Майор Ивлев качал головой:

— Ну-ну, Петров...— Помолчал.— Ладно, иди.

Ванька встал, взъерошил себе рукой волосы, нахлобучил шапку по самые брови. Показалось мало: прихлопнул кулаком сверху. Потянул с силой завязки. Одна завязка лопнула.

— Вот черт.— Ванька сунул ее в карман. Улыбнулся как-то особенно широко, так, что затрещали скулы.— Ну, пойду тогда.

— Иди, иди, Петров,— закивал майор Ивлев.— Иди...

Ванька дошел до двери, взялся за ручку и остановился:

— Гражданин начальник?

— Что?

— Гражданин начальник, а вы когда-нибудь чего-нибудь боялись?

— Я? — Майор Ивлев ткнул себя пальцем в грудь.

— Вы!

Майор Ивлев улыбнулся:

— Наверно, боялся, Петров. У меня, например, два сына твоего возраста. Я боялся и боюсь за них, думаю: как они хотят жить? Как они будут жить? Все нормальные люди, Петров, думают и чего-то боятся.

— Не знаю, гражданин начальник,— сказал Ванька.

Он вышел на улицу. Уже смеркалось. Зимнее солнце — короткое солнце: едва взошло — и спряталось. На ночь, как всегда, крепчал мороз. Куржаком обросли провода. Они казались мохнатыми канатами. И стена колючей проволоки, обегавшая колонию кругом, обросла куржаком и тоже казалась мохнатой и мягкой. Бараки. Сушилка. Вышки с постовыми. Простуженный лай собак.

Ванька подошел к дверям своего барака, его окликнули:

— Погоди, Кутя.

Двое парней, попыхивая цигарками, вывернули из-за барака. Один, долговязый, спросил:

— Чего вы там натворили?

— Да так, ничего...

Другой, коренастый и косолапый, покачал головой:

— Безголовые... Императору срок добавят, тебя под конвой опять. Ну и дураки.

И они пошли. Пошли в клуб, чтоб пораньше занять места перед фильмом.

Ванька помахал им рукой, крикнул:

— Скатертью дорожка! — А про себя подумал: «Вот черт, какие все умные».

Он со всей силы врезал по двери кулаком. Дверь распахнулась. Он переступил порог и с не меньшей силой лягнул ее. Дверь с визгом закрылась.

В бараке захлебывалось радио. Он вырвал штепсель и, не раздеваясь, завалился на свою койку. Закрыл глаза. В конце барака играли в домино, кричали, смеялись. Было жарко и душно.

К Ваньке подошел Император, он потрогал его за валенок:

— Кутя, дай иголку. Пуговица на середыше отвалилась, пришить надо.

Ванька открыл глаза, улыбнулся:

— А, Андрей Андреевич Пронюшкин... Возьми в тумбочке.

Император взял иголку и ушел.

Ванька стащил с рук рукавички, присланные недавно матерью, положил их на тумбочку. Опять закрыл глаза и вытянулся на койке. Руки свисали по бокам. Правая, которой он саданул в дверь, была расшиблена в кровь. Кровь капала на пол, но Ванька не видел, не чувствовал.

В. БОРНЫЧЕВА

★

ДЕНЬ СТРАХОВОГО АГЕНТА

Очерк

Даже благородно смягченный звон современного будильника невыносимо резок сквозь сон... Вскакиваю, поскорее выключаю его. Торопливо одеваюсь. Сегодня зарплата в цехе огромного завода — в одном из цехов, которые обслуживаю. Опаздывать нельзя, хотя страховой агент табель не отбивает и никак не отмечается: не застанешь клиентов у касс — потом не разыщешь. Рабочих в цеху тысячи, никто никого не знает. Да и поймать нужного человека при трехсменной работе целая история: то он в ночную, то поменялся сменой, то заболел. А у страхового агента каждый взнос постоянных клиентов на счету: план...

Наспех проглатываю чашку кофе или чая: есть в такую рань не хочется... Когда выхожу, город еще спит. Освещены лишь немногие окна. В утренней тишине особенно громко, четко, гулко звучат шаги, со всех сторон стекающиеся к остановке. Кто-нибудь бежит бегом: опаздывает уже. Кто-то тянет за собой или несет на руках полусонного, капризничающего ребенка — везет в ясли или детский сад. Немногие везут, главным образом те, кому очень далеко.

В воздухе, еще не наполненном привычным дневным гулом, громко чиркают метлы, звучат голоса дворников, преимущественно молодых женщин, нередко далеко не дворницкого вида: прифасоненных, подкрашенных. Возле иной стоит детская коляска или малыш копается в земле, подражая матери. Под спящими окнами скрежещут скребки. Гремят на поворотах трамваи.

Улица, по которой еду, одна из молодых московских улиц, хотя и не самых молодых. Дореволюционных строений здесь нет, но есть бараки тридцатых годов. Двухэтажные бараки со своими палисадниками, крылечками, террасками, застекленными верандами, трехстворчатыми окнами, оштукатуренные, желтые, розовые, выглядят вовсе неплохо, однако на некоторых намалевано «слом», и иные уже заколочены. На месте снесенных вырастают девяти-двенадцатиэтажные здания последнего образца. Между ними их предшественники — пятиэтажные панельные и блочные «коробочки» и уже не самые новые пяти-шестиэтажные дома, облицованные плиткой, с фундаментом, а порой и частью фасада под нетесаный камень; с арочными окнами первых этажей, где располагаются магазины, парикмахерские, ателье; с лепным орнаментом, гипсовыми гирляндами из дубовых и лавровых листьев, с башнями, башенками, шпилями, наружными колоннадами. Едешь, как по выставке архитектурных поветрий последних десятилетий. В моих глазах самые новые дома, несмотря на предельную простоту, явно выигрывают при сопоставлении с предыдущими. Особенно когда знаешь, что все эти рыцарские замки и

восточные дворцы недавнего прошлого внутри зачастую представляют не что иное, как «коридорную систему» с общей кухней и общей уборной, а то и просто общежитие. Но самые примечательные экспонаты улицы — двух-трехэтажные дома, напоминающие бараки, но каменные и с каменными же верандами и балконами величиной чуть не с полдома, так что кажется — они вот-вот перевесят, опрокинут его. Балконы и веранды эти, увешанные выстиранным бельем, тоже обильно разукрашены лепным орнаментом, каменными завитками, уже основательно растрескавшимися и грозящими обвалиться на головы прохожих. У некоторых домишек вместо крыльца или подъезда прямо-таки храмовые порталы — многоступенчатые, с разворотами, декоративными чашами, вазами на перилах. Во дворах, обнесенных балюстрадами тоже с каменными чашами,— кирпичные беседки с колоннами, какие-то обложенные кирпичом ступенчатые площадки одна над другой — нечто среднее между оперной декорацией и висячими садами Семирамиды. Зато когда в Москве крушились все и всяческие ограды, заборы-балюстрады уцелели: то ли рука жэковских работников не поднялась на такое великолепие, то ли просто недостало сил снести их. И цветники, газоны, клумбы, фруктовые сады за ними продолжают цвести и зеленеть, тогда как разгороженные уличные газоны утрамбованы так, что на них не только трава не растет, но даже деревья начинают чахнуть.

В трамвае народа немного, а в метро полно: район новый и почти все взрослое население ездит на работу в обжитые районы. С каждой остановкой людей все больше. Даже сидящих стискивают, а не только стоящих. И все-таки многие ухитряются читать. У кого газета, у кого свежий журнал, у кого потрепанный роман. У иных учебник. И у меня с собой обычно какое-нибудь чтение, хотя сумка с квитанциями, документами, списками клиентов и без того увесистая. Но только в дороге и выберешь время почитать...

Едет в эти часы все рабочий люд, однако большинство одето чисто, хорошо; пожилые — добротно, многие молодые — щеголевато. Немало интеллигентных лиц, особенно среди молодых. Вместе с рабочими, очевидно, едет и сменное начальство: инженеры, мастера; едут студенты-практиканты, но отличить их от рабочих трудно. Кажется, юноша с бледным челом и туманным взором уж определенно студент, а прислушаешься к его разговору с товарищами, станет ясно, что это рабочие. И наоборот, присмотришься к книге, в которую углублена корявенькая, вроде бы деревенская девочка, по виду какая-нибудь подсобница, и обнаружишь, что это учебник высшей математики или политэкономии.

1

По обширной оживленной площади, окруженной многоэтажными домами, катят троллейбусы, автобусы; бежит, спешит толпа, разделенная на несколько потоков, текущих каждый в своем направлении. А я помню эти места большим зеленым пустырем с конечной остановкой трамвая. Помню деревья скверов и бульваров совсем молодыми, тонкими, как прутья. Разрастаясь, они становились серыми от заводской копоти и сажи. Снег здесь чернел, едва успев выпасть, а летом валили черные хлопья. Теперь действуют очистительные установки, и снег гораздо белей, а зелень зеленей, и все-таки все вокруг серо, прокопчено.

Фасады выходящих на улицу цехов покрыты серым налетом. Их пропыленные окна кажутся непрозрачными. Построенные в тридцатые годы, цеха выглядят уже несколько архаичными и не особенно большими. Вообще с улицы не заметно, как огромен завод. Но автобусы, троллейбусы, трамваи один за другим подходят к нему набитыми, а отъез-

жают пустыми. Проходных несколько, и в каждую вливается людской поток. Сквозь решетчатые ворота «модерновой» проходной — стекло, металл, пластмассовые козырьки — видна широкая аллея уходящего вдаль заводского бульвара.

Мой цех, уже не новый, порядком почерневший, снаружи кажется небольшим, приземистым по сравнению с новыми гигантами, но когда войдешь внутрь, под стеклянные своды, сквозь которые с трудом пробивается дневной свет, он оказывается высоченным, этот сумрачный, приглушенно гудящий, а временами оглушительно грохочущий храм материального производства. Утренняя свежесть, истома недавнего сна остаются за его порогом. Тут сразу окунаешься в напряженный рабочий ритм, который задают конвейеры — уходящие куда-то в бесконечность ряды полусобранных машин. Они все время движутся небольшими рывками, каждый ряд — в своем направлении. Кажется, совсем медленно движутся: надо приглядеться, чтобы заметить рывки. Однако движения рабочих на конвейерах торопливы; возле них едва не бегают бегом. На одной линии работают, сидя верхом на остовах машин. Влезут, что-то приладят, привинтят, затем соскочат и карабкаются на следующий остов, за это время придвинувшийся. Соскочат, вскарабкаются, соскочат, вскарабкаются...

То и дело раздается предупреждающий окрик: по неровному, замусоренному, залитому маслом полу проезжают автокары и целые составы маленьких, тяжело нагруженных платформ. И вверху, под потолком, движутся ряд за рядом части и узлы машин, спускаясь к нижним рядам на тросах и цепях. Гляди в оба, голову не подставляй!

Возле касс толкучка, очередь. Табачный дым, плевки. Но нередко можно услышать по-настоящему остроумное словцо, такое меткое, что хоть записывай.

Среди рабочих — кучки студентов. Они держатся несколько особняком, не так громогласны. Проходят рослые стриженые парни в заскорузлых от масла солдатских брюках или гимнастерках, тельняшке, а иногда и в полной форме, хотя и не подтянутые по-уставному: расстегнутые, распоясанные. Это солдаты, работающие здесь, и демобилизованные, которые время от времени торжественно прибывают на завод целыми подразделениями с музыкой и знаменами. Впрочем, многие из них вскоре после того, как получат московскую прописку, перебираются на другие предприятия.

Нет-нет затеют возню, шутливую драку ремесленники. И они работают в цеху, когда не хватает рабочих. Не хватает же почти всегда. Цех — один из самых бедствующих в этом отношении: конвейерный, тяжелый.

Пока усаживаюсь за маленьким столиком у касс, возле него выстраивается небольшая очередь. Стараюсь побыстрее отпустить ее, после чего редко собирается и три-четыре человека, все больше подходят по одному. Подойдя, пересчитывают получку. Распределяют: это — страховка, это — профсоюзные взносы, это — за квартиру...

Жалуются иной раз, что деньги неспорые какие-то, утекают, как вода, меж пальцев.

— Получаешь как будто не меньше, чем прежде, даже больше, а все не хватает... Муж говорит, хозяйство вести не умеешь. И правда не умею, наверное,— делятся женщины.

Они страхуются охотнее мужчин и составляют большинство застрахованных. Женщины всячески комбинируют. Многие участвуют в «черной кассе», или «игре»: несколько человек, договорившись, каждую получку складываются поровну и собранную сумму отдают по жребию

или по очереди одному из участников «игры». Денег от этого не прибавляется, зато они виднее: можно сделать крупную покупку. Покупают, перепродают. Идут на довольно значительные потери, если вещь не нужна или не нравится, — чувствуют, как невыгодно «замораживать капитал».

Можно, однако, заметить, что, обладая, так сказать, природной финансовой сметкой, женщины не умеют считать, рассчитывать. Ни одна не скажет, сколько нужно на ее семью ежемесячно, ежедневно, тем более—на каждого члена семьи. Есть деньги—расходуют, нет—занимают, некоторые закладывают вещи в ломбард. На питание, правда, из получек обычно откладывают определенную сумму, но редко в нее укладываются. Да и редко тратят ее только на питание.

Каждую получку — два раза в месяц вместо положенного одного — платит взносы цеховая уборщица — еще не старая, несуетливая, положительная женщина. Она «загоняет» взносы вперед: собирается на пенсию, а из пенсии трудно будет платить. Когда мы вдвоем, расскажет о дочери-студентке, о том, как она учится, сколько ей надо всего — не хочется ведь, чтобы была хуже людей.

Почти каждую получку платит, желая поскорее разделаться со страховкой, молодая работница с конвейера — белозубая, румяная, горделиво-степенная, даже в промасленной спецовке нарядная. Недавно она меняла фамилию в страховом свидетельстве, и мне успели шепнуть с осуждением и завистью, что у нее уже который муж. Все не подходят: то пьяница, то такой, то сякой. Сама она не из болтливых, не любит распространяться о себе, своих делах, но иногда все же разоткровенничается (таково уж положение страхового агента, что все ему невольно исповедуются) — попросит выписать квитанцию сразу за три месяца, скажет, что получила премию, что зарабатывает неплохо...

— Где больше заработаешь без образования? Да и с образованием... Потому и работаю здесь. Больше другого мужика зарабатываю. И буду я держаться за него, терпеть, как другие терпят! — добавляет она иногда, будто отвечая на обвинения, которые ей высказывают и передают.— Он кочевряжится, а жена ублажает, сапоги снимает! Нет, от меня не дождешься! Хочешь жить по-человечески — давай, а не хочешь — катись! К ребенку будет еще цепляться! Да я за ребенка!..

Страховка ее предназначена на пианино дочери. Рассказывает, что сама мечтала учиться музыке, да не довелось. Учит дочь.

Клиенты все реже подходят к моему столику. Цех огромный, заработки хорошие, да и несчастные случаи тут нередки, казалось бы — только страхуй, но страхование идет туго: большинство рабочих — мужчины, преимущественно молодежь. Молодые страхованием не интересуются. Да и будущее редко связывают с цехом, чувствуют себя здесь людьми временными: кто зарабатывает стаж для поступления в институт, кто просто находит более легкую, чистую, интересную работу, ради чего идет даже на порядочные потери в заработке.

— Не хочет работать молодежь! Избаловалась! — осуждающе качают головами кадровые рабочие.

Но собственным детям всеми силами стараются дать образование, а если те не стремятся к этому, не хотят учиться, то считают их неудавшимися. а себя — обойденными судьбой. Нередко и о себе говорят, что ушли бы из цеха, если бы не на пенсию скоро уже.

— И привычка: столько лет... Здесь уважают, считаются: все в первую очередь, как старому кадровому работнику. А на новом месте что будешь представлять?..

Некоторые еще в тридцатые годы строили, поднимали завод, в войну эвакуировали. Вернувшись, налаживали производство почти заново. Но таких ветеранов остается мало. В основном народ в цеху пестрый, текучий, переменный. До страхования ему «как до лампочки», по теперешнему ходовому выражению.

Да и трудно проводить работу по страхованию. В рабочее время людей нельзя ни на минуту оторвать от конвейера. Перед сменой никого не соберешь, после смены не заставишь остаться: все летят сломя голову домой, особенно женщины, которых ждут дети, бегающие без присмотра, готовка, стирка и прочие домашние дела. Если задержать принудительно, через начальство, отсидят беседу, почти не слушая, и уже с одного зла, в отместку, не застрахуются.

Когда постоянные клиенты не подходят, поговорю о страховании с теми, кто обращается с вопросами, подсаживается рядом на длинную деревянную скамью; поагитирую, предложу. Выслушаю сочувственные слова: какая, мол, у меня все же противная работа — ходи, уговаривай!

Противная?.. По-моему, даже наоборот, если бы только не план: с людьми постоянно, на воздухе, в движении. Видишь солнце, город. В магазин можно забежать. И никто не стоит над душой...

Когда не с кем беседовать о страховании, наблюдаю, как комсорги, профорги собирают взносы, как кто-нибудь делает вид, будто прячется от них за спинами товарищей. А молодые ребята развлекаются, то нацепляя друг другу бумажки на спину, то вздумав поиграть в чехарду. Происходят комичные сценки у торчащего на самом ходу из пола металлического колышка, о который то и дело спотыкаются проходящие. Один при этом сконфузится. Другой выругается. Третий разыграет целую пантомиму: оглянется с нарочито пристальным вниманием — что, мол, там такое осмелилось попасться под ноги, — а затем гордо и пренебрежительно отвернется — нестоящий, дескать, предмет.

Народ у касс редеет. Кто-нибудь появится, пошатываясь, хотя спиртного на заводе не продают, с завода во время смены не выпускают, и получку перед сменой не выдают — только после нее.

Ко мне не подходит уже никто, но отойти нельзя: вдруг кто-нибудь появится. Убивая время, изучаю фотографии лучших людей цеха, среди которых есть и мои клиенты. Читаю объявления, призывы досрочно выполнить и перевыполнить план, работать и жить по-коммунистически; сообщения, что цех борется за звание коммунистического труда.

Постоянно висит объявление, что детскому саду требуются воспитатели и няни, оклады такие-то. В свободную минуту прикинешь, на сколько и даже во сколько раз оклады эти меньше заработка даже неквалифицированного рабочего в цехе; поразмышляешь, какими потерями чревато мнение, будто воспитание человека — второстепенное дело по сравнению с производством машин. Не только моральными потерями, но, между прочим, и экономическими.

Закончившая смена уходит. Ребята, которые только что толпились на курительной площадке перемазанные, в замасленной, латаной спецодежде, в заскорузлых сизых башмаках с задранными носами, теперь проходят, намытые в душе, в модных брюках, коротких пальто, начищенных ботинках, при перчатках, галстуках, в ярких шарфах. Горделиво, с достоинством, слегка улыбнувшись, кивает мне удаляющаяся красотка с конвейера. Она на шпильках, в дорогом пальто современного покроя, в фасонистой шляпке, румяная, цветущая, будто не из тяжелейшего цеха, а с загородного отдыха.

Становится все тише и тише... И вдруг так загремит, загрохочет, загудит, что вздрогнешь. Сообразишь, что приступила к работе следующая

смена. Каждый раз это происходит как-то неожиданно. Задвигаются грузовые лифты, мимо что-то с грохотом, со скрежетом поволокут...

Кассиры начинают закрывать свои окошки. Остается лишь одно, но и к тому почти уже никто не подходит. Запирается и оно. После чего кто-нибудь обязательно подлетит, замечется, застучит, упрашивая открыть, выдать зарплату. Чаще всего упросит, выдадут, хотя и поворчат...

2

С завода чаще всего иду в расположенные неподалеку больницы. У меня их две. Одна большая, с обширной, еще не полностью освоенной территорией; часть корпусов—постройки годов тридцатых, часть—последних лет. И еще строится. Вокруг давнишних корпусов — парк с уже немолодыми деревьями. Разбит большой, очень большой фруктовый сад, который при надлежащем уходе, наблюдении мог бы давать порядочный урожай. Однако он в запустении: зарастает, пересечен тропинками, через него бегают из корпуса в корпус, сокращая путь. Говорят, когда-то был хороший садовник, но теперь нет никакого: экономия. Клиентура у меня здесь значительная, и она быстро увеличивается. Медицинские работники страхуются охотно, гораздо охотнее рабочих.

Вообще в среде работников интеллигентного труда, служащих страхование гораздо популярнее, чем в рабочей среде. Материальные же возможности медиков ненамного меньше, чем рабочих. Хотя труд последних оплачивается значительно выше, в общих заработках разница невелика: медики, как правило, работают по совместительству.

Охотно страхуются няни, санитарки. Они зарабатывают немногим меньше сестер и врачей. Врачи имеют право занимать лишь полторы ставки, няням же, как низкооплачиваемым, разрешается работать на двух. А у многих к тому же и пенсия.

Крайняя нехватка санитарок приводит к их особо привилегированному положению. Ведут они себя весьма независимо, пальцем о палец не стукнут, чтобы сделать что-то сверх обязанностей, да и обязанности не очень любят выполнять, не боясь никого и ничего. Терять им нечего: вынужденные уйти, не хуже устроятся. Одну мою клиентку — властную, капризную женщину в халате, всегда сверкающем белизной, и саму всю чистую, белую, наливную, как ядреное яблоко, — я долго принимала за врача, по меньшей мере за какую-нибудь старшую сестру, а оказалось — няня.

В каких только уголках больницы я не бываю, обслуживая своих застрахованных! Захожу в дежурки, где врачи просматривают газеты, обсуждают сложный или непонятный клинический случай; и, конечно, мужчины — очередной футбольный матч; женщины — где достать шарф или кофточку-джерси. Жуют. Буфет дорог, поесть большей частью берут с собой. Сестры в своих дежурках тоже жуют. Подводят ресницы, щебечут о модах, последней форме каблуков; о тяжелом поступившем и хорошеньком выписывающемся больном; о том, какие необыкновенные ажурные чулки достала такая-то из терапевтического; какие туфли продает одна из рентгеновского; какой вчера передавали телеспектакль; какой кто смотрел фильм, какие там играли знаменитости, какие были костюмы, декорации, как героиня любила героя и как он жестоко поступил с ней.

Заглядываю в приемный покой. Прохожу не очень чистыми из-за нехватки санитарок коридорами хирургического корпуса. Бываю в котельной — не по-больничному черный, грязный подвал с боковыми кла-

довками, где хранятся какие-то доски, ящики, рулоны, банки. Кладовщик в рваном, заскорузлом фартуке — он же по совместительству истопник, а кроме того, подсобный рабочий — платит страховку за жену, которая, собственно, и оформлена кладовщиком, но по совместительству работает где-то еще.

Есть у меня клиенты и в находящемся на территории больницы пункте «скорой помощи». Это небольшой домик с гаражом, вокруг которых свой отдельный фруктовый сад, ухоженный, оберегаемый грозно тявкающим псом. Сотрудники сами посадили этот сад и сами ухаживают за ним, урожай делят между собой. Шоферы, фельдшеры, если они не на вызовах, либо забивают козла, либо отдыхают, лежа на топчанах, читают, обсуждают спортивные новости, закусывают. Пока собираешь взносы, несколько раз раздастся звонок-вызов. Машины уезжают и приезжают. Врачи, фельдшеры, сестры возвращаются внешне спокойными, с шуточками. Будто ничего особенного не случилось. Редко перекинутся несколькими словами о том, что произошло, кого везли.

Все, от врачей до шоферов, как правило, работают по совместительству и, кроме того, то и дело дежурят вне очереди, как для того, чтобы заработать побольше, так и потому, что не хватает работников. Врачи в значительной части—молодежь, еще сохранившая в себе нечто студенческое, любящая и умеющая пошутить, «разыграть», устроить что-нибудь забавное. Народ все такой симпатичный, что не хочется задумываться, как его молодость, неопытность отражается на пациентах, жизнь которых нередко зависит от немедленно принятых мер. Так же, как и о том, когда эти врачи успевают отсыпаться, а не только повышать квалификацию: читать, думать, анализировать — заниматься всем тем, без чего невозможен хороший врач.

Другая больница — детская. Она сравнительно невелика — всего один двухэтажный корпус нестандартной постройки, с большими трехстворчатыми окнами, уютный и чистый, окруженный тенистым парком, где в хорошую погоду гуляют женщины с детьми на руках. Это кормящие матери, которых кладут в больницу вместе с детьми грудного возраста. Персонал не носит маленьких пациентов на руках: его нехватка сказывается здесь особенно тяжело.

Сойдутся две-три матери либо в чистом, светлом больничном коридоре, либо у маленькой раздевалки с сердитой, немолодой, выкрашенной перекисью гардеробщицей, либо в небольшом чистом буфете и возмущаются, что не дозовешься няню, сестру, нет врачей, буфет плох и дорог.

— Писать надо, жаловаться в райздрав, в министерство! — восклицают наперебой.

Писать, жаловаться — основное средство разрешения всех проблем. Кто-то где-то обязан принять меры и поднести все в готовом виде на блюдечке, взыскав с необеспечивших, наказав их.

Взыскать, наказать... Я же бываю свидетелем, как напряженно коллектив больницы борется за жизнь опасно больного ребенка, как всех волнует его судьба. Даже в бухгалтерии, где сижу, собирая взносы, все расспрашивают появляющихся палатных нянь, сестер, врачей — как, что, какие испробованы меры, был ли консилиум, есть ли надежда. Если она увеличивается — веселеют, если уменьшается — подавлены...

Правда, лечащих врачей те же мамаши нередко и хвалят. Хвалят и некоторых сестер. Пишут не только жалобы, но и благодарности, причем гораздо чаще последнее. Критика в основном заглазная. Преимущественно друг друга стараются сподвигнуть на критику, на жалобы, сами же заискивают перед персоналом, задабривают его.

Застрахованных мне сзывает приветливая молодая бухгалтерша — черноглазая хохотушка и шутница. В ее обязанности входит подсчитывать какое-то там их больничное выполнение.

— А как же? — говорит черноглазая.— Человеко-койки. Не подводите, болейте почаще.

Она шутит с серьезным, даже строгим лицом, но тут же не выдержит, расхохочется, сморщив нос. И бросив свои расчеты, быстрая, живая, как девочка, побежит оповещать о моем прибытии.

3

Включает мой участок и ткацкую фабрику. Она вся меньше, чем один ранее описанный заводской цех: дореволюционное приземистое кирпичное здание. Приближаясь к нему, уже на расстоянии слышишь шум, гул ткацких станков. Работают на фабрике почти одни женщины, и во время получки я сижу в женской раздевалке — полуподвальном душном, парном помещении с рядами узких шкафчиков, парой зеркал, душевыми комнатами. Во время смены здесь пусто, лишь сидят, беседуя о житье-бытье, уборщица да гардеробщица. Между сменами набивается полно; запах тел с примесью одеколона, духов становится тяжелым, терпким. Одни женщины одеваются, другие торопливо раздеваются, снимают хорошее платье, модные туфли, тонкие чулки и надевают все старое, ветхое, выцветшее, повязываются облезлыми косынками. Ткачихам приходится менять даже белье: оно преет, портится. Воздух в цехах насыщен нитяной пылью, нитяной пух налипает на одежду—никак не отчистишься. На некоторых, правда, и рабочее все чистенькое, ловко пригнанное — любо-дорого посмотреть.

У одной из здешних клиенток, пожилой женщины с желчным, бледным, словно каким-то выжатым лицом, бываю и на дому: она живет в доме, который я обслуживаю. На работе с ней не разговоришься из-за шума и потому, что она вечно занята, бегает, спешит. Дома же рассказывает, что проработала на фабрике тридцать с лишним лет, большей частью на станке, но уже довольно давно бригадир. Трудно: и за бригаду отвечаешь, и за подсобных ворочаешь. Нет подсобных: никто не идет.

— Пряжу сама принимаешь. И к станку становишься, если заболеет кто. Просилась обратно на станок, не переводят — невыгодно: бригадир за всех... Ушла бы... Не тот возраст — переучиваться.

Все считала дни до пенсии. Теперь, по новому постановлению, пойдет. Уменьшение пенсионного возраста для ткачих — большое, радостное событие на фабрике.

Мат на фабрике не принят. Когда однажды в раздевалке молодая, раскрашенная и расфасоненная работница, долго, тщательно взбивавшая перед зеркалом замысловатый начес, выругалась, товарки напали на нее, застыдили, засовестили.

Молоденькие работницы, заполняя раздевалку, хохочут, шалят, щебечут извечное девичье: он сказал, он посмотрел.

— А я!.. Ой, девочки, я дура все-таки!..

— Знаешь, какая я!..

А он с ней, а она с ним... Болтают о фасонах, киноартистах, телепередачах, как и повсюду девушки их возраста. Листают тетради, учебники: многие учатся в вечерней школе, техникуме, кое-кто в институте.

Страховую работу и здесь проводить нелегко. На заводе хоть возле касс побеседуешь с людьми, а тут цеха небольшие, много народа за по-

лучкой не собирается. Беседы обычно проводятся в обеденный перерыв. Слушают плохо. Сидят тихо, но лица отсутствующие. Иной раз вроде бы даже заинтересуются. Но какая-нибудь обязательно выкрикнет, что кто-то там страховался, платил, платил, а потом пропало все. Другие начинают спорить, доказывать, что страховка — дело неплохое, что тот-то и тот-то хорошие деньги получил. Но когда предложишь застраховаться, смущенно отказываются.

Не люблю я эту фабрику. Зато с удовольствием хожу в расположенный рядом вышивальный цех. Снаружи это вросший в землю барак с окнами на уровне земли, почему-то весь обитый проржавевшими листами железа. А внутри — несколько опрятных комнат. В двух самых больших — два ряда женщин за пяльцами. То одна, то другая рассказывает о муже, детях, делясь невзгодами и радостями. Слушают радио. Порой сменный мастер читает вслух, преимущественно про любовь, и женщины «переживают» за героиню, которая никак не может сделать выбор между мужем — замечательным человеком, любящим, но не понимающим ее, и другим, тоже замечательным и любящим, а к тому же и понимающим. Летом многие вылезают со своим вышиванием во двор, на солнышко. Загорают — ноги, спину выставят. Идиллия!

Обслуживаю два небольших швейных цеха. Только сделавшись страховым агентом, я узнала, сколько в Москве маленьких, мельчайших предприятий, всяких швейных, галантерейных, вышивальных, игрушечных цехов, складов, баз, контор, мастерских. В старых, обжитых районах они чуть не в каждом дворе: в жилых домах, подвалах и полуподвалах, в бараках, из которых жильцы переселены в новые дома.

В швейно-галантерейных цехах работают преимущественно женщины в расцвете сил. Много полных. Дефицит рабочей силы не такой острый, как на ткацкой фабрике или заводе. Женщин устраивает уже то, что работа в основном сидячая: дома им почти не удается присесть. Большинство работает рядом с жильем и в обеденный перерыв бегает посмотреть, накормить детей, проверить, делаются ли уроки. И сами перекусят дома, что дешевле и лучше, чем в столовой. Работа в цехах тоже напряженная: руки женщин, направляющие материю под стрекочущую машинку, орудующие утюгами, складывающие готовые изделия, так и мелькают; взгляд сосредоточенный, отсутствующий. Но иногда работы не бывает совсем. Правда, это отражается на заработке, но, с другой стороны, передышка, дома можно поделать кое-что: в таких цехах во время простоев отпускают домой, не то что на больших предприятиях. Да и в заработке не такие уж потери. У сдельщиков существует так называемый потолок зарплаты, который не разрешается перекрывать, а так как из-за перебоев в поставке материалов цех порой не производит почти никакой продукции и в другое время волей-неволей должен перекрывать это переработкой, чтобы выполнить план, то зарплату приходится выводить не по фактической выработке, а по некой средней — среднесдельную. Этот широко распространенный способ начисления заработка превращает сдельную оплату в ту же окладную, хотя и не такую твердую, но, в общем, гарантированную.

И все-таки даже в швейных цехах на проходных, на воротах объявления: требуются. Требуются швеи-мотористки — и еще порядочный список вакантных должностей...

Велик размах нашего строительства — кадры требуются всюду. Новая проблема роста.

Для ее разрешения нередко предлагаются меры, направленные на увеличение количества рабочих рук, изыскание дополнительных ресурсов. Между тем у нас в материальном производстве и так занято

слишком много народа (в промышленности в полтора раза больше, чем в США, в сельском хозяйстве — в три раза). Следовательно, чтобы не было дефицита кадров, нужен прежде всего рост производительности труда.

Думая об этом, все яснее осознаешь, как назрела, как своевременно проводится экономическая реформа. Полный хозрасчет, оценка работы предприятий по прибыльности, развязав инициативу организаторов производства, должны больше, чем что-либо другое, посодействовать увеличению производительности труда. Страховой агент — сугубый сдельщик, в сущности, продающий услуги Госстраха населению, получая вознаграждение в строгом соответствии с успешностью этой торговли, — постоянно на себе ощущает действенность контроля рублем, стимулирующую, мобилизующую силу рубля, а также значение его как показателя правильности экономических отношений. Ведь все это серьезно сказывается на выполнении плана, агентском заработке. Чуть не на каждом собрании агенты ратуют за введение новых видов страхования, на которые появился спрос, за изменение условий страхования, за лучшее обслуживание клиентуры, создание для нее максимальных удобств, за хорошую рекламу, которая в Госстрахе отнюдь не пустая формальность, не подражательство Западу, не украшательство, чем она нередко становится при «карточном» распределении. На делах агента самым непосредственным образом отражается весь вред, вся несообразность того, что руководство Госстраха, связанное показателем выполнения плана по видам независимо от их прибыльности, спроса на них — своеобразным госстраховским «валом», — лишено оперативности.

Реформа все ставит на свое место. Оценка работы предприятия по прибыльности заставит любого руководителя поощрять подчиненных не за усидчивость и послушание, а за то, какой вклад каждый из них делает в увеличение прибыльности предприятия. Иначе если не предприятие, то руководитель «вылетит в трубу».

До тех предприятий, которые я обслуживаю, реформа еще не дошла, но, сидя в ожидании своих клиентов в том или ином цеху, нет-нет и представишь себе, какие перемены она принесет, как тут будет становиться все меньше людей, делающих однообразные механические движения, и все больше новеньких автоматов, как будет постепенно решена и проблема дефицита кадров. Высвобождаясь из производящих отраслей народного хозяйства, кадры станут приливать в непроизводящие, обслуживающие, а механизация, автоматизация будет уменьшать их потребность и там.

При капитализме это новые антагонистические конфликты — наступление на заработную плату, угроза безработицы, а при социализме — неограниченная возможность уменьшения рабочего дня при увеличении платы за труд. Залог создания такого изобилия, когда необходимость контроля за распределением материальных благ отпадает совсем.

4

Два раза в неделю страховой агент обязан являться в инспекцию, где отчитывается в квитанциях, деньгах, которые сдает в сберкассу не позднее чем на следующий день после получения, и где проводятся всякие собрания, лекции, информации.

Наша инспекция — покосившийся деревянный дом с мезонином, сугубо жилого вида, в старой части города, в проходном дворе с остатками штакетника, когда-то ограждавшего газоны, повытоптанные теперь; с качелями для детей, с мусорными бачками и кучами мусора,

которые ребята поджигают время от времени; с наваленными у задних дверей магазинов порожними ящиками, коробками; с индивидуальными гаражами. Говорят, скоро она, как многие другие московские инспекции Госстраха, переедет в новый дом в районе новостроек, но пока клиенты подолгу разыскивают нашу развалюшку с расшатанными лестницами, будто специально созданными для рекламы страхования от несчастного случая: на них того и гляди сломаешь шею, особенно зимой.

В неприютных комнатах располагаются начальник, бухгалтерия, участковые инспектора — непосредственные начальники агентов. В так называемые неявочные дни, когда агенты не приходят, и в явочные, после обеда, когда они расходятся, в инспекции безлюдно, тихо. Когда же собираются агенты — шум, гам, толкотня... Они вечно летят, спешат, стараются друг друга опередить у инспекторов, записывающих сбор, в бухгалтерии, где сдают корешки квитанций и получают новые. Инспектора кричат, отчитывают агентов, у которых неважно с планом. Некоторые агенты не остаются в долгу. У телефонного аппарата очередь. Тут же клиенты ищут, к кому обратиться. Некоторые приходят уже не первый раз и никак не могут добиться толка, ругаются. В бухгалтерии, где большая текучесть и нехватка работников, потому что работы много, она тяжелая, нервная — с людьми, каждый из которых требует свое, а ставки невелики,— вечно недоразумения. Клиентов посылают от стола к столу. Агенты мечутся, стараясь ублажить как своих клиентов, так и чужих.

Это вошло в привычку: хорошие отношения с клиентами — необходимое условие выполнения плана. Остальные же работники инспекции мало этим озабочены, а некоторые, иногда кажется, чуть ли не наоборот. Хотя все получают премию за выполнение плана и уже поэтому, казалось бы, должны ему всячески содействовать. Однако на деле получается не совсем так.

В госстрахе весьма наглядно проявляется зависимость количества и качества труда не только и, пожалуй, даже не столько от вознаграждения в абсолютном выражении, сколько от способа, системы, поощрения. Агент, чей заработок самым ясным, прямым образом зависит от суммы, которую он собрал, от выполнения плана, все силы кладет на то, чтобы собрать побольше. Участковые инспектора на окладе плюс премия за перевыполнение плана участком. Считается, что они должны помогать агентам выполнять план: организовывать работу, отыскивать новые объекты для страхования, проводить беседы, связываться, договариваться с местным начальством. Действительно, некоторые помогают. Но преимущественно тем агентам, которыми довольны, довольны же теми, кто выполняет план, обеспечивая инспектору премию. Меньше всего получают помощи именно те агенты, которые наиболее в ней нуждаются. Большинство же инспекторов вообще идет по легкому пути: выполняет функции дядек-молоточков из сказки «Домик в табакерке», получающих и раздающих удары. Однако, судя по текучести среди инспекторов, и эта обязанность не так уж легка и приятна.

Трудно припомнить, сколько инспекторов сменилось на нашем участке. Была молодая, крикливая, но толковая и знающая женщина, ушедшая с повышением. Потом отставник — не то полковник, не то подполковник с рыхлыми, в фиолетовых прожилках щеками и носом, добродушный дядя, хотя и разговаривавший отрывистым тоном строевой команды. В страховые дела он уходил с головой, как в разработку планов решающего сражения, и был одним из немногих, кто не только подгонял агентов, но и помогал им, организовывал выходы на предприятия.

Отставник стал агентом, передав участок хрупкому, изящному созданию с нежнейшим цветом лица, лилейным, безмятежно-чистым

лбом, с томными веками, всегда полуприкрытыми, будто не раскрывавшимися до конца, так что, когда надо было посмотреть вверх, создание поднимало не веки, а голову. Юная инспекторша, высокомерная, одевавшаяся с большим вкусом, даже утонченностью и напоминавшая какую-нибудь надменную графиню-амазонку из кинофильма о великосветской жизни — не хватало только хлыста, — была быстра, памятлива, сообразительна, но особенно груба. Ее сменила старая бухгалтерша, перешедшая на должность инспектора, чтобы уйти с большего оклада на пенсию.

Бухгалтеры получают оклад и премию за перевыполнение плана инспекцией. Личный вклад бухгалтера в работу инспекции непосредственно на его заработке не отражается, и некоторые работники бухгалтерии не столько радеют о лучшем исполнении своих обязанностей, сколько тоже погоняют агентов. Расчеты различных срочных выплат, срочные справки они нередко делают как личное одолжение агенту, с которым в хороших отношениях, тому же, которого недолюбливают, не только не помогают, но порой даже нарочно мешают работать.

Думается, этот госстраховский опыт не лишен интереса и заслуживает изучения при разработке наиболее эффективных систем поощрения в связи с экономической реформой. Кстати, не дает ли он ответ на вопрос, почему продавцы, получающие премию за выполнение плана, нередко не проявляют никакой заинтересованности в его выполнении?

Агенты — народ разный. Преимущественно это люди среднего возраста, в расцвете сил. В агенты идут домашние хозяйки, и учителя, и юристы, и воспитатели, и начальники цеха, и управляющие домами, и мастера—люди, которых тем или иным не устроила предыдущая профессия. Большинство аккуратно обслуживает клиентуру, заботится об их интересах, толково, терпеливо, доходчиво разъясняет правила страхования, права застрахованного. Встречаются подлинные мастера своего дела, которым позавидовала бы любая американская фирма. Но и всех этих качеств становится мало для выполнения плана, ежегодно возрастающего по принципу: прошлогодний сбор плюс прирост. Текучесть среди агентов очень велика, их недостает. Многие участки обслуживаются от случая к случаю временными людьми.

В инспекциях Госстраха собрания бывают часто. Тут они не только положенное мероприятие, но и средство общения начальства с подчиненными. Почти на всех говорят о плане, прорабатывают отстающих.

Отличалось от других собрание, посвященное подготовке к экономической реформе. Началось оно, как обычно. Все жались к дверям в надежде незаметно улизнуть, не дожидаясь конца, теснились в последние ряды, чтобы заняться своими делами не на виду. Быстро избрали президиум. Попрепирались, кому быть секретарем — обязанность, которую, как известно, никто не любит. Председатель предоставил слово докладчику — начальнику инспекции. Но тот вопреки обыкновению начал не с общих рассуждений, а прямо с тех предложений, которые считает нужным внести в вышестоящие организации в порядке подготовки к реформе. И оказалось, не зря он таким образом сжал свое выступление: регламент давно кончился, а он все говорил.

И все же никто не только не напоминал о времени, не пробирался сердито к выходу, кляня бесконечную говорильню, только отрывающую от дел, а наоборот, пересаживались поближе, стоявшие проскальзывали на свободные места; в дверях задние напирали на передних, вытягивали шеи, чтобы лучше слышать. Ведь докладчик говорил о самом насущном, наболевшем, касавшемся всех: о том, как сделать Госстрах оперативней, как можно, без дополнительных затрат и даже сэкономив,

улучшить работу, если руководство инспекции получит право маневрировать фондом зарплаты и штатом, об ущемлении прав агента путем прибавления к названию его должности словечка «внештатный», из-за чего тот лишается положенного при ненормированном рабочем дне месячного отпуска, спецодежды, проездных, о пресловутом потолке зарплаты, сдерживающем производительность, ограничивающем возможности лучших агентов, обостряющем нехватку работников. Критиковал руководство за неоперативность. Говорил о необходимости подготовки специалистов страхового дела с высшим образованием; о желательности обмена опытом со страховыми организациями как социалистических, так и капиталистических стран. И еще о многом говорил таком же для всех интересном, имеющем непосредственное отношение к заработкам, условиям труда, а следовательно — к жизни.

О нашем начальнике нередко приходится слышать отзывы как об опытном, знающем, дельном работнике, однако трудно по-настоящему оценить деловые качества человека, когда видишь его преимущественно в роли «толкача». А на том собрании он действительно показал свой опыт, свое умение осознать, обобщить его, свою заинтересованность в деле. Один высказал вряд ли не больше, чем мы все вместе сумели бы сказать. Указал даже на то, что в трудовом договоре, который агент заключает с Госстрахом, сплошь «агент обязан» в отношении Госстраха и ни в одном пункте — Госстрах обязан в отношении агента. Мы сами не обращали на это внимания, а наш начальник обратил!

Многообещающе начиналось действие реформы!

5

Неподалеку от инспекции мой подшефный трест. Вхожу я туда с некоторой робостью. Одно уже название — трест. А по его коридорам проносятся с папками, бумагами такие представительные мужчины и женщины, порой приостанавливаясь и на ходу решая, согласовывая друг с другом вопросы, наверное, необычайной важности. А у дверей начальников сидят и стоят в ожидании приема такие солидные приезжие с периферии, с толстенными портфелями, вполголоса советуясь, куда, к кому лучше обратиться, где возможно достать что-то дефицитное для своего предприятия, где сделать покупки для себя, где остановиться, где поесть. Рассказывают о жизни в тех краях, откуда приехали, о своих стройках, предприятиях. Заверяют, что ни за какие блага не согласились бы жить в московской сутолоке, где голова кругом, ничего не добьешься, не разыщешь.

На лестничных площадках мужчины курят, кто подперев стену плечом или спиной, кто навалившись на перила, кто сидя на них и покачивая ногой в умеренно узкой брючине без раструба (здесь не какие-нибудь стиляги), из-под которой виднеется яркий безразмерный носок. Лобастые, очкастые, вихрастые или с глянцевым зачесом волосок к волоску, в клетчатых джемперах, в куртках с молниями, одни со спортивной выправкой, другие с мягкими манерами — типичные интеллектуалы, прямо-таки ожившая иллюстрация к роману о физиках-кибернетиках. Кажется, между двумя затяжками дебатируются проблемы всемирного значения. Однако прислушавшись, нетрудно убедиться, что здесь основная тема — футбол. Да прогноз погоды. Да перестановка в штате в связи с освободившейся вакансией. Да отношения с начальником. Хотя иногда обсуждают и газетные известия с многозначитель-

ностью политиков, все видящих насквозь и знающих гораздо больше, чем высказывают.

В коридоре висят фотографии ударников коммунистического труда, графики выполнения плана, матчей на очередное первенство, стенгазета, выпущенная к последней юбилейной дате, в коротких, отпечатанных на машинке заметках которой повествуется о том, какой отдел улучшил работу, повысил дисциплину, изжил опоздания, а какой еще не изжил.

Со стороны мудрено уразуметь, детально разобраться, чем тут занимаются все и каждый. Пишут что-то, отмечают в книгах, карточках. Специальные технические термины, названия предприятий в различных городах и районах страны для непосвященного звучат внушительно. Должности все инженеров, старших инженеров, экономистов. Но занимают их нередко и техники, и люди с гуманитарным образованием, и вовсе без специального образования, с одной десятилеткой.

В комнатах скрипят перья, щелкают счеты, трещат арифмометры, кое-где гудят и стучат счетные машины более современных систем, включенные в электросеть. Шуршат, шуршат бумаги. В переднем углу — начальник, обычно мужчина, лицом к подчиненным, как дирижер перед оркестром. Когда он на месте, большей частью тишина, благообразие, все головы склонены над бумагами. Стоит ему выйти — разговоры, оживление. Поправляют прически, подкрашиваются (подчиненные преимущественно женщины), звонят по телефону, болтают с кем-то, говорят с домашними, справляются, чем они заняты, как выполнили распоряжения, отдают новые, читают наставления. Как везде, показывают друг другу покупки. Войдет начальник — и все снова сгибаются над бумагами с таким видом, будто и не отрывались от дела.

Между прочим, как заметно, что женщин с высшим образованием много больше, чем мужчин! Еще до знакомства с данными статистики у меня возникал вопрос: где же мужчины с высшим образованием? В трестах, управлениях большинство женщин. В медицине, педагогике — подавно. Говорят, в научно-исследовательских институтах мужчины тоже в меньшинстве. Впервые, вероятно, со времен матриархата встает вопрос об отставании мужчин по уровню образования. Женщины, конечно, могут этим гордиться, однако не намечается ли тут новая проблема, новая трудность для дальнейшего развития производства? Ведь не секрет, что в настоящих условиях женщина, как правило, не может отдавать столько сил, энергии, внимания производству, работе, сколько отдает мужчина, если она не отказывается от материнства. А если откажется, зачем, для кого тогда и производство?

В тресте жалуются, что слишком много работы. Завидуют перешедшим в управление, министерство, где, как рассказывают, ставки больше, а нагрузка, ответственность будто бы меньше, потому что вышестоящие организации не так прямо связаны с производством.

Сидя в сторонке в ожидании отлучившегося клиента или запаздывающей получки, слушаю, наблюдаю, как кричат по междугородному телефону, выколачивая что-то у предприятия-поставщика, как доказывают командированным невозможность удовлетворить их требования и как все-таки стараются сделать невозможное.

Кипят страсти, когда выдают премию. Тут ее получают тоже за перевыполнение плана, но здешний план, в противоположность госстраховскому, понятие довольно неопределенное. Мне растолковали, что трест должен вовремя укомплектовать свои объекты оборудованием, но комплектация эта зависит не столько от треста, сколько от поставщиков. Многие работники имеют смутное представление о своем личном вкладе

в выполнение плана. Получается так: надо поощрять лишь лучших, а кто лучший, объективных критериев почти нет. Поэтому часты обиды.

Все это, мне кажется, необходимо учесть, разрабатывая новую систему поощрения — за прибыльность, чтобы с самого начала не скомпрометировать ее незаслуженно. Возможно, в некоторых учреждениях, где какие-либо критерии индивидуального участия в увеличении прибыльности установить так же трудно, как в выполнении плана, рациональнее ограничиться и твердыми окладами.

Разумеется, в трест я захожу не всякий раз, когда бываю в инспекции. В учреждениях, на предприятиях агент бывает один-два раза в месяц. Основная каждодневная работа большинства агентов — по домам.

6

Если иду по домам из инспекции, забегаю перекусить в попутную блинную.

Чаще всего бываю в двух блинных. Одна — специальный павильон, небольшой, но фундаментальный, каменный. Чистый, с цветами на окнах и высоких столах-стойках с металлическими раздвижными ножками. В застекленной кассе — кассирша. Блинницы в свежих халатах при тебе наливают тесто на шипящую плиту, снимают блины, раскладывают по тарелкам. Они же разливают кофе, молоко, чай, продают пирожки, коржики, горячие сардельки, котлеты (почему-то холодные). Иногда им помогает опрятная нестарая уборщица.

Другая блинная — во временном дощатом павильоне, где в холода отовсюду дует, в дождь подтекает, пол неровный, серый, шероховатый, вечно чем-то залит. Здешняя уборщица — маленькая, замызганная, брюзгливая, в засаленном переднике — рывком вытирает столики грязным, кисло пахнущим полотенцем.

Однако если в уютном каменном павильончике днем большей частью совсем мало народа, почти никого нет, то во временном постоянно очередь. Возможно, отчасти оттого, что он на более бойком месте. Хотя трудно с уверенностью сказать, какое место бойчее. Да и не в этом главное все же. Я лично определенно предпочитаю вторую блинную, несмотря на ее неприютность и все неудобства. Потому что у здешней блинницы Вали, неприметной на первый взгляд молодой женщины, худенькой, бледноватой, светловолосой, получаются какие-то особенно поджаристые, тонкие, пористые блины. И кофе у нее всегда горячий, однако не кипяток. Мерки-черпачки, которыми наливают растопленное масло, везде одинаковы, но в других местах приходится брать по два черпачка к порции, у Вали же достаточно одного. И что хлеб несвежий, она предупредит, и что сметана кисловата. Все равно возьмешь, куда денешься: надо же хлеб к сосискам, сметану к блинам, но ешь уже безо всякой досады. И даже кажется, что хлеб не такой уж черствый, а сметана не такая кислая.

Очередь подвигается быстро. Валя не задерживает, хотя и блины печет, и пирожки отсчитывает, и сардельки взвешивает, и кофе наливает, и деньги получает — все сама. И хотя блинов зачастую помногу берут — домой. Приходят с кастрюлями. Это все местные, постоянные покупатели. В очереди они переговариваются с Валей и между собой, обмениваются новостями. Рассказывают, кто женился, кто развелся, кто из командировки чего только не понавез, и какая на перекрестке была ава-

рия, и где давали шерстяные кофточки, где — дешевую рыбу или говяжьи потроха. Ругают распустившуюся современную молодежь: «Мы разве такие были!..» Делятся рецептами печений и варений, обсуждают, какая марка телевизора лучше, какая обувь практичнее — отечественная или импортная.

Постоянный предмет оживленных дебатов — переселение в новые дома. Радуются этому, хотя и жалеют свой район, который кажется лучше всех уже потому, что в нем прожито много лет. Завидуют получающим хорошие квартиры, сочувствуют кому-то, кто мог бы лучше получить, если бы немного подождал. Осуждают тех, кто уж очень копается, капризничает, предъявляет непомерные требования.

— Дождется, что с милицией выселят!..

— А то и своего добьется. Такие и добиваются!

— Дворник-то из дома напротив булочной, этот... как его... ногу еще волочит, жена такая мордастая, красная — получил-таки отдельную квартиру! Сколько не ехал в общую за выездом, и все же дали! Всего ничего живет в Москве, а получил! На первом этаже, правда, комнаты смежные...

— На первом! Мы всю жизнь в Москве, и все на первом, да с соседями!..

— Деревня умеет! В очередях одна деревня, мешочники, ничего не купишь из-за них, и квартиры получают прежде коренных москвичей!

— А мы не люди? Деревне жить не надо? — раздастся чей-нибудь протестующий голос.

— Все люди, все жить хотят — и городские и деревенские,— вступится кто-нибудь. — Мы-то, москвичи, откуда? Отцы, деды у нас кто? Пожили в Москве и в дворяне записываемся?

Обычно такой голос быстро приводит в сознание. Лишь немногие продолжают отстаивать новоявленные привилегии. Если же спор грозит перейти в ссору, Валя постарается переменить тему, переключив внимание на что-нибудь другое. Спросит, как покупатели находят пирожки, или пожалуется, что блины сегодня неудачные получаются: мука плохая. И все примутся нахваливать Валины золотые руки, превращающие даже плохую муку в отличные блины. Валя не любит шума и ссор. Сама она всегда ровная, со всеми приветливая без заискивания. И посетители блинной невольно перенимают этот тон. Здесь редко грубят, ругаются. Разве что начнет кто-нибудь впервые забредший. Но обычно сам быстро осядет, почувствует, что не такая тут обстановка.

Заходят сюда и распить на троих.

— Нельзя, ребята,— скажет Валя, потемнев.— Не разрешается, сами знаете...

— Мы быстро, мы сейчас...— залебезят, заторопятся они.— Стаканчика бы...

— Стаканчики им еще!..— заворчит сердитая уборщица.

Один из нежелательных гостей виновато шмыгнет к подносу с чистыми стаканами, схватит три и скорей обратно, к столу, где уже взбалтывается, откупоривается бутылка. Булькает жидкость, размеряемая на глаз, стаканы опорожняются и тут же исчезают со стола. Лица краснеют, головы сближаются. На закуску у собутыльников денег, как правило, нет, и они основательно пьянеют с одной стопки. Все горячее становится заплетающийся говор:

— Понял?.. Я тебя понимаю!.. Ты меня понял?..

— Я ему сказал!.. Я его... Он мне... А я как ему, он так и сел!..

И все это, разумеется, с лексическими красотами, которые не содержит никакой словарь.

— А ну, поживее! Место освобождай! — подступает к пьяным парням маленькая уборщица.

— Правда, поскорее бы, ребята...— произнесет Валя сдержанно.— Подведете меня...

Они заспешат, возьмутся за шапки, зашуршат папиросами.

— Здесь не курят! — прикрикнет уборщица, особенно зло, если они захватили бутылку с собой: это ее приработок. Но и у пьяницы копейка на учете, он не очень-то разбрасывается бутылками.

— С утра, а? Что же будет к вечеру, какими явятся к женам?! И где только деньги берут?..— осуждающе загомонят покупатели после ухода пьяниц.— Гнать их надо!..

— Ведь легко сказать — гнать! Никаких нервов не хватит...— скажет Валя устало, горестно.— Уходить надо, уходить... И нервотрепка и сквозняки — простужаешься. Сменщица то и дело болеет, все время работаю одна по две смены... Света не видишь! Муж грозит развестись. «У тебя там, наверно, романы»,— говорит. Ему бы такие романы!.. Надо уходить...

Все как-то поскучнеют от этих ее слов. Но Валя быстро возьмет себя в руки, сделается такой же ровно-приветливой, как всегда. Пошутит, и все опять повеселеют, заулыбаются.

Иногда по выработавшейся агентской привычке меня тянет узнать, застрахованы ли блинницы, предложить застраховаться, если нет, но воздерживаюсь: хочется за порцией блинов просто отдохнуть.

7

Проводя целый день с утра до вечера на работе, мы привыкли видеть город лишь утром да в выходные дни, когда улицы оживленны: в магазинах, трамваях, троллейбусах полно народу. А днем, когда я прихожу на участок, тут тихо, пустынно. По-особому, по-дневному пустынно: ночью или рано утром пусты улицы, но ощущается, что дома полны, наполнены; днем прохожих больше, а тихи, пусты дома: не шелохнутся занавески, никто не мелькнет в окне. Безлюдны подъезды. Особенно гулко раздаются звонки и стук в дверь. Взрослые — на работе, дошкольники — в яслях, детских садах, школьники — в школе. Пенсионеры разбредаются кто в магазин, кто по делам, кто гулять.

Но меня пенсионеры ждут, привыкнув к моему графику. Поэтому начинаю со старых домов, где их больше: молодые семьи разъезжаются отсюда, получая отдельные квартиры кто от работы, кто в порядке очередности, а пожилые остаются в старых, обжитых.

Есть у меня несколько переулков в тех местах за Садовым кольцом, где до революции жили преимущественно небогатые дворяне, средние торговцы, мелкие чиновники, интеллигенция. Какими комфортабельными, фешенебельными по сравнению с большей частью московских домов, особенно окраинных, казались всего несколько лет назад здешние старинные особняки с цельными окнами, высокими дверями, лепными украшениями. И какими дряхлыми, старозаветными выглядят они рядом с новыми домами, вырастающими там и сям, хотя здесь и нет большого строительства. Правда, некоторые особняки и теперь хороши со своими благородными пропорциями. Все в них просто, украшений почти нет, разве что очень в меру лепка по карнизу и наличникам, а красиво. Не поймешь даже, чем достигается впечатление.

Встречаются в этих краях стародавние их обитатели: нафталинные старушки с челками и в шляпках, какие были в моде в двадцатые годы, и еще более древние — с сивым пучочком на макушке, в старинных кружевах. Некоторые очень чистенькие, аккуратные, по-своему нарядные, хотя и предпочитают черное, серое, кремовое, будто, как они сами, пожелтевшее от времени.

В комнатах нередки почерневшие резные буфеты красного дерева, остатки дорогих гарнитуров, старинного хрусталя, бронзы, старинные картины в массивных рамах, литографии, гравюры, порой свидетельствующие, что их владельцы имели не только средства, но и вкус. И все это вперемежку с телевизорами, холодильниками, радиолами. На старинном комоде, туалете, трюмо среди фарфоровых маркиз, пастушек, амуров с отбитыми ручками — портрет Гагарина, ракета на пластмассовой подставке. Прошлое не только оттесняется современностью, но и принимает ее, признает ее превосходство.

Некоторые старые дома в этих краях напоминают современные: четыре-пять этажей, на лестничной площадке — четыре-шесть небольших квартир по три-четыре комнаты. Но есть и бывшие доходные дома, чрезвычайно мрачные, холодные, сырые, с толстенными нештукатуренными стенами почерневшего кирпича, узкими, расшатанными лестницами, осклизлыми коленами канализационных труб, неровными дощатыми полами, потеками на потолках, хотя и тут почти во всех комнатах и холодильники и телевизоры.

В деревянных обывательских домах зачастую антресоли — нечто вроде внутреннего балкона, порой с изгибающимся спуском не то в зал, не то в вестибюль — совсем как излюбленный театральный штамп декорации, изображающей внутреннее помещение. Нередки спиральные, винтовые лесенки — и простые деревянные, и чугунные с ажурным литьем. Прямо-таки видишь горничную или лакея, сбегающих с подносом по этой лестнице, слышишь шорох длинных темных юбок на скрипучих антресолях с деревянными балюстрадами перил. Неторопливое, размеренное течение былой жизни, далекого прошлого ощущается здесь, несмотря даже на современные газовые плиты, водопроводные раковины, кухонные столы, установленные за неимением специального помещения для кухни прямо тут, на антресолях. Но когда побываешь во втором, третьем, пятом подобном доме, начинаешь ощущать и однообразие былой жизни, скуку ее, господствующее в ней обывательское стремление быть не хуже соседа, а по возможности и перещеголять его: закрутить еще не такую спиральную лестницу, отгрохать еще и не такую антресоль — обывательское тщеславие при обывательской скудости фантазии. Не наш век породил и стандарты и обывателя. Современные технические возможности лишь придали стандартам небывалый размах. И покажется ли это таким уж страшным, если вспомнить, что современные стандарты теснят преимущественно самый распространенный стандарт прошлого — стандарт нищеты!

Входит в мой участок и островок старомосковской окраины, со всех сторон теснимый новостройками, далеко перехлестнувшими его: пара улочек и несколько переулков с деревянными одно- и двухэтажными домами, некоторые с каменным низом, с садами, палисадниками, хотя теперь и заасфальтированные, но все равно заросшие травой. Места эти милы моему сердцу, потому что напоминают улицы и переулки моего детства, особенно одна улочка с кирпичным флигелем керосинной на углу, с дощатым павильоном-булочной, с колонкой, куда многие еще ходят за водой, с дымящими печными трубами, со скамейками у ворот,

где вяжут и судачат соседки, с виднеющимися из-за заборов рябинами, сиренью, фруктовыми деревьями, летом — цветущими, плодоносящими, зимой — заснеженными, заиндевелыми. Пронесшийся по Москве антизаборный самум в этих краях, чувствуется, бушевал не с такой силой, как в других местах.

Мне хочется, чтобы уголки эти сохранились подольше, а здешние жители ждут не дождутся слома, переезда в новые дома. Что же, предаваться воспоминаниям на таких островках былого приятнее, чем жить...

Бывшая окраина, в сущности, совсем неподалеку от кварталов, кичившихся своей аристократичностью, близостью к центру, каких-нибудь полчаса ходьбы — расстояние ли по нашим временам! Какой же маленькой еще недавно была Москва! А казалась такой большой, какой не кажется теперь при всей огромности. Век сокращения расстояний!

В этом староокраинном уголке кое-кто из пожилых сохранил облик, когда-то — и не так давно — специфический для этих мест: особую манеру держаться, чисто московский говор нараспев, вроде того, что в замоскворецких пьесах Островского, — манеры и говор старомосковской мастеровой, ремесленной, лавочнической окраины, наступавшей на кварталы особняков.

Мои пенсионеры ждут меня с нетерпением: им хочется расплатиться поскорей. Они не любят должать: как только получают пенсию, отдают за квартиру, за коммунальные услуги. Страховые взносы платят аккуратно. Для них это — действие значительное, страховка — вещь важная. Предназначается она у большинства на похороны, чтобы не обременять родных. О смерти говорят просто, без страха, аффекта, сентиментальности, как об обычном немаловажном житейском деле, которое нужно сделать как следует. Но отнюдь не о смерти главные заботы. От многих слышишь, что на пенсии они имеют возможность наверстывать упущенное: поглощают книги, ходят по выставкам, путешествуют...

Многие старики до сих пор с благодарностью вспоминают тот момент, когда был принят закон о пенсионном обеспечении.

Комната одного моего клиента-пенсионера заставлена мольбертами, завешана и завалена эскизами, картинами, рисунками. Большей частью они чисто любительские, дилетантские: со слишком голубым морем, слишком зеленой аляповатой зеленью, слишком розовыми закатами, не вполне симметричными лицами на портретах — у одного сместился нос, у другого выпирает глаз. Но среди небольших рисунков есть и хорошие. Кроме того, почти каждый раз, когда я прихожу, хозяин — еще бодрый, крепкий человек, которого трудно назвать стариком, несмотря на его семьдесят лет,— достает скрипку и демонстрирует свои музыкальные успехи: прочувствованно, хотя и ошибаясь, сбиваясь, играет что-то сложное, красивое, явно классическое. Выйдя на пенсию, он начал всерьез учиться игре на скрипке.

Однако отдыхать, жить ради себя и ради того, для чего всю жизнь хотелось, но не удавалось жить, приходится далеко не всем пенсионерам. Они нянчат внуков, с удовольствием, но не ради одного удовольствия занимаются загородными участками, дачами, коллективными садами и огородами, солениями и варениями. Свои потребности невелики: на питание пенсии хватает, необходимое же в домашнем обиходе обычно приобретается загодя, до пенсии. Но — дети. Если даже они взрослые и давно живут своими семьями. Не выдерживают родительские сердца, если дети не могут обставить квартиру не хуже, чем у других, если дочери приходится ежедневно бегать по магазинам, таскать тяжелые сумки, потому что нет холодильника, если внуки постоянно болеют в яслях или детском саду.

Да и далеко не все имеют свои собственные интересы, умеют жить чем-нибудь, кроме солений, варений и детей. Самое большое, чего желают многие, это отдых, то есть сидение на скамейке с соседями, за телевизором, за рюмочкой.

Пока обойдешь несколько пенсионеров, начинают возвращаться и работающие. Сначала, правда, мужчины, а от мужчин страховому агенту не так уж много прока: у них редко бывают деньги. Одним жены не доверяют по причине все той же слабости, другие просто не знают, не интересуются тем, где деньги у жены, не желают вмешиваться в ее дела. Тем более что зачастую не одобряют женину затею со страхованием: жалуется, что денег нет, а сама бросает их невесть на что. Кроме того, мужчины суеверны и мнительны. То мужчине кажется, что страховка накликает на него беду, то коробит сознание, что вроде бы жена будет ждать его смерти, если он застрахуется, или она будет думать, что он ждет ее смерти, если застрахуется она. Женщина реалистичнее мужчины и менее сентиментальна. Больше мужчины дорожа близкими, она в то же время учитывает, что случиться может всякое и все равно надо будет жить.

Правда, привыкнув ко мне, к моему расписанию, платить стали и мужчины. Встречаются и такие рыцари, что, пожалев тебя, заплатят даже из своего мужского неприкосновенного запаса, с великим трудом утаенного от жены.

Семейная пара, где деньги у мужчины и он ими распоряжается,— редкость. Даже те мужчины, которые пользуются полным доверием и широкими полномочиями в смысле трат, избегают вмешательства в денежные дела. Мне скажет, что у него денег нет, а потом жена укоряет:

— Уж не мог заплатить!..

— Я не знаю...— оправдывается он.

— Что же, ты не знаешь, где деньги лежат?.. — А за этим слышится: «Можно подумать, будто я прячу от тебя деньги, так угнетаю тебя!»

Большинство женщин ради семейного согласия всячески поддерживают в муже уверенность, что глава семьи — он. Трезвый, работящий и прилично зарабатывающий мужчина в семье — сокровище, которым жена чрезвычайно дорожит, хотя во многом благополучие семьи зависит от женщины.

Но нередко жена открыто третирует мужа, при постороннем человеке даже нарочито, напоказ: вот, мол, как я со своим, где он у меня; чуть не на каждом слове обрывает: «Ну что городишь!», «Не болтай!», «Замолчи!» Все это, однако, не мешает женщинам считать мужчин вообще лучшей, высшей половиной рода человеческого.

Женщины возвращаются, нагруженные сумками, такими тяжелыми, что пальцы онемели, склеились, скрючившись. Все покупки они стараются делать сами. Мужчины непрактичны, нерасчетливы: жена скажет, чтобы купил масла, а он принесет еще и приглянувшийся торт; вместо картошки притащит яблок...

Едва переступив порог, мать семейства принимается собирать посуду, объедки, оставшиеся с утра на столе; накрывать кровати, если утром не успели застелить. Отсчитывая мне деньги и одновременно разгружая сумки, ужасается, сколько истратила, не сумела сэкономить. И уже повязывается фартуком, и допрашивает юного отпрыска, сделал ли он уроки, и охает над разбитыми ботинками, разорванными брюками, и отдает мужу распоряжения то почистить, это помыть, которые он выполняет с той или иной степенью старания, охоты и ловкости.

В определенные дни бываю в огромном многоэтажном доме, еще новом, хотя и не новейшего образца: ступенчатой формы, представляющий как бы пьедестал под башню, которая должна была его увенчать, но которую не успели воздвигнуть, так как началась борьба с архитектурными излишествами и украшательством.

Дом-пьедестал облицован плиткой, а чтоб она, осыпаясь, не ранила прохожих, снабжен на уровне второго этажа сеткой-козырьком, где валяются папиросные коробки, окурки, исписанные листки с расплывшимися чернилами, сломанные игрушки и прочий мусор. Высоченные полутемные вестибюли с арками, колоннами, нишами, какими-то закоулками, где будто подстерегают тебя, гулки, как церковь; к двери лифта, непропорционально маленькой среди всего этого величия, ведет несколько ступеней, как к алтарю. Люстры, канделябры, тяжеловесные лепные завитушки, вычурный металлический ажур.

Планировка квартир одинаковая по секциям сверху вниз и разная в различных секциях, подъездах, на площадках. Кухни большие и крохотные. Коридоры, прихожие то занимают чуть не полквартиры, то так малы, что трудно пристроить вешалку. Наиболее частая планировка квартиры — две смежные комнаты и одна изолированная. Но есть и две изолированные комнаты, и три. Смежные комнаты спланированы так, чтобы их нельзя было изолировать. А они зачастую огромны — общей площадью метров пятьдесят. Вселяли сюда большие, многодетные семьи, и теперь, когда дети выросли, переженились, сами обзавелись детьми, здесь живет фактически несколько семей. Целый табор, перегородившись шкафами, занавесками, одеялами, так как самовольное производство перепланировки запрещается.

Рядом с табором обычно «подселенец» — одиночка или семья из двух-трех человек. Нетрудно представить, каково этим подселенцам живется с соседской оравой, которая волей-неволей заполняет все места общего пользования, всю квартиру. Таборы постепенно расселяются. Молодые их обитатели всеми силами стараются приобрести собственную жилплощадь, поступают работать туда, где обеспечивают ею; отрабатывают на стройках, вступают в жилищные кооперативы. Однако расселение затрудняется тем, что встать на очередь «таборянам» непросто: чтобы приобрести это право на пятидесятиметровой площади, надо расплодиться чуть не до двадцати человек.

Вообще в двух-трехсемейных квартирах живется нелегко. Можно заметить, что чем меньше семей в квартире, тем реже дружба, чем больше — тем она чаще. Где пять-шесть комнат, а тем более коридорная система, там оставляют друг другу деньги, на кухне шутят, запросто заходят один к другому в комнату.

Есть и такие двух-трехсемейные квартиры, где внешне мир и лад. Но как нелегко они даются! Люди разные: один любит тишину, другой — музыку, один чистюля, другой небрежный, один расчетлив, другой транжир, и нет такого сдерживающего начала, как коллектив. Мир в этих условиях — поистине подвиг долготерпения, взаимной снисходительности, уступок. Молодые соседи уживаются легче, пожилые, с издерганными, поизносившимися нервами, — труднее.

С особенно тягостным чувством вхожу с некоторых пор в одну из квартир дома-пьедестала. В не любимой мной квартире живут: семья местной общественницы — члена товарищеского суда, домового комитета — и «подселенка» — продавщица с сыном лет десяти. Обе застрахованы. Обычно прохожу на кухню, чтобы поскорее получить взносы с обеих сразу, и обе клиентки расплачиваются тут с разговорами и шутками, порой одалживая друг у друга деньги. Но иногда та, которая первой

выйдет на звонок, настойчиво уведет меня в свою комнату. И уже потом отправляюсь к другой, ожидающей у себя. Это значит, соседки в контрах. Довольно долго они ничего не рассказывали о своих ссорах, лишь изредка у какой-нибудь вырвется досадливая, язвительная реплика по адресу другой. Но в конце концов не выдержали. Первой не выдержала общественница — немолодая суетливая женщина с очень морщинистым лицом и каким-то будто вспугнутым взглядом. Осведомившись, рассказывает ли о ней соседка, и, видимо, не поверив, что не рассказывает, она приблизила ко мне свое словно иссеченное лицо с глазами, округлившимися так, что они стали как два овальных столбика, и зашептала:

— Странная какая-то: все ей что-то кажется, то будто мыло ее исцарапали, то будто на вешалку повесили бумажку... Может, кто из ребят и повесил, что тут такого — дети шалят, играют... А уж она!.. Готовит в комнате... Прячется: продавщица — таскает... Мужчин водит, выпивают... Мальчишка хулиган, плохо учится... Нальет, нагрязнит, а скажешь... Мать должна быть благодарна, что учу, воспитываю, а она...

Потом начала и продавщица: на кухне ничего нельзя оставить, по кастрюлям лазают. Цепляются на каждом шагу: что ни испачкается, ни разобьется, все ее сын виноват. Будто соседские дети — ангелы, ничего не могут сломать, испортить. Муж соседки бумажки раскладывает на стульях, столах, развешивает на своих вешалках — проверяют, не пользуется ли она ими. Когда кто придет, мимо ее комнаты так и шныряют — высматривают...

Я слушала и не слушала, верила и не верила. Да и разберись тут. Но больше была склонна верить общественнице. Как-никак культурная семья: муж инженер, неужели такой станет развешивать бумажки? И дети вежливые, воспитанные. У продавщицы же мальчик диковатый, худенький, чувствуется—нервный. Она на него то и дело кричит, а он дерзит ей. Надо думать, как он ведет себя с соседями!

У общественницы трое детей. Она рассказывает, что был четвертый, старший, но умер в войну во время эвакуации. И однажды на кухне, где была и продавщица, рассказала, как это произошло.

В эвакуации она жила где-то на Урале, у стариков — бывшего есаула с женой. Работала. Ребенка оставляла со стариками.

— Они сами просили, им веселей, говорили... что любят его, — рассказывала общественница.— А сами ставили в ведро с холодной водой... Он простудился и умер...

— Зачем же... в ведро? — не поняла продавщица так же, как и я.

— Чтобы простудить!

— Но... зачем?..

— Бывший есаул! Их забрали за это!

— А... как же узнали?..

— Мы заявили! Они признались!.. Следователь говорил!.. Их посадили!..

— И... где же теперь есаул этот... эти старики? — спросила продавщица.

— Не знаю!.. Дом все был заколочен, нам писали...

После этого случая невольно пытливо приглядываешься к людям, стараясь определить, кто — кто, кто какой не внешне, а в самой основе; что у кого за душой, что в прошлом, от кого чего ждать в решительную минуту.

Но трудно, очень трудно распознать это. Все кажутся такими хорошими, когда приветливо встречают, дружески разговаривают, откро-

венничают, советуются — отношения, обычно складывающиеся между постоянными клиентами и агентом. Чтобы люди добровольно отдавали свои отнюдь не лишние и не даром доставшиеся деньги, необходимо ладить с ними. У агента вырабатывается выдержка и умение подойти даже к самым капризным, заносчивым, вздорным. Это сохраняется и вне исполнения служебных обязанностей. Рубль оказывается прекрасным дисциплинирующим средством.

В доме-пьедестале живет и одна из самых любимых моих семей: пожилые простые люди. Она — бывшая работница, уже на пенсии, он — рабочий. Дети их поразлетелись, свили свои гнезда, но большая квартира (впрочем, для этого дома небольшая скорей) никогда не пустует, не безмолвствует. Дети приезжают в гости, собираются на семейный совет, празднуют семейные торжества, праздники. Часто гостят внучата. Летом бабушка возит их в деревню. Все концентрируется вокруг нее. Работящий незаметный муж ее тих, стеснителен, неразговорчив. Дети образованнее родителей, материально самостоятельны, однако родители продолжают пользоваться авторитетом и играть в их жизни немалую роль. Родоначальница разбирает недоразумения, конфликты в их семьях, мирит, улаживает, советует, наставляет. Иногда применяются весьма энергичные меры воздействия. Вплоть до семейного остракизма. Его угрозы, верней.

Обстановка в квартире простая: мебель немодная, старая, потемневшая; идеальной чистоты нет. Зато хорошо как-то становится на душе, когда в тесной кухне за громоздким дедовским столом, работая ложками, болтают, шалят, ссорятся несколько ребятишек — картина, которую нечасто увидишь теперь,— а во главе стола — бабушка, далеко не старуха еще.

Из квартиры в квартиру, с площадки на площадку, из дома в дом... Даже зимой спина взмокнет, лицо разгорится... Предлагают посидеть, отдохнуть, выпить чаю, посмотреть телепередачу, но куда там: скорее, скорее бежишь, а то ничего не успеешь, не сделаешь. И не только не выкроишь, как рассчитывал, свободный денек для домашних дел, но, пожалуй, и без выходного придется работать...

И все-таки засидишься то у одних, то у других. Как не выслушать тревоги и заботы Софьи Петровны, у которой забирают сына в армию. А потом — ее рассказы, как он удачно устроился: рядом, под Москвой. Уже и в отпуск приезжал. Спортсмен. В соревнованиях участвовал. А вот невесту его, которая, казалось, без памяти любила, видели с другим. Страшно подумать, что будет, когда он узнает...

И как не поинтересоваться делами сына Муси Исаевны, который наконец-то устроился, куда хотел. Он и несколько его товарищей увлекаются радио. Товарищи уже давно устроились работать по этому делу, а с ним, самым способным, самым увлеченным, своими руками собравшим не один приемник, магнитофон, не одну радиолу, получалось все как-то так: пообещают ему, возьмут документы, подержат и — вернут. У него уж было руки совсем опустились...

Трудно отмахнуться от людских радостей и горестей, удач и неприятностей, не постараться что-то посоветовать, по крайней мере выразить участие. Ведь жизнь этих людей — это и твоя жизнь. Им лучше — и у тебя надежды. Им хуже — и ты жди худшего...

Из двери в дверь, из квартиры в квартиру... Спешу, бегу. И время тоже бежит. Если зима или осень, то уже темно. А если погода к тому же плохая, на улицах часов в семь уже никого.

Исчезают гулявшие дети, сначала девочки, потом постепенно и мальчики.

— Поздно вы...— все чаще говорят мне: осведомляются, не боюсь ли я.

Побаиваюсь, признаться. Мы, агенты, наслушиваемся всяких историй больше, чем кто бы то ни было.

Стараюсь подальше обходить попадающиеся группы молодежи, болтающиеся у ворот, на перекрестках, поскорее их миновать. Тем более, что не очень-то приятно слушать мат, которым они пересыпают свои разговоры. Если только можно назвать разговором обмен обрывочными фразами, где, кроме непристойностей, фигурируют преимущественно три слова: водка, пол-литра, пить.

А другие, сгрудившись, молчат. Сидят в какой-нибудь беседке или стоят, подперев стену, и молчат. Войдешь в подъезд — стоят, молчат; выйдешь — стоят, молчат. Обойдешь второй, третий подъезд, а они все молчат в тех же позах. Что делается в это время под напущенными на брови челками, что зреет в пустоте под поэтически длинными волосами, сменившими недавнюю стрижку почти наголо? Сколько энергии скапливается от этой неподвижности в том возрасте, когда особенно сильна потребность в движении, деятельности?.. Все это как будто обыкновенные ребята, разве что требующие чуть больше внимания, чем те, которые способны сами занять себя. Ребята из семей, где главное — полированные шкафы, где неспособны привить детям какие-либо другие интересы, потому что сами не имеют их или не знают, как это делается.

Многое зависит от новых условий работы и тут. И людей для усиления воспитательной работы она высвободит, и средств на клубы, кружки, библиотеки даст. Позволив укорачивать рабочий день, она увеличит досуг, а следовательно, возможность и детям уделять больше внимания, и самим родителям все более приобщаться к культуре, к подлинным ценностям.

Поистине экономическая реформа — центральная, ключевая проблема нашей современной жизни. Страховому агенту, который бывает всюду, это видно, может быть, лучше, чем представителю любой другой профессии, как видна и огромность того, что сделано за годы советской власти. Хотя, безусловно, и сама реформа порождает новые проблемы, о которых уж начинают говорить в печати. Но это проблемы нового, высшего порядка, проблемы дальнейшего роста.

Позднее всего задерживаешься на участке, когда «ходишь по новым». Заключение новых договоров — самая тяжелая агентская обязанность. Ходят с такой целью и по организациям и по домам, преимущественно недавно заселенным. Одни агенты набрасываются на такие дома, считая их целиной, где только знай собирай урожай, в чем не может разубедить никакой опыт; другие просто предпочитают дома с отдельными квартирами, потому что один на один легче проглотить отказ.

Самое трудное — заставить себя позвонить в первую незнакомую дверь. Потом появляется нечто вроде спортивного азарта. Особенно, если быстро удается кого-нибудь застраховать. Большей же частью это удается: население интересуется страхованием. Удовлетворение от маленькой победы вдохновляет на новые подвиги...

Такую работу проводишь только вечерами, когда все дома. Мужчины в это время обычно за телевизором, женщины — на кухне или за стиркой в ванной, молодежь — за книгами, преимущественно учебниками. До того одно и то же, особенно в новых домах, где и планировка квартир однотипная и почти у всех новая стандартная мебель, к тому же и расставленная так, что кажется, будто много раз попадаешь в одну и ту же квартиру: посредине стол, большей частью — круглый, накры-

тый гобеленовой или ковровой скатертью, в переднем углу — телевизор, по стенам — сервант, диван-кровать. Последнее время все чаще — книжный шкаф, поблескивающий золотым тиснением новеньких классиков.

Не отличишь семью рабочего от семьи служащего, инженера. Да и зачастую отец — рабочий, сын — педагог; муж — монтажник, жена — инженер; муж — рабочий, жена — служащая и т. д. Ощущается некоторая разница в средствах, умении устроить жилье, уровне вкуса, но стремления, идеал, образец, на которые равняются, почти всюду одинаковы. Все стараются обставить квартиру по-современному, не хуже, чем у людей. Да и разница в средствах не так велика: низкооплачиваемые нагоняют высокооплачиваемых, а то и перегоняют их — работой по совместительству, самыми различными подработками, законными и не слишком законными. Среди других несколько выделяются обилием полировки, ковров, хрусталя квартиры современных мещан, а сами они — полосатыми штапельными, а то и шелковыми пижамами. Нередко чем больше полировки, тем мокрее носы ребятишек, собирающихся вокруг меня, а чем интеллигентнее семья, тем тусклее и старее мебель. Чувствуется: чем ниже культура, тем сильнее стремление не ударить лицом в грязь во внешних проявлениях ее. В какой-то мере можно отличить коренные городские семьи от некоренных, как последние ни стараются не отстать от горожан и превзойти их, украшая свои комнаты декоративным бархатом, сверкающей вискозой, гобеленом с кистями, бахромой.

Однако разница быстро стирается. У большинства, особенно молодых, довольно скоро вырабатывается вкус, чувство меры, умение разобраться, что плохо и что хорошо.

Время от времени москвичей охватывает поветрие обучения детей то фигурному катанию на коньках, то плаванию, то иностранным языкам, то музыке. Реализация идеи большей частью зависит от наличия в семье кого-нибудь неработающего или в какой-то мере располагающего временем.

Тяга к культуре огромна и повсеместна. Обучение детей, стремление дать им образование — один из основных интересов. Сплошь и рядом матери штудируют с питомцами школьный курс много усердней, чем в свои школьные годы.

Женщины увлекаются то вышиванием, то вязанием, то курсами кройки и шитья. Это не платонические увлечения: многие, даже работая, обшивают свои семьи. Есть большие искусницы в шитье и вязании.

Мужчины иной раз покажут красиво оформленный, подсвеченный аквариум, ухоженный цветник на балконе, самодельную мебель, отделанную не хуже, а то и лучше покупной. Но никогда никого не застаешь за мольбертом, лепкой, даже игрой на пианино — разучиванием гамм, а для себя, для души, хотя инструмент у многих. Кроме старого любителя-художника, о котором уже говорилось, только одна молодая женщина раз показала мне поздравительную открытку собственного производства — изящную акварель. Оказалось, что молодая клиентка училась рисовать, но работает на фабрике швеей. Иногда объявления пишет, фабричную стенгазету оформляет.

Должно быть, своеобразных дарований среди тех людей, с которыми сталкиваешься, множество, но как распознать их среди стирающих белье, прокручивающих пластинки, сидящих у телевизоров?

Потребительская культура? Возможно.

Но так ли уж страшно по нашим временам само это словосочетание? Телевидение, радио стандартизируют мышление, отучают самостоя-

тельно думать? Отучиться можно лишь от того, к чему привык, а без радио, телевидения громадные массы до сих пор не имели бы возможности приобщиться ни к какой культуре. И сидение перед телевизором даже в созерцании футбола — шаг вперед по сравнению с выпивкой и пьяной дракой после нее.

В новых домах особенно заметно, как меняет людей обстановка, образ жизни. Тут не только мебель преимущественно новая, но и люди другие: спокойнее, общительнее, приветливее. Уже не дружба, а вражда между соседями — исключение. Впрочем, чаще всего почти не замечают соседей, не помнят о них. Каждый живет своей жизнью, своими интересами.

Возникают новые потребности. Подписные издания в книжных шкафах пока главным образом мода, поветрие, распространению которого способствует улучшение жилищных условий, но можно ручаться, что книги не останутся нетронутыми: растут, учатся дети. Да и сами родители нет-нет, а возьмут книгу, коли она под рукой.

Но все эти перемены происходят постепенно, после того, как люди обживутся. Новоселы же никак не нарадуются на отдельную квартиру. Со всяким, кто ни придет, делятся своим счастьем, своими планами преобразований и усовершенствований, всякому показывают каждый уголок.

Приходится смотреть, хотя наизусть знаешь однотипную планировку. И как ни спешишь, выскажешь несколько глубокомысленных замечаний...

Перемены, разумеется, не только в новых домах. И в новых и в старых немало общих перемен.

Какие рослые, широкоплечие интеллигентные юноши зачастую отпирают на звонок! Какой у многих приятный благородный тембр молодого тенорка. Как они вежливы, воспитанны: первыми поздороваются, тотчас подадут стул. Как стеснительны, милы. Причем, надо сказать, дома почти все такие. Никак не могу определить, кто же торчит, нахохлившись, на перекрестках.

А девушки, длинноногие, с осиными талиями, акварельными тонами нежной кожи, лебедиными шеями, которые изгибаются так пленительно! Голоса их — тихие, робкие, мелодичные — не голос, а шепот, вздох, ласкающее дуновение. Разве скажешь, что у большинства деды, а то и отцы — от станка, сохи? Как быстро в благоприятных условиях возникает порода, которой гордилась каста голубых кровей! Разве было всего несколько лет назад столько красивых, крупных, интеллигентных — по крайней мере внешне — молодых людей?

А под ногами крутится, таращит глазенки, заглядывая в мои квитанции, племя и вовсе молодое, незнакомое. Если у подавляющего большинства старых позади дореволюционная нищета, разруха первой мировой и гражданской войн, трудности коллективизации, индустриализации, опять война, лишения периода восстановления, у средних — почти то же, исключая несколько светлых лет предвоенных — детства и юности, у молодых — тяжелое военное, послевоенное детство, то для подавляющего большинства маленьких с самых пеленок, само собой разумеется, телевизоры и велосипеды, ванны и изобилие игрушек, книги и хорошая одежда, полированные гарнитуры и холодильники. Для старших, средних, молодых одежда, мебель важны уже потому, что составляли проблему почти всю жизнь. А что будет важно для тех, которые сейчас пешком ходят под полированные столы, которых уговаривают скушать шоколадку, апельсин? С чем они начнут входить в жизнь через какой-нибудь десяток лет, что спросят, что принесут?

Да и в старших перемены год от году. Сколько хотя бы в последнее время стало со вкусом одетых людей! Не дорого, не с дешевым шиком, а просто, удобно, красиво, с той скромностью, благородством линий, сочетания цветов, тонов, которые производят большее впечатление, чем самый броский эффект. Даже у иной старухи самого простого вида такой узор на косынке, что залюбуешься. Большинство стариков чистенькие, каждый день такие, будто в церковь собрались. А где внешние перемены, там и внутренние. Меняется, все меняется.

Но мысли и чувства эти возникают уже потом, на досуге. А когда бежишь из квартиры в квартиру, помыслы об одном: успеть все сделать в этих краях, на этом участке.

И все-таки обязательно что-нибудь останется недоделанным, когда скажешь себе: «Довольно. Пора!..»

Какое же это наслаждение — в метро опуститься на мягкое, удобное сиденье вагона, ехать, ни о чем не думая, не шевелясь. Слушая, как гудят усталые ноги, как их покалывает. покалывает...

Варвара Александровна Борнычева родилась в 1921 году. Работала лаборантом, страховым агентом. С 1965 года выступает с рецензиями и публицистическими статьями. Публикуемый очерк — ее первое произведение в этом жанре.

АЛЬБЕР КАМЮ

Предлагаемые вниманию читателей рассказы известного французского писателя Альбера Камю (1913—1960) впервые были опубликованы в его сборнике «Изгнание и царство» («L'exil et le royaume») в 1957 году. Действие их происходит в Алжире, на родине писателя. В рассказе «Жена» нашла отражение тема, важная для нравственной философии Камю, в рассказе «Немые» — впечатления детства Камю, воспоминания о людях труда, среди которых он жил.

★

ЖЕНА

Жилая муха уже с минуту кружила по автокару, хотя окна были закрыты. Явившись неизвестно откуда, она бесшумно летала взад и вперед, пока совсем не обессилела. Жанина потеряла ее из виду, потом обнаружила на неподвижной руке своего мужа. Было холодно. Муха вздрагивала при каждом порыве ветра, хлеставшего песком по стеклам. Гремя осями и обшивкой, переваливаясь с боку на бок, машина едва продвигалась вперед в рассеянном свете зимнего утра. Жанина взглянула на мужа. Седеющие волосы, торчком стоящие над низким лбом, широкий нос, неправильно очерченный рот делали Марселя похожим на рассерженного фавна. При каждом толчке на выбоинах шоссе Жанина чувствовала, как он наваливается на нее. Потом он снова грузно оседал всей тяжестью на свои расставленные ноги, уперев в пространство неподвижный отсутствующий взгляд. Действовали только его толстые безволосые руки, которые казались еще короче под серыми фланелевыми рукавами, закрывшими манжеты сорочки. Руки с такой силой вцепились в зажатый между колен парусиновый саквояж, что даже не ощущали, как ползает по ним муха.

Послышался громкий вой ветра, и песчаный туман вокруг автокара сгустился еще плотнее. Песок забарабанил по стеклам, словно его пригоршнями швыряли невидимые руки. Муха зябко передернула крылышками, поджала лапки и взлетела. Автокар замедлил ход, казалось, он вот-вот остановится. Но тут ветер как будто притих, туман слегка рассеялся, и машина снова набрала скорость. В открывшихся просветах мелькали обрывки утонувшего в пыли ландшафта. Две-три пальмы, хрупкие, белесые, словно вырезанные из жести, возникали за окном и тут же исчезали.

— Ну и страна! — сказал Марсель.

Автокар был полон арабов, они дремали, завернувшись в свои бурнусы. Иные сидели, подобрав ноги, и еще сильнее, чем остальные, раскачивались при каждом толчке. Их молчание, их невозмутимое спокойствие начало угнетать Жанину; уже долгие дни, казалось, едет она под этим безмолвным эскортом. А между тем автокар отошел от конечной железнодорожной станции на рассвете и всего два часа продвигался

холодным утром по безотрадному каменистому плато, уходившему (по крайней мере когда они отправлялись) прямо к затерянному в красноватой мгле горизонту. Но потом поднялся ветер и мало-помалу поглотил бескрайнее пространство. Теперь пассажиры не видели больше ничего; один за другим они сникали и, словно погрузившись в белую ночь, плыли в полном молчании, лишь изредка протирая глаза и губы, раздраженные залетающим внутрь машины песком.

— Жанина!

Она вздрогнула, когда муж окликнул ее, и еще раз подумала, как не подходит к ней, такой большой и сильной, это имя. Марсель хотел узнать, где чемоданчик с образцами. Она пошарила ногой под скамейкой и, как ей показалось, нащупала чемодан. Наклоняться ей было трудно, она легко задыхалась. А в школе она была первой по гимнастике и дыхание никогда ей не изменяло. Давно ли это было? Двадцать пять лет назад. Двадцать пять лет, очевидно, не так уж много, раз ей кажется, что только вчера она колебалась между вольной жизнью и замужеством, только вчера с тоской думала о том времени, когда ей, кто знает, придется стареть в одиночестве. Она не осталась одинокой, и тот студент юридического факультета, который ходил за ней по пятам, сидел теперь здесь, рядом. В конце концов она согласилась, хотя он был маленького роста и ей не слишком нравился его жадный короткий смешок и черные глаза навыкате. Но ей нравилась в нем жизненная хватка, присущая всем французам, населявшим эту страну. Ей нравился также его озадаченный вид, когда события или люди обманывали его ожидания. А главное, ей нравилось быть любимой, а он ухаживал за ней самозабвенно. Позволяя ей так часто чувствовать, что она существует для него, он заставлял ее и в самом деле существовать. Нет, она не была одинока...

Автокар сигналил, прокладывая дорогу среди невидимых препятствий. В машине никто не шевелился. Внезапно Жанина почувствовала на себе чей-то взгляд и, повернув голову, посмотрела на соседнее сиденье, по ту сторону прохода. Это был не араб, и она удивилась, что не заметила его еще при отъезде. На нем была форма французских войск в Сахаре, из-под козырька парусинового кепи выглядывало обожженное солнцем лицо, узкое, заостренное книзу, словно морда шакала. С каким-то мрачным недовольством он в упор рассматривал ее светлыми глазами. Она вся вспыхнула и повернулась к мужу, который сидел, по-прежнему уставившись перед собой в туман и ветер. Жанина плотнее закуталась в пальто. Но она еще раз взглянула на французского солдата, высокого и тонкого, такого тонкого в своей ловко пригнанной куртке, что казалось, он был сделан из какого-то сухого сыпучего материала, из смеси кости и песка. Тут она обратила внимание на худые руки и темные лица арабов, сидевших напротив, и заметила, как свободно, несмотря на широкие одежды, располагаются они на сиденьях, на которых и она и муж едва умещались. Она туго стянула полы пальто. Впрочем, она была не такая уж толстая, скорее крупная и плотная, цветущая и еще привлекательная — это она чувствовала по мужским взглядам,— с детским выражением лица и живыми ясными глазами, неожиданными у женщины, всем своим крупным телом излучавшей тепло и покой.

Нет, все шло не так, как ей представлялось. Когда Марсель захотел взять ее с собой в поездку, она возражала. Он давно задумал это путешествие, сразу после войны, как только наладились дела. До войны скромная торговля тканями, которую он унаследовал от родителей, когда отказался от изучения права, позволяла им жить неплохо. В молодости на побережье можно быть счастливым. Но он не так уж любил физические упражнения и очень скоро перестал возить ее на пляж. Малень-

кая машина служила им для загородных прогулок только по воскресеньям. Остальное время он предпочитал проводить в магазине, среди многоцветных материй, под тенью аркад полуевропейского-полутуземного квартала. Они жили над лавкой в трех комнатах, убранных арабскими тканями и обставленных мебелью от Барбеса[1]. Детей у них не было. Годы прошли в полумраке, который они сохраняли, держа ставни полузакрытыми. Лето, пляж, прогулки, даже небо — все было далеко. Марселя не интересовало ничего, кроме его дел. Ей казалось, что она открыла его истинную страсть — деньги, и это — она сама не знала почему — ей не нравилось. Ведь в конце концов она этим пользовалась. Он не был скуп, напротив, очень щедр, особенно когда речь шла о ней. «Если со мной случится беда,— говорил он,— тебе будет где укрыться». И в самом деле, от нужды укрыться необходимо. Но от всего остального, от всего, что не было просто нуждой, от этого где укрыться? Вот что смутно тревожило ее по временам. А пока она помогала Марселю вести книги и иногда заменяла его в магазине. Труднее всего было летом, когда жара убивала даже скуку.

И вдруг как раз в самый разгар лета — война; Марселя мобилизовали, потом освободили; ткани куда-то исчезли; полный застой в делах; пустынные раскаленные улицы. Теперь, если случится несчастье, укрыться ей будет негде. Вот почему, едва появилась на рынке материя, Марсель задумал объехать деревни, расположенные на горных плато и еще южнее, чтобы обойтись без посредников и продать товар арабским купцам. Он хотел взять Жанину с собой. Она знала, что сообщение там трудное, а ее мучила одышка, она предпочитала ждать его дома. Но он настаивал, и она согласилась — отказаться у нее не хватило энергии. Теперь они были здесь, и по правде говоря, все это ничуть не походило на то, что она воображала. Она боялась жары, роя мух, грязных, пропахших анисом отелей. Но она и не думала о холоде, о пронзительном ветре, об этих чуть не полярных, усеянных валунами плато. Ей виделись пальмы и мягкий песок. Теперь она убеждалась, что пустыня это только камень, камень повсюду — и на небе, где властвовал лишь скрипучий холодный песок, и на земле, где меж камней пробивались лишь сухие былинки.

Машина остановилась. Шофер произнес несколько слов на языке, который она слышала всю жизнь, но не понимала.

— Что там еще? — спросил Марсель.

Шофер, по-французски на этот раз, объяснил, что, должно быть, песок забился в карбюратор, и Марсель еще раз чертыхнулся, помянув «эту страну». Шофер рассмеялся, блеснув всеми своими зубами, и заверил, что это ерунда, сейчас он прочистит карбюратор и отправится дальше. Он открыл дверцу, ледяной ветер ворвался в машину, бросив в лицо пассажирам горсти колючих песчинок. Арабы съежились и уткнулись лицом в бурнусы.

— Дверь закрывай! — прорычал Марсель.

Шофер, смеясь, снова появился в дверях. Не спеша он взял в кабине какие-то инструменты, потом, мелькнув в тумане, скрылся где-то впереди, так и не захлопнув дверцу. Марсель вздохнул:

— Можешь быть уверена, он сроду не видел ни одного мотора.

— Оставь,— сказала Жанина.

Но тут она вздрогнула. На песчаной насыпи рядом с машиной стояли неподвижные закутанные фигуры. Между капюшоном бурнуса и складками покрывала сверкали глаза. Безмолвные, возникшие неизвестно откуда, они смотрели на путешественников.

---

[1] Мебельная фирма в Париже.

— Пастухи,— сказал Марсель.

В машине молчали. Пассажиры, опустив голову, казалось, вслушивались в вой ветра, гулявшего на свободе по бескрайнему плато. Жанину вдруг поразило отсутствие багажа в автокаре. На конечной остановке шофер закинул на крышу их чемодан и несколько тюков. В машине, на сетках, лежали только узловатые палки и плоские кошелки. Все эти жители юга путешествовали, очевидно, с пустыми руками.

Но вот вернулся расторопный шофер. Из-под белого покрывала, которым он тоже закутал лицо, выглядывали смеющиеся глаза. Он объявил, что отправляется дальше. Дверца захлопнулась, ветер притих, зато стало слышно, как барабанит песок по стеклам. Шофер включил зажигание, мотор раскашлялся и заглох. Наконец он завелся и хрипло взвыл, когда шофер нажал на педаль акселератора. Пыхтя и икая, автокар тронулся с места. Над вьющимися по ветру бурнусами неподвижных пастухов поднялась чья-то рука, потом все утонуло в тумане. Почти сразу машина запрыгала по камням. Дорога стала еще хуже, из-за тряски арабы непрерывно покачивались. Жанину одолевала дремота, когда неожиданно перед ней появилась желтая коробочка, полная кашу[1]. Солдат-шакал улыбался ей. Она заколебалась, потом взяла и поблагодарила. Шакал сунул коробку в карман и сразу проглотил свою улыбку. Теперь он смотрел на дорогу, прямо перед собой. Жанина повернулась к Марселю, но увидела лишь его широкий затылок. Он вглядывался сквозь стекло в плотный туман, поднимавшийся над сыпучими барханами.

Они ехали уже много часов, и усталость сморила всех окончательно, когда снаружи вдруг послышались человеческие голоса. Ребятишки в бурнусах, вертясь волчком, прыгая и хлопая в ладоши, плясали вокруг машины. Автокар ехал теперь вдоль длинной улицы, застроенной низенькими домами; они прибыли в оазис. Ветер дул по-прежнему, но стены задерживали летящий песок, и кругом стало светлее. Небо, впрочем, оставалось затянуто пеленой. Под громкие крики, под скрежет тормозов автокар остановился у глинобитных аркад гостиницы с грязными окнами. Жанина вышла и, ступив на землю, почувствовала, что шатается. Над крышами домов поднимался стройный желтый минарет. Слева вырисовывались первые пальмы оазиса, и ей захотелось подойти к ним поближе. Но хотя время приближалось к полудню, было еще очень холодно, резкий ветер прохватил ее насквозь. Она повернулась к Марселю и увидела идущего ей навстречу солдата. Жанина ожидала улыбки или приветствия. Он прошел мимо, не глядя на нее, и исчез. Марсель был занят: он сгружал черный чемодан с тканями, лежавший на крыше автокара. Это было не так просто. Багажом распоряжался только шофер, а он, взгромоздясь на крышу, стоял там и разглагольствовал перед белыми бурнусами, окружившими машину. Затерянная среди этих лиц, словно вырезанных из кожи и кости, оглушенная гортанными криками, Жанина вдруг почувствовала страшную усталость.

— Я пойду,— сказала она Марселю, который нетерпеливо подгонял шофера.

Она вошла в гостиницу. Хозяин, тощий молчаливый француз, направился к ней навстречу. Он проводил ее по нависшей над улицей галерее на второй этаж, в комнату, где, кажется, только и было, что железная кровать, крашенный белилами стул, вешалка без занавесок, а за бамбуковой ширмой — умывальник, покрытый тонким слоем песка. Когда хозяин закрыл за собой дверь, Жанина почувствовала холод, исходивший

[1] Тонизирующее вещество, вырабатываемое из сока пальмы — арека и акации — катеху.

от голых выбеленных стен. Она не знала, куда положить сумку, где расположиться самой. Можно было либо лечь, либо стоять на ногах, и в обоих случаях — дрожать от холода. Она осталась стоять, держа сумку в руках, не сводя глаз с клочка неба, видневшегося сквозь пробитую под потолком отдушину. Она ждала, сама не зная чего. Она чувствовала только свое одиночество, пронизывающий холод да неприятную тяжесть там, где билось сердце. Она грезила наяву, не обращая внимания на доносившийся с улицы шум и громкий голос Марселя, вслушиваясь только в журчание реки, проникавшее через отдушину,— это ветер шелестел пальмовыми листьями, как ей казалось, совсем рядом. Потом ветер разбушевался, нежный ропот воды превратился в свист волн. За стеной ей чудилось море стройных гибких пальм, волнующееся под ударами бури. Все было не так, как она ожидала, но эти невидимые волны освежили ее воспаленные глаза. Она стояла, уронив руки, отяжелевшая, слегка согнувшись; холод поднимался по ее свинцовым ногам. Ей грезились стройные гибкие пальмы и юная девушка, какой она была когда-то.

Закончив туалет, они спустились в ресторан. На голых стенах были изображены верблюды и пальмы, плавающие в розовато-лиловом сиропе. Сквозь затененные аркадой окна проникал скупой свет. Марсель расспрашивал хозяина о местных купцах. Потом старый араб с военным орденом на куртке подал им еду. Марсель был озабочен и рассеянно крошил хлеб. Он не позволил жене пить воду:

— Она не кипяченая. Выпей лучше вина.

Жанине это не понравилось, вино действовало на нее дурно. И потом в меню была свинина.

— Коран это запрещает. Но коран не знал, что от хорошо прожаренной свинины болезней не бывает. Мы-то знаем толк в кухне. О чем ты задумалась?

Жанина не думала ни о чем или, может быть, — об этой победе поваров над пророками. Но ей пришлось поторопиться. Завтра утром они отправятся еще дальше на юг,— сейчас надо было повидать всех крупных купцов. Марсель велел старому арабу поскорее принести кофе. Тот молча склонил голову и удалился тихими шагами.

— Тише едешь — дальше будешь,— посмеиваясь, сказал Марсель.

В конце концов кофе был подан. Они наскоро проглотили его и вышли на холодную пыльную улицу. Марсель нанял молодого араба, чтобы тот помог ему нести чемодан, и из принципа сразу же стал торговаться об оплате. Он был убежден, как лишний раз сообщил Жанине, что арабы всегда запрашивают вдвое, зная, что им предложат четверть. Жанина, чувствуя себя неловко, плелась позади носильщика. Напрасно она надела шерстяной костюм под толстое пальто, ей хотелось бы занимать меньше места. От свинины, хотя и хорошо прожаренной, и выпитого вина ей тоже было не по себе.

Они пересекли небольшой сквер с пропыленными деревьями. Попадавшиеся навстречу арабы, словно не видя их, проходили мимо, завернувшись в бурнусы. Жанина заметила, что, даже одетые в лохмотья, они хранили горделивый вид, несвойственный арабам из ее города. Она следовала за чемоданом, который расчищал ей дорогу в толпе. Они прошли сквозь ворота в охряно-желтой глинобитной стене и очутились на обрамленной окаменевшими деревьями площади, которая в глубине, в широкой своей части, была замкнута аркадами и рядом лавок. Посреди площади они остановились перед выкрашенным в голубой цвет небольшим строением в форме артиллерийского снаряда. Внутри, в единственной комнате, куда свет проникал лишь из открытой входной двери, за полированной деревянной стойкой они увидели старого араба с седыми усами. Он

разливал чай, наклоняя и поднимая чайник над тремя разноцветными стаканчиками. Свежий запах мятного чая встретил Марселя и Жанину на пороге еще раньше, чем им удалось рассмотреть что-нибудь в полутемном помещении. Едва войдя в дверь и миновав громоздящиеся кругом алюминиевые чайники, подносы и вертящиеся стойки с почтовыми открытками, Марсель очутился перед прилавком. Жанина осталась у входа. Она слегка посторонилась, чтобы не заслонять свет. Теперь позади старика она заметила еще двух арабов, они смотрели на них с улыбкой, сидя на набитых шерстью мешках, занимавших всю заднюю часть лавки. Красные и черные ковры, вышитые шелковые полотнища висели вдоль стен; по полу были разбросаны мешки и ящички с ароматическими зернами. На прилавке стояли весы с сияющими медными тарелками, лежал старый метр с полустертыми делениями, а вокруг выстроились сахарные головы — одна из них в разорванной обертке из грубой синей бумаги была почата с верхушки. Старик поставил чайник на прилавок и поздоровался. Сквозь аромат чая пробился запах шерсти и пряностей, витавший в комнате.

Марсель заговорил торопливо, приглушенным голосом, каким обычно говорил о делах. Потом он открыл чемодан и, вытащив платки и ткани, отодвинул весы и метр, чтобы разложить товар перед старым купцом. Он нервничал, неожиданно повышал голос, не к месту смеялся: он вел себя, как женщина, которая хочет понравиться, но не уверена в своем очаровании. Сейчас, широко разводя руками, он изображал куплю и продажу. Старик покачал головой, передал поднос с чаем сидевшим позади арабам и произнес только несколько слов, которые явно обескуражили Марселя. Он свернул свои ткани, запихал их в чемодан и утер сухой лоб. Кликнув мальчишку-носильщика, он вышел, и все трое направились к аркадам. Здесь, в первой же лавке, хотя поначалу хозяин хранил тот же олимпийский вид, им повезло несколько больше.

— Изображают из себя самого господа-бога, — сказал Марсель, — но торговать-то им нужно! Всем несладко приходится.

Жанина шла за ним, не отвечая. Ветер почти прекратился. Местами проглядывало чистое небо. Из голубых колодцев, открывшихся в толще облаков, лился холодный сверкающий свет. Площадь осталась позади. Они шагали по узким улочкам, вдоль глиняных стен, с которых свешивались вялые декабрьские розы или изредка — сухой червивый гранат. Аромат кофе, дым горящей коры, запахи пыли, камня, овечьей шерсти носились в воздухе. Лавки, встроенные прямо в стену, отстояли далеко одна от другой; Жанина еле передвигала ноги. Зато ее муж постепенно обретал спокойствие, он начал продавать и стал теперь более сговорчив; он называл Жанину «малюткой», ясно было, что поездка пройдет не без пользы.

— Разумеется,— отвечала Жанина,— лучше иметь с ними дело без посредников.

Они вернулись к центру другой дорогой. День клонился к вечеру, небо почти полностью очистилось. На площади они остановились. Марсель потирал руки и с нежностью поглядывал на стоящий перед ним чемодан.

— Смотри,— сказала Жанина.

С другого конца площади к ним приближался высокий, сухощавый, могучего сложения араб с гордо поднятой головой и бронзовым орлиным лицом. На нем был небесно-голубой бурнус и мягкие желтые сапоги, руки — затянуты в перчатки. Только тюрбан отличал его от французских офицеров из колониальной администрации, которыми Жанина не раз восхищалась. Он шел прямо на них, глядя куда-то вверх, ленивым движением снимая перчатку с руки.

— Что ж, — сказал Марсель, пожав плечами, — этот наверняка мнит себя генералом.

Да, у них у всех тут был надменный вид, но этот и в самом деле хватил лишку. Хотя площадь была совершенно пуста, араб двигался прямо на чемодан, не видя ни его, ни их самих. Разделявшее их расстояние быстро сокращалось, и араб подошел чуть не вплотную, когда Марсель вдруг схватился за ручку чемодана и оттащил его в сторону. Араб проследовал мимо, словно ничего не заметив, и тем же шагом направился к глинобитной стене. Жанина взглянула на мужа, у него был знакомый ей озадаченный вид.

— Они теперь думают, что им все позволено,— пробормотал он.

Жанина не ответила. Она ненавидела этого араба с его дурацким высокомерием. Неожиданно она почувствовала себя несчастной. Ей захотелось уехать, она с тоской подумала о своей маленькой квартирке. При одной мысли о возвращении в гостиницу, в эту ледяную комнату, у нее опустились руки. Вдруг она вспомнила, что хозяин советовал ей подняться на террасу форта, откуда открывается вид на пустыню. Она сказала об этом Марселю, добавив, что чемодан можно оставить в гостинице. Но он устал, ему хотелось вздремнуть перед обедом.

— Прошу тебя,— сказала Жанина.

Он посмотрел на нее, словно проснувшись.

— Конечно, дорогая,— сказал он.

Она ждала его на улице перед гостиницей. Толпа людей в белом становилась все гуще. Женщин не было совсем, и Жанине показалось, что никогда она не видела такого множества мужчин. Однако ни один не обращал на нее внимания. Иные, глядя перед собой невидящими глазами, медленно поворачивали к ней худое смуглое лицо, у всех, на ее взгляд, одинаковое — у французского солдата, у араба в перчатках — коварное и гордое лицо. Они поворачивали лицо к чужестранке, они не видели ее и, легкие, безмолвные, скользили вокруг, а она чувствовала, как подкашиваются у нее ноги. И ее недомогание, ее стремление бежать отсюда все возрастало. «Зачем только я приехала?» Но Марсель уже возвращался.

Когда они начали взбираться по лестнице на террасу форта, было пять часов. Ветер утих. Небо очистилось и стало теперь сиренево-синим. Сухой холод пощипывал щеки. На середине лестницы старый араб, растянувшийся на площадке под стеной, спросил, не проводить ли их, но сам и не шелохнулся, словно заранее был уверен в отказе. Лестница была высокая и крутая, хотя и перемежалась утоптанными земляными площадками. Чем выше они поднимались, тем шире раскрывалось перед ними пространство, и они возносились в бесконечный сухой и холодный свет, куда каждый звук долетал из оазиса с пронзительной чистотой. Сияющий воздух звонко дрожал в вышине, и звон этот разливался все дальше и дальше, словно по мере их продвижения в кристаллах света возникали звуковые волны и расходились кругами. И в то мгновение, когда, взойдя на террасу, они устремили взгляд поверх пальмовых зарослей к необъятному горизонту, Жанине показалось, что все небо зазвенело одной-единственной нотой, короткой и оглушительной, а отзвуки ее заполнили раскинувшееся над Жаниной пространство и резко оборвались, оставив ее в полной тишине, лицом к лицу с бескрайним простором.

С востока на запад взгляд ее медленно передвигался по совершенной дуге горизонта, не встречая ни единого препятствия. Внизу голубые и белые террасы арабского города набегали одна на другую, испещренные кровавыми пятнами рассыпанного для просушки перца. Не видно

было ни души, но затаенная жизнь угадывалась в долетавших вместе с благоуханием жареного кофе веселых голосах или едва различимом топоте ног. Чуть дальше — пальмовые заросли, расчерченные глиняными стенами на неравные квадраты, шелестели своими вершинами под дыханием ветра, который на террасе уже не ощущался. Еще дальше — до самого горизонта простиралось желтое и серое царство камня, лишенное всяких признаков жизни. Только в стороне от оазиса, за ручьем, огибавшим пальмовую рощу с запада, можно было рассмотреть большие черные шатры. Вокруг шатров, выделяясь на серой почве, стояли неподвижные верблюды, совсем крошечные на расстоянии, напоминая таинственные древние письмена, смысл которых еще следовало разгадать. Над пустыней нависло молчание, беспредельное, как ее пространство.

Жанина, прижавшись всем телом к парапету, молчала, не в силах оторваться от раскрывшейся перед ней пустоты. Рядом с ней топтался Марсель. Ему было холодно, он хотел спуститься вниз. На что тут смотреть? Но она не могла глаз отвести от горизонта. Там, еще дальше на юг, в том месте, где небо и земля сливались в единой чистой линии, там ждало ее то, о чем не ведала она до самого этого дня, но чего ей недоставало всю жизнь. Близился вечер, и свет понемногу смягчался: из кристаллического он становился текучим. А в сердце женщины, которую только случай привел сюда, узел, затянутый годами, привычкой и скукой, медленно ослабевал. Она всматривалась в поселение кочевников. Она даже не видела людей, которые там жили, никто не шевелился меж черных шатров, и все же она думала только о них, хотя до этого дня не подозревала об их существовании. Бездомные, отрезанные от мира, бродят они горсткой по впервые открывшимся ее взору необъятным землям — ничтожной доле еще более огромного пространства, которое стремило свой головокружительный бег на тысячи километров к югу, до первой реки, оплодотворившей наконец леса. С незапамятных времен по сухой, выскобленной ветром земле этой безмерной страны шли без устали люди, не имевшие ничего, но и не служившие никому, нищие и свободные владыки неведомого царства. Жанина сама не знала, почему эта мысль исполнила ее такой тихой, такой беспредельной печали, что глаза у нее невольно закрылись. Она знала только, что царство это ей обещано от века, но никогда не будет принадлежать ей, никогда больше, кроме, быть может, этого единственного мгновения, когда она открыла глаза на внезапно замершее небо, на волны его застывшего света и услышала, как разом оборвались доносившиеся из арабского города голоса. Ей показалось, что в этот миг время прекратило свое течение, что никто больше не будет ни стареть, ни умирать. Отныне жизнь остановилась повсюду — повсюду, кроме ее сердца, где кто-то плакал от горя и восторга.

Но вот свет померк, четко очерченное, негреющее солнце склонилось к порозовевшему закату, а на востоке тем временем сгущалась серая волна, готовая тяжело накатиться на огромный небосвод. Завыла первая собака, и отдаленный вой поднялся в холодеющий воздух. Только теперь Жанина заметила, что у нее стучат зубы.

— Да тут подохнуть можно,— сказал Марсель.— С ума ты сошла? Вернемся.

Он неловко взял ее под руку. Оторвавшись от парапета, Жанина покорно пошла за мужем. Старый араб на лестнице, не шевелясь, смотрел, как они спускаются в город. Она шагала, никого не видя, согнувшись под бременем внезапно навалившейся усталости, влача свое невыносимо тяжелое тело. Ее возбуждение куда-то ушло. Теперь она чувствовала себя слишком крупной, слишком плотной и даже слишком белой для того мира, в который только что проникла. Ребенок, юная девушка, сухощавый мужчина, осторожный шакал — только они могут бесшумно ступать по

этой земле. Что же осталось ей, как не тащиться дальше, до самого сна, до самой смерти?

Вот она и тащилась — до самого ресторана, впереди своего мужа; он то молчал, то жаловался на усталость, а она слабо боролась с недомоганием, чувствуя, как поднимается в ней жар. Она дотащилась еще до кровати. Марсель вскоре присоединился к ней и тут же выключил свет, ни о чем ее не попросив. В комнате стоял ледяной холод. Несмотря на сильный жар, Жанину бил озноб. Она дышала с трудом, кровь пульсировала в жилах, не согревая тело; непонятный страх разрастался в груди. Она вертелась с боку на бок, старая железная кровать трещала под ее тяжестью. Нет, она не позволит себе заболеть. Муж давно спал, она тоже должна заснуть — это необходимо. Приглушенный городской шум проникал в комнату через отдушину. Старые патефоны в мавританских кафе гнусавили какие-то смутно знакомые мелодии, долетавшие к ней вместе с неясным гулом неторопливой толпы. Надо было спать. Но она считала черные шатры; перед ее закрытыми глазами паслись неподвижные верблюды, кружились огромные безлюдные просторы. Да, зачем она приехала? С этим вопросом она заснула.

Проснулась она довольно скоро. Кругом царила мертвая тишина. Лишь где-то на границах города в немой ночи хрипло завывали собаки. Жанина вздрогнула. Она снова повернулась на другой бок, почувствовала рядом твердое плечо мужа и еще в полудремоте крепко прижалась к нему. Она скользила по течению сна, не погружаясь в него, и с бессознательной жадностью цеплялась за это плечо, как за единственное спасение. Она что-то говорила, но с ее уст не слетало ни слова. Она говорила, но едва ли слышала себя сама. Она ощущала лишь исходившее от Марселя тепло. Больше двадцати лет, каждую ночь, вот так, в его тепле, всегда с ним, даже больная, даже в пути, как сейчас...

Да и что бы она делала дома, совершенно одна? Без детей? Может быть, их и не хватало в ее жизни? Она не знала. Она шла за Марселем, довольствуясь тем, что кто-то в ней нуждается. Другой радости, кроме сознания, что она нужна, он не давал ей. Наверно, он ее не любил. У любви, даже ненавидящей, не может быть такое хмурое лицо. А какое у нее лицо? Они занимались любовью ночью, не видя друг друга, ощупью. Есть ли другая любовь, кроме ночной? Любовь, поднимающая голос среди бела дня? Она не знала; она знала только, что Марселю она нужна, и ей самой нужно было чувствовать, что она нужна; этим она жила ночью и днем, особенно ночью, каждую ночь, когда он боялся одиночества, и старости, и смерти и напускал на себя это упрямое выражение, которое она порой узнавала в других мужских лицах, единственное общее выражение у всех этих безумцев, скрывающихся под личиной разума, пока, охваченные исступлением, они не бросятся яростно на тело женщины, чтобы зарыть в нем, без любви и желания, все страхи, которые несет им одиночество и ночь.

Марсель заворочался, словно пытаясь отодвинуться. Нет, он не любил ее, просто он боялся всего, что не было ею, и им давно уже пора расстаться и спать в одиночестве до самого конца. Но кто может всегда спать один? Некоторые мужчины так и живут; призвание или несчастие отрезало их от мира, и они ложатся каждый вечер в свою постель, как в гроб. Марсель, тот никогда не сможет жить один; он — особенно: слабое и безоружное дитя, всегда боявшееся боли; ее дитя, которое нуждалось в ней, и вот сейчас вдруг жалобно застонало. Она прижалась к нему еще теснее и положила руку ему на грудь. И про себя она назвала его нежным именем, которое дала ему когда-то; изредка они называли так друг друга и сейчас, но сами того не замечая, по привычке.

Она призывала его от всего сердца. В конце концов она тоже нуж-

далась в нем, в его силе, в его прихотях, она тоже боялась смерти... «Преодолеть бы этот страх, и я буду счастлива...» Но тут ее охватила непонятная тревога. Она отодвинулась от Марселя. Нет, она ничего не преодолела, она не была счастлива, она умрет, так и не узнав освобождения. Сердце у нее колотилось, она задыхалась под непосильной тяжестью, которую тащила целых двадцать лет, и теперь билась под ней, изо всех сил вырываясь на волю. Она должна освободиться, даже если Марсель, даже если другие не освободятся никогда! Проснувшись окончательно, она села на кровати, прислушиваясь к зову, который раздался совсем рядом. Но из глубины ночи доносился лишь замирающий и неутомимый вой псов. Поднялся слабый ветерок, и она услышала, как легкие волны побежали по верхушкам пальм. Ветер дул с юга, оттуда, где ночь и пустыня слились под неподвижным небом, оттуда, где жизнь остановилась, где никто больше не старел, не умирал. Потом воды ветра иссякли, и у нее даже не было уверенности, слышала ли она что-нибудь, кроме того безмолвного призыва; он умолкал или звучал, лишь повинуясь ее воле, но смысл его она не поймет никогда, если не откликнется сейчас же, немедленно. Немедленно, да, в этом по крайней мере она была уверена!

Она бесшумно поднялась и замерла, стоя возле кровати, прислушиваясь к дыханию мужа. Марсель спал. Тепло постели мгновенно улетучилось из тела, и холод охватил ее. Она медленно оделась, ощупью разыскивая одежду, свет уличных фонарей едва проникал сквозь жалюзи. С туфлями в руке она прокралась к двери. Постояла еще секунду в темноте и тихо взялась за ручку; затвор скрипнул, Жанина застыла на месте. Сердце ее бешено колотилось. Она прислушалась и, убедившись, что кругом тихо, чуть двинула рукой. Затвор поворачивался целую вечность. Наконец она открыла, выскользнула из комнаты и так же осторожно закрыла дверь. Прижавшись щекой к филенке, она ждала. До нее донеслось спокойное дыхание Марселя. Она повернулась, почувствовала на лице ледяное прикосновение ночного воздуха и побежала вдоль галереи. Дверь гостиницы была заперта. Пока она возилась с засовом, наверху лестницы появился ночной сторож с заспанным лицом и что-то спросил по-арабски.

— Я вернусь,— сказала Жанина и бросилась в ночь.

Гирлянды звезд свисали с черного неба над пальмами и домами. Она бежала по короткой, пустынной в этот час улице, которая вела к форту. Холод, не встречая сопротивления со стороны солнца, завладел ночью; ледяной воздух обжигал легкие. Но она продолжала бежать, почти вслепую, в полной тьме. Вдруг на холме, в конце улицы, вспыхнули огни и стали приближаться к ней зигзагами. Она остановилась, уловила шум, похожий на треск надкрылий, и над постепенно растущими огнями увидела наконец развевающиеся бурнусы, под которыми поблескивали хрупкие колеса велосипедов. Бурнусы коснулись ее лица; три красных глазка загорелись в темноте за ее спиной и мгновенно исчезли. Она продолжала путь к форту. На середине лестницы воздух обжег легкие так резко, что она хотела остановиться. Она сама не заметила, как последним рывком очутилась на террасе рядом с парапетом, который вдавился ей в живот. Она задыхалась, все плыло перед глазами. Стремительный бег не согрел ее, она дрожала всем телом. Но вот ледяной воздух, который она так судорожно глотала, плавно полился в горло, и робкое тепло начало зарождаться в утихающем ознобе. Глаза ее наконец открылись на просторы ночи.

Ни дуновения, ни звука... Ничто не нарушало одиночества и безмолвия, сомкнувшихся вокруг Жанины. Лишь изредка с легким шорохом рассыпáлся в прах сжатый холодом камень. Прошло мгновение, и

небо словно дрогнуло у нее над головой, сдвинувшись с места в тяжелом вращении. В недрах сухой холодной ночи неустанно возникали бесчисленные звезды и, отделившись от тьмы, сверкающими льдинками мягко скользили к горизонту. Жанина, не отрывая глаз, следила за плавным течением светил. Она поворачивалась вместе с ними, их общее неподвижное перемещение возвращало ее к тайным глубинам собственного существа, где яростно боролись холод и желание. Перед ней одна за другой падали звезды и угасали среди камней пустыни, и всякий раз Жанина все больше и больше раскрывалась навстречу ночи. Она дышала, она забыла все: холод, тяготы существования, бессмысленную застывшую жизнь, неизбывную смертную тоску. Столько лет, спасаясь от страха, она, обезумев, бежала, не ведая куда,— и наконец остановилась. Теперь она вновь обрела свои корни, жизненные соки струились по телу, и оно перестало дрожать. Прильнув животом к парапету, устремившись вслед за движением неба, она ждала, пока успокоится ее потрясенное сердце и в ней самой настанет тишина. Последние звезды осыпались с грозди созвездий и замерли над горизонтом пустыни. Тогда с почти невыносимой нежностью вода ночи стала заливать Жанину, побеждая холод, поднимаясь из темной глуби ее существа, волной подступая к горлу, стоном слетая с губ. И огромное небо склонилось над ней, навзничь упавшей на холодную землю.

Когда Жанина осторожно прокралась в комнату, Марсель не проснулся. Почувствовав ее рядом, он заворчал и через несколько секунд приподнялся и сел на кровати. Он что-то пробормотал, но она не поняла его. Он встал, зажег свет, хлестнувший ее по лицу; пошатываясь, направился к умывальнику и долго пил из бутылки минеральную воду. Он собирался уже скользнуть под одеяло, но остановился, опершись коленом на кровать, и посмотрел на нее в недоумении. Она рыдала, заливаясь слезами, не в силах сдержать себя.

— Ничего, мой милый, — шептала она, — ничего.

НЕМЫЕ

Стояла настоящая зима, и все же ослепительный день поднимался над проснувшимся городом. В конце мола небо и море сливались в едином сиянии. Впрочем, Ивар этого не видел. Он тяжело катил вдоль нависших над портом бульваров. Изувеченная нога опиралась на неподвижную педаль велосипеда, а другая трудилась вовсю, преодолевая сопротивление мостовой, еще мокрой от ночной сырости. Не поднимая головы, скорчившись на седле, он огибал рельсы старого трамвайного пути, резким движением руля сворачивал в сторону, пропуская обгонявшие его автомобили. Время от времени ударом локтя он отбрасывал назад сползавшую со спины сумку, в которую Фернанда положила ему завтрак, и тогда с горечью вспоминал об этом завтраке. Вместо любимого омлета по-испански или зажаренного в оливковом масле бифштекса между двумя ломтями хлеба лежал только кусочек сыра.

Никогда еще дорога до мастерской не казалась ему такой длинной. Правда, он и стареет. В сорок лет — хотя он остался сух, как виноградная лоза, — мышцы разогреваются не так-то скоро. Порой, читая спортивную хронику, где тридцатилетних атлетов называли ветеранами, он пожимал плечами. «Если это ветеран,— говорил он Фернанде,— то мне впору ноги протянуть». Впрочем, он знал, что журналист не так уж не

прав. В тридцать лет дыхание начинает сдавать, сперва почти неощутимо. В сорок — ноги протягивать рано, но готовиться к этому уже пора, исподволь, немного загодя. Не потому ли он давно уже не глядел на море, когда ехал в бочарню на другой конец города? Лет до двадцати он не мог от моря глаз оторвать; оно сулило ему счастливый день отдыха на пляже. Несмотря на хромоту, а может быть, и благодаря ей, он пристрастился к плаванию. Шли годы, появилась Фернанда, родился малыш, а там, чтобы прожить, понадобилась сверхурочная работа, по субботам — в бочарне, по воскресеньям — на дому у заказчиков, где он мастерил что придется. Постепенно он отвык от неистовых дней, полных радости через край: глубокая чистая вода, жаркое солнце, девушки, вольная жизнь тела — другого счастья на его родине не знали. И это счастье прошло вместе с молодостью. Ивар по-прежнему любил море, но только под вечер, когда вода в бухте начинала темнеть. Наступала тихая пора на террасе дома, где он сидел после работы, наслаждаясь чистой рубашкой, которую Фернанда так ловко отглаживала, и запотевшим стаканчиком анисовой. Вечер слетал на землю, небо ненадолго подергивалось нежной дымкой, соседи, перекликавшиеся с Иваром, невольно понижали голос. Он сам не понимал тогда, счастлив он или ему хочется плакать? Просто в эти мгновения на душе наступал мир, и, ни о чем не думая, он только ждал, тихо ждал, сам не зная чего.

А утром по пути на работу он уже не любил смотреть на море; оно являлось на свидание неизменно, но он виделся с ним только вечером. В это утро он крутил педаль с еще большим трудом, чем обычно, низко опустив голову; на сердце тоже было тяжело. Когда он вернулся после собрания, вчера вечером, и рассказал, что решено возобновить работу, Фернанда обрадовалась:

— Значит, хозяин вам прибавил?

Хозяин не прибавил ни гроша, забастовка провалилась. Надо сознаться, действовали они не очень-то ловко. Забастовку объявили со зла, и профсоюз был прав, что держался уклончиво. К тому же полтора десятка рабочих — это такая малость. Профсоюз принимал во внимание, что другие бочарни не выступили. Да и на них тоже нельзя сердиться. Бочарный промысел, теснимый строительством наливных судов и автоцистерн, не процветал. Все меньше и меньше вырабатывали новых бочек и кадушек. Ремонтировали большие винные бочки, уже побывавшие в употреблении. Хозяева видели, что дела пошатнулись — так оно и было, — и тем не менее хотели обеспечить себе твердую прибыль; проще всего им казалось прижать заработную плату, не считаясь с ростом цен. А куда деваться бочару, если прикроют бочарное производство? Ремесло не меняют, раз уж потрудился изучить его. А это дело — особенно сложное, оно требует долгого учения. Хороший бочар — такой, что подгоняет гнутые клепки и на огне набивает железный обруч почти герметически, не пользуясь ни мочалом, ни паклей,— редкость. Ивар это знал и гордился собой. Сменить ремесло не велика беда, а вот отказаться от своего умения, от собственного мастерства — нелегко. Отличное ремесло — без применения! Их загнали в угол, оставалось только покориться. Но и покориться тоже нелегко: трудно было держать язык за зубами, не вступать в споры; ездить одной и той же дорогой каждое утро, уставать с каждым днем все сильнее и сильнее, чтобы в конце недели получить лишь то, что захотят тебе дать и на что прожить невозможно.

И тут они разозлились. Двое или трое, правда, никак не могли решиться, но их тоже зло взяло после первого разговора с хозяином. И было отчего, он сказал коротко и ясно: работайте или уходите. Так мужчины не разговаривают.

— Да что он думает! — сказал Эспозито.— Что мы сразу штаны спустим?

Хозяин, впрочем, был неплохой парень. Он унаследовал дело от отца, вырос в мастерской и почти всех рабочих знал много лет. Не раз он приглашал их перекусить в бочарне. На горящих стружках поджаривали сардины или кровяную колбасу, он подливал вино и был и впрямь очень любезен. На Новый год он дарил каждому рабочему по пяти бутылок отличного вина и часто — если у них дома кто-нибудь заболел или просто произошло семейное событие, свадьба или первое причастие,— делал и денежные подарки. Когда у него родилась дочь, он накупил конфет на всех. Несколько раз он приглашал Ивара охотиться к себе в имение, на побережье. Без сомнения, он любил своих рабочих и часто вспоминал, что отец его начинал с учеников. Но он никогда ни у кого из них не бывал; он ничего не мог понять. Он думал только о себе, потому что не знал никого, кроме себя, и вот теперь так: работайте или уходите. Иначе говоря, он тоже уперся. Но он мог себе это позволить.

Они вынудили у профсоюза согласие, двери мастерской закрылись.

— Не тратьте сил на пикеты,— сказал хозяин.— Когда мастерская не работает, мне даже выгодно.

Это было не так, но его слова подлили масла в огонь: ведь он прямо в лицо сказал, что дает им работу из милости. Эспозито взбеленился и крикнул, что он не мужчина. Тот тоже был горяч, пришлось разнимать их. Тем не менее рабочие задумались. Двадцать дней забастовки, печальные женщины дома, несколько малодушных — и в конце концов профсоюз посоветовал уступить, заручившись обещанием арбитража и возмещения дней забастовки сверхурочными часами. Они решили возобновить работу. Хорохорясь, разумеется, уверяя, что не все потеряно, и там еще поглядим, как оно будет. Но это утро, усталость, не менее тяжкая, чем поражение, сыр вместо мяса — нет, никакие иллюзии уже невозможны. Как ни сверкало солнце, море не обещало больше ничего. Ивар размеренно нажимал на педаль и чувствовал, как стареет с каждым поворотом колеса. При мысли о мастерской, о товарищах, о хозяине, которого он сейчас увидит, на сердце становилось еще тяжелей. Фернанда беспокоилась: «Что вы ему сказали?» — «Ничего». Ивар оседлал велосипед и покачал головой. Он стиснул зубы; его небольшое лицо, смуглое, морщинистое, с тонкими чертами, было замкнуто. «Работаем. Хватит с него и этого». Он катил вдоль бульвара, по-прежнему стиснув зубы, и его сухая, безрадостная злость омрачала все вокруг, даже самое небо.

Бульвар и море остались позади. Теперь Ивар ехал по сырым улицам старого испанского квартала. Они выходили на территорию, сплошь застроенную сараями, складами железа и гаражами, среди которых поднималась мастерская — нечто вроде ангара, до середины каменного, а выше застекленного до самой кровли из волнистого железа. К мастерской примыкала старая бочарня — двор, окруженный ветхими навесами; старую бочарню забросили, когда предприятие разрослось, и теперь там были свалены негодные бочки и ломаный инструмент. За двором, через дорогу, вымощенную обломками черепицы, начинался хозяйский сад, а в конце его стоял дом. Большой, неказистый, он все же сохранял некое благообразие благодаря дикому винограду и чахлой жимолости, вьющейся у крыльца.

Ивар сразу увидел, что ворота мастерской закрыты. Перед ними молча толпились рабочие. Впервые с тех пор как он здесь работал, ворота не были открыты к их приходу. Хозяин хотел подчеркнуть свое торжество. Ивар свернул влево, поставил велосипед под пристроенным к ангару навесом и направился к воротам. Еще издали он разглядел лохма-

того черного Эспозито — здоровенного весельчака, работавшего с ним рядом, Марку — профсоюзного делегата, смахивающего на тенора, Саида — единственного араба в мастерской, а потом и всех остальных, молча ожидавших, пока он подойдет. Но не успел он к ним присоединиться, как все разом повернулись к воротам. Баллестер, мастер, появился в проеме. Он открыл одну из тяжелых створок и неторопливо откатил ее по чугунному рельсу, повернувшись к рабочим спиной.

Баллестер был самым старым из них, он не одобрял забастовку, но притих, когда Эспозито сказал ему, что он служит интересам хозяина. Теперь он стоял у ворот, широкоплечий коротыш в синей фуфайке, уже босиком (не считая Саида, только он один работал босиком), и рассматривал всех входящих одного за другим своими светлыми глазами — такими светлыми, что они казались бесцветными на старом коричневом лице с печально искривленным ртом под густыми нависшими усами. Рабочие молчали, униженные этим возвращением побежденных, взбешенные собственным молчанием, но чем дольше оно продолжалось, тем труднее им было его нарушить. Они проходили, не глядя на Баллестера; они знали: заставляя их входить таким образом, он выполняет приказ, а что́ он при этом думает, ясно показывал его огорченный, понурый вид. Ивар, однако, посмотрел на него. Баллестер был к нему очень привязан; не сказав ни слова, он только покачал головой.

Теперь все оказались в тесной раздевалке, справа от входа — открытые кабины, разделенные перегородками из струганых досок, на которых с каждой стороны прикреплен шкафчик, запирающийся на ключ. Последняя от входа кабина, на стыке стен ангара, была оборудована под душевую с желобом для стока воды, выкопанным прямо в земляном полу. Посреди ангара на рабочих местах стояли уже готовые бочки, но с еще неплотно набитыми обручами, в ожидании подгонки на огне, грубые верстаки с длинной продольной прорезью (на некоторых в прорезь были вдвинуты круглые деревянные днища, ожидавшие обработки фуганком), а рядом — почерневшие очажки. Вдоль стены, слева от входа, выстроились станки. Перед ними громоздились кучи необструганных клепок. У правой стены, недалеко от раздевалки, хорошо смазанные, мощные, безмолвные, сияли две механические пилы.

Давно уже ангар стал слишком велик для горсточки занимавших его людей. Это было преимуществом во время сильной жары и большим неудобством зимой. Но сегодня это обширное помещение, брошенная работа, сваленные по углам бочки об одном-единственном обруче, стягивающем понизу клепки, раскрывшиеся вверху, словно топорный деревянный цветок, пыльные опилки, осевшие на верстаках, ящиках с инструментами и машинах, — все придавало мастерской вид полного запустения. Они озирались вокруг, уже обрядившись в свои фуфайки и латаные, застиранные штаны, и все еще колебались. Баллестер наблюдал за ними. «Ну, — сказал он, — пошли?» Один за другим они разошлись по местам, не проронив ни слова. Баллестер подходил к каждому и коротко напоминал, какую работу следует начать или закончить. Никто ничего не отвечал. Вскоре прозвучал первый удар молотка по окованному железом деревянному клину, которым набивают обруч; взвизгнул, наткнувшись на сучок, фуганок, и пила, запущенная Эспозито, двинулась в ход с мощным гудением потревоженных лезвий. Саид по зову рабочих подносил клепки или разжигал огонь, над которым укреплялись бочки, чтобы они набухли в своем корсете из железных полос. Когда никому не требовалась его помощь, он становился к станку и сильными ударами молота заклепывал широкие ржавые обручи. Запах горящих стружек понемногу заполнял ангар. Ивар, который строгал и подгонял клепки, напиленные Эспозито, почуял привычный дымок, и от сердца у него

отлегло. Все работали молча, но жизнь, тепло мало-помалу возрождались в мастерской. Сквозь широкие окна яркий свет разливался по ангару. В золотистом воздухе голубели дымки; Ивару даже послышалось жужжание мухи.

В этот момент дверь в глубине, выходившая на старую бочарню, распахнулась, и г-н Лассаль, хозяин, остановился на пороге. Невысокий, черноволосый, он был чуть старше тридцати. В белой рубашке с отложным воротником и песочного цвета габардиновом костюме, он, видимо, с удовольствием ощущал собственное тело. Несмотря на костистое лицо, узкое, словно лезвие ножа, он, в общем, был привлекателен, как большинство людей, которым спорт привил полную свободу движений. Однако вошел он с несколько принужденным видом. Его приветствие прозвучало тише, чем обычно; во всяком случае никто ему не ответил. Перестук молотков запнулся, пошел вразнобой и снова наладился. Г-н Лассаль нерешительно потоптался на месте, потом направил путь к маленькому Валери, который работал у них всего год. Рядом с механической пилой, в нескольких шагах от Ивара, он вставлял дно в большую бочку, а хозяин наблюдал за ним. Валери продолжал работать, не говоря ни слова.

— Ну как, сынок? — сказал г-н Лассаль.— Идет дело?

У парнишки сразу все стало валиться из рук. Он бросил взгляд на Эспозито, который рядом с ним сгребал своими ручищами гору клепок, собираясь поднести их Ивару. Эспозито тоже смотрел на него, продолжая свое дело, и Валери уткнулся носом в бочку, ничего не ответив хозяину. Лассаль, слегка смешавшись, постоял минутку на месте, потом пожал плечами и повернулся к Марку. Тот, сидя верхом на верстаке, неторопливыми точными движениями строгал срез днища.

— Здравствуйте, Марку,— сказал Лассаль более сухо.

Марку не ответил, занятый только тем, как бы не снять с дерева лишнюю стружку.

— Да что на вас нашло? — громко сказал Лассаль, обращаясь на этот раз ко всем остальным.— Мы с вами не договорились, я понимаю. Но тем не менее приходится работать вместе. Так к чему это все?

Марку встал, поднял днище, проверил ладонью круглый срез, с видом величайшего удовлетворения прищурил свои томные глаза и, по-прежнему молча, направился к рабочему, который собирал бочку. Во всей мастерской только и слышно было, что стук молотков и гудение механической пилы.

— Ладно, — сказал Лассаль, — когда пройдет эта блажь, передадите мне через Баллестера. — Ровной походкой он вышел из мастерской.

Почти сразу же, перекрывая шум работы, раздались два резких звонка. Баллестер, который только успел присесть, чтобы свернуть сигарету, тяжело поднялся и прошел к маленькой двери в глубине. После его ухода молотки застучали чуть тише; один из рабочих даже остановился, когда Баллестер снова появился на пороге. Он сказал:

— Марку и Ивар, хозяин зовет.

Первым движением Ивара было пойти вымыть руки, но Марку остановил его на ходу, и он, прихрамывая, пошел за ним следом.

На воздухе, во дворе, солнечный свет был таким ясным, таким ласковым, что Ивар почувствовал его прикосновение на лице и обнаженных руках. Они поднялись на крыльцо, увитое жимолостью, несколько цветочков уже распустилось. Войдя в сплошь увешанный дипломами коридор, они услыхали детский плач и голос г-на Лассаля: «Уложишь ее в постель после завтрака. Если не пройдет, вызовем доктора». Потом хозяин появился в коридоре и пригласил их в маленький, уже знакомый

им кабинет, обставленный мебелью в псевдосельском стиле и украшенный спортивными наградами.

— Садитесь,— сказал Лассаль, устраиваясь за письменным столом.

Они остались стоять.

— Я позвал вас, потому что вы, Марку,— делегат, а ты, Ивар,— после Баллестера самый старый мой служащий. Я не хочу возвращаться к нашему спору, с этим покончено. Я не могу, решительно не могу дать вам то, чего вы требуете. Вопрос был урегулирован, мы пришли к заключению, что нужно возобновить работу. Я вижу, вы на меня сердитесь, и мне это неприятно, говорю вам это прямо, как чувствую. Хочу только добавить следующее: то, что я не могу сделать сейчас, я, может быть, смогу сделать, когда дела поправятся. И если смогу, сделаю это раньше, чем вы попросите. А пока что попытаемся работать в мире.— Он замолчал, немного подумал, потом поднял на них глаза.— Итак? — спросил он.

Марку смотрел в сторону. Ивар стиснул зубы, он силился заговорить, но не мог.

— Послушайте,— сказал Лассаль.— Вы все просто уперлись. Это пройдет. Но когда вы образумитесь, не забудьте о том, что я сказал.— Он встал, подошел к Марку и протянул ему руку: — Чао! — сказал он.

Марку побледнел как мел, его лицо очаровательного тенора окаменело и сразу стало недобрым. Он резко повернулся на каблуках и вышел. Лассаль, тоже весь бледный, смотрел на Ивара, не протягивая ему руки.

— А ну вас всех к черту!— заорал он.

Когда они вернулись в мастерскую, рабочие завтракали. Баллестер куда-то вышел. Марку только и сказал: «Трепотня» — и встал на свое место. Эспозито остановился с куском хлеба в руке и спросил, что же они ответили; Ивар сказал, что они ничего не ответили. Потом принес свою сумку и уселся на верстак. Он уже начал есть, как вдруг заметил невдалеке от себя Саида, который растянулся на куче стружек, погрузив взгляд в чуть померкшую за широкими стеклами синеву небес. Ивар спросил, позавтракал ли он. Саид сказал, что уже съел свои фиги. Ивар отложил еду. Тягостное чувство, не отпускавшее его после разговора с хозяином, внезапно испарилось, уступив место охватившей его жаркой волне. Он встал, разломил хлеб пополам и, когда Саид стал отказываться, заметил, что через недельку все наладится.

— В другой раз ты угостишь меня,— сказал он.

Саид улыбнулся. Он покусывал бутерброд Ивара, но нехотя, как будто совсем не был голоден.

Эспозито взял старую кастрюлю, разжег горсть стружек и щепок и разогрел кофе, который принес с собой в бутылке. Он сказал, что кофе прислал в подарок всей мастерской его бакалейщик, когда узнал о неудаче забастовки. Стаканчик из-под горчицы пошел по кругу. Каждому Эспозито наливал уже подслащенный кофе. Саид проглотил его с бóльшим удовольствием, чем еду. Эспозито допил остатки прямо из горячей кастрюли, чмокая губами и сыпля проклятиями. В это время вошел Баллестер и объявил конец перерыва.

Пока они поднимались и рассовывали по сумкам бумагу и посуду, Баллестер встал посередке и неожиданно сказал, что всем сейчас несладко, и ему тоже, но это все-таки не резон, чтобы вести себя, как малые дети, а дуться и вовсе ни к чему. Эспозито повернулся к нему с кастрюлей в руках. Его большое толстое лицо сразу залилось краской. Ивар знал, что́ он сейчас скажет,— то, что думали все: что они не дуются, просто им заткнули рты; сказано было — работать или уходить, а от злости и бессилия порой так тошно бывает, что и кричать невмоготу.

Они — мужчины, вот и все, и не собираются строить улыбочки и ужимки. Но Эспозито ничего этого не сказал, лицо его смягчилось, он тихонько похлопал Баллестера по плечу, а остальные разбрелись по местам. Снова застучали молотки, просторный ангар наполнился привычным шумом, запахом стружки и взмокшей от пота заношенной одежды. Большая пила гудела, вгрызаясь в свежее дерево заготовки, которую Эспозито медленно вел перед ней. Из-под пилы разлетались сырые опилки и, словно слой хлебных крошек, покрывали могучие волосатые руки, накрепко зажимавшие доску по обе стороны воющего лезвия. Когда клепка отпиливалась до конца, слышен был только шум мотора.

Ивар теперь чувствовал ломоту в спине, согнутой над фуганком. Обычно усталость приходила позже. Он утратил навык за недели безделия — это ясно. Но он думал также о возрасте, который ложится лишней тяжестью на руки, если работа требует не только точности. Ломота в спине тоже говорила о старости. Там, где дело решают мышцы, труд рано или поздно становится проклятием, он ведет к смерти, и после вечера тяжкой работы сон в точности походит на смерть. Мальчик хочет быть учителем, он прав: те, кто разглагольствует о физическом труде, понятия о нем не имеют.

Когда Ивар выпрямился, чтобы перевести дух и отогнать мрачные мысли, снова раздался звонок. Он звенел долго и так странно, с короткими перерывами и требовательными повторениями, что рабочие остановились. Баллестер слушал в недоумении, потом решился и медленно пошел к двери. Через несколько секунд после его ухода звонок наконец оборвался. Они принялись за работу. Дверь резко распахнулась, и Баллестер пробежал в раздевалку. Он вышел оттуда в веревочных туфлях, натягивая куртку, бросил на ходу Ивару: «У малышки припадок. Я — за Жерменом» — и побежал к выходу. Доктор Жермен обслуживал мастерскую, он жил в пригороде. Ивар передал новость без комментариев. Они стояли вокруг и переглядывались в некотором смущении. Слышен был только мотор механической пилы, работавшей вхолостую.

— Может быть, ничего серьезного,— сказал кто-то.

Они разошлись по местам, мастерская снова заполнилась обычным шумом, но все работали медленно, словно чего-то выжидая.

Через четверть часа Баллестер вернулся, снял куртку и, не говоря ни слова, вышел через заднюю дверь. В окнах солнечный свет постепенно смягчался. Немного погодя, в те промежутки, когда пила не грызла дерево, стал врываться приглушенный сигнал санитарной кареты; она была еще далеко, потом ближе, ближе и наконец, подъехав, замолкла. Вскоре вошел Баллестер, и все повернулись к нему. Эспозито выключил мотор. Баллестер рассказал, что, раздеваясь у себя в комнате, девчушка вдруг упала как подкошенная.

— Вот оно что! — сказал Марку.

Баллестер покачал головой и нерешительно показал на брошенную работу, но вид у него был встревоженный. Снова прозвучал сигнал кареты. Они стояли неподвижно в затихшей мастерской, под льющимся в окна потоком желтого света, свесив сильные беспомощные руки вдоль потертых штанов с налипшими на них опилками.

Остаток дня тянулся бесконечно. Ивар не чувствовал ничего, кроме усталости и своего сердца, словно зажатого в тиски. Он хотел бы заговорить. Но сказать ему было нечего, и остальным тоже. На их замкнутых лицах отражалась только горечь и безотчетное упорство. Иногда, где-то внутри, в нем шевелилось слово «несчастье», но едва-едва. и тут же исчезало; так возникает и мгновенно лопается мыльный пузырь. Ему хотелось вернуться домой, к Фернанде, к мальчику, на свою террасу. Тут как раз Баллестер объявил, что пора кончать. Машины останови-

лись. Не торопясь, они начали гасить топки, складывать инструменты, потом один за другим потянулись в раздевалку. Саид оставался позже всех, он должен был прибрать рабочие места и полить водой пыльный пол. Когда Ивар подошел к раздевалке, Эспозито, огромный, волосатый, уже стоял под душем. Повернувшись к ним спиной, он шумно намыливался. Обычно все потешались над его стыдливостью. В самом деле, этот здоровый медведь упорно скрывал свою благородную плоть. Но сегодня никто этого как будто не замечал. Эспозито вышел, пятясь задом, и обернул вокруг себя полотенце, как набедренную повязку. Остальные начали мыться в очередь. Марку изо всех сил хлопал себя по голым ляжкам, когда громыхнула створка ворот и медленно откатилась на своем чугунном колесе. Вошел Лассаль.

Он был одет так же, как при первом появлении, только волосы у него немного растрепались. Остановясь на пороге, он оглядел большую опустевшую мастерскую, сделал несколько шагов, снова остановился и посмотрел в сторону раздевалки. Эспозито, все еще в своей набедренной повязке, повернулся к нему. Голый, смущенный, он нерешительно переминался с ноги на ногу. Ивар подумал, что сказать какие-то слова должен бы Марку. Но Марку молчал, невидимый за окружавшей его завесой воды. Эспозито схватил рубаху и второпях стал натягивать ее, когда Лассаль сказал глуховатым голосом: «Добрый вечер»,— и направился к маленькой двери. Едва Ивар подумал, что следовало бы его окликнуть, как дверь захлопнулась.

Ивар переоделся, так и не помывшись. Он тоже пожелал всем доброго вечера, но от всего сердца, и они ответили ему так же горячо. Он быстро вышел, отыскал свой велосипед, а сев в седло, вспомнил и о боли в спине. Теперь, на закате дня, он ехал через шумный, оживленный город. Он торопился, он хотел скорее вернуться в старый дом, на террасу. Он помоется в прачечной, а потом сядет и будет смотреть на море,— оно и сейчас было рядом, более темное, чем утром, стоило лишь взглянуть поверх ограды бульвара. Но и девчушка была рядом, и он не мог не думать о ней.

Дома мальчик уже пришел из школы и листал иллюстрированные журналы. Фернанда спросила у Ивара, все ли сошло гладко. Он не ответил, помылся в прачечной, потом уселся на скамье перед стенкой террасы. Штопаное белье висело у него над головой, небо становилось прозрачным. Глядя поверх стенки, он мог видеть нежное вечернее море. Фернанда принесла анисовую, два стаканчика, глиняный кувшин с холодной водой. Она присела рядом с мужем. Он рассказал ей все, держа ее за руку, как в первые дни после женитьбы. Кончив рассказ, он долго сидел неподвижно, повернувшись лицом к морю, где уже летели из конца в конец горизонта быстрые сумерки. «А, сам виноват!» — сказал он. Он хотел, чтобы к нему вернулась молодость, и к Фернанде тоже, и они бы вместе уехали, далеко за море.

Перевела с французского **Р. Линцер.**

ЛЕНИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

ИЗ ПИСЕМ В. И. ЛЕНИНУ

(1920—1921)

Среди многих тысяч писем, присланных со всех концов страны В. И. Ленину после Октябрьской революции, значительную часть составляют письма инженеров, учителей, врачей, ученых, работников штабов и политорганов Красной Армии и других представителей интеллигенции. Эти авторы и представлены в предлагаемой вниманию читателей подборке, которая является по существу продолжением публикации «Письма трудящихся В. И. Ленину (1917—1919)», помещенной в четвертой книжке «Нового мира» за прошлый год.

К 1920 году были одержаны решающие победы на фронтах гражданской войны: нанесены сокрушительные удары по войскам Колчака и Деникина, отброшены от Петрограда войска Юденича. И хотя с войной еще не было покончено, в газетах все чаще появлялись статьи о борьбе с разрухой, о ликвидации топливного голода, о преодолении продовольственных затруднений. В написанной В. И. Лениным резолюции VII съезда Советов (декабрь 1919 года) говорилось, что наша республика «желает жить в мире со всеми народами и направить все свои силы на внутреннее строительство, чтобы наладить производство, транспорт и общественное управление на почве советского строя...» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 413).

В. И. Ленин неоднократно говорил о необходимости в самом широком масштабе воспользоваться крупнейшими специалистами, оставленными нам в наследство капитализмом, «пустив всех их в ход». Это была труднейшая задача, и публикуемые письма в какой-то мере отражают ход ее решения; они также показывают первые шаги в воспитании новой, пролетарской интеллигенции. Отнюдь не все положения, высказанные авторами, представляются нам бесспорными, вместе с тем письма привлекают к себе внимание тем, что затрагивают многие важнейшие проблемы того времени — в области экономики, идеологии, морали...

В 1920—1921 годы значительно повысилась активность интеллигенции, призванной вложить в строительство новой жизни свои знания и опыт. К этому периоду относится и наибольшее по сравнению с другими годами количество писем В. И. Ленину от представителей различных категорий интеллигенции. Именно потому мы и ограничиваем рамки нашей публикации этими двумя годами, отобрав наиболее характерные, на наш взгляд, письма, выявленные в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ЦПА ИМЛ), в Центральном государственном архиве Октябрьской революции СССР (ЦГАОР СССР) и в Центральном государственном архиве РСФСР (ЦГА РСФСР).

Как и в прошлой публикации, мы даем краткие справки об авторах писем, если удалось добыть какие-то сведения о них, и надеемся, что читатели, которым известно что-нибудь о представленных здесь корреспондентах Ленина, откликнутся.

И. Брайнин.

1

25 марта 1920 г.

В то время, когда страна переходит к строительству мирной жизни, когда из боевых единиц созидаются трудовые армии и на бескровном фронте закипает могучая работа по восстановлению хозяйственной жизни страны, так жестоко разрушенной четырехлетней империалистической бойней народов, я смею обратиться к Вам и выразить глубокое чувство благодарности за Вашу титаническую работу, которую Вы жертвуете ради спасения завоеваний революции.

Вместе с тем обращаю Ваше внимание на водный транспорт Волжского бассейна, который так дорог в настоящую переживаемую эпоху. Волга — это главный нерв Республики, и она в настоящую навигацию 1920 года должна спасти Родину от голода. К открытию навигации необходимо было бы образовать трудовую армию из честных, сознательных людей для погрузки и отправки хлеба в голодные губернии, так как пример прошлой навигации, когда по всей Волге царил ужасный беспорядок... [поучителен]. Буржуй и кулак провозили по 15—20 пудов хлеба, но у бедного рабочего зачастую отнимали 2—3 пуда. Этих паразитов не должно быть. Они только явно подрывают в глазах сознательного народа авторитет Советской власти.

Россия будет спасена от голода только тогда, когда все баржи и пароходы регулярно будут грузиться хлебом, и единственный рейс будет ходить для лиц по служебным делам. Этого безусловно можно достигнуть при условии честности и вполне сознательного отношения к данному великому делу. Каждое ответственное лицо и каждый рабочий должен быть проникнут только единственной верой и надеждой в скорое светлое будущее нашей Родины и в ее великую свободу, символом которой служат слова: «Равенство и братство народов».

Гражд. И. Н. Соловьев[1].

г. Плес.

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, д. 240, л. 360. Публикуется с сокращениями)

[1] Почти одновременно (может быть, с промежутком в одну-две недели) учитель И. Н. Соловьев прислал два письма В. И. Ленину: одно — о тяжелом положении учителей, и второе — о непорядках на Волге. О реакции на второе письмо никаких сведений обнаружить пока не удалось. О первом же письме известно, что Ленин переслал его наркому просвещения А. В. Луначарскому. 28 апреля 1920 года Луначарский писал В. И. Ленину: «Владимир Ильич! Вы переслали мне интересное письмо учителя Соловьева из г. Плеса. Все то, что пишет этот учитель, совершенно верно, и действительно, без мало-мальски хорошо поставленного продовольствия учителей мы не можем и думать о нормальной школе ..» Далее нарком сообщает, что ему удалось добиться от Наркомпрода телеграммы в ряд губерний (в том числе в Ивановскую, куда входил г. Плес) о приравнении учителей к фабрично-заводскому населению и о выдаче им усиленного пайка («Исторический архив», № 1, 1962, стр. 38).

2

5 апреля 1920 г.

МОСКВА. ПРЕДСОВНАРКОМА ТОВАРИЩУ ЛЕНИНУ

В только что освобожденной от белых Кубанской области, в пределах Майкопского и Лабинского отделов, в верховьях рек Белой и Малой Лабы имеются лесные дачи площадью, равной 320 200 [десятин]. В означенных дачах водилось около пятисот зубров и громадное количество разновидных туров, вследствие чего раньше арендовал и охранял означенные дачи великий князь Сергей Михайлович.

Впоследствии Академия наук означенные лесные дачи хотела превратить в государственный заповедник, проект которого имеется и сейчас в Академии наук. Но с началом гражданской войны вопрос заглох.

Означенные лесные дачи своей флорой напоминают Ельстонский[1] парк в Америке. Ни в одной части Кавказа нет такой растительности. Встречаются деревья возрастом в 1500 лет. Местность горная, непроходимая и абсолютно безлюдная, встречаются снежные вершины. Есть и попасные луга. Хвойный лес, частью лиственный, растительность альпийская и субальпийская.

Ввиду высокой стоимости кожи зубров последние истребляются населением, и зубров насчитывается сейчас около ста.

В целях сохранения означенного леса и флоры, а также зубров, [которых] в Европе абсолютно не осталось и на которых обращены сейчас все взоры естествознателей Европы, [прошу] Ваших срочных распоряжений об устройстве государственного заповедника в означенном районе. Временно, впредь до приезда из Москвы представителей для разработки подробного плана заповедника, прошу о назначении на должность управляющего заповедником, поручив ему же организацию временной охраны,

агронома-естественника, бывшего лесничего Шапошникова Христофора Георгиевича, работавшего много лет по охране означенного района, выдвигаемого ныне ревкомом и совнархозом Майкопа.

Уполномоченный Реввоенсовета и Усобснарма Кавказского фронта

Штейнгауз[2].

г. Армавир.

(ЦГА РСФСР, ф. 2307, оп. 2, д. 1, л. 202)

---

[1] Имеется в виду Йеллоустонский национальный парк, заповедник в США, в Скалистых горах.

[2] Копия этой телеграммы т. Штейнгауза была адресована наркому просвещения Луначарскому. В связи с этим т Тер-Оганесов (научный сектор Наркомпроса) в телефонограмме наркому просвещения писал 21 апреля 1920 года:

«Необходимо немедленно в самом срочном порядке объявить нагорную полосу Кубанской области в пределах Майкопского и Лабинского отделов в верховьях рек Белой и Малой Лабы государственным зубровым заповедником, иначе грозит полное уничтожение кавказского зубра. не встречающегося больше нигде в мире и не имеющего отводков. Сейчас осталось около ста зубров.

Впредь до приезда из Москвы представителей Наркомпроса для разработки подробного плана устройства заповедника необходимо немедленно поручить организацию временной охраны зубрового заповедника агроному, бывшему лесничему Христофору Георгиевичу Шапошникову. известному в московских научных кругах в качестве опытного охотника и естествоиспытателя» (ЦГА РСФСР, ф. 2307, оп. 2, д. 1, л. 203).

— Вскоре после гражданской войны,— сообщил редакции начальник отдела заповедников Министерства сельского хозяйства СССР В. Б. Козловский,— в районе, о котором идет речь в телеграмме, был создан Кавказский заповедник. Но в 1927 году в результате эпизоотии зубры пали. В предвоенные и особенно послевоенные годы принимались энергичные меры к возрождению зубров, и они дали свои плоды: на 1 января 1988 года здесь насчитывалось 586 голов этого редкого животного. В заповеднике имеется также десять тысяч оленей, шестнадцать тысяч туров и много других животных.

3

20 июня 1920 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ТОВАРИЩУ В. И. ЛЕНИНУ В МОСКВЕ

от дипломированного инженера-строителя Петера Пастернака в Цюрихе.

Товарищ Ленин!

Посоветовавшись с тов. Фрицем Платтеном[1] в Дитиконе, близ Цюриха, я решил доложить Вам о следующем:

7 ноября 1918 г., в день первой годовщины русской рабоче-крестьянской революции, я, выступая на торжественном собрании Советов рабочих в Воронеже, где я работал по заданию одной крупной петроградской строительной фирмы, обещал никогда больше не отдавать свои знания клике паразитов и эксплуататоров — владельцев строительных предприятий. Я поклялся отныне отдать всего себя без остатка делу рабочих и поехать с этой целью в Москву, чтобы выучить там красных инженеров-строителей, которые, как и красные офицеры Красной Армии, должны победоносно вести к социализму рабочих-строителей.

После 12 долгих лет служения за кусок хлеба иностранным и русским крупным предпринимателям (в порядке оправдания: исключительно в качестве научного работника) я пришел к убеждению, что Советское правительство сможет лишь тогда повести действительную борьбу против предпринимателей, когда оно будет располагать кадрами преданных красных инженеров во всех областях техники.

Я ясно вижу перед собой кратчайший путь к созданию таких инженеров и ни на йоту не отхожу от него и сейчас, несмотря на все злоключения.

В каждой области техники следует найти выдающихся, не испорченных капиталом инженеров, которые на практике, в многолетней творческой деятельности усвоили основные теоретические и практические знания новейших, рациональных методов труда в своей отрасли (не путем наблюдения и командования другими, а благодаря собственному тяжелому, но возвышающему человека труду). Такие инженеры владеют про-

стейшими и самыми практическими методами, которые не в состоянии дать им ни одна техническая высшая школа в мире. Если такие инженеры покажут себя в достаточной мере бескорыстными (и это важно, поскольку имеет для Вас значение для скорейшей победы социализма), чтобы вложить в юные одаренные в техническом отношении пролетарские головы все своим трудом добытые знания, все открытые ими простейшие расчеты и методы труда, то Россия в кратчайший срок получит красных инженеров-специалистов.

10 ноября 1918 года, оставив свое место в петроградской фирме, я прибыл в Москву, чтобы претворить в жизнь высказанные выше мысли. У меня было глубокое убеждение, что при успехе дела, в котором я не сомневался и не сомневаюсь теперь, после полуторагодового опыта, и другие инженеры научной практики присоединились бы к моему делу, так как инженеры, которые работают творчески и далеки от денежных дел, даже будучи на руководящих должностях, сами эксплуатируются предпринимателями самым бессовестным образом. Следовательно, если у этих инженеров не рабская натура, они должны бесповоротно встать на сторону пролетариата и пусть еще не все, но иметь мужество порвать с кликой предпринимателей, дающей им лишь внешне обеспеченное существование.

В Комгоссооре (Комитете государственных сооружений.— *Ред.*) я встретил очень теплый прием со стороны коммунистического руководства. Но это не помешало ему, однако, передать мой проект различным исключительно буржуазным комиссиям, состоящим из представителей школ и отраслей промышленности, среди которых находились даже некоторые владельцы строительных предприятий. И оно не воспрепятствовало тому, что меня гоняли от одной инстанции к другой.

Идея моя оказалась бы похороненной, если бы я не поступил революционно: я открыл свою школу на собственный страх и риск, не ожидая санкции Комгоссоора, которую получил лишь через несколько месяцев, а также кое-какие денежные средства, да и то благодаря нажиму со стороны Московского союза техников и чертежников. Но мой план — создать частную учебную мастерскую с интернатом на коммунистических началах, с военной дисциплиной для каждодневных занятий — был сжат до вечерних курсов в неотапливаемом, антисанитарном помещении, с нехваткой самого необходимого инвентаря. Несмотря на все это, мои вечерние курсы ежедневно посещало до 30 учеников (рабочие, чертежники, техники, студенты и инженеры).

Непрерывно я обращался к Комгоссоору с просьбой принять во внимание важность эксперимента (для других, для меня это уже не эксперимент) и дать мне наконец возможность полностью развернуть свою программу, то есть открыть постоянное училище и предоставить возможность показать его жизнеспособность и работоспособность выполнением отдельных заданий по строительству. Напрасные старания. Моя бессмысленная, по мнению некоторых, попытка создать инженеров из техников и чертежников вызвала лишь улыбку презрения у этих буржуазных саботажников Комгоссоора, которые свое бессилие и пустоту умеют прикрыть тогой достоинства и светских манер. Комгоссоор нас упорно бойкотировал, и ничего не смог изменить также и цикл лекций для инженеров, которые я устраивал в здании Комгоссоора.

К счастью, на помощь нам пришли сами строители-предприниматели, несмотря на то, что я объявил им войну! Один предприниматель, которому было поручено строительство под Самарой крупных мастерских по ремонту паровозов, попал в большое затруднение: он стоял перед задачами, до решения которых его инженеры не доросли. На его мольбы поспешить ему на помощь я вынудил его поручить моей школе проектирование и отчасти возведение (руководство возведением) некоторых весьма ответственных железобетонных сооружений. С семью своими учениками я отправился в середине июня 1919 г. в Самару. За два с половиной месяца напряженной работы мы справились с заданием, на которое опытная частная контора затратила бы по меньшей мере вдвое больше времени.

На строительство, которое к середине июня было почти полностью приостановлено, пришла жизнь. На рабочих наш приезд и наша деятельность произвели огромное впечатление. «Коммунисты могут только разрушать, но не создавать»,— постоянно слышали они со всех сторон от буржуазии. И вдруг эти самые насмешники и критики

призывают «коммунистов из центра» (так называли нас на стройке) для того, чтобы вывезти застрявший воз. Наше знание дела, веселая, быстрая, рука об руку, работа привлекли к нам внимание и доверие администрации (со стороны Наркомата путей сообщения), которая доверила теперь непосредственно моей школе довольно крупную проектную работу с исполнением ее в Москве.

В сентябре 1919 г. с радостным настроением мы вернулись в Москву, так как верили, что теперь-то мы будем более настойчиво пробиваться сквозь брешь, пробитую в стене саботажа. Но, несмотря на успешную проверку нашей работоспособности, со стороны Комгоссоора продолжался полнейший бойкот.

Были бы выполнены многие трудные задания, вытянуты из застоя, подобно Безымянке под Самарой, и сдвинуты с места стройки в Москве и провинции, испытывающие недостаток в технических кадрах,— однако ни моя школа, ни я сам ни разу не были привлечены к работе. Тогдашний председатель Комгоссоора на мою настоятельную просьбу еще раз серьезно принять в расчет существование моего учебного штаба дал мне ошеломляющий ответ: «Все это хорошо и мило, но Деникин придет и все разрушит». Его помощник, молодой архитектор и член коммунистической партии, сделал слабую попытку помочь мне, но вскоре сложил оружие перед буржуазной гидрой специалистов Комгоссоора.

Зима 1919—1920 года со всеми ее страшными лишениями нанесла моей школе окончательный удар. Хотя я и пытался всеми силами как-то удержать ее, но когда мои ученики заметили, что всеми сильными мира сего мы забыты и обойдены и что в такое столь трудное время мы предоставлены лишь самим себе, в них и, признаюсь, также и во мне угас тот внутренний огонь, который помогал нам заниматься инженерным искусством в неотапливаемом помещении и на голодный желудок.

Так бесславно погибла первая пролетарская школа инженеров в России, где молодые люди получали техническое и революционное образование.

Но по крайней мере я отчасти сдержал свое слово, данное воронежскому пролетариату. В частные предпринимательские фирмы я не вернулся, а предпочел минувшую зиму голодать и замерзать с моей женой в Москве.

Бойкот в Комгоссооре имел и свою положительную сторону: свободное время, которое у меня было там в изобилии, я вложил в два труда, в которых отразил отчасти научный опыт и призвание. Почти готовы для печати:

1. Расчеты и возведение железобетонных конструкций (первая часть) на русском языке.

2. Дополнение к теории и к практическим методам расчетов статически неопределимых систем, с особо подробным разбором комплексного способа постройки (на немецком языке).

Оба сочинения являются оригинальными и содержат исключительно или новые наглядно-обобщающие методы, или уже известные методы в моей новой элементарно-обобщающей обработке. Эти книги я написал для Советской России и хочу этим доказать, что, несмотря на трудное в материальном отношении время, в России все-таки возможна производительная научная работа. Предприниматель же, напротив, мне никогда не давал времени для написания книг.

Так как я убедился в невозможности опубликовать свои книги с помощью Комгоссоора при господствующих там отношениях, я решил вернуться пока на работу в давшую мне приют Швейцарию, чтобы опубликовать там свои труды. Всем же ликующим по поводу крушения моего дела, которые полагают, что я теперь преисполнен ненависти к Советской России, я сказал: «Я вернусь снова к своей деятельности, как только буду призван Советским правительством».

Если я и потерпел неудачу в своем деле, то прежде всего обвиняю самого себя: железной энергией, которую я, к сожалению, умел развить только за чертежным столом, фалангу саботажников можно было бы раздавить. Но у меня есть и мужество во всеуслышание обвинить здесь перед лицом высшей власти Советской России тогдашних руководителей-коммунистов Комгоссоора. С теми коммунистами, которые не могли и не смели сомневаться в моей квалификации и чистоте идей, я никогда не стал бы

рассчитывать ни на какую предложенную буржуазными специалистами помощь и никогда бы не пошел на сговор с ними. Но они (коммунисты из Комгоссоора) полностью отвернулись от моей маленькой школы, которая в окружении буржуазных прихвостней работала с таким вдохновением, глубоким убеждением и верой в лучшее будущее, и дали школе погибнуть.

Несмотря на все злоключения, я, товарищ Ленин, не утратил глубокой веры в Вашу и Вашей партии высокую освободительную деятельность, а также в правильность моей мысли, неразрывно связанной с судьбой Ваших стремлений.

Я никогда не принадлежал ни к одной партии. Я не чувствую себя вправе принадлежать и к Коммунистической партии, так как я не участвовал в ее героической борьбе до ее победы. Этой партии, которой я восхищаюсь, я могу только служить.

Позовите меня, товарищ Ленин, обратно и позвольте мне полностью развернуть свою инициативу. За успех я ручаюсь.

Петер Пастернак [2].

Дитикон, близ Цюриха.

(ЦПА ИМЛ. Перевод с немецкого)

---

[1] Платтен Фридрих (Фриц) (1883—1942) — швейцарский коммунист, профессиональный революционер, один из организаторов Коммунистической партии Швейцарии. В апреле 1917 года г. Платтен был главным организатором переезда В. И. Ленина из Швейцарии в Россию. В 1919 году принимал участие в организации III, Коммунистического Интернационала. В 1923 году переехал в СССР, где возглавлял сельскохозяйственную коммуну швейцарских рабочих, затем работал в Международном аграрном институте и в Московском педагогическом институте иностранных языков.

[2] Прочитав это письмо. Ленин поручил руководству ВСНХ проверить в Самаре и в Воронеже (у рабочих — подчеркнул в своей резолюции Владимир Ильич) правильность изложенного в письме и сообщить ему итог.

После бесед с людьми, близко знавшими Пастернака, председатель Воронежского губсовнархоза прислал в ВСНХ письмо, в котором вполне положительно характеризовал Пастернака. Он также подтвердил, что в письме к В. И. Ленину Петер Пастернак верно изложил суть своего выступления на торжественном заседании в Воронеже, посвященном первой годовщине Октября. Кстати, в отчете об этом заседании газета «Воронежский красный листок» писала 9 ноября 1918 года, что особенно интересным было выступление швейцарского подданного инженера Пастернака, который «заявил, что отныне он не будет работать для бездельников-капиталистов».

Очень лестно отзывались о Пастернаке товарищи, работавшие с ним на разъезде Безымянка, близ Самары. «Я был самым близким курсантом Пастернака,— писал в конце 1920 года техник Третьяков — Живя с ним на одной квартире в Безымянке, я был посвящен во все тайны его личной жизни, его мыслей, стремлений, идеалов... Пастернак с бешенством, свойственным его темпераменту, и настойчивостью защищал принципы советского строя». Тепло отзывается о нем и техник Ивановский.

«Пастернак — талантливый инженер-теоретик, располагающий новыми методами расчета железобетонных конструкций»,— писал член коллегии Комитета государственных сооружений (Комгоссоора) М Крюков.

В деле имеется адресованная В. И. Ленину бумага, в которой руководство ВСНХ подводит итог проверки и сообщает, что не имеет возражений против вызова Пастернака из-за границы.

Препятствовало ли возвращению Пастернака в Россию швейцарское правительство или были какие-то причины служебного или семейного характера, помешавшие ему тогда покинуть Швейцарию,— выяснить не удалось. Лишь в 1929 году Петр Леонтьевич Пастернак осуществил свою мечту — вернулся на родину.

Да, Советский Союз был его родиной. Петр Пастернак родился в 1885 году в Одессе в семье преподавателя математики, который, овдовев, в 1891 году эмигрировал в Швейцарию. В 1910 году Петр Леонтьевич окончил Политехнический институт в Цюрихе. с 1914 года жил и работал в России, тут и застала его Октябрьская революция. С 1920 до 1929 года он жил в Швейцарии и занимался научно-педагогической деятельностью. В 1927 году там вышла книга, работу над которой он начал в Москве

Вернувшись в СССР, Петр Леонтьевич Пастернак сначала руководил проектно-строительным комбинатом «Гипрострой». а с 1932 года и до конца своей жизни (умер П. Л. Пастернак в 1963 году) работал в Московском инженерно-строительном институте имени В. В. Куйбышева, где возглавлял кафедру железобетонных конструкций.

Выдающийся ученый, автор пятидесяти научных работ, крупнейший специалист по железобетонным конструкциям и строительной механике, действительный член Академии строительства и архитектуры, доктор технических наук Петр Леонтьевич Пастернак внес большой вклад в дело социалистического строительства в нашей стране. Непо-

средственно им или под его руководством были разработаны многие крупнейшие проекты железобетонных конструкций: производственных зданий Камского бумажного комбината, Уралмаша, Магнитогорского комбината, заводов в Иркутске, Свердловске, Орске. Он подготовил около пятидесяти кандидатов наук и более тысячи инженеров-строителей.

4

16 июля 1920 г.

ВОЖДЮ МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА ТОВАРИЩУ В. И. УЛЬЯНОВУ (Н. ЛЕНИНУ)

Глубокоуважаемый товарищ Ленин!

Из далекой, но отлично известной Вам Советской Сибири в первый раз непосредственно в письме я решил сообщить Вам о тех впечатлениях, которые произведены на меня пребыванием в Сибири с ноября месяца 1919 года и, в частности, здесь, в Новониколаевске (прежнее название Новосибирска.— *Ред.)*, с 15 февраля по 15 июля сего 1920 года.

С приездом в Новониколаевск из г. Челябинска вместе с армейской комендатурой в короткое время я узнал, что порядок и партийная дисциплина в местных организациях РКП почти отсутствовали. Политическая работа, вследствие недостатка опытных работников и личных счетов между имеющимися налицо членами РКП и ответственными советработниками, в городе велась очень слабо, в уездах же (Томской губ.) почти не велась.

Волревкомы в большинстве случаев имели в своем составе кулаков и примазавшихся мародеров. Пьянство и безобразия в деревнях развивались усиленным темпом (об этом много говорилось и на 1-м горуезд. съезде Советов Новониколаевского уезда в первых числах июня месяца).

Вам известно, что, когда Красная Армия, разбивая повсюду колчаковские банды, победоносно продвигалась в 1919 году от берегов Волги за Урал и в глубь Сибири,— все крупные буржуа и контрреволюционеры разных оттенков бежали из городов России в Сибирь, где и засели на место жительства.

В то время, когда я исполнял должность адъютанта комгора (командующего гарнизоном города.— *Ред.*) Новониколаевска, нами был разработан проект регистрации и отправки под конвоем всех буржуазных беженцев на место прежнего их жительства, где с ними могли бы посчитаться и воздать каждому по заслугам. Но проект этот осуществлен не был вследствие отклонения его высшей инстанцией.

Еще при начале организации советских учреждений в городе Новониколаевске, вследствие острого недостатка работников из рабоче-крестьянской среды, пришлось заполнять штаты необходимых работников или тайными, или явными врагами Советской власти. И эти враги под разными предлогами стремились пробраться в то или иное советское учреждение, занять в нем видное местечко и творить свое грязное дело.

Надо сказать, что и до сих пор города Сибири и советские учреждения в них, в особенности здесь, в Новониколаевске и Томске, переполнены буржуазными беженцами, которые, находясь на службе, саботируют и всячески стараются повсюду нанести вред Советскому правительству при строительстве новой жизни.

Если обратить внимание на Томский губпродком, то в нем из 500 служащих 300 саботажников и контрреволюционеров (в последнее время принимаются меры к их удалению).

Не удивительно поэтому, что скрывающиеся в Сибири колчаковские авантюристы-офицеры с первых чисел июля имели временный успех среди крестьян Новониколаевского уезда, например, ст. Чик, пристань Дубровино, г. Колывань и близкие к ним села, где было кулацкое восстание.

Контрреволюционные агенты губпродкома вывели крестьян из терпения, и они под влиянием агитации авантюристов устроили мятеж: разогнали Советы и исполкомы, перебили часть членов Советов и служащих и т. п.

Мятеж [...] был своевременно раздавлен революционной железной рукой сознательных пролетариев.

Революционно-политическое воспитание широких крестьянских масс и до настоящего времени развивается очень слабо. Если во многих селах и есть ячейки РКП и культпросветы при них, то там или отсутствуют опытные политработники, или недостаток литературы. Кроме этого, ячейки необходимо возможно чаще инструктировать, для чего также требуются опытные работники, в которых даже и город сильно нуждается.

Стремление рабочих и крестьян Сибири к свету и знанию в последнее время достигло высших размеров, но вследствие недостатка опытных руководителей им приходится слишком много затрачивать непродуктивно и времени, и умственной энергии.

В настоящее время в городах Сибири в первую очередь необходимо поставить на должную высоту школы партийной и советской работы и краткосрочные курсы политической грамоты как в частях гарнизона, также и среди населения городов. Курсы и партшколы в короткий срок могли бы дать деревне свежих работников с теоретическими познаниями и указаниями, применимыми на практике. А для этой цели необходимы работники из центра.

Нельзя сказать, что сибирский крестьянин слишком темен, несознателен и неразвит. За время моего пребывания на территории Сибири этого я не заметил. Повсеместные восстания крестьян во время колчаковской вакханалии свидетельствуют нам о том, что крестьяне Сибири отлично знают, где их враги и друзья.

И если в некоторых местах крестьяне выражали свое недовольство при выполнении разверстки (хлебной, масляной, мясной и фуражной), мотивируя это тем, что отданный ими хлеб гниет на ссыпных пунктах (а это факт, и его остается мне только подтвердить), то это я приписываю тем гадам, которые шипят крестьянам из-за углов, и тем контрреволюционерам и саботажникам, которые набились повсюду в учреждения.

Уважаемый товарищ Ленин, хотя я и молодой еще работник, поэтому могу ошибиться, но, однако же, скажу Вам, что сибирский крестьянин, у которого еще не зажили рубцы от колчаковской плетки и нагайки,— он с нами, он вместе с рабочими России, к числу которых принадлежу и я.

Мне больно становится вспоминать о том, как по милости негодяев разных мастей всегда и везде приходится погибать настоящим труженикам — рабочим и крестьянам.

Не доверяйтесь вполне разным сводкам и сведениям о положении дел в Сибири. Канцелярская волокита здесь чрез меру развилась, поэтому вполне возможно, что, пока сведения из Сибири по инстанциям дойдут до центра, в них может получиться сюрприз: «из мухи — слон». При такой обстановке дела вполне этого возможно ожидать, так как примазавшиеся гады везде стремятся нас обойти.

Чистка, и вполне основательная, генеральная чистка необходима здесь, в Сибири! Всем гадам, сеющим рознь между рабочим и крестьянином, призывающим к погромам и кровавой междоусобице, должен быть в срочном порядке отведен уголок в царстве Колчака и К°.

Только тогда красная Советская Сибирь будет преданной сестрой красной России, только тогда мы сможем не только удержать завоевания Октябрьской революции, но мы сможем победить весь капиталистический мир и первое место занять на международном празднике победы пролетариата всего мира над мировым капиталом. Я верю, что праздник этот приближается.

С оружием в руках, непреклонной волей обновленного и освобожденного разума мы будем готовиться к его встрече!

Николай Леший,
член РКП(б) общеармейской организации политотдела-5.

Мой краткий биографический очерк и стихотворения при сем прилагаю [1].

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, д. 238, л. 69)

---

[1] К письму приложены три стихотворения: «Пролетарий», «Жизнь», «Была пора». Последнее завершается такой строфой о пролетарии:

И видим мы как он
Идет в последний бой,
Как с каждым новым днем
Растут его ряды,

Как света он достиг,
Измученный борьбой;
Как зреют на земле
Трудов его плоды!

К тому времени, когда двадцатипятилетний Николай Леший писал письмо В. И. Ленину, он уже прошел немалую школу трудовой жизни: с двенадцати лет работал по найму (трехлетним ребенком он остался сиротой и воспитывался у бабушки) — мальчиком в магазине, рабочим на суконной и кондитерской фабриках. Осенью 1915 года был призван в армию, но вскоре демобилизован по болезни. В восемнадцатом году ушел в Красную Армию, в феврале 1919 года вступил в Коммунистическую партию. Когда через год гарнизонный политпросвет слился с политпросветом отдела народного образования, Николай Леший возглавил уездный, а затем губернский политпросвет, создавал сеть народных домов, изб-читален, библиотек. Был на партийной работе, затем учился. В двадцатых и в начале тридцатых годов Н. Леший выпустил несколько брошюр на политико-просветительные темы. А в 1932 году он перешел на газетную работу: до войны был литературным сотрудником и заведующим отделом в «Учительской газете», а с 1945 года работал заместителем редактора газеты «Московский метрополитен». В последние годы жизни (умер Н. Леший в 1965 году) он писал повесть о первых годах революции, но рукопись осталась неоконченной.

5

6 сентября 1920 г.

Занятый земельным вопросом на Урале, Владимир Ильич, я перечел некоторые Ваши труды за прежние годы (например, «Аграрная программа» 1907 года [1]) и несколько брошюр, изданных Вами за последнее время, и должен Вам признаться, что прямо поражен, как, будучи основным устоем мирового движения, Вы умудряетесь еще найти время и энергию для разработки цифрового материала по выборам в Учредительное собрание, на основании которого Вы поместили крайне интересную статью в «Интернационале», весьма выпукло обрисовывающую сочетание сил, при котором РКП одержала верх в Октябре 1917 года[2]. Меня взяло искушение написать Вам несколько строк сочувствия и глубокого уважения со стороны человека, не стоящего в рядах Ваших соратников, но также честно служащего той трудовой части населения, которая не эксплуатирует своих ближних ни явно, ни скрытно.

То, что я пишу Вам не в момент апогея успеха, надеюсь, послужит гарантией, что при чтении этих строк в Вашу душу ни на секунду не закрадется сомнение в моей искренности. Мой почтенный возраст исключает возможность юношеской экспансивности, а тридцатилетнее занятие в области земельных вопросов, как теоретическое, так и практическое, позволяет мне полно и беспристрастно судить о Ваших трудах, помогших мне многое уразуметь в запутанных на Урале земельных отношениях.

Прежде многое в Ваших построениях и выводах казалось мне парадоксальным. Теперь, в современной обстановке, это прежде «парадоксальное» дает ключ к уразумению наблюдаемых фактов, и приходится пожалеть, что не все люди одарены одинаковыми способностями, чтобы вовремя уразуметь то, что человеку с более широким горизонтом и более острым умственным зрением стало ясным и понятным.

К сожалению, далеко не все, что Вами написано раньше и за последнее время, имеется здесь под рукою. Между тем для правильного уразумения некоторых мероприятий и фактов, имеющих значение в деле направления работы по урегулированию земельных вопросов (в настоящее время я заведую отделом земельных отношений Управления уполнаркомзема при Совтрударм 1), необходимо было бы иметь возможность использовать Ваши труды полностью.

Знаком того, что мой душевный порыв Вами понят верно и что это письмо попало в Ваши руки, я ожидаю, что Вы будете так добры сделать распоряжение, чтобы в Екатеринбург отделу земельных отношений Управления уполнаркомзема при Совтрударм 1 были отправлены по одному экземпляру всех изданных по [земельному] вопросу Ваших трудов и брошюр, имеющихся на складе Центропечати. Этим, несомненно, будет оказана огромная услуга делу первой важности на Урале.

Точно так же Ваша пометка на приложенном заглавном листе сводного труда «Материалы по земельному вопросу на Урале» о необходимости его скорейшего издания, отосланная по указанному адресу, поможет двинуть дело. Надо подобную обработку материала сделать и по другим губерниям области.

Труд составлен беспартийно и представляет свод статистических данных и материалов, собранных Статистическими Бюро б. земств и официальных источников *.

Питаю надежду, что Вас не затруднит оказать мне доверие авансом, тем более что перед набором, да еще с Вашей пометкой, труд пройдет цензуру Центропечати.

Чтобы быть уверенным, что данное письмо, посланное по почте, попадет в Ваши руки, я одновременно кружным путем (не по почте уже) послал другое, которое с запозданием, наверное, будет передано Вам одним общим знакомым.

С сердечным приветом

г. Екатеринбург. А. Богдановский [3].

* В нем дается полная картина земельного «расстройства», кот[орое] придется ликвидировать при проведении в жизнь соцземлеустройства.

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, д. 236, л. 630, 631)

---

[1] «Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905—1907 годов». Эта книга написана В. И. Лениным в ноябре—декабре 1907 года.

[2] Очевидно. автор имеет в виду статью Ленина «Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата», опубликованную в декабре 1919 года в журнале «Коммунистический Интернационал» (№№ 7—8).

[3] В справке, полученной нами из Государственного архива Свердловской области, говорится, что Александр Евстафьевич Богдановский родился в 1866 году, окончил Харьковский университет и академию в Пруссии. Когда А. Е. Богдановский писал это письмо Ленину, он работал заведующим отделом земельных отношений Управления уполномоченного Наркомзема при Совтрударм 1. А 1 декабря 1920 года был откомандирован в распоряжение правительства Азербайджанской республики.

Из Государственного архива Октябрьской революции и социалистического строительства Азербайджанской ССР нам сообщили, что с декабря 1920 до августа 1921 года А. Е. Богдановский работал помощником заведующего агрономическим подотделом Наркомзема Азербайджанской ССР и одновременно исполнял обязанности помощника заведующего отделом сельхозэкономики и статистики. Затем он уехал в Одессу, чтобы посвятить последние годы жизни литературной и научной деятельности.

Выпущенные А. Е. Богдановским книги свидетельствуют о большой работе, которую он вел в конце прошлого и в начале этого века в Пермской и Вологодской губерниях, в Притобольском крае и в других районах Урала и Сибири по исследованию земель и лесов. изысканию переселенческих участков. Немаловажный интерес представляет также его обстоятельное исследование «Ленская дорога и ее экономическое значение» (СПБ, 1911). А. Е. Богдановский не чуждался и политических проблем: вскоре после революции 1905 года он издал «Сборник программ русских политических партий». Изданная в Петрограде в 1917 году под редакцией А Е. Богдановского, книга «Железная дорога Обь — Мурманская (Обь — Сорока)» хранится в личной библиотеке В. И. Ленина в Кремле.

6

27 сентября 1920 г.

Товарищ Ленин!

Ознакомившись через В. Булгакова на вчерашнем вечере в память Л. Н. Толстого относительно Вашего разговора с В. Чертковым[1], прошу принять меня для сообщения Вам, быть может, интересной идеи относительно безболезненного прекращения войны с Польшей.

С совершенным почтением

Чед. М. Иоксимович.

Я серб и сербский подданный. Мне 47 лет, и в России живу уже 23 года. По политическому убеждению я народный социалист и славянофил-федералист. По специальности я текстильный техник, имею 12 печатных трудов экономического и технического содержаний и 5 лет состоял ред. изд. журнала «Вестник мануфактурной промышлен-

ности». Во время войны был комиссаром 1-й Сербской добровольческой дивизии, а в настоящее время состою инструктором прядильно-ткацких курсов на Дедовской и Высоковской мануфактурах.

Ч. М. И.

(ЦГАОР СССР, ф. 130. оп 4, д. 241. л. 1097)

[1] Очевидно, имеется в виду беседа В. И. Ленина с близким другом и последователем Л. Н. Толстого В. Г. Чертковым 8 сентября 1920 года.

7

4 декабря 1920 г.

Уважаемый Владимир Ильич!

Позволяю себе беспокоить Вас по вопросу о концессиях на лесные богатства Республики и высказать свой взгляд на это. И при царизме отдавались концессии лесные иностранцам, и очень немногим русским они попадали в руки; таковыми были концессии на Ялу (Дальний Восток), Гедройца на Пинские болота, Тана (сибирские тундры по Оби и Енисею), и результаты все были таковы, что и денежки и материалы уходили за границу, а нам, рядовым работникам, попадали незначительные разработки частных владельцев. После всех разработок оставались пустыри, которые с годами по воле природы зарастали сорным мешаным лесом.

Много было лесников, у которых разработки были поставлены очень толково, на американскую ногу. Таковыми были Свешников, Первушин, Брандр, Мотов, Клеев, Гинзбург, Пешков и многие другие, которые частью теперь уехали, распустили своих доверенных и приказчиков, которые поразбрелись по советским канцеляриям и мирно сидят себе с 10 до 5 часов, не принимая своей активной работы, которую дали бы с гораздо большей пользой, чем в канцелярии. Собрать их и отдать в распоряжение Наркомзема под ведение инженеров МОВИУ, и дело-то, глядишь, обойдется и без концессии, а рабочие руки в России найдутся с избытком.

Что в большей части дело было поставлено хорошо, могу сказать уже потому, что я сам следил за иностранной литературой по этому вопросу и в беседе с проф. Киршем (ныне умершим) пришел к заключению, что нужны только одни опытные руководители в виде инженеров, которые и в то время не шли работать в леса, ибо считали, что на фабриках и заводах они могут больше заработать. И это правда, потому что при разделке леса ограничивались одним сырьем без переработки.

Для примера скажу Вам, как было поставлено это дело. В нетронутом лесу пробивалась широкая просека руками, затем в нее въезжал автомобиль, на котором установлена была динамо-машина. И она начинала работать от мотора автомобиля, и по отведенным проводам начинала пилить деревья электрическая пила. Частью валила деревья, частью разделывала на дрова; на том же автомобиле приезжала кузница с горном, наковальней, всеми инструментами, точильная машина, которые все работали от динамо-машины, и при окончании разработки на одном месте она переезжала далее. Лес из рощи частью отправлялся на рынок в круглом виде на лесопильные заводы, если разработка небольшая, частью разрабатывался на месте, если дело было на 10—15 лет. Тогда ставили лесопилку, которая давала пильный материал. Ставили деревообделочные машины, которые сразу выпускали бруски дверные, оконные, половые вязки и даже выпускали готовые двери, плинтуса, галтели по заказам на большие постройки (Шапошников и Челноков). Даже были здесь же бумажные заводы, которые из отбросов дерева вырабатывали бумагу, целлюлозу и разные химические продукты, как скипидар, смолы, деготь и т. п. Но тут, повторяю, был недостаток инженеров.

Конечно, от разработок были проложены узкоколейки с паровыми двигателями, были и электрические самотаски к заводу, до станции. Разрабатывались готовые части для упаковки чая, фруктов, яиц и т. п.— словом, это дело не настолько уж сложное, чтобы отдавать его на концессию, а достаточно купить шведские, даже лучше, чем американские, лесообделочные машины и за то отдать сырым готовым лесом, сплавив его к портам Севера.

Я более 15 лет занимался этим делом и оставил его перед войной только потому, что получил за нездоровьем дело — образовать курорт общественного строя в Феодо-

сии. Вы скажете — почему я теперь служу в Полевом штабе (довольствующее отд.). Да потому, что в лесное дело я не пошел из-за той неправильной постановки, которая там была, и работать с людьми, которые я знал, что берут взятки и делятся между собой,— я не могу. Всю жизнь живя честно, имея 5 сыновей-фронтовиков, я не решился во время революции изменить своим взглядам и идти в сделку с совестью и ушел служить, принося здесь хотя посильную пользу.

Я так уверен в том, что лесное дело может быть поставлено без помощи иностранного капитала, что могу наверно сказать, что легче принять для Республики заказ от иностранцев на определенный предмет, вызвать их представителя для приемки, и он, принимая заказ, сам скажет нам, что мы не так делаем, и сам привезет нам ту машину, которая будет исполнять его заказ. Здесь нужна узкая специальность, нужны люди опыта, и у нас они есть. И под определенным умелым руководством, под контролем ли ЧК и ВЧК дело это может остаться исключительно государственным и русским. И нет нужды обязываться и входить в договорные условия с иностранцами по концессиям, когда достаточно взять их заказ для исполнения. Что такая постановка будет выгоднее — это Вам скажут и другие люди — специалисты, если только они не заинтересованы в получении личной выгоды при передаче концессии. Я знаю, что в царском министерстве давали концессии только тем, кто хорошо платил, и знали, кому дать, и брали в то время и по 200 000 и по 500 000 за такие дела, а нам, малым работникам, приходилось у них же покупать и перепродавать, пользуясь очень малой пользой. Когда же удавалось иметь свою лесопилку, на арендных даже условиях, то польза сразу становилась вдвое.

Такое положение должна занять и теперь Республика и не отдавать этого дела иностранцам, а, поставив его хозяйственно, послать агрономов после разработок снова засеять новые засеки, как это делалось у гр. Уварова и в Мокшинских лесах.

Примите уверение в глубоком к Вам уважении и пожелания успеха новым началам светлого будущего России.

Петр Семен. Алексеев[1].

Адрес: Москва, Полевой штаб РВСР. Довольств. отд.

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 4, д 236, лл. 72—74)

---

[1] Ответ на свои сомнения П. С. Алексеев мог найти буквально через несколько дней в выступлениях В. И Ленина на собрании актива Московской организации РКП(б) и на фракции РКП(б) VIII съезда Советов.

Доклад о концессиях на собрании актива Московской партийной организации 6 декабря 1920 года Владимир Ильич начал такими словами: «Товарищи я с большим удовольствием, хотя, признаться, и с удивлением, увидел, что вопрос о концессиях вызывает огромный интерес. Отовсюду раздаются крики, и, главным образом, они идут с низов. Спрашивают, как же это так: своих эксплуататоров прогнали, а чужих зовем?» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 42, стр. 55). И тут же Ленин объясняет, почему эти крики вызывают в нем удовольствие. если по поводу подобного десятистепенного акта, каким был декрет о концессиях, проявилось такое опасение, как бы не вернули назад старых капиталистов, значит, очень и очень сильно сознание, насколько капитализм опасен и насколько велика опасность недооценки борьбы против него.

Ленин указывает далее, что концессии будут способствовать развитию производительных сил страны. «...Рядом с концессионным куском, с концессионным квадратом, будет наш квадрат, потом опять их квадрат; мы будем учиться у них постановке образцовых предприятий, ставя рядом свое» (там же, стр. 75). При голодной жизни, когда перед страной столько проблем, своими силами леса не освоить. И если, скажем, из 70 миллионов десятин северных лесов 17 миллионов десятин будут отданы под концессии, говорил Ленин, «мы ничего не можем потерять» Кроме экономической стороны этой проблемы, существует и политическая, о которой В. И Ленин говорил, в частности, в своем докладе о концессиях на фракции РКП(б) VIII съезда Советов 21 декабря 1920 года.

«Сейчас мы имеем проект договора по отношению к лесным концессиям на дальнем севере. Мы находимся в таких условиях, когда благодаря тому, что политического единства между Англией и Францией нет, наша обязанность не отказываться даже и от известного риска, лишь бы достигнуть того, чтобы затруднить Англии и Франции военный союз против нас. Новая война, которую Англия и Франция будут поддерживать против нас, принесет нам (даже при условии, что мы кончим ее вполне победоносно, так же как кончили теперь с Врангелем) колоссальные тяготы, затруднит наше экономическо-хозяйственное развитие, ухудшит положение рабочих и крестьян Поэтому мы должны идти на все, что принесет нам менее убытков. А что убытки от концессий —

ничто, по сравнению с тем, чем оказалась бы задержка нашего хозяйственного строительства и гибель тысяч рабочих и крестьян, если не удастся противостоять союзу империалистов,— это ясно. И одним из таких средств противостоять их союзу есть переговоры с Англией о концессиях. Вот политическая сторона вопроса» (там же, стр. 104).

8

7 июня 1921 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ ЛЕНИНУ

Глубокоуважаемый Владимир Ильич!

Позвольте мне, русской писательнице и русской патриотке, в этот критический и острый момент, переживаемый сейчас Россией, обратиться к Вам с необычной просьбой, которую понять и выполнить можете только Вы, как стоящий во главе государственной власти в России и как идеолог современного коммунистического движения, захватившего своим влиянием почти всю Европу.

В моей просьбе нет личных и материальных интересов, она вытекает из чувства любви и долга по отношению к родине и руководится желанием оправдать свой народ пред лицом всего цивилизованного мира и указать тот выход, необходимый для установления экономического равновесия в стране, который должен соединить интересы беспартийной многомиллионной массы с общими интересами, преследуемыми Вами в дальнейшем развитии идей коммунизма.

Все эти годы, начиная с Октябрьской революции, я жила в Советской России, изучала, наблюдала все те перемены, какие произошли в жизни русского народа, социальные сдвиги, рост народного самосознания, проследила весь ход гражданской войны и после ее окончания выехала в Грузию с тем, чтобы написать обширную историческую книгу, быть может, впервые дать беспристрастную историческую оценку всем событиям, какие произошли в России за эти три с половиной года, и издать эту книгу за границей [...]

...Из всех своих наблюдений, опыта и знаний, предназначавшихся для исторической книги, выбрала все наиболее ценное и касающееся, главным образом, экономической жизни России и изложила в небольшой брошюре под заглавием «Молодая Россия и коммунизм». С этой брошюрой, которую мне хотелось напечатать в Тифлисе, чтобы переслать ее для агитации в русские эмигрантские круги за границу, я обратилась к председателю ревкома Грузии Ф. Махарадзе, который оказал мне большое содействие и обещал приложить все усилия к ее напечатанию и пересылке ее в ближайшее время со своим письмом в центр.

Но ввиду того, что в моей книге изложена главным образом деловая экономическая программа, касающаяся аграрного и промышленного вопроса, которая может быть немедленно проведена в жизнь, то я решаюсь, не дожидаясь выпуска в свет моей книги, послать Вам отпечатанную на машинке рукопись и просить Вас ознакомиться с ее содержанием. Эта книга является первым историческим оправданием большевизма и того советского строя, который сложился в России за эти три года, и в этом оправдании, которое в то же время является оправданием русского народа, и заключается все значение этой книги для Европы; кроме того, в ней звучит голос русского крестьянства и всей той многомиллионной беспартийной массы, которая стремится создать для себя новую идеологию и всей своей экономической и социальной жизнью слиться с Советской властью [...]

Во мне Вы можете видеть совершенно независимого, но тем более ценного Вам сторонника, который, будучи движим, с одной стороны, порывом бескорыстной любви к родине, с другой — является служителем идеи высшей справедливости, которая заставляет меня видеть в коммунизме силу, могущую бороться со всеми чудовищными проявлениями капитализма и могущую перестроить жизнь человечества на совершенно новых основаниях. Мои первые две книги, из которых одна была конфискована старым правительством, а вторая затерялась во время революции, имеют определенную нрав-

ственную окраску и дают мне возможность выступить перед Европой с защитой Советской власти и с обвинительным приговором разлагающейся европейской культуре [...]

Мое желание и стремление — отдать народу свой опыт, знания, наблюдения и работать в области духовного и экономического возрождения России [...]

А. Воинова-Дандурова [1].

Тифлис.

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5, д. 1024, лл. 145—147. Публикуется с сокращениями)

[1] Письмо А. И. Воиновой, а также подшитое в том же архивном деле письмо, присланное Владимиру Ильичу Филиппом Махарадзе, обнаружено автором публикации совместно с кандидатом исторических наук Д. В. Джабидзе

«Глубокоуважаемый товарищ Владимир Ильич! — писал В. И. Ленину Ф. Махарадзе 11 июня 1921 года.— Вместе с этим письмом посылаю Вам рукопись «Молодая Россия и коммунизм», принадлежащую перу одной русской писательницы — Воиновой. Я не мог ей отказать в такой просьбе и предлагаю это произведение Вашему вниманию. Этой беспартийной писательнице, но безусловно искренне сочувствующей и сов. власти и коммунизму, нельзя отказать ни в оригинальности, ни смелости и ни в продуманности до конца своих мыслей, несмотря на некоторые ошибки, а м. б., и противоречия. Несомненно, в ней есть что-то от славянофильства, даже от Достоевского. но при всем том она смотрит на явления довольно трезво» (ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 5, д. 1024, лл. 141—144). Во второй части письма говорится о положении в Грузии.

О характере своей рукописи «Молодая Россия и коммунизм» А. И. Воинова достаточно ясно написала в письме Ленину. Приведем здесь лишь одну небольшую выдержку из этой брошюры: «Молодая Россия перед лицом Европы покажет, как были велики социальные завоевания Октябрьской революции, положившие начало новой экономической жизни, породившие новые социальные течения и давшие русскому народу то преимущественное положение в строительстве новой жизни, которое открывает перед ним неограниченную возможность как в использовании естественных богатств своей страны, так и в развитии всех отраслей народного хозяйства по последним научным требованиям техники и прогресса». (Напомним, что эти слова написаны в 1921 году.)

Александра Ивановна Воинова живет в Москве. Сейчас она завершает работу над большим романом о молодежи. Первые две книги, о которых она упоминает в письме к В. И. Ленину. это «Записки курсистки» и «Ника». На автобиографическую повесть «Записки курсистки», написанную в 1912 году и полную симпатии к революционерам, стремившимся изменить социальный строй в России, был наложен арест, а автор ее предан суду. «Ника» — роман о крестьянстве. Полностью эту книгу издали в начале 1919 года в Борисоглебске, а когда летом того же года везли в Москву, поезд подвергся нападению белогвардейцев (это было во время известного мамонтовского рейда), и тираж пропал. Несколько экземпляров «Записок курсистки» и первая часть «Ники», изданная в 1916 году, сохранились.

В двадцатые годы А. И. Воинова. печатавшаяся иногда под псевдонимом Сант-Элли, была больше известна не как прозаик, а как драматург. «Акулина Петрова», «Совбарышня Нина», «Золотое дно», «Получка» — таков неполный перечень ее пьес, видевших подмостки ряда театров и клубов. Это пьесы о нашей действительности, о ростках нового, о борьбе с пережитками прошлого.

Тема интеллигенции — главная в творчестве Воиновой. Ей посвящен вышедший в 1930 году роман «Самоцветы». В 1933 году вышел роман А. И. Воиновой «Восток и Запад». Он был задуман в двух частях, но по ряду причин вышла лишь первая.

«В какой-то мере произведение, над которым я работаю сейчас,— говорит писательница,— можно считать продолжением «Востока и Запада».

Тремя изданиями вышел также исторический роман А. И. Воиновой «Тамара и Давид».

9

6 августа 1921[1].

Многоуважаемый Владимир Ильич!

Голод, развал промышленности, остановка заводов, замирание транспорта, уныние, наступающее у многих работников, и пр. заставляют меня de facto беспартийного писать Вам. Буду краток.

Где же исход, что делать? Как бороться, с чего начать и где настоящий враг рабочего народа, а стало быть, и Ваш?

Прежде всего — спасение республики не вне, а внутри (таков закон истории): 1) Никто тебе не поможет, коли сам не умеешь найти выхода! и 2) Спасение — по Марксу — в экономике, то есть в промышленности, и притом в промышленности добывающей, ибо без нее — станет и обрабатывающая!

Два элемента добывающей промышленности необходимы нам: 1) хлеб — рабочему, и 2) каменный уголь (нефть, но не дрова) — фабрикам, железным дорогам и заводам! Где их взять? — Хлеб даст нам золото Урала (см. п. 4), а каменный уголь у нас в изобилии, только одна беда — саботажники разрабатывают его не так, как надо, не с того конца!

1) Каменный уголь надо добывать теперь: а) из мелких крестьянских шахт Донбасса или б) новыми шахтами, так как выходов каменноугольных пластов на Дону очень много, а не из старых шахт, где теперь каменного угля не добывают, а только попусту воду качают. Как эту добычу каменного угля по-новому наладить? Просто: надо применить в этом (горном) деле так называемые принципы «горной свободы» (об этом есть литература, больше у немцев) и утилизировать голодных людей из неурожайных губерний.

2) Возить каменный уголь надо тоже не с пустой породой (30—40%), а сортированный с 10% ее, и таким путем сохранится у республики до 70 маршрутных поездов ежемесячно, а они (маршруты-то) нам нужны для перевозки хлеба, людей, товаров и т. п...

3) Где взять людей для сортировки каменного угля и его бóльшей добычи? — Из голодных губерний на всю зиму: [с] 1/X 921 до 1/V 922 (где они не нужны), а 1—2 миллиона народу рабочего за 8 месяцев разумно организованной работы дали бы очень много каменного угля, и притом — отсортированного!

4) Чтобы добыть золото и платину, а их масса на Урале, надо применить и к этому делу принципы горной свободы, т. е. то, что применялось в свое время Северо-Американскими Соединенными Штатами в Калифорнии, на Аляске (Клондайк) и т. д. Это дело заинтересует рабочих, если его популяризировать и правильно направить. Будет в изобилии золото, будет в изобилии и хлеб. Наши золотые месторождения Урала — а) многочисленны, часто богаты и б) легко разрабатываемы (без воды и в 2—3 аршинах от поверхности).

5) Надо твердо усвоить: без каменного угля (без минерального топлива) нельзя восстановить тяжелую металлургическую промышленность, т. е. нельзя получать чугун, сталь и железо, а без сих материалов нельзя оздоровить транспорт, т. е. нельзя иметь необходимого нам количества рельс, мостов, паровозов, осей, колес и пр.

6) Без транспорта нельзя возить ни топливо, ни людей, ни хлеб и т. д. (круговорот). Транспорт временно наладить можно, ибо Вечер-отец — прав; есть его книжка: «К учету ж.-д. транспорта». Он не спец и доказывать свои мысли не может, но по сути он прав — «саботаж» более мешает транспорту, чем отсутствие паровозов и вагонов.

Итак — первое: налаживайте добычу каменного угля в Донбассе — и это через кустарей на крестьянских небольших шахтах; в последних каменный уголь есть, их много и их возможно вскоре организовать по типу лассалевских производительных союзов (кооперации) с государственной помощью, а это переход к государственному капитализму и ergo к социализму.

Утверждаю и берусь доказать: все это возможно и люди для сего дела есть; раз будет каменный уголь — после легко пустить доменные, рельсовые и другие заводы. Тогда начнет de facto оживать и укрепляться транспорт (заграничными заказами его не укрепишь!); но не возите зря пустую землю и не гоняйте (с каменным углем при 30—40% пустой породы) по 70 маршрутных поездов в месяц попусту.

Такое (указанное) направление в развитии нашей промышленности изменит все дело. Если сего развития не было до настоящего дня, то в этом виноват «саботаж» черносотенной буржуазии [...], а он Вас — большевиков — всюду окружает; не с.-р., не с.-д. (меньшевики) опасны Вам, это — младенцы, но те черносотенцы, которые прилипли к Вам, тихо ведут свое дело — бумажную волокиту и всюду орудуют, в горном, продовольственном, заводском и пр. делах. Эти г.г. Вам не помогают, хотя совнаркомовские пайки и кушают; Вашу армию создали старые офицеры, но не черносотенные генералы (не Алексеев, не Корнилов и др.). Вашу промышленность должны создать старые инженеры, но не коковцево-рухловского стиля; ищите этих инженеров среди молодых, 30—35-летних работников, там есть люди (я их встречал), Вам сочувствующие, ибо Вы действительно демократы и действительно — сердце и вожди народа. Но не думайте, что

старые тайные, «подлые» и т. п. советники будут Вам помогать. Брату Александра Ульянова, критику Каутского и др., я надеюсь, эти мысли развивать не надо.

Помните — исход есть, руки опускать рано. Конечно, Вам работать очень тяжело: идеи великие, общее руководство Ваше и планы — превосходны (слежу за Вами по газетам), но многие исполнители — лихие супостаты, то по простоте, а то и умышленно.

Писать обо всем этом в газетах не могу — времени нет: до августа был начальником Александровского завода, а на этом месте не до писаний!.. Теперь командируют в Туркестан — тоже некогда писать!..

Но я верю в творческие силы народа, верю немного и Вам, и хотя уши мои постоянно слышат о назревающем и назревшем перевороте, но плохо верю в него: революции развиваются по определенным законам, и г. г. Гучковы, Львовы и К° слишком глупы...

О добыче каменного угля и золота, о перевозке каменного угля, о транспорте и его развитии, о необходимых реформах по горному и жел.-дор. делу могу — если надо — сделать доклад.

Я столь же стар, как и Вечер-отец, знают меня. А. П. Розенгольц — по Главполитпути, П. Н. Кирсанов и Свердлов — по НКПС, т. Анцелович — по Питеру и др.

Помните, по добыче каменного угля, нефти и т. д., по транспорту я вижу и все время боролся с саботажем, его надо уничтожить. Люди в России есть, надо лишь выдвинуть их и дать им возможность работать. Красную Армию создали старые поручики и унтер-офицеры. Красную промышленность могут наладить лишь те инженеры и мастера демократы, которые не трутся около Вас, но Вашей работе искренне сочувствуют (за ее демократизм).

Книжку мою о реформе горного дела — при этом посылаю. Другую о том, «Что мешает развитию горного дела в России», послать не могу — нет под руками. Писал я о многом, да теперь нет времени...

Адрес: Петроград, Коломенская ул., д. 12, кв. 30.
Горному инженеру Василию Яковлевичу Александрову.

С товарищеским приветом и уважением земляка (я тоже симбирский) —
В. Я. Александров [2].

(ЦПА ИМЛ)

---

[1] Письмо поступило в Секретариат СНК 10 сентября 1921 года.

[2] В. И. Ленин написал управляющему делами СНК тов. Горбунову такую записку: «19.IX.1921.

т. Горбунов!

1) Закажите ему доклад с *практическими* предложениями (короче, короче и *точнее*).

2) Соберите все его книги для меня.

3) Запросите письменные отзывы о нем
Розенгольца, Кирсанова, В М. Свердлова. Анцеловича и др.

4) Закажите автору curriculum vitae*) и стаж 1917—1921.

5) Закажите тотчас выписку всего **делового** из этого письма; я пошлю на отзыв.
Ленин».

*) Curriculum vitae — жизнеописание, автобиография.

(В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 53, стр. 202—203)

В 53-м томе Полного собрания сочинений В. И. Ленина в примечании к этой записке указывается, что Александров представил Ленину также доклад с практическими предложениями и три книги о горной промышленности. Далее сообщается, что в отзывах на доклад технические предложения Александрова не были поддержаны В томе дается краткая биографическая справка об Александрове. Он родился в 1866 году. Работал на уральских заводах, затем служил в ведомстве путей сообщения Входил в состав обществ, ставивших целью содействие развитию русской промышленности и торговли. С февраля 1921 года занимал последовательно должности помощника начальника службы тяги, директора завода, начальника Петроградского агентства хозяйственно-материального управления НКПС. В 1930 году состоял техническим инспектором ленинградского отделения охраны труда.

В личной библиотеке В И Ленина в Кремле хранятся следующие книги В. Я. Александрова: 1) «К вопросу о реформах на Урале». СПб. 1909. 70 стр. (с такой дарственной

надписью на титульном листе: «Многоуважаемому Владимиру Ильичу Ульянову (Ленину) на память о письме от 6/VIII 921 г. Автор. Горный инженер. Петроград, Коломенск. ул., д. № 12, к. 30»); 2) «Крестьянское малоземелье и 8-часовой рабочий день». СПб. 1907. 45 стр. и 3) «Что мешает развитию горного дела в России (К вопросу о «горной свободе»)». СПб. 1907. 42 стр. На последних двух книгах, присланных В. И. Ленину в сентябре 1921 года,— также дарственные надписи автора.

Товарищи, которых автор письма называет как знающих его, занимали в 1921 году такие должности: А. П. Розенгольц — член коллегии Наркомфина. П. Н. Кирсанов — начальник финансового управления НКПС, В. М. Свердлов — председатель научно-технического управления ВСНХ, Н. М. Анцелович — председатель Петроградского губпрофсовета.

10

8 сентября 1921 г.

Уважаемый Владимир Ильич!

Вопрос, о котором я пишу Вам, давно интересует меня, и я давно уже собирался писать Вам.

Вопрос, коротко говоря, сводится к следующему.

Во время революции наша партия до неслыханных размеров раздула пламя не только классовой борьбы, но и классовой вражды, ненависти. Эта ненависть к угнетателям играла и положительную роль: она была рычагом, двигавшим миллионы на борьбу с буржуазией.

Эта ненависть в значительной степени воодушевляла тех, кто геройски умирал на фронте во имя пролетарской революции, победы угнетенных.

В обстановке жестокой гражданской войны, голода, нужды, тяжелых лишений мало было места альтруизму, любви даже внутри класса, среди трудящихся.

Сейчас мы получили передышку. С военного фронта центр тяжести переносится на борьбу с разрухой, с голодом, на работу по упорядочению и облегчению обыденной жизни.

Нельзя ли в этой мирной работе сделать одним из движущих рычагов альтруизм, чувство сострадания и любви к старому и малому, к слабому и больному, к беспомощному, голодному.

Я далек от мысли, что нам пора перековать штыки на косы и серпы, но думаю, что пора уже призывать к любви, состраданию, взаимной помощи в н у т р и к л а с с а, внутри лагеря трудящихся.

Борьба с голодом дает удобный повод выступить с новым призывом. Этот призыв найдет богатый отклик среди рабочих, крестьян, красноармейцев и курсантов, среди рабочей и крестьянской молодежи.

Мне кажется, что соответствующее движение уже началось. Необходимо оформить его, дать ему объединяющую и направляющую идею, ясное и понятное содержание. Тогда этот новый рычаг даст возможность усилить работу во многих областях устроения и налаживания жизни.

Если действительно пора выступить с этим новым призывом, то выступить должны именно Вы, Владимир Ильич.

Мне немного нездоровится, и я, вероятно, путано формулирую свою мысль. Но суть, мне кажется, все-таки ясна.

С коммун. прив.

С. Данилов[1].

(ЦПА ИМЛ)

(Письмо написано на типографском бланке: «Военный комиссар штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии»).

---

[1] Владимир Ильич ответил т. Данилову следующей запиской, впервые опубликованной в пятом издании Сочинений В. И. Ленина:

«12/IX

т Данилов!

И «внутри класса» и к *трудящимся иных* классов развивать чувство «взаимной помощи» и т. д. безусловно *необходимо*.

С ком. приветом Ленин».

(В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 53, стр. 187).

11

29 октября 1921 г.

Те формы совхозов и сельскохозяйственных артелей, которые возникли у нас в последние годы, мало оправдали возлагаемые на них надежды. Между тем будущее все-таки принадлежит коллективу, и в особенности — коллективу сельскохозяйственному. Поэтому я постараюсь обрисовать здесь такую его форму, которая, сводя на минимум теперешние его недочеты, в то же время открывала бы возможность развить те преимущества, которыми в дореволюционное время был обусловлен успех в хозяйствах частновладельческих. По статистике довоенного времени на каждого едока в Европейской России, включая и грудного ребенка, приходилось по $1^1/_4$ дес. пахотной земли, а с прочими угодьями, лесом, лугами, выгоном, покосом до 2-х десятин Нормы этой можно держаться тем смелее, что Сибирь и Средняя Азия представляют из себя такой запасной фонд культурных земель, который может обслужить нужды населения Советской России по крайней мере еще в течение нескольких поколений при самом благоприятном росте населения.

Остановимся же на следующей схеме: представим себе коллектив из 100 домохозяев. Средняя семья состоит из 5 лиц, и таким образом наш коллектив включает в себя 500 едоков, имеющих естественное право владения на 1000 дес. земли (625 дес. пахотной и 375 дес. прочих угодий). В то же время такой коллектив представляет из себя довольно крупную рабочую силу по крайней мере в 200 работников. При той форме хозяйства, которая господствовала у нас в крупных и средних экономиях, хорошо снабженных конными орудиями и машинами, совершенно не касаясь вопроса о механической силе, занимать постоянно всю эту рабочую силу в 400 рук было бы не только большой расточительностью и непроизводительной тратой труда, но являлось бы прямым безумием и преступным деянием по отношению к интересам государства. Поэтому необходимо остановиться на несколько иной системе управления экономией и производимых в ней работ.

Во главе коллектива стоит, как и всегда, общее собрание, выделяющее из своей среды правление с его президиумом. Эти органы выбирают уже по своим соображениям штат постоянного управления экономией и постоянных работников в ней. Весь этот штат состоит из 10 лиц, которые выбираются из числа чувствующих прежде всего призвание к сельскохозяйственному труду, обладают достаточными теоретическими или практическими познаниями, хорошим здоровьем, практическою сметкою в жизни, энергией, трудолюбием и вообще всем тем, что требуется от хорошего сельского хозяина. Если в числе их не окажется агронома, то и такового нетрудно будет привлечь в число членов коллектива. Во главе этого штата стоит управляющий, ведающий всеми делами экономии, подчиненный президиуму коллектива и ответственный перед ним (в экстренных случаях — перед общим собранием), как прежде наемный управляющий был ответствен перед своим хозяином-помещиком.

На помощь этому постоянному штату командируются для всяких работ зимой еще 5 членов коллектива, а летом 10. Все это вместе составляет около 2400 рабочих дней (не считая праздников), и каждый член коллектива пребывает таким образом в командировке на работах в экономии недели две в году. В страдную пору весенних посевов и осенней уборки могут быть мобилизованы еще экстренные кадры работников. Все остальное время в году все члены коллектива могут посвящать какой угодно деятельности: государственной службе, частной предприимчивости на поприще любого производства и т. п.

При таком распределении работ весь состав коллектива посменно, и притом непрерывно, контролирует деятельность постоянного штата экономии и в то же время находится на работе в строжайшем у него подчинении по регламенту особо установленной дисциплины.

Распределение плодов указано ниже. Прежде всего устанавливается минимум сбора в 40 пудов зерна с десятины и 500 пудов картофеля или корнеплодов. Если этот минимум не будет достигнут, управляющий и постоянный штат должны представить

тому уважительные и весьма веские причины, иначе они обнаруживают свою полную неспособность к ведению дела и подлежат немедленному смещению или даже увольнению из членов коллектива [...] [1].

Губинструктор, спец.
по садоводству и огородничеству А. Давыдов [2].

г. Москва. МОЗО. Садовая-Триумфальная, 10, комн. 83.

(ЦГАОР СССР, ф. 130, оп. 6, д. 1130, лл. 4,5. Публикуется с сокращениями)

[1] Далее в письме высказываются соображения о распределении доходов (они увеличиваются при повышении урожаев до 60—80 пудов и более), об организации полеводства и т. д.

На письме — пометка управляющего делами Совнаркома Н. П. Горбунова. «НКЗем. Согласно поручения Вл[адимира] Ил[ьича] — для отзыва. Н. Горбунов. 8/XI 21 г.». В деле имеются также реплики, присланные автором на критические замечания, полученные из Наркомзема и Наркомфина на его записки «Попытка решить земельный вопрос» и «Попытка решить финансовый вопрос».

Второе свое письмо В. И. Ленину от 8 января 1922 года А. О. Давыдов заканчивает такими словами: «Буду рад тому, если несколько брошенных мною мыслей, найдя себе разработку в руках более умелых и опытных, может быть, когда-нибудь принесут свою долю пользы моей родине» (там же, л. 1).

[2] Александру Осиповичу Давыдову было пятьдесят четыре года, когда он послал В. И. Ленину это письмо. К тому времени он уже более тридцати лет посвятил плодоводству и огородничеству, имел свои питомники, вел научно-исследовательскую работу, сотрудничал в журнале «Плодоводство» (Государственный архив Московской области, ф. 151, оп. 2, д. 873, лл. 1—11).

12

7 ноября 1921 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

гражданина Ивана Николаевича Чеботарева,
б. члена Комитета Управления государственными сберегательными кассами от МПС

Докладная записка

Издание декрета о вкладной и переводной операциях и предстоящее открытие Народного банка Республики, несомненно, имеет между прочим целью привлечь в кассы Наркомфина денежные знаки, ныне находящиеся у населения, главным образом у крестьян в деревнях, и тем способствовать поднятию ценности рубля. Но для извлечения дензнаков из кубышек деревенских крестьян недостаточно установления вкладных банковых операций как вследствие сложности и необычности для крестьян чекового получения вкладов, так и в особенности по причине неизбежной отдаленности банковых учреждений от массы населения. Увеличивать число таких учреждений хотя бы до одного на каждую волость невозможно вследствие дороговизны их содержания и недостатка квалифицированного кадра служащих, притом без надежды развития всех банковых операций в деревне, едва ли, однако, желательных в предвидении коммунистического строя. Поэтому естественно напрашивается мысль о восстановлении государственных сберегательных касс, в особенности почтово-телеграфных, станционных и волостных. По простоте своей конструкции и строго разработанной системы ведения операций эти кассы не потребуют даже дополнительного штата волисполкомов и т. д. как вследствие незначительности работы даже при большом числе операций, так и по простоте самих операций при строго бухгалтерском проведении их по установленным книгам, доступном лицам без специальной подготовки, лишь мало-мальски были бы они грамотны.

Государственные сберегательные кассы в последнее время своего существования все более и более завоевывали доверие населения, между прочим, и вследствие упрощения операций, несмотря на их многообразие. Процент по вкладам не играл роли, и увеличивать его сколько-нибудь значительно теперь незачем. Важно восстановить доверие к сохранности вкладов в таких кассах и к легкой возможности получать вклады полностью и отчасти в любое время. А это достигнется исключительно широкой

практикой таких операций, на основе, конечно, специального, точно формулированного декрета. Для полноты же доверия к восстановленным кассам необходимо предоставить право прежним вкладчикам беспрепятственно получать их взносы дореволюционного периода, даже повысив их расценку. Опасаться большого отлива из-за этого дензнаков из касс Наркомфина нет оснований — во-первых, таких вкладов не так много осталось, а во-вторых, большинство вкладчиков, сознавая возможность получить свои вклады каждую минуту, не будут брать прежних вкладов по психологическим побуждениям — вклады сделаны в прежних кредитках, а потому они как бы полноценнее и их надо беречь. Но самое право взять и старые вклады, несомненно, благотворно отразится на новых вкладах не только рабочих и крестьян, но и более предубежденной части населения.

Что же касается организации центральных управлений (областных и Всероссийского), то она потребует более опытных работников-специалистов; кадр таковых легко найти в особенности в Петрограде и его области, где в первую очередь и следовало бы восстановить в виде опыта функционирование сберегательных касс в полном объеме.

Конечно, современный строй всего государственного хозяйства потребует некоторых изменений порядков и положений по сберегательным операциям, в частности по отношению к кооперативам и разного рода коллективам; подробный доклад по этому предмету подан уже Наркомфину тов. П. Ф. Щербаковым, состоящим ныне специалистом при Петроградском горфинотделе, а ранее бывшим одним из деятельнейших работников по организации, расширению и усовершенствованию операций бывших государственных сберегательных касс.

Если в принципе Вы согласны с указанной ролью сберегательных касс в деле концентрации рассеянных в населении дензнаков в кассах Наркомфина и в упрочении через то финансов Республики, то благоволите с Вашей резолюцией направить настоящую записку Наркомфину или возвратить ее мне для передачи непосредственно заместителю Наркомфина в Петрограде т. Таргулову, который при содействии состоящего при нем вышеназванного специалиста Щербакова и попытается произвести опыт восстановления государственных сберегательных касс в Петрограде и его области.

И. Чеботарев [1].

(ЦПА ИМЛ)

---

[1] В связи с этим письмом В. И. Ленин написал управляющему делами СНК тов. Н. П. Горбунову записку следующего содержания:

«12.XI.1921 г.

т. Горбунов!

Прошу Вас прочесть приложение и направить т. Альскому для ознакомления его и членов коллегии НКФ, а затем т Каменеву, председателю комиссии, вероятно, имеющей затронуть этот вопрос.

Чеботарева я знал с 80-х годов еще по делу старшего брата, Александра Ильича Ульянова, повешенного в 1887 году. Чеботарев человек несомненно честный. Политически был в эпоху первой революции и после кадетом, но не активным. Думаю, что на добросовестность его можно и должно положиться. Теперь, кажется, он близок политически к «Смене Вех». Ленин» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 54 стр. 13—14).

Чеботарев Иван Николаевич (1861—1934) — народоволец, участник революционного движения с 1886 года, арестовывался по делу А. И. Ульянова; он был близким знакомым семьи Ульяновых по Симбирску. В Петербурге В. И. Ленин пользовался его адресом для переписки с семьей и для пересылки нелегальной литературы. С 1906 до 1922 года Чеботарев работал в школе на станции Поповка, затем бухгалтером в управлении Северо-Западной железной дороги.

Предложения, содержащиеся в письме И. Чеботарева В. И. Ленину, отчасти нашли свое отражение в постановлении СНК от 26 декабря 1922 года, которым были учреждены сберегательные кассы.

13

12 декабря 1921 г.

Товарищ Ленин!

Извиняюсь за беспокойство, но мне хочется поделиться с Вами моими впечатлениями и даже убеждениями из области горнодобывающей промышленности, где я работаю с малых лет, имея в настоящее время за плечами полвека.

Нужно было ожидать, что через четыре года власти Советов, как Центральный орган, а также и местные много усовершенствуются и встанут на те рельсы, по которым покатятся с наименьшими препятствиями в области горнодобывающей промышленности.

Работая около горнодобывающей промышленности с Октябрьской революции, я наблюдаю обратную картину, а именно — горнодобывающую промышленность разбили по разным учреждениям, так, например, добыча угля, нефти и сланцев отошли к Главтопу, а добыча строительных материалов: бутового камня, известкового, песку и тому подобное — к Главсиликату.

Я близко знаком с крупными горнотехническими силами, и все время вращаюсь среди них, и много с ними беседовал по этому вопросу, и должен сказать, что такое раздробление горной промышленности на людей дела, а не разговоров произвело удручающее впечатление.

Другое обстоятельство действует не менее удручающе, чем первое, это то, что во главе горнодобывающей промышленности, в особенности за последнее время, ставятся силы, чуждые горнодобывающей промышленности и совершенно неизвестные горнотехническому миру.

Лично я много знаю горных инженеров и профессоров, которые все время не за страх, а за совесть работают с Советской властью и хотят работать, но подобного рода явления убивают у них желание к работе, и они опускают руки, правильно указывая на то, что их не понимают, и они не могут понять своих руководителей, и работа не клеится.

Много можно написать по этому вопросу, и следовало бы написать, но я боюсь занимать Ваше дорогое время.

Если бы Вы, Владимир Ильич, могли уделить мне несколько минут для личных переговоров, я с большим удовольствием поговорил с Вами. Мне, старому горняку, больно и обидно смотреть на те недостатки и неустройства, которые происходят в горнодобывающей промышленности от причин, вполне устранимых.

Бывший член с.-д. фракции III Государственной думы Н. М. Егоров[1].

(ЦПА ИМЛ)

---

[1] На это письмо, поступившее в канцелярию СНК 22 января 1922 года, В. И. Ленин наложил такую резолюцию, адресованную Н. П. Горбунову:

«Прошу Вас или Смольянинова принять автора — подробно поговорить. записать имена спецов, коих он знает, и все его предложения; двинуть их, сказав мне. 26/I. Ленин» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 143).

Письмо тов. Егорова с резолюцией Ленина и краткую стенографическую запись его устного сообщения управляющий делами Совнаркома Горбунов послал на отзыв в Государственную плановую комиссию Г. М. Кржижановскому и начальнику Главного управления горной промышленности ВСНХ В. М. Свердлову. В отзыве Г. М. Кржижановского отмечалось, что в организации горной промышленности действительно не все благополучно и что изменения в этом деле возможны. Тов. Свердлов сообщил о принятых мерах по объединению горной промышленности. Он писал также, что намечена схема организации управления горнозаводской промышленностью, разработанная при участии названных Н. М. Егоровым лиц.

* * *

В откликах на публикацию «Письма трудящихся В. И. Ленину (1917—1919)», напечатанную в четвертой книжке «Нового мира» за 1968 год, читатели вносят некоторые дополнения и уточнения в комментарий об авторах писем.

«С осени 1919 года я был в Пскове комсомольцем,— пишет из Волгограда В. И. Канер.— Помню, тогда и примерно до 1921 года, а может, и позже председателя губпрофсовета Лаврентьева, который был очень дружен с комсомольским активом, часто бывал у нас — невысокого роста крепыш, весельчак. В дальнейшем он из Пскова был переведен в Москву...» (Письмо Лаврентьева В. И. Ленину см. в «Новом мире», № 4, 1968, стр. 187—188).

О Владимире Лаврентьеве написала нам также проживающая в Риге П. Я. Юдейко, которая в 1918 году была техническим секретарем Псковского горкома партии. «В декабре 1918 года,— пишет она,— в комитет партии явился, чтобы встать на учет,

невысокого роста круглолицый паренек лет 18—19. Это был Владимир Лаврентьев. Знаю, что он приехал из Ленинграда, где кончил гимназию, что мать его там работала врачом... В боях под Псковом Лаврентьев был контужен. После освобождения города он вновь вернулся на пост руководителя губпрофсовета... Летом 1920 года он из Пскова уехал, говорили, что в Москву».

Других сведений о Владимире Лаврентьеве пока, к сожалению, получить не удалось.

В комментарии к письму Журавлева и Баранова («Новый мир», № 4, 1968, стр. 178) было сказано: «Как сообщил редакции секретарь Гаврилово-Посадского райкома КПСС Ивановской области С. Романов, авторов этого письма в живых нет».

Как сейчас выяснилось, в отношении одного из авторов тов. Романов был введен в заблуждение. В письме, полученном редакцией от председателя Ивановского областного комитета по радиовещанию и телевидению т. Фролова, говорится, что И. Г. Журавлев прошел в Красной Армии путь от солдата до комиссара полка, был на партийной работе. В последние годы жизни (умер т. Журавлев в 1938 году) он был заместителем председателя Совнаркома Белоруссии, членом бюро ЦК КП(б) республики. Что же касается Ф. И. Баранова, то он здравствует и поныне.

Вскоре пришло письмо от самого Федора Ивановича Баранова. Он пишет:

«В настоящее время я проживаю в г. Иваново по ул. Фридриха Энгельса, дом 117, кв. 135. Мне 68 лет, я пенсионер».

Ф. И. Баранов пишет далее, что летом 1917 года он работал на заводе в Петрограде, видел В. И. Ленина и слушал его речь, произнесенную 4 июля 1917 года с балкона дворца Кшесинской. В октябре того же года он вернулся в свое родное село Непотягово. В начале сентября здесь была создана партийная ячейка, и в числе первых в нее вступил Ф. И. Баранов.

«На одном из собраний ячейки,— продолжает он,— были высказаны чистосердечные пожелания о скорейшем выздоровлении В. И. Ленина после его ранения; решили послать письмо В. И. Ленину, составить которое поручили Журавлеву и мне, Баранову. Письмо было написано и послано 28 сентября».

С 1919 до 1922 года Баранов был на фронтах гражданской войны, затем вернулся в Непотягово; руководил комитетом крестьянской взаимопомощи, затем возглавил сельсовет. А когда переехал в Иваново, стал финансовым работником. В годы Отечественной войны он более трех лет служил в действующей армии, был наводчиком миномета и командиром расчета. Ранен, награжден двумя орденами и пятью медалями.

Находясь на пенсии, Ф. И. Баранов не отстранился от общественной жизни: он внештатный сотрудник Ивановского областного комитета народного контроля.

ПУБЛИЦИСТИКА

ВЛ. АРХАНГЕЛЬСКИЙ

*

ДУНАЙ, ДУНАЙ!..

Минувшим летом лишил меня покоя телевизор: увидел я на экране дунайскую «Венецию»: широкие каналы вместо городских улиц, узкие ерики под шатром плакучих ив. Люди передвигаются на лодках — в гости ли, по делам, в Дворец культуры рыбаков. Ясно, гондолы не венецианские, а старинные липованские, времен беглого казака Игната Некрасы, который искал убежища в Турции после жестокого подавления булавинского восстания в 1708 году. И не гондольеры с мандолиной на них, а парни с баяном. Зато девчата — в бархатных безрукавках, кофты в затейливой вышивке и разноцветные ленты в черных косах.

Раз до Дуная рукой подать — значит, рыба. А я заядлый рыбак. Вот и решил поехать в те края.

Года два назад я ездил на Печору поглядеть, как там дело с семгой. «Главрыбвод» в Москве и ученые в Архангельске несколько рассердились, что я их пощипал в очерке «На Печору, за семгой». Теперь я ехал в Одессу к Алексею Макаровичу Дятлову — начальнику «Запчерводрыба» как московский гость государственной рыбоохраны. И был встречен в его конторе на улице Ярославского вполне приветливо.

Алексей Макарович — человек государственного дела, запутанный в тенета заседаний, проверок, инспекций. Времени у него в обрез. И по этой причине разговор наш был плотный, без пауз.

— Измаил стоит на трех китах,— сказал он, протирая очки.— Сельское хозяйство — главным образом овощи и фрукты. Затем порт: грузы идут в двадцать пять стран мира — и по Дунаю и морем. Но важнее всего кит третий, как и в дельте Волги,— рыба! Ее и советую посмотреть во всех аспектах.

— Какие же заботы главнейшие?

— Да их немало. Этот год особенно плох для промышленности — рыбы поубавилось. Видимо, нужен категорический запрет на красную рыбу и даже на сазана. Нет ясности и с электроловом.

— А это что?

— Идут два катера, за ними в воде замкнута цепь. Рыба, попадая в электрическое поле, столбенеет. За катерами — две лодки. С них рыбаки подчерпывают сачками все, что видит глаз.

— Неужто и вы так ловите?

— Нет. Но многие требуют: давайте, мол, для эксперимента, чем мы хуже других! Мы им говорим, что у них на дунайскую сельдь и так сетей достаточно. Они не успокаиваются. Понять их можно: плохи у них дела с красной рыбой. Правда, и десять лет назад ее брали центнеров восемьсот, а теперь всего двести семьдесят. Это же капля в море — и то за счет белуги.

— А как на озерах вокруг Измаила?

— Озер всего шесть, рыба в них частиковая. Был сазан. В пятьдесят седьмом году рубанули его под корень, взяли тринадцать тысяч центнеров. С тех пор пошел он на убыль, в прошлом году едва выловили сто тридцать три центнера —

это всего десять процентов от той большой цифры. По пословице «поминай, как звали!» теперь выезжаем на карасе. А ведь измаильские озера — клад бесценный. Но без хозяина они себя не окупят: надо строить рыбопитомники, ежегодно запускать молодь. Кончилось то время: бог дал, а ты взял! — Алексей Макарович махнул рукой. — Впрочем, сами увидите. Дунаю, озерам, плавням надо возвращать былую славу. Рыба нынче — не дар божий, а серьезный элемент в разумном хозяйственном кругообороте. Вот под этим углом вам бы и поглядеть на водоемы: свежий глаз всегда зорче. А насчет гостиницы, катера — я сейчас дам радиограмму...

Поезд на Измаил ушел после тринадцати часов.

Ветка к нему какая-то сугубо провинциальная — однопутка. Двигались мы медленно, но почти без остановок. И все же потратили семь часов: московская электричка домчала бы нас в два раза быстрее.

Пейзаж скучный, как и повсюду вокруг Одессы — степная глинистая земля, редкие шпалеры белой акации на открытых местах, густые купы колючек и сорняков, поодаль — виноградники на склонах, обращенных к солнцу, и обширные баштаны с чучелами. Одно из них — сплошь из пустых консервных банок. Видимо, это страшилище здорово звенит и пугает птиц в ветреную погоду.

Оживился пейзаж у Белгорода-Днестровского: отличные развороты шоссе на Кишинев, васильковое Черное море за золотистой канвой пляжей, белые паруснички в лагуне и отяжелевшие от спелых яблок ветки в садах.

И наконец в жаркой истоме поздних сумерек, тотчас же перешедших в ночь,— маленький кирпичный вокзал в Измаиле, словно затерявшийся среди мощных белых акаций и тополей.

Алексей Макарович сдержал слово. Меня отыскала в шумной южной толпе санинспектор рыбной охраны Клава Яценко, отвезла в межрейсовый дом отдыха моряков и сказала, что катер под парами и хоть завтра можно ехать по Дунаю, на озера и на взморье.

В Измаиле мало домов, которые своей неповторимостью создают архитектурную красоту городов. Но дом отдыха моряков — приятное исключение. Красавец дом — в четыре этажа, с колоннами, лоджиями, полукруглой лестницей, спускающейся в маленький парк,— построен в те годы, когда о промышленных панелях еще не помышляли. Он стоит на высоком городском бугре, у его подножия — широченная пойма Дуная. До реки добрый километр, но в ночной тьме ощущается ее дыхание: перекликаются пароходы, вздыхают и что-то шепчут гигантские краны у причалов, шапка огней на быстроходной наливной барже зримо отчеркивает фарватер. А далеко-далеко — за рекой и всей правобережной низиной — словно висит в черном небе украшенное лампионами огромное здание на румынской земле.

Ни о каком сне и мысли не было. Я отправился к Дунаю. Подход к реке оформлен прекрасно. Под городским бугром — величественный монумент героям: морской катер № 134, отличившийся в дни разгрома фашистов.

Катер на высоком постаменте — живая память о моряках Дунайской флотилии. А от него — красивая асфальтовая полоса до самого порта, с молодыми деревцами и люминесцентными лампами по бокам. И скоро — под стать этой полосе — вырастет новое здание порта из стекла и бетона.

А вот и Дунай! Могуч он, больше Днепра, похож на Волгу в дельте. Вода от огней маслянистая, черная, ход ее быстрый, с завихрениями у дебаркадеров и пристани. Золотыми бляхами падают на воду огни теплохода «Белинский», который гудками извещает пассажиров об отходе на Одессу.

До полуночи пробродил я по городу. Строился он по артикулу военных поселений, и поэтому все улицы выведены по линейке, без тупиков и искривлений. Город — это прежде всего проспект Суворова: от моего дома отдыха — в гору и дальше — летит проспект этот стрелой добрых шесть километров с юга на север. Зелен он и красив в августовскую ночь. И широк — метров сто, не меньше. Вся его серединная часть — сплошной бульвар. Тут с шести часов вечера до утра движение транспорта запрещено. Широкая и ровная полоса асфальта предоставлена

отдыхающим горожанам. Больше всего молодых моряков — белоснежные рубашки, узкие брючки с высоким поясом, заморские транзисторные приемники. Иногда в их компании девушки, но чаще парни одни. Таких парней без счета в моем, вернее — в их доме отдыха, где они собираются, когда надо убить время в чужом городе между очередными рейсами.

Конечно, в Измаиле есть что поглядеть: и остатки бывшей турецкой крепости, которую брал в декабре 1790 года Суворов открытой атакой после артиллерийского шквала — без традиционной долговременной осады; и мемориальный музей прославленного полководца, где у входа расположены пушка и колокол, отлитые из захваченных турецких орудий; и памятник Суворову, словно навеянный Медным всадником в Ленинграде.

У этого памятника, кстати, своеобразная история: мысль о нем зародилась в 1890 году — в связи со столетием штурма измаильской крепости; одесский скульптор Б. В. Эдуардас создал его в 1911—1912 годах; десятилетия простоял изваянный Суворов на коне в скверике одесского музея и только в 1945 году встал на свое место в Измаиле. Стоит поглядеть и новые кварталы на проспекте Ленина, ведущие к вокзалу; и порт; и первоклассный рыбозавод, который выпускает знаменитую дунайскую сельдь; и большой консервный комбинат; и городской рынок, где москвичу цены кажутся ирреальными из-за дешевизны...

Но меня интересовали в тенистом двухэтажном городе, где нет суматошного движения, где люди ходят спокойно и отвечают на вопросы степенно, проблемы хозяйственные.

Два измаильских «кита» занимали меня меньше — овощи с фруктами и порт. Там никаких серьезных тревог я не обнаружил: все идет по плану и даже с превышением графика. А занимал «кит» третий: дунайская сельдь, вкус которой известен далеко не всем потребителям, осетр, белуга, сазан, усач — все эти природные богатства Дуная и системы озер, лагун и протоков на его берегах.

По этой причине в первое же утро я решил нанести визит Дунайской государственной рыбной инспекции, которая ютится на задворках загса на улице 28 Июня.

Я очень признателен старшему рыбинспектору на Дунае Анатолию Захаровичу Стаднику: больше десяти суток он был верным моим гидом. При первой же встрече я понял, что этот человек не любит кабинетных разговоров, где за колонками цифр, за схемами и спецдонесениями по начальству долго не ощутишь биения пульса живого дела. Верный себе, он вскоре усадил меня в машину и довез до деревни Матросовка, где на приколе между Дунаем и озером Кугурлуй стоял, выше плотины, маленький катер рыбинспекции. Мы погрузились на него и пошли на озера. С этого часа началось и мое «погружение» в мир рыбацких интересов в дунайском бассейне.

Я был на катере четвертым. Определял маршрут Стадник, за рулем находился моторист Иван Кириллович, давал пояснения «хозяин» водоема — инспектор Владимир Суровцев. Люди все разные. Анатолий Захарович — крепкий молодой мужчина, немного сутулый, как и многие плотные люди высокого роста. Он подслеповат — очки еще увеличивают его хитрые карие глаза. И не говорлив, хотя выражает свои суждения очень точно.

Суровцев — мягкий и обходительный, но и из него слова надо выуживать. А Ивану Кирилловичу и дела будто нет до наших разговоров. Не отрываясь от руля, он ловко подкатывает ногой к нашему табору большой полосатый арбуз.

Протоку зовут Репидом. Она не широка, метров сорок, не очень глубока и похожа на речку — течение в ней быстрое. Левый ее берег повыше, правый — почти на уровне воды. Оба они заметно отработаны волной, возникающей от катеров и моторок. За кромками берегов — необозримое царство рогоза. Местные жители издавна применяют его в промыслах: плетут чуни, коврики, корзинки. На правом берегу много пирамид из этого трехметрового рогоза: так сушат на солнце исходное сырье для поделок. И на каждом шагу рыболовы — кто с закидушкой (на сазана), кто с поплавочными удочками (на карася и красноперку с окунем).

Минут через двадцать открылась широкая гладь озера Кугурлуй. На старых картах озеро это показано как южная оконечность огромного озера Ялпух, которое тянется от Измаила до Болграда и образует чашу в двести пятьдесят четыре квадратных километра. Теперь Кугурлуй лишь протокой переходит в Ялпух и воспринимается как самостоятельный водоем — свыше ста квадратных километров.

Озеро мелкое — торчат отовсюду водоросли, камышинки, кое-где затопленные кусты. На лопасти винта не раз наматывались «бороды» из водорослей, и тогда Иван Кириллович давал задний ход, чтобы «бороду» обить.

Рыбаков на озере не видно, но черным-черно от скопища лысух. Они подпускали нас на выстрел, и это меня удивило: вот где край непуганых птиц!

— С охотой дело упорядочено, не то что с охраной рыбы,— заметил Стадник.— Стрелять разрешается раз в неделю, по воскресеньям. Ну, лысухи это и понимают.

Раза три показывались треугольники гусей. А как с рыбой?

— Сазана было много. Но его не уберегли: безобразно гребанули десять лет назад, подсекли под корень, он и не оправился. Теперь пробавляемся карасем. Но каждый год нам план увеличивают, и эту рыбу берем почти подчистую. На Ялпухе картина такая же.

Стадник задумался и закурил.

Ялпух (в переводе с турецкого — Озеро дикого края) начался сейчас же после обмелевшей широкой протоки. Панорама переменилась: берега стали высокими, обрывистыми. Озеро глубокое, и волна на нем мощная. Но рыбаков и здесь мало. Первую их флотилию увидали не сразу, пройдя километров пять,— большой мотобот, с которого орудовали неводом человек шестнадцать, и груженая фелюга, подбуксированная к нему на толстом канате. Больше было дедов, чем молодежи,— рыжебородые, как все коренные липоване, краснолицые от солнца и ветра, с какой-то странной для московского уха напевной русской речью.

Деды не похвалились ни сазаном, ни сомом. Было у них килограммов семьсот белого карася, по виду пятилетнего: пара на килограмм. Да еще несколько некрупных плотиц, десятка полтора щучек и с дюжину приличных окуней — граммов по восемьсот.

— Гость с вами? — спросил рыжебородый бригадир.

— Да, из Москвы,— ответил Стадник.

— Возьмите на уху, пусть нашей рыбы отведает.

Поговорили с рыбаками. У них две заботы.

— Перво-наперво надо точнее определить участки, где тони измаильских и болградских рыбаков, чтоб друг у друга не выхватывали рыбу из-под носа!

И вторая. Кончается счастье, богом данное. Год от года в сетях и неводах беднее. Хорошо хоть карася запустили годов шесть назад. Раньше-то про него и не слыхали: все сазан да сазан. Кабы не он, кусали бы локоть ныне.

— Я так скажу: надо и сазана разводить, третий год его не видим. Подмели, как зерно на току. Боимся, что года через два и карась пропадет: много нас на Ялпух накинулось!

— Жмите на своего председателя, на Казачинского, если хотите в рыбаках ходить,— сказал Стадник.— Я ему не первый год твержу про рыбопитомник.

— А вы его за горло! — предложил бригадир.— Без вас мы его не одолеем...

Мы сделали большой круг по озеру, чтобы не мешать очередной тоне рыбаков, и повернули катер к крутому берегу, укрытому вековыми осокорями.

Причалили неподалеку от села Озерки, где стоял на приколе дебаркадер — это теперь дом отдыха для рыболовов, охотников и пляжников. Рядом с ним кухня, колодец, киоск с терпким вином, с газированной водой и сладостями. Есть площадка для игры в волейбол. И пляж — песчаный, чистый, отграниченный от берега шпалерами высоких старых осокорей.

Дружно занялись ухой. Ее коронным номером был знаменитый измаильский саламур. Это «пожар» в глотке, расплавленное железо на языке, неизбежные при этом вздохи и восклицания!

Когда рыба в котле готова и отлита, чтоб остудиться, юшка для приправы, начинается колдовство с саламуром. В миску насыпают пригоршню соли, кладут мелко нарезанный чеснок (головки две-три, смотря по компании) и все это вместе с большим стручком красного перца растирают толчаком или деревянной ложкой. Когда на дне образуется вязкое розовое месиво, его заливают остуженной юшкой, чтобы не заварился чеснок. Этим саламуром поливают каждый кусок вареной рыбы и запивают ухой.

Одно я понял несомненно: саламурный «пожар» во рту надо тушить крепким чаем, а затем и холодной водой. Этак ведра два на шесть человек, иначе не обойдешься!..

Все это священнодействие за столом было несколько омрачено. Меня смущало то обстоятельство, что мы взяли у рыбаков соменка, три десятка окуней и карасей, не заплатив ни гроша. И мне показалось, что рыбаки передавали нам рыбу привычно, словно по заведенному тут обычаю.

По дороге в Измаил я сказал об этом Стаднику:

— Понимаю, что у вас был благовидный предлог — угостить приезжего. А как в других случаях? Обкладываете рыбаков данью? Нынче берете у них рыбу, а завтра штрафуете? Где же логика?

— Больное место затронули! — мрачно сказал Стадник.— Иногда самому противно: мы как попы в престольный день, только без кадила да водосвятия. Иной раз выезжаем дней на десять, смотря по сезону. Жара ли, холод, метель или проливной дождь, а работа есть работа, и она не легче, чем у пограничников. А командировочных — не густо. На довольствие вне дома мне и моим сотрудникам положено меньше, чем курице. Противно, конечно, но рыбаки сами знают, что сидим мы в рейсе на голодном пайке.

— Странно,— пожал я плечами.— Взять у хорошего приятеля — куда ни шло. А у браконьера?

— Так браконьер не в счет: он бежит от нас, как от чумы. А о том, что у приятелей берем, скажите, где хотите! И подчеркните, что два с полтиной в месяц на таких орлов,— Стадник показал рукой на товарищей,— это курам на смех!..

Весь следующий день я пытался разобраться в бумагах старшего рыбинспектора. Работа у него суматошная, она требует оперативных передвижений по всем подопечным ему водоемам. Тут и морская линия — от румынской границы до пункта Будаки; и приморские солоноватые лиманы, и река Дунай от Черного моря до города Рени; и шесть крупных озер. Это почти полторы тысячи километров по берегу. А если учесть зеркало всех водных площадей, так это территория крупной области. И всего — двадцать девять инспекторов на сто рыболовецких участков. Правда, удалось сколотить тридцать пять групп общественных инспекторов. Но за ними тоже нужен глаз да глаз.

На воде Стадник с товарищами оперативен: у него хороший катерок на озере Ялпух и отличный морской катер «Орленок», от которого не может уйти ни один браконьер при любом моторе. Но нет хороших моторок на озерах Катлабуг, Китай, Кагул и Картал и на отдельных участках реки — в Килие, Вилкове и Рени.

На берегах же Стадник безоружен: нет мотоциклов, нет грузовой машины или «газика». Правда, «газик» был выделен, но его почему-то забрал в Одессу А. М. Дятлов.

Смешно и горько было читать донесения инспекторов о том, что браконьеры мчатся с сетями и с добычей на мотоциклах, а рыбоохрана стоит на дороге, кричит в голос: «Стой!» — но никто на нее не обращает внимания.

Приходится поэтому пускаться на ухищрения. Вот, к примеру, уникальный маневр, недавно предпринятый помощником капитана катера «Орленок» Николаем Филимоновым.

Николай вырос тут, в коллективе рыбоохраны — его приняли на работу мальчишкой пятнадцати лет: он остался сиротой после гибели отца, партизана, под Ковелем в 1944 году. Уже и тогда он был горяч: бывало, кинется за браконьером, не

догонит, сядет на дорогу и горько заплачет с досады. Отсюда ушел он служить в погранвойска и снова вернулся в инспекцию. Как только обнаружил, что браконьеры на мотоциклах не принимают его команду и проносятся с такой скоростью, что вот-вот собьют с ног, он не растерялся. Надел свою пограничную форму, вооружился пистолетом и фонарем. Стадник предупредил об этом маскараде погранзаставу. И Николай из засады на луговой дороге взял за одну ночь с поличным больше двадцати браконьеров: для них сигнал пограничника — непреложный закон!

И вообще «маскарад» давно вошел в обиход Дунайской инспекции. То в чужой одежде, то в чужой лодке или на чужом велосипеде делаются налеты на браконьеров. Переодеваются в липованскую или молдаванскую одежду осенью и зимой, когда форменная шинель охраны особенно бросается в глаза. А браконьер стал трусливее и зорче зыркает по сторонам, когда ворует рыбу у государства.

Инспекция действует успешно: десять лет назад она задерживала в год человек по четыреста, теперь — почти полторы тысячи. Нельзя сказать, что браконьеры растут, как грибы,— просто их ловлей занялись более активно. И в ответ на репрессии со стороны рыбоохраны они стали хитрее, «вооруженнее» (хорошие моторы на лодках, мотоциклы и т. д.) и даже ожесточеннее. На озере Сафьяны 5 мая 1966 года они убили старшего механика с катера «Орленок» Алексея Гавриловича Байличенко. Капитан «Орленка» Родион Игнатенко — гроза дунайских браконьеров — попадал не раз в такие переплеты, что едва не лишился жизни. Несколько лет назад, когда он кинулся в толпу багрильщиков сазана при ледоставе, его дубасили скопом, отобрали пистолет и скрылись, убежденные, что он мертв. В другой раз его ударили топором, и только подоспевшая команда катера спасла его от гибели. В тот день взяли больше двадцати браконьеров, но судили только троих. Мокей Марченко из Вилкова бросался на Родиона с ножом—его оштрафовали на триста рублей. Иван Пушкин (из села Ново-Некрасовка) ударил капитана терпаном — это нечто вроде серпа, им режут рогоз. Защищаясь, Игнатенко сильно порезал пальцы. Бандиту дали всего один год заключения строгого режима, да и то после вмешательства Генерального прокурора СССР Р. А. Руденко.

Родион Игнатенко со своей командой ловит в год четыре с лишним сотни браконьеров. Это отличный работник, недавно отмеченный правительственной наградой. Таких людей в инспекции было бы больше, если б удалось обеспечить их мобильность на воде и на суше.

— Покажите мне Родиона Федоровича,— попросил я Стадника.

— Завтра пойдем на «Орленке» в Килию, Вилково и к взморью. Катер уже ждет нас...

Ранним утром мы подошли к «Орленку» — он стоял у причала, где обычно швартуется пассажирский теплоход «Белинский». Команда была на месте: капитан Родион Игнатенко, его помощник Николай Филимонов, старший механик Василий Нечипорук и два матроса — молодой парень Костя Марков и пожилой дядя Миша Локтин. По штату положены еще две должности — радиста и помощника механика. Но эти члены команды находились в отпуске.

Мы двинулись при отличной солнечной погоде. «Орленок» быстро набрал скорость, и на палубе пришлось поеживаться от свежего речного ветра. А в каюткомпанию не тянуло: я шел по Дунаю впервые и хотел обозревать панораму с открытой высокой точки, а не через лупу иллюминатора. Да и вся команда была на палубе.

Выше Измаила могучий Дунай разделяется на три гирла: Сулинское, Георгиевское и Килийское. Два первых — на территории Румынии. Мы шли Килийским гирлом, которое служит границей между Румынией и Одесской областью. Мысленно граница проходит по центру фарватера, фактически — по берегам: у нас левый, у румын — правый. Это и отмечено пограничными столбами: красными в СССР,

белыми — в СРР. Корабли обеих стран серединной части фарватера не придерживаются. И рыбацкие посудины пересекают эту линию запросто. Мы, к примеру, не один раз подходили так близко к румынскому берегу, что до него рукой подать. Метрах в ста прошли от пограничника, который сидел без гимнастерки на нависшем над водой толстом стволе осокоря и ловил рыбу удочками.

Гирло широкое — в иных местах почти до километра. Берега все в зелени, но это лишь высоченный рогоз да густые переплетения ракитника над водой, как в низовьях Днепра и Волги.

Река живая — катера, самоходки, сейнеры, рыбачьи моторки. Возле рыбаков останавливались два-три раза. Улов пустячный — немного сомят, усачей, сазанов и жерехов.

Вода в реке — как разбавленный кофе. Да это и понятно: от ветра и движения транспорта почти непрерывно набегает волна на песчаные и глинистые берега, размывает их и уносит с собой в виде «пульпы».

Я все присматривался к Родиону Игнатенко. Он, как и положено серьезному капитану, мужчина плотный. В меру круглолиц, с крупным носом и копной черных волос, зачесанных назад. И весь в шрамах — на шее, на правой руке, на боку. Человек он необычной судьбы. Его родители жили неподалеку от Измаила, в селе Тузлы. Но у его отца был крупный конфликт с румынским офицером. Кончилось дело тем, что офицер получил пощечину, а Федор Игнатенко с семьей убежал в Болгарию. Там и родился Родион в 1931 году в селе Сулица под городом Стара Загора. В войну все взрослые в семье были связаны с болгарскими партизанами, и Родион выполнял их некоторые поручения.

Игнатенко возвратились на родину после войны. Родители вскоре умерли. Родион остался один, приехал после учебы в Измаил и больше десяти лет бессменно работает на «Орленке». За неделю до моего приезда вернулся он из Болгарии, куда приглашали его в гости. Человек он неунывающий. Любая опасная операция для него — словно беспроигрышная игра. Команда любит его, но и побаивается. Я видел, как по одному его едва приметному кивку все принимались драить палубу, приводить в образцовый порядок все закоулки корабля.

Николай Филимонов с восторгом, видимо, желая подражать ему во всем, рассказывал мне о своем капитане:

— Шустрый — это раз! Любимчиков не имеет, от каждого требует сноровки и смелости — это два. Маскировщик — это три! Обрядится липованом или молдаванином, хромать начнет — ну, артист! Браконьеры за своего признают, пока не сойдутся нос к носу. И силен — это четыре!

А через сутки я увидел капитана и в деле.

Мы остановились на ночлег в Вилкове. Николай и Василий шли из Дворца культуры рыбаков и в прибрежных кустах, неподалеку от «Орленка», наткнулись на браконьеров, которые тащили мешки с вяленой рыбой.

По свистку Родион, Стадник и Костя мигом настигли нарушителей, которых пытались задержать Николай и Василий. Со мной на катере остался лишь дядя Миша: он всегда за сторожа, да и вообще больше занимается хозяйством, чем ловлей браконьеров.

Мы с ним слышали шум в кустах и приглушенную перебранку. Как выяснилось утром, задержали четверых, отобрали у них полтораста килограммов вяленой рыбы. Стадник повел нарушителей в милицию. А Родион на рассвете разбудил заведующую ларьком и предложил ей продать отобранную рыбу по тридцати семи копеек за килограмм. Сбилась очередь — как с неба подвалила такая рыба!

— Чисто сделали операцию! — Он, довольный, шагнул по мосткам на катер.— И человек сто разжились хорошей рыбой. А ты, Анатолий Захарович, добивайся, чтоб запретили частникам выходить с рыбой на базар. Ведь они туда шли.

— Пишу, бумагу перевожу, да что-то облисполком не реагирует. Вы это тоже заметьте,— подсказал он мне.— Запретим — будет еще одна рогатка на пути браконьеров...

По пути в Вилково была Килия — последний районный центр у взморья. Мы не хотели задерживаться, только сбегали на рынок, купили для ухи помидоров и перца с чесноком для саламура. Килия Килией, но меня влекло Вилково — эта прославленная украинская «Венеция». Да и хотелось поговорить с председателем самого крупного на Дунае рыбацкого колхоза Галкиным. И манил рыбозавод: он далеко известен дунайской сельдью баночного засола. Кстати, в его холодильнике, по словам Стадника, уже с неделю хранилась очень большая белуга.

Собрались покинуть Килию, но потерялся Стадник. Ему надо было заглянуть в райком, а затем в суд, где слушались браконьерские дела. Ушел и не вернулся до темноты. Как потом выяснилось, Стадник попал на заседание районного Совета, и его не отпустили до ночи. Он посылал мальчишку предупредить нас. Тот не нашел «Орленка» в темноте. Стадник решил, что мы отошли без него, и ночью укатил в Вилково на «Ракете».

Разумеется, мы поволновались из-за него, ну, и посудачили на его счет. Довольны ли ребята своим начальством? В основном — да. Горяч, правда, и редко с ними советуется. Строптив, потому и не в ладу с одесским начальником Дятловым. Но оперативный и никого из ребят в обиду не дает. И заботливый: про себя-то меньше думает, чем про товарищей.

Отплыли мы без Стадника.

Едва разошлись утренние сумерки, когда вдали показалось Вилково. И первый, кого мы заметили на сходнях, был Стадник — небритый, взъерошенный. Он притоптывал каблуками и виновато протирал очки.

— Вот ерунда,— сипло пробасил он.— Бежал вчера ночью на «Ракету» и не догадался проверить, точно ли о вас сообщил мальчишка, ушли вы или нет? А сам-то увидеть не смог — для ночного наблюдения не та диоптрия. Чаю нет ли, дядя Миша? Насквозь просиборило, пока вас на скамейке дожидался!

— Скоро уха будет,— отозвался тот, орудуя в камбузе.

— Ну, тогда я за саламуром погреюсь! — Стадник достал ножик и принялся чистить чеснок.

От борта нашего «Орленка», среди высоченных ракит, тянулся широкий ерик в город. А над водой, на высоте метров двух,— деревянный тротуар из побитых, стертых досок. На первой же улице, что шла вдоль береговой линии, дощатый настил лежал на земле, но от него ответвлялись сходни, проложенные над каналами. Тут никакой «Венеции» и в помине нет, просто грязные канавы, а над ними — самые простые деревенские сходни.

Я прошел по городу вдоль и поперек, благо на все это потребовалось не больше часа. Попадались мостики над обсохшими ериками, канавы справа, канавы слева. Вот уже и маленькая гостиница, и Дворец культуры рыбаков, и рынок, и книжный магазин, и городские учреждения. Не было ни гондол, ни обыкновенных лодок. В одном из грязных ериков старая женщина стирала белье. А рядом молодуха подчерпывала ведром воду для хозяйственных нужд. Только в одном заплесневелом ерике мальчишка плавал на резиновой лодочке, похожей на корыто.

Конечно, лишь безудержная фантазия кинохроникеров могла увидеть здесь подобие «Венеции». А на самом деле все проще. Водопровода в городе нет, колодцев мало. И ни о каких песнях под баян в лодке на ериках никто и не помышляет.

Я был обескуражен первым впечатлением и сказал об этом Родиону и Стаднику. Не сговариваясь, они повели меня в городской парк. Там был отличный канал, над ним — легкий деревянный мостик с балясинами, от купы белых акаций падала на песчаные дорожки спасительная тень.

— Не ко времени вы приехали, надо бы весной,— мечтательно сказал Родион.— Ерики тогда полны до краев, идешь на лодке и все клонишь голову — ветки чиркают по макушке. И буйно цветет айва, будто яблоня,— и бело и розово! И пчела работает — заглядишься. А сейчас, конечно, грязь да вонь...

Словом, Родион кое-как выгородил кино Ну, ладно, шут с ней, с «Венецией». Обидно, что врут. А сейчас мне нужен Галкин...

На втором этаже Дворца культуры рыбаков (а здание это большое, нарядное, ему в любом городе на площади можно дать видное место) мы со Стадником нашли Ивана Павловича Галкина в окружении рыбаков, пришедших — кто за советом, кто за резолюцией, кто с предложением.

За массивным письменным столом сидел крутолобый и широкоплечий крепыш лет сорока в белой нейлоновой рубахе. Вытирая платком пот, он еле успевал поворачиваться то к одному рыбаку, то к другому.

Он попросил своих обождать в соседней комнате, у секретаря, и широким жестом хозяина пригласил нас сесть. И до этой минуты он мне нравился: вежливый, мужественный, точный в словах. И — знающий: вырос он в Вилкове, был рыбаком, потом их бригадиром, не первый год председатель колхоза.

И вдруг я обнаружил в нем бюрократа, перестраховщика. Он мельком взглянул на мои документы и, отводя глаза, выдавил из себя:

— Не могу разговаривать с вами. Сообщите о своем приезде в райком партии.

— Это где? — прикинулся я простачком.

— В Килие.

— Так до нее же пятьдесят километров!

— Можно по телефону. Пусть мне позвонят.

Я здорово разогрелся и хотел уже взять криком, но Стадник вовремя тронул меня коленом.

Не стану повторять эпитеты, которыми был награжден председатель, когда мы вышли из кабинета. Стаднику я сказал в сердцах:

— Ну и хорош гусь! Впервой такого вижу. Что с ним?

— Как вам сказать.— Стадник замялся.— Ну, заелся человек. Я с ним по сто раз в год ругаюсь: самовольничает, покрывает своих рыбаков, когда мы хватаем их при незаконном лове.

— Но с чего все это? Видать, мужик-то неплохой.

— Головокружение! Оно бывает от успехов, и я успехов Галкина не зачеркиваю. А бывает и от... начальства.

— Точнее, Анатолий Захарович.

— Прилетают к нему на охоту и на рыбалку начальники. Он им тут что-то вроде заповедника соорудил: никого туда не пускает. С начальством здоровается за ручку, пьет с ним добрый коньяк. Вот и весь сказ: отражение начальства в нем, как в кривом зеркале...

При втором моем заходе Иван Павлович Галкин был шелковый. И говорил много, и все давал понять, что вышло недоразумение — так сказать, бес попутал...

Больное место у Галкина — отношения с рыбонадзором. Он с этого и начал:

— Не предупреждает Стадник заранее, когда установлен запрет на лов дунайской сельди. Иной раз дают радиограмму в день запрета. И ловят всех рыбаков на промысле, хотя они и не браконьеры.

— Вот человек! — не вытерпел Стадник.— Это же Москва делает, а я тебе в тот же день шлю приказ.

— До Москвы далеко и до Дятлова не близко. А тут ты командуешь, с тебя и спрос! — отпарировал Галкин.— Но это еще не все. Штрафует Стадник без совести, и суд с ним редко соглашается. Горячится рыбинспекция, а все потому, что хочет иметь большой доход.

— Разбогатеешь на тебе, Иван Калита! Доход идет государству. А судья с тобой очень церемонится, вот так! — вспылил Стадник.

— Ну, ладно, с ним пока все,— кивнул Галкин в сторону Анатолия Захаровича.— Теперь претензии покрупнее.— Галкин достал бумаги из стола и ткнул пальцем в страницу.— Живем тут, словно разным богам молимся. Рыбозавод понастроил и очистные сооружения, и водопровод. А для города, для колхоза — шиш! Одиннадцать тысяч жителей, больше половины — наши колхозники; они дома возвели, сады раскинули, живут дай бог каждому, а воду из ериков берут

либо на Дунай бегают: водопровода-то нет! Свет есть, телевизоры есть, мотоциклов целый парк. Одна только вода режет! И с торговлей порядка нет. Были у нас три организации: горпотребсоюз, торгмортранс и рыбкооп. Когда районным центром стала Килия, две первые организации ликвидировали, а для одного рыбкоопа фонды срезали. И раньше было несладко, а теперь и совсем плохо. Рыбаки говорят: «Ресторан открывай!» А что я им на стол выложу? Нет изворотливости у торговых работников: рыбаки им деньги предлагают, а они не берут!— Галкин задумался.— И еще одно досадное дело — прейскуранты.

— Чем же они плохи?

— А тем, что рыба от нас принимается по той же цене, как и в тысяча девятьсот шестьдесят первом году, а цены на сейнер, к примеру, повысились. Мне. выходит, снова план надо увеличивать. А тут Стадник: «Не дам, говорит, водоемы грабить». И он прав. Дунай, озера и Черное море — не бездонная бочка. По миру, что ль, идти?

— Не канючь, Иван Павлович, и человеку голову не задуривай,— вмешался Стадник.— У тебя же валовой доход почти два миллиона, богаче тебя и председателя нет в округе!

Загорелись глаза у Галкина, как при азартной игре.

— Ты мои деньги не считай! У меня рыбаков тысяча, из них пятьсот на лодках в ближних водоемах да триста пятьдесят на судах, в море: до Керчи, до Кавказа ходят. Вкалывают при любой погоде, пока ревматизм не скрутит. За такую работу и платить не жалко. А получают — на круг — по девятьсот рублей в год. Так что вы его не слушайте.— Галкин глянул на Стадника.— У нас же стихия — и от случая зависим, и от других разных причин. Где скумбрия? — спросил он Стадника.

— Не зашла и в этом году не объявится: она у нас три раза в десять лет бывает.

— Вот тебе и дыра в моем бюджете. А где сазан и судак?

— Сам и выловил!

— А ты разводи!

— Нет, брат, разводить будешь ты. Сядешь в новом году на мель — не ту песню запоешь!

Началась перепалка, пока я не вмешался:

— Вот петухи! Без меня доспорите.

— Ладно,— согласился Галкин.— Есть такие дела, что ни от меня, ни от него они не зависят. Возьмите технику: Дунай кипит от кораблей. Особенно вредят буксиры — оголяют нерестилища. Рыбе покою нет. Но с сельдью пока хорошо, на ней и держимся.

— Много ли?

— Больше девятисот тонн не брали. Это в шестьдесят шестом году. Нынче взяли семьсот десять тонн. Лет десять назад добывали триста тонн. Так что рост налицо. Есть только одна закавыка, да опять закричит Стадник,— усмехнулся Иван Павлович.

— Говори, чего уж там. Про электролов, конечно?

— Ага! Почему бы нам не спробовать? Одну установку пустить...

— Ну, это не нашего ума дело. Пускай Москва решает!

— Вот я и подсказываю...

Рыбозавод в Вилкове — предприятие передовое. И хотелось с ним познакомиться поближе. Стадник повел меня — где по земле, где по зыбким дощатым переходам. Потом миновали большой мост через широкий канал, где стояли десятки рыбацких моторок, и добрались до завода.

Директора не оказалось на месте, но мы прошли по цехам, где коптились и вялились красноперки, золотистые или серебристо-матовые, и где стоял просто одуряющий запах, всегда волновавший меня еще с детских лет. Работницы в белых халатах не спеша передвигались среди вешалов. Видно было, что они строго

следят за чистотой: я даже глянул под ноги — не оставляем ли мы следов на вымытом полу.

Девушки дали нам с десяток рыбок — сочных, грузных. Признаюсь, я не сдержался: тотчас же оторвал голову у первой красноперки, чулком снял кожу с чешуей и погрузил зубы в вязкое мясо, виновато улыбаясь, как провинившийся мальчишка.

Так с этой красноперкой в руке, накинув на плечи ватник, пошел в холодильник смотреть белугу, пойманную рыбаками Галкина. Она лежала, как гигантская фигурная сосулька,— с длинным носом, низким ртом и перламутровыми шипами. Из нее взяли пуд икры, весила она сто килограммов.

— Попадались еще такие в этом году? — спросил я девушку, работавшую в холодильнике.

— Таких не было. Встречались пуда на два, на три. И сейчас есть штук двадцать поменьше. Но мы про эту рыбу начинаем забывать. Перевелась, что ли, не знаю...

Перед вечерней зарей мы решили тронуться к морю через Прорву и договорились, что заночуем на рейде, возле рыбацкого сейнера. Стали уже выбирать концы, когда пожаловал к нам директор рыбозавода Юрий Александрович Сечкарь — старый друг Стадника. Узнал, куда мы идем, и заявил, что готов составить нам компанию на всю ночь.

Стадник и Сечкарь были единомышленниками. Они не спорили, как инспектор с Галкиным, а дополняли друг друга. И этот вечерний разговор инспектора и директора прояснил мне многие туманные места на дунайском рыболовецком фронте.

Прежде всего необходим строгий переучет всех рыболовных участков и новая их паспортизация. Сейчас участков сто, из них семь на море, пятьдесят на Дунае, сорок один на озерах и два на лиманах. А обстоятельства, особенно на Дунае, изменились в последние годы коренным образом: увеличилось движение транспорта, значительно расширились порты, капризный и могучий Дунай изменил кое-где конфигурацию берегов, обсохло много нерестилищ.

— Я не завидую дунайскому лещу. Над его головой проносятся за сутки сотни громыхающих винтов на кораблях. А в Швеции есть озера — лещевые главным образом,— над которыми не звонят даже церковные колокола, когда нерестится рыба! — сказал Юрий Александрович.— Там лещ у бога за пазухой.

— Ближе к делу, Юра,— промолвил Стадник.— Договорим за участки, как говорят в Одессе. Областной исполком что-то медлит, а участки надо заново распределить между колхозами. Это понимают и сами рыбаки. Помните, на озере Ялпух об этом же говорил бригадир из Ново-Некрасовки.

— Белугу видели? — спросил Сечкарь. Я кивнул.— Так вот, надо нам разобраться с красной рыбой. С каждым годом я ощущаю ее убыль. В шестьдесят пятом году поймали чуть больше трехсот центнеров белуги, на следующий год — всего шестьдесят четыре. Разве это промысел? А севрюги, осетра и стерляди — ноль!

— В чем же дело? — спросил я.

— Тут проблем непочатый край. Но выделим главное.— Стадник приготовился загибать пальцы.— Первая касается ученых: они должны дать рыбакам ясный ответ, что и когда можно добывать в предустьевом пространстве Дуная в Черном море. Сообщать прогнозы. А то получится, как в шестьдесят пятом году,— рыбаки за четыре месяца заработали по полсотни и разбежались по домам. Вторая касается нас: стадо осетровых настолько подорвано промыслом, что, как это ни горько, надо запретить лов красной рыбы хотя бы на пять лет в предустьевом пространстве Дуная и в самой реке.

— А конвенция? — спросил Сечкарь.

— Надо договариваться с сопредельными странами. Им этот вопрос ясен так же, как и нам. Теперь о дунайской сельди. Галкин прав — уловы растут. Но и здесь нужны коррективы.

— Ты про сроки запрета?

— Да. Запрет на нее ступенчатый. Во второй половине апреля Дунай освобождают от сетей, чтобы сельдь могла подниматься по нему без помех. На пять дней открываем проход от моря до Измаила, на двадцать дней — от Измаила до Рени. На второй ступени срок запрета можно сократить вдвое: вся сельдь успевает пройти за декаду. А пять дней на первой ступени мало — нужно десять. Словом, подравнять ступени по срокам. Ихтиологи поддерживают наше предложение: двадцать дней вместо двадцати пяти.

— Это верно. И рыбе лучше, и промысел будет идти компактнее,— подтвердил Юрий Александрович.— А вот на озерах необходимо ломать всю систему. Они скоро ничего не будут давать, даже красноперку... И кто только придумывает такую штуку: выполнит колхоз план в этом году — так на следующий ему увеличивают процентов на двадцать. А кто подсчитывал запасы, когда спускал этот сверхплан? Эт-то, это...— Он не нашел подходящего слова.

— Это, Юрочка, все равно что требовать от коровы сто литров молока в день, когда ее потолок литров двадцать. И никто при этом не учитывает, что у нас пропало много нерестилищ.

Я глянул на собеседников с недоумением: куда же могли деваться нерестилища?

— Это длинная история,— заметил Стадник.— К примеру: построили неподалеку целлюлозный комбинат, сырье для него — камыш. Машин для рубки и фасовки этого камыша нет. При ручной заготовке он слишком дорог — девяносто рублей за тонну. А дерево — в пять раз дешевле. На комбинате хитрят, любым способом добывают лес и перерабатывают древесину. А всем втирают очки: нам, мол, камыш нужен и нужны новые площади под него. Вот они и отдамбовали, обмелили прекрасные приречные участки. Словом, ерунда: сам не гам и тебе не дам!.. Некоторые колхозы распахивают земли у самой границы нерестилищ. В половодье землю сносит, ил ложится там, где рыба откладывает икру. Бич наш — колхозные утки. Шныряют по нерестилищам, поедают икру, мальков. Подсчитайте на досуге, сколько миллионов икринок и мальков может заглотать за весну хотя бы одна тысяча уток! Бьюсь об заклад, что это — потенциально — сотни тонн рыб!.. И то надо учесть наконец, что озера сильно мелеют, вы это сами видели в Кугурлуе. Водоросли ни руками, ни машинами не повыдергаешь. В озера надо запускать таких рыб, как толстолобик и белый амур — они прекрасные мелиораторы. Водоросли подчистят в два счета, как в Большом Туркменском канале, будет подготовлено широкое поле для сазана, карася и леща. Да и толстолобик с амуром пойдут в промысел.

— Ты про болезни скажи,— напомнил Сечкарь.

Стадник достал папиросу, закурил.

— Что ни тронь — сейчас же крик, шум! Ихтиологи знают цену и толстолобику, и белому амуру. И понимают, что как только они размножатся, пропадут водоросли и возрастет улов: до ста килограммов рыбы будем брать с одного гектара на озере. Но на белом амуре легко приживается паразит — ботриоцефалис. Боятся, что он будет вредить и всем нашим карповым рыбам.

— Так нужно запускать здорового малька. А еще лучше выводить его из икры! — вырвалось у меня.

— Вот вы им и подскажите — нас они не слушают.

— Но чтобы разводить толстолобика, белого амура да ждать, пока они расправятся с водорослями, а потом запустить сазана и леща — времени потребуется много,— поразмыслил я вслух.

— Разумеется! Года на три нужно запретить на озерах всякий лов. За это время развести рыбу и заново раскрепить участки между колхозами.

Мне хотелось выяснить, так ли уж плохо с рыбой на озерах, и я спросил об этом Стадника.

— Судите сами: десять лет назад поймали тринадцать тысяч центнеров сазана, в этом году — сто тридцать. Судака соответственно — двести двадцать и тридцать шесть. И по всякой рыбе так: в пять, в десять раз меньше. Пока есть сом,

его улов даже увеличился в два с половиной раза. Но и его надо оберегать — не брать экземпляры меньше шестидесяти сантиметров длиной. Вот данные по озеру Ялпух, где вы были: там ловили в год пятнадцать тонн, продуктивность была с одного гектара больше пятидесяти килограммов. Теперь в пять раз меньше.

— А как же будет с рыбаками?

— Я знал, что вы спросите. Есть выход. Вот председатель колхоза имени Калинина из Ново-Некрасовки Казачинский — он куда гибче Галкина. Недавно он сократил рыболовецкие бригады на две трети. Перекинул людей на виноград, огороды, на кукурузу — она дает здесь отличные урожаи. Теперь я уговариваю его заняться разведением рыбы: мол, что посеем, то и возьмем. Он поддается. Но одному ему озеро Ялпух не освоить. И еще не дает ему покоя такая мысль: он рыбу разведет, а ловить будут другие...

За разговором незаметно прошли около двадцати километров. На левом берегу Прорвы показались домики маленького рыбацкого поселка, где у Вилковского рыбозавода приемный пункт морской рыбы.

Рыбаки высыпали на деревянные сходни, завидев нашего «Орленка». Вокруг поселка много болот, и на нас навалился комарик. Но это не помешало всем нам сбиться тесной кучкой и обменяться мыслями возле дымного костра.

Летняя путина в основном закончилась. Подступала осень, нагулявшаяся рыба вот-вот начнет скапливаться косяками для движения к местам зимовки. Через месяц надо брать камбалу: она из соленых лиманов будет устремляться в море. Для нее уже подготовлены специальные ловушки — гарды.

Способ этот старинный, несовершенный, он дает лишь тридцать—сорок процентов возможного отлова. По этой причине рыбаки ловят камбалу в море, на глубине до шестидесяти метров, сетями, а в них могут попасть дельфины. Их же ловить нельзя.

И особенно плохо то, что сети осматривают раз в неделю, а при штормах — через пятнадцать дней. Дельфины могут заснуть, мясо их разложится, и нерестилищам камбалы будет нанесен большой вред.

— Что вы думаете об этих «концах»? — обратился Стадник к рыбакам. Они переглянулись. Один из них сказал:

— Знаем, что ты добиваешься их запрета. Честно говоря — согласны. А вообще-то дельфин непременно будет лезть в «концы»!..

На море мы не вышли: там стал разыгрываться шторм и фелюги все подваливали и подваливали к поселку, где было для них надежное укрытие.

Мы повернули в сторону Вилкова, поужинали и закончили нашу беседу... воспоминаниями о раках.

— Пиво и раки — комбинация отличная,— сказал Юрий Александрович.— Раков было навалом в наших местах. А ты давно их пробовал? — спросил он у Родиона Игнатенко.

— Не помню. Будто по весне с десяток съел.

— Вот-вот! И опять проблема.

Выяснилось помалу, что сейчас, когда еще не закончилась линька, ловля раков запрещена. Я вспомнил, как на озере Ялпух, при очередной тоне, бригадир выбросил за борт раков пятнадцать.

Никакого промышленного значения раколовство на Дунае не имеет: в прошлом году едва набрали семь центнеров Но и при такой ситуации низовую рыбинспекцию вяжут по рукам: от Дятлова идут распоряжения, когда и где ловить раков.

— Но ведь нам-то виднее! — с обидой сказал Стадник.— В разных водоемах линька бывает в разные сроки. Хоть бы в этом пустячном деле дали нам проявить инициативу. Мы бы и регулировали отлов. Так нет — дожидайся бумагу сверху!..

Расстался я с одним директором рыбозавода, попал на следующий день к другому — в Измаиле. У него свои болезни, свои раны: погорел недавно на семьдесят пять тысяч рублей из-за мелкой ставридки.

— Вот где она у меня! — хлопнул он себя по загривку.

— А кто ж виноват?

— Ну, допустим, сам: прогнозист из меня плохой. Но ведь и те резанули, кто цены устанавливает. Черноморская ставрида не больше моей четверти.— Он растопырил пальцы.— Приемная цена на нее тридцать восемь копеек за кило, реализуем по шестидесяти. А спроса нет, хоть и волокут ее рыбаки к нам тоннами. К тому же без графика, волнами: нынче — пусто, завтра — десять тонн. Коптильные емкости к такой работе не приспособлены, не успевают перерабатывать. Пробовал солить, никто не берет в Измаиле: люди тут все же избалованы хорошей рыбой. И правильно делают, я их не виню. Ну, залез я в долги, об этом уже была речь. Бросился спасать деньги, отвез часть рыбы в Россию — схлопотал выговор! Вот и кручусь. А выход один: принимать такую ставриду надо как мелочь второй группы — девять копеек за кило. Тогда будет резон!

— Рыбаки не согласятся!

— А что делать? Совсем не принимать? Так язык не поворачивается отказать: все мы тут друг с другом одним канатом связаны. Теперь вот пошел на озерах карась — заменитель сазана. Обыкновенный-то карась поступал по двадцать две копейки. А везут серебристого. Он видный, крупный, а на него и цены нет. Собрали мозговитых людей, судили, рядили, назвали его мелким сазаном. Платим пятьдесят три копейки, а продать надо за сорок девять — дороже запрещено. Заколдованный круг! А ты мне дай волю, я его приму по сорок копеек, продам на гривенник дороже. Ан я не волен, я только исполнитель, хоть и зовусь директором!..

Мы обошли территорию завода. На двух площадках шло строительство: возводился льдозавод на пятьдесят тонн льда в сутки и большой кулинарный цех.

— И опять какой-то ералаш: банк дает деньги, а строительные материалы не отпускают.

— Но ведь кирпича-то у вас вдосталь.

— Не глядите на меня косо: я два вагона кирпича сменял на рыбу. Частично пошла в дело и та злополучная ставридка. Теперь бы рефрижераторы и автохолодильники, я бы Одессу завалил заливной и фаршированной рыбой. А где сам найдешь нужного поставщика?

Пал Палыч Архипов — человек тертый, хозяйственный. Он удручен не только неполадками с новым строительством на заводе, но и многими просчетами в рыбном хозяйстве Дунайского бассейна.

— Чего опасаюсь? Развернусь я на полную мощность, а рыбы все меньше и меньше. Вот и сомневаюсь в перспективе. Нельзя же пренебрегать своими богатствами или так их транжирить, словно нет им конца. Надо сазана возрождать, для этого потребны нагульные пруды. Говорил я недавно с Мавровым — это председатель колхоза «Пограничник», возле Рени. У него есть отличные семьсот гектаров для этого дела, и он их почти не использует. Так уперся, землю не дает. Кто-то держит его руку в Министерстве сельского хозяйства Украины. И прудов нет! А тут еще нашлась горячая голова: давайте, мол, осушим озеро Карталы и разведем рис. А ведь это почти полторы тысячи гектаров рыбных угодий! Колхоз имени Щорса в этом августе взял там почти шестьдесят тонн рыбы. А кто-то болтает: рыбы не надо, давай рис. Пошехонцы, честное слово.

Вечером съездили в Болград, но без всякой пользы. Все рыбаки были на берегу и разбрелись по хозяйственным делам. И с председателем вышла встреча неладная: он торопился на виноградник. Погляделся я на городок, зеленый, но пыльный, обжитой давними выходцами из Болгарии. Рыбаки живут зажиточно, и это видно по тому, как они стараются друг перед другом выстроить дом как можно длиннее — по обычаю предков. Один из домов просто поразил меня: в нем было сорок пять метров по фасаду, при шестнадцати окнах!..

Путешествие мое подходило к концу, оставалось подвести итоги. Этим мы и занялись со Стадником в его кабинетике.

Я не знал, что старший рыбинспектор любит поэзию, и был приятно удивлен, когда он процитировал мне на память восемь строк из Алексея Константиновича Толстого:

У приказных ворот собирался народ
Густо;
Говорит в простоте, что в его животе
Пусто!
«Дурачье! — сказал дьяк,— из вас должен быть всяк
В теле;
Еще в Думе вчера мы с трудом осетра
Съели!»

Так вот: чтобы иметь возможность вспомнить вкус дунайского осетра, нужно запретить у нас лов всякой красной рыбы. На пять лет. А на озерах — во имя сазана, судака и леща — на три года. Всем нужно сказать, как необходимо рыборазведение в бассейне Дуная. И намекните, что неплохо бы испробовать, каков эффект у электролова. Но об этом уже говорено...

— А еще вот что не забудьте,— подумав немного, сказал Стадник и забегал по кабинетику, натыкаясь то на стол, то на стул.— Люди рыбоохраны — родные братья пограничникам. А содержат их, как бедных родственников. И не клянчить, а требовать нам надо. Дайте мне три быстроходных мелкосидящих катера на озера Кагул, Катлабух и Китай. Дайте пять пластмассовых лодок, больших, удобных, и к ним сильные моторы. Дайте три мотоцикла с колясками «К-750» или «Урал-2» и «газик», который забрал у нас Дятлов. Вот тогда браконьерам на Дунае крышка! И, разумеется, бензин чтоб был. «Орленку» дают сейчас полтонны в год, а он поедает пуд за один час. Мне восемь тонн надо! А солярку — ее у нас много — пусть забирают: она не используется. И наконец хороший рацион для команды «Орленка». Ведь эта команда — боевой авангард инспекции, у нее на счету до полтыщи пойманных нарушителей в год!.. Эх, надоело быть пасынком московского дяди и нищим племянником Дятлова!..

Как уже сказано, у Стадника нет машины. И он попросил милицию довезти меня на вокзал в «черном вороне», в котором транспортируют уголовных преступников.

В полночь поезд-тихоход, курсирующий на Одессу, отошел от красивого и тихого Измаила, где появились у меня новые друзья...

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

В. КАВЕРИН

★

СОБЕСЕДНИК

Заметки о чтении

1

Брат, научившийся читать гораздо раньше, чем я, начал сразу с Шерлока Холмса, но не конан-дойлевского, с непроницаемо-костлявым лицом и трубкой в зубах, а санкт-петербургского, выходившего тонкими книжками, стоившими лишь немного дороже газеты. Он был, по слухам, творением голодавших столичных студентов. Вскоре к нему присоединился Ник Картер, хорошенький, решительный блондин с голубыми глазами, и разбойник Лейхтвейс, черногривый, с огненным взглядом, в распахнутой разбойничьей куртке, из-под которой был виден торчавший за поясом кинжал. Украденные им красавицы в изодранных платьях и с распущенными волосами были изображены на ярких обложках.

Брат рассказывал, останавливаясь в неожиданных местах, хохоча и восхищаясь. Я слушал его, чувствуя, как сладкая холодная дрожь бежит по спине, шевелит кожу на голове, покрывает звездочками онемевшие ноги.

Это слушанье, эта пора «до чтения» странным образом повлияли на меня, заронив сомнение в необходимости книги. Без особенной охоты я учился читать. Зачем мне этот скучный продолговато-прямоугольный предмет, в котором живые, звучащие слова распадаются на беззвучные знаки? Что мне в книгах, за которыми нет темного, как на иконах, цыганского лица няни? Нет усталого лица матери, приходившей ко мне перед сном в халате, без валика в волосах — тогда женщины носили валик. Она любила рассказывать о дудочке, которую пастух срезал на могиле Иванушки, и дудочка заиграла, запела.

Недавно, читая глубокие и оригинальные «Письма» известного физиолога А. А. Ухтомского, любовно собранные его ученицей Е. И. Бронштейн-Шур (рукопись), я нашел ответ на эти детские вопросы. «...Были и есть счастливые люди, у которых всегда были и есть собеседники и, соответственно, нет ни малейшего побуждения к писательству. Это, во-первых, очень простые люди, вроде наших деревенских стариков, которые рады-радешеньки всякому встречному человеку, умея удовлетвориться им как искреннейшим собеседником. И, во-вторых, это гениальнейшие из людей, которые вспоминаются человечеством как почти недосягаемые исключения: это уже не искатели собеседника, а, можно сказать, вечные собеседники для всех, кто потом о них слышал и узнавал. Таковы Сократ из греков и Христос из евреев. Замечательно, что ни тот, ни другой не оставили после себя ни строчки. У них не было поползновения обращаться к далекому собеседнику. О Сократе мы ровно ничего не знали бы, если бы за ним не записывали слов и мыслей его собеседники — Платон и Ксенофонт». Рассуждая о том, что писательство возникло из неудовлетворенной потребности иметь перед собой собеседника, Ухтомский приходит к выводу, что живая речь по своему существу дороже для человека, чем книга.

Я узнал в этих соображениях свою детскую неприязнь к книге, свою пору «до чтения», играющую в жизни незаметную, но важную роль.

2

Но вот наступили — и очень скоро — первые чтения. Теперь я знал, что в сказках далеко не все правда, а многое — неправда. У Кота в сапогах не было сапог, Иванушка-дурачок никогда не мчался на Сивке-бурке, вещей Каурке. Никогда не существовала пещера Лейхтвейса, о которой, еще и перевирая, рассказывал мне брат. Но для поющей дудочки в душе осталось особое место. Все было неправдой, а дудочка если и была неправдой, так какой-то особенной, которая важнее, чем правда.

Чем же были для меня первые книги — «Серебряные коньки», «Маленькие женщины» и «Маленькие женщины, ставшие взрослыми»? Они были для меня историями, которые кто-то выдумал, а потом записал, потому что ему некому было их рассказать. Не станет же взрослый человек записывать для себя эти выдумки, интересные только детям? Мне инстинктивно хотелось, чтобы они были не напечатаны, не сложены из букв, не спрятаны в картонные переплеты, а рассказаны. Разумеется, я тогда не знал, что именно так и были созданы лучшие детские книги — «Алиса в стране чудес», сказки Перро и Андерсена. Сперва рассказаны, а потом записаны. Я убежден и теперь, что для детей надо писать именно так.

3

Мне кажется, что главная черта детского чтения — театр для себя, непреодолимая и естественная склонность к театральной игре. Любовь к превращению себя в других, начинающаяся очень рано, с двух-трехлетнего возраста, сопровождается беспрестанной инсценировкой, в которой действуют созданные детской фантазией маски. В этом отношении дети мало отличаются от профессиональных актеров. «По-моему,— писала Комиссаржевская,— нельзя хорошо сыграть роль, где так часто себя узнаешь. С той минуты ты начинаешь хорошо играть, когда отрешаешься от себя и вскочишь в изображаемое лицо, а себя есть ли охота подавать?»

В чтении первых книг невольно участвует эта ставшая привычной любовь к перевоплощению. Театр для себя вдруг получает свет, реквизит, декорации, кулисы. Начинается — по меньшей мере так было со мной — лихорадочное, неутолимое чтение. Это процесс непоследовательный, обособленный, не соотносящийся с окружающим миром. шагающий через пропасти обыденности, через машинальность — и через фантастические по своей безграмотности переводы. Автор — это характерно — безымянен, неведом, почти безразличен: Густав Эмар, Фенимор Купер. Кто стоит за этими загадочными именами? Жив или умер этот писатель? Когда, с какой целью он написал свою книгу? Не все ли равно! Так в отличие от растущего год за годом реального опыта жизни создается другой, особый опыт — опыт «над», «вне». Скрещение двух миров наступило, когда среди окружавших меня и могущественно увлекавших в разные стороны книг я впервые стал отбирать, отличать одни от других.

В беспредельности новых и новых открытий, в раскате невероятных происшествий я впервые почувствовал себя не чеховским Чечевицыным, не гимназистом, мечтающим убежать в пампасы, а истинным читателем, то есть человеком, который в долгожданный час остается наедине с книгой. Этому научил меня Роберт Льюис Стивенсон, отстранив десятки других иностранных писателей с их привлекательными и все-таки почти ничего не значившими именами. У нас знают Стивенсона главным образом по его роману «Остров сокровищ». Об этой книге надо упомянуть, потому что Стивенсон трогательно сказался не только в ней, но и в ее истории. Для своего тринадцатилетнего пасынка (впоследствии известного писателя) Ллойда Осборна он нарисовал карту с пиратско-мальчишескими названиями: «Холм Бизань мачты», «Остров Скелета», а потом от имени такого же мальчика, как его пасынок, написал роман — пространный комментарий к этой загадочной карте. Однако те, кто прочитал только «Остров сокровищ», не знают Стивенсона. Он был первоклассным критиком, эссеистом, очеркистом и драматургом Многие его произведения не вошли ни в старое собрание сочинений (1913—1914), ни в новое, изданное недавно.

Но важно другое: с первых лет своего появления в России Стивенсон прочно утвердился в детской литературе и никогда, если не ошибаюсь, не рассматривался как психо-

логический писатель, заглянувший в затаенную глубину человеческого сознания. Напротив, не рассмотрев за его исторической символикой живую суть современности, плоская критика. противопоставила его реализму Диккенса и Теккерея. История для Стивенсона — не замкнувшийся в своей неподвижности, чужой и далекий мир. Она декоративна в его романах, но эта декоративность — невыдуманная, вещественная, существующая и доныне. Кто не поражался в Михайловском, на берегах Сороти почти этнографической точности пушкинской поэзии? Так, глядя вечерами на строгую, серо-голубую, головокружительно-отвесную Эдинбургскую крепость, оценивая вековую серьезность театрального обряда смены караула, вы начинаете понимать, что историческая Шотландия Стивенсона живет до сих пор.

Когда в 1962 году я поехал в Шотландию, в нашей группе была известная арфистка Вера Дулова, которой ее эдинбургские друзья подарили традиционную клетчатую шаль. В вагоне — мы возвращались в Лондон поездом — проводник, с гордостью показывавший нам карточку члена коммунистической партии, сказал, что к Дуловой он испытывает особенно дружеские чувства: на ее шали — цвета его клана. Шотландские кланы, запутанная, героическая, заряженная порохом атмосфера которых увлекла Стивенсона вслед за Вальтером Скоттом, различаются по цветам начиная с XIII века.

Книги Стивенсона (за немногими исключениями) написаны в энергичном ритме, отражающем завидный лаконизм английской речи. Если бы он написал одну только «Странную историю доктора Джекила и мистера Хайда», в которой идея раздвоения личности выражена с простотой школьной арифметической задачи,— он и тогда остался бы в мировой литературе как художник, предсказавший существенные черты литературы XX века.

Но вернемся к детскому чтению. Почему в его неудержимом разбеге меня остановил Стивенсон? Потому что я впервые почувствовал обязывающую серьезность автора по отношению к тому, что происходит с его героями. Мне удалось нащупать его нравственную позицию, раскрывающуюся медленно, шаг за шагом. За кулисами театра-книги я увидел автора, силу его власти, направление его ума, преследующего определенную цель.

К «Острову сокровищ» был приложен портрет Стивенсона — и в тумане головокружительного чтения мне долго мерещился молодой человек с распадающейся как-то по-женски шевелюрой, усатый, сидящий за столом, держа перо в узкой руке, с нежными, требовательными, чахоточными глазами. Он мог быть другим. Но именно он, и никто другой, приоткрыл передо мной таинственную силу сцепления слов, рождающего чудо искусства.

4

Два года тому назад Псковская первая средняя школа отпраздновала свой стовосьмидесятилетний юбилей. Я не мог приехать, и впоследствии земляки рассказали и написали мне об этом торжестве, в котором принял участие весь город.

Ученые, художники, писатели, врачи, люди разных возрастов и поколений вернулись в Псков после многолетней разлуки, и немало слез трогательного волнения было пролито на встрече в актовом зале старой гимназии, когда молодые голоса ворвались в прошлое, как в рассказ с непрекращающимся продолжением. На другой день директор школы М. Н. Максимовский попросил каждого из старых гимназистов дать урок школьникам старших классов. Академик Кикоин. один из руководителей Института имени Курчатова, рассказал о сущности ядерной физики, а действительный член Академии медицинских наук А. А. Летавет заменил сложную материю современной медицины историей одного из своих походов к вершинам Памира. Август Андреевич — известный альпинист.

Это и была минута, когда, слушая земляков, я почувствовал если не зависть, то особенно глубокое сожаление, что не мог присутствовать на этом редкостном торжестве. Мне смертельно захотелось дать псковским школьникам урок по литературе. Точнее сказать — захотелось рассказать о том, как в гимназии полвека тому назад меня научили любить русскую литературу. Ее преподавал Владимир Иванович Попов. автор хрестоматии «Отблески», которую мы проходили, кажется, начиная с четвертого класса.

В наше время такие хрестоматии называются безлично «Родная речь», а между тем нечто привлекательное, поэтическое звучало тогда для нас и в самом названии «Отблески». Владимир Иванович был похож на свою большую, толстую, добрую книгу, но похож именно потому, что она совсем не была «хрестоматийной» в истертом, банальном смысле этого слова. Он понимал, что русскую литературу совсем не надо учить, как учат алгебру или географию. Он понимал, что надо учить не литературу, а литературой, потому что в мире не существует более сильного и прекрасного средства, чтобы заставить людей прямо смотреть друг другу в глаза. Смело рисковать во имя высокой цели. Быть не только свидетелем, но судьей своего времени. Понимать, что захватывающе трудное — захватывающе же и интересно.

Все это относилось к нравственной стороне преподавания Владимира Ивановича. Но была и другая. В русскую литературу я ринулся с разбега, как верный подданный «Короля Самоанских островов» — так называли Стивенсона, который прожил последние годы своей жизни и скончался на Самоа. В поэзии или прозе меня интересовала последовательность событий, их внутренняя связь. Я без конца перечитывал баллады Жуковского, в которых каждая строфа подгоняла время. На уроках Владимира Ивановича для меня впервые открылась соотнесенность между литературой и жизнью. В Николеньке толстовского «Детства» я узнавал себя. Я ехал с Олениным на Кавказ. Мой отец служил в Омском пехотном полку, и среди офицеров я искал Вершинина и Тузенбаха, а среди гимназистов Гарина-Михайловского — своих товарищей по классу. В провинциальном городе, битком набитом реалистами, семинаристами, студентами Учительского института, постоянно спорили о Горьком, Леониде Андрееве, Куприне. Спорили и мы — по-детски, но с чувством значительности, поднимавшим нас в собственных глазах.

Преподавание литературы, в котором были заложены начала свободного ее изучения, возвращало к прочитанному охотой, а не силой. Ничего окаменелого не было для нас в Лермонтове, в Гоголе и уж, конечно, в Льве Толстом, смерть которого — за два года до моего поступления в гимназию,— я помню прекрасно. Мы занимались литературой продолжающейся, в которой никто не превращался в собственное бронзовое или каменное изваяние.

Широко практиковались «вольные темы». Так, в пятом классе я написал сочинение «Иуда Искариот и другие» по одноименному рассказу Леонида Андреева, а в другом рассказал свой сон, украсив его подробностями, которые не пришли бы в голову — так мне казалось — даже Эдгару По.

Приведу, к примеру, сочинение, принадлежащее ученику восьмого «а» класса Псковской гимназии Юрию Тынянову. Оно относится к 1912 году и сохранилось у его школьного друга А. А. Летавета.

«ЖИЗНЬ ХОРОША, КОГДА МЫ В НЕЙ — НЕОБХОДИМОЕ ЗВЕНО»

Я чужой, я чужестранец здесь,
я каприз Бога, если хотите.

Нагель (Гамсун. «Мистерии»)

С тех пор, как Некто ткет завесы земного существования, с тех пор, как движется в заколдованном круге неразрывная цепь человеческого бытия, было замечено: рука об руку идут все люди, кто бы то ни был, принц или нищий, и часто жизнь нищего влияет больше на судьбу короля, чем жизнь придворного; и у этой живой человеческой цепи есть свои законы: если цепь движется с бешеной быстротою, и мелькают огни, и в бестолковой сутолоке пляшут и толкутся люди — то каждый должен бежать; и если живая цепь, как змея, подвигается вперед со страшной медленностью, если человечество ползет на четвереньках — каждый должен ползти.

И давно уже появились среди этой толпы люди со слишком глубокими, слишком ясными глазами, которые не хотят плясать страшный танец жизненной бестолочи и не хотят пресмыкаться, когда пресмыкаются другие. И людская цепь уносится далеко-

далеко, тогда как безумец один — смотрит на звезды. Первым задумался над этим человеком Шекспир и назвал его Гамлетом, принцем Датским. И с тех пор в цепи бытия кровь Гамлета передается от рода к роду; и последние потомки его названы страшным именем «лишних людей».

Если хочется жить — не надо думать, если хочется думать — нельзя жить.

«У моря сердитого, у моря полночного юноша бледный стоит» (Гейне); и вот думает он уже много веков над тем, как «разрешить старую, полную муки загадку»: кто это — Жизнь, для чего Она? «И кто живет там, над золотыми звездами?» И если мы всмотримся в лицо этого юноши, нас поразит странное его несходство со средним человеческим лицом; это лицо Гейне, и лицо Лермонтова, и лицо Гамсуна, это лицо — Гамлета; и вместе с этою странной отличностью от обычного человеческого лица нас поразит его высшая человеческая красота — намеки на нечто совсем иное, гордое и прекрасное, чему нет имени в нашей жизни.

Пора ныне понять, что все, кто остается за бортом реальной жизни — эти чужестранцы, эти святые бродяги земли,— они лишние для действительности, но они необходимые звенья той жизни, к которой они приближают человечество, может быть, одним своим появлением.

Пора также понять, что их жизнь, несмотря на муки Гамлета, на согбенную голову Гейне, на седины Рудина и самоубийство Нагеля,— их жизнь — удел немногих по тому высшему счастью, которое она таит в безумии грез, являющихся только их достоянием, и огне вдохновения, только им доступного».

Преподаватель В. И. Попов поставил за сочинение пятерку, отметив, что «глубоко продуманное понимание и образный (как всегда) язык производят весьма приятное впечатление».

5

Русская литература открылась для меня не только на уроках В. И. Попова. В книжном шкафу самого старшего из моих братьев стояли приложения к «Ниве» — Тургенев, Чехов, Ибсен, Гамсун и Бьёрнстьерне Бьёрнсон, которого необходимо было прочитать хотя бы для того, чтобы выяснить, о чем может написать человек с такой сложной, интересной фамилией?

Мне кажется, что психологический портрет писателя, его образ рано сложился в сознании, потому что я читал не отдельные книги, а целые собрания сочинений, от первого до последнего тома. В этом внутренне связанном чтении мне всегда слышалось что-то музыкальное — взлеты громкости, повторение мелодии, чувство времени, которое у каждого писателя было своим. Тургенев был медленен, его короткие романы казались длинными. У Гончарова длинноты превращались в протяженности, которые не хотелось читать. Достоевский был быстр, стремителен, энергичен, требователен, зол. Он заставлял читателя надолго останавливаться там, где это было для него необходимо, чтобы снова обрушиться на него серией немыслимых, скандальных ударов.

Но каждый из них был связан еще и с обстоятельствами моей собственной жизни.

Тургенев — это был длинный, ленивый летний день на каникулах 1913 года, когда, не расставаясь с книгой, можно успеть так много. Это — ловля пескарей где-нибудь за городом, в Черняковицах, не на удочку, а руками или фуражкой. Это — долгое, интересное купанье на Великой, когда можно нырять с мола и плыть поперек волны, которую поднимает идущий из Черехи в Псков пароходик. Это — гимназическая куртка, накинутая на голое тело, потому что стоит ли одеваться, чтобы сбегать домой за парой котлет и горбушкой посоленного хлеба? Это — «Отцы и дети», с презрительным, беспощадным, обожаемым Базаровым, которому — с моей точки зрения — так же не шли его висячие бакенбарды песочного цвета, как и то, что он влюбился в эту придуманную, холодную Одинцову. Это — Рудин, из-за которого я чуть не утонул. Потрясенный тем, что в конце романа он должен ехать в Пензу, но соглашается ехать в Тамбов только потому, что в Пензу нет лошадей, я задумался, заплыл очень далеко и, кое-как добравшись до противоположного берега, рухнул на песок задохнувшись, с обмякшими ногами и руками.

И в самом Тургеневе все было летнее — мелькающие среди берез женские платья, запах леса, травы, сирени. Наталья с горничной без оглядки спешит на свиданье с Рудиным через поле, по мокрой траве. С горничной!..

Диккенс навсегда связался в памяти с первой в моей жизни библиотекой.

В большой комнате на втором этаже деревянного дома — длинные столы, над которыми висят керосиновые лампы-молнии с пузатыми стеклами. За барьером — дама в черном платье с белым воротничком. Она негромко спрашивает, что мне угодно, и, усомнившись в моем праве на абонемент (я был лишь немного выше барьера), все же выдает мне «Давида Копперфильда». Я нахожу свободное место, раскрываю книгу — и не могу читать. Я поражен.

В городе еще позвякивают звоночками двери магазинов, плетутся извозчики, цокают по булыжнику копыта. На Сергиевской, как всегда по вечерам,— гулянье: гимназисты и реалисты в заломленных, измятых для шику фуражках гуляют с гимназистками по правой стороне улицы. (Иной год было модно прогуливаться по правой, а иной — по левой.) Шумят, перебрасываются шутками, смеются.

А здесь, в библиотеке, в полной тишине слышен только шелест переворачиваемых страниц. Здесь — читают. Я — читатель Мать Давида умирает, хотя госпожа Мэрдстон полагала, что она могла бы и не умереть, если бы очень постаралась. Давид идет в школу, и когда товарищи смотрят на него, он замедляет шаг и делает скорбное лицо, потому что у него умерла мать, и он теперь особенный человек, не такой, как другие...

Так магический диккенсовский мир навсегда связался в моем сознании с ошеломившей меня серьезностью чтения. Впервые я увидел себя со стороны. Да, мы такие же, как все, но еще и другие. Мы не участвуем в том, что происходит в городе. Мы читаем...

6

Герцен — мое любимое чтение. Оно началось в 1918 году в Пскове, который был тогда занят немецкими войсками. В дни эвакуации работники библиотеки Совета рабочих депутатов раздавали книги всем желающим. Мой одноклассник, интересовавшийся фигурным катаньем больше, чем литературой, почему-то взял себе Герцена, но не стал читать и подарил мне.

Это было странное издание: все, что писал Герцен, было напечатано в последовательном порядке — день за днем, неделя за неделей. Запись из дневника шла вслед за газетной заметкой, личное письмо вслед за письмом, обращенным ко всему человечеству. Впрочем, каждая строка была обращена ко всему человечеству, и обыкновенность, естественность этого обращения была загадочна, непостижима!

Уже тогда я заметил, что Герцен как бы аккомпанирует каждому периоду нашей жизни. Впрочем, это не аккомпанемент, нет! Всякий раз его голос откликается на скрытую, иногда еще не осознанную, но непременно основную мелодию.

Впервые я понял это в городе, где все было так благополучно, как не было, кажется, еще никогда за всю его многовековую историю. Улицы переименованы, хлеба — вдоволь, хотя и дорог, на любом углу — бирхалле, по воскресеньям — гулянье в садике под военный оркестр, как где-нибудь в Свинемюнде. И все — неблагополучно, шатко.

Мне минуло шестнадцать лет, меня вызвали в немецкую комендатуру. Худощавый, с прямой шеей, пожилой офицер записал мои приметы в аусвейс (удостоверение личности), а потом велел мне приложить палец сперва к печатке, затем к аусвейсу.

В Герцене было все — и этот офицер, и ощущение неблагополучия, и бирхалле, и военный оркестр. История совершалась неустанно, каждый день, каждый час, и, настаивая на значении обыденности, Герцен настаивал на непреходящем значении истории.

Вот кто не рассказывал, а доказывал, не верил, верил, убеждал, спорил! Вот кому музыкальность была так же свойственна, так же «не задана заранее», как не задана она роще, прошумевшей под ветром, или равномерности дождя в осеннюю ночь. А это чувство собеседника, это требование ответной искренности и свободы! Эта необъятность знаний, находящихся в постоянном движении! Эти мнимые небрежности, оговорки, свежие, светящиеся следы живой речи, это почти беспечное шагание через невозможность выразить мысль — и неожиданная простота, в которой она находит единственно верное выражение.

Так гениальный музыкант не замечает своей божественной техники, потому что она уже не нужна ему сама по себе, потому что он давно уже н а д нею.

Да, Герцен произвел на меня необычайно острое впечатление, и годы ничуть не затушевали его. И теперь я читаю его с восторгом, со странным, но удивительно определенным ощущением, что «ему и до меня дело», и до моих друзей, и до всего, о чем мы думаем, что нас радует и тревожит. Он всегда целился и без промаха попадал не в литературу — в самую жизнь.

Диккенс с помощью бог знает каких преувеличений заставлял меня то смеяться, то плакать. В Тургеневе я смутно отличал намерение заинтересовать читателя от истины, не украшенной изяществом литературы. Так вот: не был ли выше этого удивительного искусства герценовский свободный, блистательный разговор с читателями, в котором нет ни принужденных встреч, ни выдуманных столкновений?

Теперь, когда Герцен наконец великолепно издан в тридцати томах под редакцией видных ученых, его читают немногие. Это говорит не о нем, а о них. К «шуму времени» прислушиваются те, для которых всегда был дорог Герцен. Решение иных загадок современности они находят на его страницах.

7

В двадцатых годах, часто бывая в букинистических лавках, соединявшихся одна с другой вдоль Литейного проспекта, я разговорился однажды с Ф. Г. Шиловым, известным знатоком старой книги. Речь шла о книжных собраниях, и он, к моему удивлению, заметил, что подлинных коллекционеров в Ленинграде давно уже нет. В ответ я немедленно назвал профессора Д., обладателя, может быть, самой большой в Советском Союзе частной библиотеки.

— Нет,— сказал Шилов.— Д. не коллекционер. Он дорожит книгой, но для него на первом плане не книга, а то, сколько она вследствие своей редкости стоит. Он, надо думать, не раз и не два с карандашом в руке подсчитал стоимость своей библиотеки. Она для него — капитал. Значит, это не книжник.

Я назвал Т., известного романиста, собравшего бесценную, хотя и не очень большую библиотеку, в особенности редкую, потому что в ней с большой полнотой был представлен XVIII век.

— Нет,— сказал Шилов.— И Т. не собиратель. Книги нужны ему для работы. Не сами по себе, а для того, чтобы написать новые книги.

Я спросил его, кто же тогда, по его мнению, собиратель, и он назвал две или три незнакомых фамилии.

— Что значит — книголюб?— спросил он.— Это человек, для которого ничего нет на свете, кроме этой любви. Ни жены, ни детей, ни друзей. Книга для него — вся жизнь. А жены у него, между прочим, даже не может быть, потому что женщина книгу не любит.

Мысленно оценив эти три суровых определения, я нашел, что ни одно из них не подходит ко мне. Я занимался в ту пору у Б. М. Эйхенбаума, и наш семинар, в котором работали известные впоследствии историки литературы, поставил перед собой совершенно новую задачу — изучение второстепенных писателей тридцатых годов. За скучным словом «второстепенность» таилось многое. Русская литература XIX века состояла, оказывается, не только из классиков, стоявших в красивых переплетах за стеклянными дверцами книжного шкафа. Она находилась в стремительном, остром движении. Она была до краев переполнена столкновениями, ссорами, сшибками, переговорами — и в этой жестокой борьбе самое деятельное участие принимали второстепенные Сенковский, Вельтман, Марлинский, Одоевский, Булгарин.

Я понял тогда расстояние между литературой, отобранной временем, и литературой дня, недели, года. Я понял тот «плен времени», о котором впоследствии прочел у Пастернака:

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну.
Ты — вечности заложник
У времени в плену.

В этом плену равно находились Пушкин и Барон Брамбеус, Гоголь и Марлинский, Тютчев и Бенедиктов.

Одновременность их существования не была случайностью. Невозможно было исторически понять Гоголя, не прочитав десятка повестей, в которых мелькали смутные очертания майора Ковалева, Акакия Акакиевича, Хлестакова.

Какую роль в литературной эволюции играют «задворки» и «низины», периферия? Каким образом из мелочей литературы возникает новое явление? Эти вопросы рассматривались в трудах наших учителей — Тынянова, Шкловского, Эйхенбаума, а мы усердно изучали этот фон, эти «низины». Так в новом понимании возник перед нами необычайно расширившийся круг литературы XIX века. Над книгой — независимо от того, была она великим или ничтожным произведением,— появился знак историзма. Второстепенные писатели тридцатых — сороковых годов стали для меня предметом не чтения, а изучения. И это несмотря на то, что от иных романов Вельтмана, повестей Сенковского, рассказов Марлинского не оторвался бы и наш современник.

Их-то я и стал собирать.

8

Громадные книжные собрания Шкловского, Тынянова, Корнея Чуковского и многих других составлялись любовно, бережно, годами — кто из букинистов Москвы и Ленинграда не знал об этой деятельной страсти, в которой личность писателя вырисовывалась с присущим ему одному своеобразием? В наше время писатель без библиотеки — явление обыкновенное. Незнание собственной литературы — факт, к сожалению, часто встречающийся среди писателей разных поколений. Одни скрывают этот недостаток, другие наивно считают его самобытностью, третьи им гордятся. Так, однажды я услышал поразившее меня суждение о Герцене. Сложившийся писатель (не буду, сожалея о нем, называть его имени) утверждал, что Герцен — посредственный, небрежно писавший и никому в наше время не нужный журналист. Слышал я и другой, взорвавший меня разговор о Некрасове. В кругах молодых поэтов он, оказывается, считается писателем, который кое-как пересказывал прозу плохими стихами. Это не просто отсутствие вкуса. Это необъяснимое пренебрежение к истории собственной литературы.

Несколько лет тому назад я был в Японии в составе группы известных наших писателей. Для японской интеллигенции нет бо́льшего имени, чем Достоевский, которого они справедливо считают величайшим гением всех времен и народов. К моему изумлению, выяснилось — при обстоятельствах, нелестных для советской литературы,— что в нашей группе нашлись писатели, никогда не читавшие Достоевского и знающие его лишь понаслышке. Прямого признания на этот раз не последовало. Но дело не в обескураживающих признаниях. Дело в том, что, читая произведения этих писателей, нетрудно угадать зияющие провалы в их литературном сознании. Русский — и не только русский — писатель не может обойти Достоевского, Герцена, Лескова. Отсутствие или недостаточность знания собственной литературы с роковой неизбежностью останавливает развитие даже исключительного таланта.

У нас молодая литература. Новая ее история насчитывает всего полтораста лет — не много по сравнению с иными из западноевропейских литератур. Из этих полутораста лет последние пятьдесят полны десятками ни на кого и ни на что не похожих литературных биографий. Полны признаний исторического наследства вперемежку с отменами этих признаний. Полны преобразовавших страну перемен, нетерпеливо ожидающих своего историка.

Подобного богатства жизненного опыта еще не знала мировая литература, и можно не сомневаться в том, что в конце концов он найдет свое воплощение. Но как бы ни был широк горизонтальный размах реального опыта, подлинное художественное произведение пронизывается вертикальным, уходящим в глубину разрезом существовавшего до него искусства. И наоборот, каким бы изощренным ни было искусство, оно приобретает право на историческую жизнь лишь в том случае, когда в его основе лежит реальный опыт изучения жизни.

9

Из русских писателей XX века никто так много не читал, никто не был так влюблен в чтение, как Горький. Об этом талантливо написал в своей известной книге И. Груздев. Мне уже случалось упоминать, как однажды в разговоре со мной Горький шутливо назвал себя «великим читателем земли русской». Жажда чтения — черта, без сомнения, автобиографическая — близка у многих его героев к такой же физиологической потребности, как еда или сон. Стоит лишь вспомнить маленький рассказ «Книга». В другом рассказе — «Коновалов» — чтение врывается в жизнь взрослого человека, как шаровая молния, опасная, ослепляющая, проникшая в самые темные уголки сознания.

В этом рассказе книга подана как явление из ряда вон выходящее, близкое к чуду. Два взгляда одновременно устремлены на нее — детский взгляд героя и зоркий, наблюдающий, все запоминающий взгляд автора. В точке скрещения отчетливо показана психологическая структура чтения. Нужна была страстная, пронизывающая всю жизнь, ежедневная и ежечасная любовь к книге, чтобы сделать это в «Коновалове» почти мимоходом.

Перечитывая этот рассказ, я задумался о лице читателя, о том месте, которое оно занимает в творческом сознании, еще когда на бумаге не появилось ни слова. Конечно, это в бо́льшей степени чувство, чем образ, точка зрения воображаемого читателя почти неощутима, но она существует даже в пору обдумыванья, не говоря уже о самой работе, когда писатель волей-неволей превращается в читателя собственного произведения. Нельзя забывать о том, что интересно читать только то, что интересно писать, так же как полезно иногда вспоминать о том, что нечитающий читатель может научить бо́льшему, чем легкий успех.

Важна истина деталей — читатель не прощает ошибок. В «Двух капитанах» я воспользовался неразборчивым факсимиле письма лейтенанта Брусилова к матери, и дотошный школьник не только добрался до источника, но доказал, что два слова были прочитаны неверно. Истина деталей — сама по себе деталь в той общей картине достоверности, без которой не может существовать искусство. «Два обязательства возлагаются на всякого, кто избирает литературную профессию: быть верным факту и трактовать его с добрым намерением»,— писал Стивенсон. Читатель — отделившееся, существующее само по себе отраженье писателя, требующее, чтобы эти две задачи были решены по совести, без скидок на обстоятельства времени и места. Это возможно только при одном условии: надо переключить себя, свой замысел и его выполнение на того, кто будет читать твои книги. Открыть читателя можно, только опираясь на собственные чувства и размышления. Каждая книга — поступок, и чтобы он мог совершиться, другой человек, читатель, должен сидеть по ту сторону письменного стола, напоминая о том, что «бесценные вещи и бесценные области реального бытия проходят мимо наших ушей и наших глаз, если не подготовлены уши, чтобы слышать, и не подготовлены глаза, чтобы видеть...» — как пишет А. А. Ухтомский в цитированных выше «Письмах». Читатель безмолвно, но настоятельно доказывает, что эти бесценные вещи можно увидеть только строго направленным взглядом, потому что «плясуны перестали бы глупо веселиться, если бы реально почувствовали, что вот сейчас, в этот самый момент умирают люди... и самоубийца остановился бы, если бы реально почувствовал, что сейчас, в этот самый момент совершается бесконечно интересная и неведомая еще для него жизнь: стаи угрей влекутся неведомым устремлением от берегов Европы через океан к Азорским островам ради великого труда — нереста, стаи чаек сейчас носятся над Амазонкой, а еще далее сейчас совершается еще более важная и бесконечно неведомая тайна — жизнь другого человека». Этот другой человек — читатель, и раскрыть его тайну можно, только вглядываясь в себя и одновременно видя на своем месте многоликого Коновалова, который или закроет книгу на первой же странице, или внимательно прочтет ее до конца.

10

Итак, я собирал — и не без успеха — книги Вельтмана, Полевого, Сенковского, Кукольника, Марлинского, Одоевского, Бегичева, Ушакова, Масальского, Калашникова, отдельные номера «Библиотеки для чтения» и «Энциклопедического лексикона» Плюша-

ра. Я купил первые четыре тома некрасовского «Современника», обнаружив с изумлением, что «Хорь и Калиныч» был впервые опубликован мелким шрифтом в отделе «Смесь», где печатались статьи: «Американская торговля льдом» или «Новые исследования о составе воздуха в конюшне».

Я купил «Сто русских литераторов» — альманахи, изданные Смирдиным, с превосходными гравюрами. Любопытна «табель о рангах», существовавшая в тридцатых годах прошлого века.

В предисловии «От издателя» Смирдин указывает, что «с давнего времени имел намерение собрать самые верные портреты известнейших литераторов русских... с приложением оригинальной новой, нигде еще не напечатанной статьи каждого автора».

Издание открывается Сенковским-Брамбеусом, на втором месте — Пушкин («Каменный гость» и отрывок, начинающийся словами: «Гости съезжались на дачу».) Видное место занимают Вельтман и Полевой.

Из «известнейших» русских писателей в истории сохранился только один — Пушкин. Иные — Сенковский, Марлинский — читаются или, вернее сказать, перелистываются редкими специалистами. Иные (Ободовский) неизвестны даже узким профессионалам и требуют изысканий.

Мнимую иерархию Смирдина история устроила по-своему. У него был один критерий — читательский успех. Возможны и другие. Через сто лет после смирдинского издания Шкловский остроумно предложил не забывать о «гамбургском счете» в литературе.

Разумеется, я покупал не только писателей тридцатых—сороковых годов. Меня интересовали редкие книги, не имевшие никакого отношения к литературе. И до сих пор в моей библиотеке можно найти «Хиромантию, или Вернейший способ угадывать судьбу по линиям рук», «Поваренную книгу XVIII века». «Ведьмы и ведовство», «Блатная музыка, или Жаргон тюрьмы» и другие. Меня интересовали старые путеводители по Волге, по Крыму. Перелистывая их, я как бы предвидел, что они могут пригодиться для будущей работы.

Но и среди новых книг попадались редкости. Так, однажды мне попалась тонкая, большого формата книга, напечатанная в Москве в 1918 году на ломкой серой бумаге. Подобно Маяковскому, напечатавшему поэму «Владимир Маяковский», автор назвал книгу своим именем «В. В. Кандинский» и выпустил с подзаголовком: «Текст художника». Это — опыт автобиографии, попытка объяснить сложный и, однако, вполне определенный путь, который привел художника к беспредметному искусству. Даже если бы эта попытка не удалась, признания Кандинского важны для людей, всю жизнь занимающихся искусством. Прочитав немало монографий, писем художников, трактатов об искусстве, я ни разу не встретил столь же сильного по своей отточенности описания той стороны живописи, которая для любого маляра важна не менее, чем для Леонардо да Винчи. «И до сегодня,— пишет Кандинский,— меня не покинуло впечатление, точнее говоря, переживание, рождаемое из тюбика выходящей краской. Стоит надавить пальцами — и торжественно, звучно, задумчиво, мечтательно, самоуглубленно, глубоко серьезно, с кипучей шаловливостью, со вздохом облегчения, со сдержанным звучанием печали, с надменной силой и упорством, с настойчивым самообладанием, с колеблющейся ненадежностью равновесия выходят друг за другом эти странные существа, называемые красками,— живые сами в себе, самостоятельные, одаренные всеми необходимыми свойствами для дальнейшей самостоятельной жизни и каждый миг готовые подчиниться новым сочетаниям, смешаться друг с другом и создавать нескончаемое число новых миров. Некоторые из них, уже утомленные, ослабевшие, отвердевшие, лежат тут же, подобно мертвым силам и живым воспоминаниям о былых, судьбою не допущенных, возможностях. Как в борьбе или сражении, выходят из тюбиков свежие, призванные заменить собою старые, ушедшие силы. Посреди палитры — особый мир остатков уже пошедших в дело красок, блуждающих на холстах, в необходимых воплощениях, вдали от первоначального своего источника. Это — мир, возникший из остатков уже написанных картин, а также определенный и созданный случайностями, загадочной игрой чуждых художнику сил. Этим случайностям я обязан многим: они научили меня вещам, которых не услышать ни от какого учителя или мастера. Нередко часами я рассматривал их с удивлением и любовью».

Именно так, с удивлением перед чудом тюбика с краской, написана и вся эта книга. Мне кажется, что она могла оказать заметное влияние на прозу Пастернака, в частности на его «Охранную грамоту». Та же значительность незамечаемого, «прозёванного», та же атмосфера движущихся красочных пятен, составляющих в каждой новой главе новую психологическую картину. Книга Кандинского написана для того, чтобы поделиться восхищением перед захватывающим чудом искусства. «Сам я никогда не чувствовал в своих вещах уничтожения уже существующих форм искусства: я видел в них ясно только внутренне логический, вполне органический, неизбежный дальнейший рост искусства».

В этих искренних признаниях я впервые столкнулся с попыткой заглянуть в то, что происходит в сознании художника, прежде чем он берется за кисть.

Не решаясь на прямую параллель между живописью и литературой, я задумался над той важной порой в жизни писателя, которую хочется назвать: «перед первой фразой» — и о которой в нашей теоретической литературе говорится редко и скупо.

11

Упреки в книжности я постоянно слышал не только от критиков, но и от близких друзей, с которыми начал и прошел почти весь свой литературный путь. В общих чертах они сводились к тому, что, окружив себя бесчисленным количеством книг, я почти не показываюсь из этого искусственного круга. Друзья были правы. Еще студентом я усердно трудился над собиранием библиотеки и с головой был погружен в чтение русской, западноевропейской и восточной литературы. Однако ни сетования, ни советы ничего не изменили в этом образе жизни. Более того: я сознательно оборонял значение начитанности в литературной работе. На еженедельных собраниях «ордена серапионовых братьев» мы с Львом Лунцем неизменно нападали на «бытовиков» — Федина, Иванова, Никитина. Я не согласился даже с Горьким, который осторожно посоветовал мне перенести «внимание из области и стран неведомых в русский, современный, достаточно фантастический быт». «Этот совет — простите — не нов,— ответил я ему,— уже два года официальная литература проходит под этим знаменем, и под этим знаменем вокруг «Петроградской Правды» недавно объединились питерские писатели. Быт — это как раз та соломинка, на которой держится современная литература — Пильняк, Никитин, Иванов и которая своими корнями исходит от — будем говорить правду — отживших литературных форм Ремизова и Белого... Мне кажется, что в литературу легко входит только быт отстоявшийся, а не разметанный в куски, как быт современный. Ведь самая лучшая в русской литературе бытовая вещь «Война и мир» написана по документам...» (1923) [1].

Любопытно, что этот спор возник в связи с рассказом «Щиты и свечи», в котором я намеренно попытался столкнуть фантастический мир с реальным. В упомянутом письме Горького прекрасно изложено содержание рассказа: «Четверо людей играют в карты; между ними — вне игры — драматическая коллизия, играя, они скрывают друг от друга свои подлинные отношения, но фигурам карт эти отношения известны, и короли, дамы, валеты, вмешиваясь в отношения людей, сочувственно, иронически, враждебно обнажают, вскрывают истинные отношения людей друг к другу, в картах тоже создается ряд комико-драматических коллизий, и вместо четырех существ — уже восемь увлечены борьбою против закона, случая, против друг друга; забава, игра превращается в трагикомедию, где фигуры карт спорят друг с другом и против людей».

Горький справедливо утверждал, что содержание этого рассказа — «неясно, запутанно». Не мудрено, что от него ускользала и полемическая сторона его, выраженная столь же приблизительно и по-детски неясно. Но полемичность была, и относилась она к поискам новой формы, которые я защищал в своем ответном письме.

В спорах с «серапионовыми братьями» я старался укрепить свою позицию не только на теоретической, но и на исторической основе. Можно ли упрекнуть в книжности

[1] «Литературное наследство», т. 70. Горький и советские писатели. М. 1963, стр. 178—180.

Лермонтова, у поэзии которого было так много повивальных бабок? Он сам написал об этом: «Когда я начал марать стихи в 1828 году (в пансионе), я как бы по инстинкту переписывал и прибирал их... Ныне я прочел в жизни Байрона, что он делал то же — это меня поразило». Разве не показал Б. М. Эйхенбаум, в чем заключалось это «переписыванье и прибиранье», указав на текстуальное сходство между Лермонтовым и Дмитриевым, Батюшковым, Козловым, Марлинским, Пушкиным и даже Ломоносовым? «Он не просто подражает избранному «любимому» поэту, как это обычно бывает в школьные годы, а берет с разных сторон готовые отрывки и образует из них новое произведение» (Б. Э й х е н б а у м. Лермонтов. Л. 1924).

Современники видели больше, чем исследователь нашего времени. «Вам слышатся попеременно звуки то Жуковского, то Пушкина, то Кирши Данилова, то Бенедиктова... иногда мелькают обороты Баратынского, Дениса Давыдова; иногда видна манера поэтов иностранных — и сквозь все это постороннее влияние трудно нам доискаться того, что, собственно, принадлежит новому поэту и где предстоит он самим собой» (С. П. Ш е в ы р е в. «Москвитянин», 1841, часть II, № 4, стр. 527).

Приводил я в наших спорах и другие, не менее убедительные примеры.

Разумеется, мне тогда не приходило в голову, что часы, которые я провел в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина и в моей маленькой, заваленной книгами комнатке на Петроградской стороне, вся моя книжная жизнь со временем будет «открыта» мною как жизненный, а не книжный материал. Однако и этого «самооткрытия», определившего мой путь к реалистической прозе, не произошло бы, если бы постепенно, с годами не выработалось то, что можно назвать «опытом чтения».

12

Известный наш философ и историк философии В. Ф. Асмус определяет чтение, как двоякую деятельность ума: читатель относится к художественному произведению как к своеобразной действительности и одновременно видит реальную действительность в свете всех особенностей ее воспроизведения. «Там, где это двоякое условие отсутствует, чтение художественного произведения даже не может начаться» («Чтение как труд и творчество»,— «Вопросы литературы», № 2, 1961). Как пример безнадежной тупости эстетического восприятия В. Асмус приводит сцену из «Братьев Карамазовых». Смердяков, которому Федор Павлович дает почитать «Вечера на хуторе близ Диканьки», возвращает книгу с явным неодобрением: «Все про неправду написано». Обратных примеров — когда художественное произведение принимается читателем за чистую правду — сколько угодно. Об этом свидетельствуют многочисленные письма, в которых читатели просят сообщить адреса вымышленных героев, справляются об их здоровье и даже со всей серьезностью и доброжелательностью беспокоятся об их служебных делах.

Все это — результат падения интереса к художественной форме, а вместе с ней и к психологии искусства. Эстетическое восприятие лишается доверия как недостойное читательского внимания — и это с неизбежностью отражается в литературе. Знание реальной жизни начинает казаться бесценным, всеобъемлющим материалом. Перед любым читателем, обладающим богатым жизненным опытом, открывается прямой путь в литературу — и это приводит подчас к комическим, но гораздо чаще к трагическим результатам. Напомню лишь о так называемом «призыве ударников в литературу». Согласно этой идее, пришедшей в голову кому-то из руководителей РАППа, успех ударничества в промышленности должен был привести к подобным же результатам в искусстве.

Это был совсем не забавный опыт, сломивший жизнь многих доверчивых людей. На собрании ленинградских писателей я слышал речь пожилого рабочего, сменившего свой станок на перо и заблудившегося среди собственных рукописей, которые были никому не нужны.

С тех пор положение существенно изменилось. Над вопросами художественного воспитания задумываются воспитатели, и передовые педагоги, и люди науки. Примерно с год тому назад ко мне пришли кончающие студенты и аспиранты, работающие (по своему почину) над выработкой совершенно новых, современных школьных программ. Они доказали мне, что нынешняя программа в иных случаях соответствует по методике

и объему знаний началу XIX века, что вместо изучения научного факта как элемента конструкции он изучается как таковой и одновременно как элемент истории науки. Понятие конструкции подменяется понятием инвентаря. Они привели мне десятки примеров ложной методики в преподавании литературы, физики, математики. Неверие в умственные силы школьника лежит в самой структуре школьного урока. Здоровые интуитивные представления сначала ломаются, а потом складываются на новой, приблизительной основе.

13

Медленное, профессиональное чтение оставляет глубокий след в работе писателя, и наметанный глаз без малейшего труда определяет степень этой начитанности почти в каждом романе или рассказе. Не говорю уже о стихах, где знание и понимание прошлого поэзии видны как на ладони. Недавно вышли в свет книги А. Тарковского («Перед снегом» и «Земле — земное») и С. Липкина («Очевидец»), двух поэтов, как будто находящихся на разных полюсах литературного мира. Но вчитайтесь в эти поражающие своим несходством стихи, и вы убедитесь, что творческое знание русской поэзии не скользит между строками, не нанесено, как долгота и широта на географическую карту, но продумано, отобрано, прожито.

В 1965 году вышел альманах «Молодой Ленинград», объединивший писателей, из которых многие напечатались впервые. Все в нем по-юношески осложнено. Между игрой в литературу и подлинной литературой нетрудно провести границу. Но на всей книге, независимо от таланта того или другого ее участника, лежит отсвет начитанности, составляющий важную часть литературного сознания...

Кто не знает полное признательности, нежное, все понимающее и ничего не прощающее стихотворение Пастернака, посвященное Брюсову? Кто не знает похожий на гемму, высеченную Саррой Лебедевой на могиле Пастернака, его стихотворный портрет, написанный Ахматовой:

Он, сам себя сравнивший с конским глазом,
Косится, смотрит, видит, узнает...

Кто не знает стихотворный памятник Маяковскому, с яростью и вдохновеньем сложенный Мариной Цветаевой из пудовых словесных глыб?

В каждом из этих портретов, памятников, барельефов видна та вольтова дуга, тот вспыхнувший между поэтическими электродами разряд, который ослепительно озаряет соотнесенность и несходство, скрещения и разрывы.

Все это — литература о литературе, поэзия о поэзии, насущный хлеб искусства, который непосеянный — не растет, а несжатый — пропадает от умственной лени и общественной непогоды.

14

Откуда же берется то начало, о котором с уважением говорят русские пословицы: «Начало трудно, а конец — мудрен». Или: «Доброе начало — полдела откачало»?

«Буду откровенным: когда садишься за белый лист, не знаешь, что выйдет,— писал Юрий Тынянов в статье «Как мы пишем».— Большая неопределенность, серо кругом, куда пойдет? Вдруг я разучился писать, и все разбрелось, все выпалилось из рук? Начинается: люди начинают умничать, заикаться и говорить приблизительными словами, которые лежат тут же, на столе, не дальше пепельницы. А надо было путешествовать, пройти сквозь стену, выйти на улицу, за город».

Эти «приблизительные» слова Чехов советовал зачеркивать в рукописи, начиная рассказ не с первой, а со второй или третьей страницы. Я просмотрел все его первые фразы. Поразительно похожие по своей структуре, часто состоящие из главных предложений (без придаточных), а иногда из одного слова, они вводят читателя в действие сразу, с полной определенностью, без малейших колебаний. На то он и был Чехов, чтобы читатель не почувствовал за их лапидарностью предшествовавших и безжалостно зачеркнутых фраз.

Случается, что первая фраза возникает при обдумывании плана — из того театра, который каждый писатель разыгрывает наедине с собой, становясь рядом со своими героями и предоставляя им полную свободу.

Значение ее и заключается именно в том, что она первая, а не вторая, начинает, а не продолжает. В молодости я написал рассказ, состоявший из одной фразы. Это был внутренний монолог красноармейца, попавшего в плен и стоявшего в строю, из которого выводили на расстрел каждого десятого. Лихорадочный подсчет — которым же я прихожусь по счету? — был сбивчиво перехлестнут воспоминаниями, отдаленными подробностями, обстановкой сцены. Рассказ не удался. Стремясь уложить его в одну фразу, я лишил рассказ чувства времени — не времени в обычном смысле слова, а времени литературного, естественности развития, за которым (иногда бессознательно) следит читатель. Рассказ никуда не двинулся, остался на месте. Ощущенье начала исчезло, потому что начало оказалось концом.

Известно, как Толстой начал «Анну Каренину». Он писал роман из эпохи Петра Великого. Работа не шла. 18 марта 1873 года его старший сын Сергей читал Т. А. Ергольской вслух повести Пушкина. Старушка задремала, чтение остановилось. Толстой, войдя в комнату, стал перелистывать книгу и наткнулся на первые строки «Отрывка»: «Гости съезжались на дачу».

«Вот как надо начинать,— сказал он.— Это сразу вводит читателя в интерес действия. Другой бы стал описывать гостей, комнаты, а Пушкин прямо приступает к делу». Будущая «Анна Каренина» была начата словами: «Гости после оперы съезжались к молодой княгине».

Впоследствии эта фраза была отвергнута, но тональность прямого подхода к делу осталась во всех позднейших вариантах начала. «Начало приходит обычно на улице — фразой, не фразой, словесной походкой» (Тынянов). Здесь начало было подсказано. Но «почти непонятный» толстовский выбор был сделан, разумеется, не случайно.

Первая фраза — камертон, к которому прислушивается писатель, поверяя и сохраняя стилистическое единство.

В рассказе Достоевского «Кроткая» сам автор — редкий случай — раскрывает в предисловии «фантастичность» стиля, основанного на внутренней речи: «Конечно, процесс рассказа продолжается несколько часов, с урывками и промежутками, и в форме сбивчивой: то он (герой рассказа.— *В. К.*) говорит сам себе, то обращается как бы к невидимому слушателю, к какому-то судье. Да так всегда и бывает в действительности. Если бы мог подслушать его и все записать за ним стенограф, то вышло бы несколько шаршавее, необделаннее, чем представлено у меня, но, сколько мне кажется, психологический порядок, может быть, и остался бы тот же самый. Вот это предположение о записавшем все стенографе... и есть то, что я называю в этом рассказе фантастическим».

Рассказ начинается с полуфразы, с вопроса: «Как же я останусь один?» — и кончается словами: «Нет, серьезно, когда ее завтра унесут, что ж я буду?»

Первая фраза — край дуги, перекидывающейся к последней, завершающей фразе.

Кстати сказать, перечитывая «Кроткую», я понял, с какой исчерпывающей полнотой была открыта Достоевским форма внутреннего монолога. В западной критической литературе она связывается с XX веком и с именем Джойса. Между тем борьба между объективным повествованием и внутренним монологом развернулась очень давно, и, изучая ее, небезынтересно, мне кажется, вновь рассмотреть более чем сложные отношения между Тургеневым и Достоевским.

15

Чтение для писателя есть умственное писание, в котором воображаемые вымарки и перестановки играют такую же роль, как в его собственной работе. Беспощадные приговоры, которые выносил гениальным произведениям Л. Толстой, не смягчались, когда он смотрел со стороны на свои отнюдь не казавшиеся ему гениальными произведения. Вот что написал он об «Анне Карениной»: «Я никак этого не ждал и, право, удивляюсь и тому, что такое обыкновенное и ничтожное нравится, и еще больше тому, что, убеди-

шись, что такое ничтожное нравится, я не начинаю писать сплеча, что попало, а делаю какой-то самому мне п о ч т и непонятный выбор».

Этот «почти непонятный» выбор происходит не только в писании, но и в чтении. «Читал я это время (работая над «Анной Карениной».— *В. К.*) книги, о которых никто понятия не имеет, но которыми я упивался. Это сборник сведений о Кавказских горцах, изданный в Тифлисе. Там предания и поэзия горцев и сокровища поэтические необычайные...» (письмо Фету от 26 октября 1875 года).

Так к стилистическому, тематическому, композиционному отбору, из которого состоит работа писателя, присоединяется отбор ассоциативный, подчас соединяющий бесконечно далекие явления и касающийся всех сторон художественного произведения. Этот отбор годами кристаллизуется в сознании писателя. Это сопутствующее всей его жизни явление резонанса, без которого серьезно работать почти невозможно. Войдите в комнату, где стоит рояль с откинутой крышкой, и громко хлопните в ладоши. Отзовется та струна, частота колебаний которой совпадает с колебаниями, возникшими в результате вашего движения. Так отзываются в опыте чтения те струны, которые совпадают с кругом ваших намерений и литературных интересов. Так начинается и развивается профессиональный отбор, беспрерывно обновляющаяся самопроверка, самопознание, сравнение, суд, который книжный опыт производит над реальностью. Так начинается всматривание, поиски своего в чужом, воспитание вкуса. Круг чтения, начавшегося в детские годы, постоянно превращается в круг профессионального чтения и, таким образом, становится орудием художественного познания. Никому еще не удалось начать литературу сызнова, хотя были случаи — не особенно редкие,— когда эта соблазнительная возможность кружила головы некоторым писателям, почти не сомневавшимся в том, что литература не существовала до той поры, пока они не взялись за перо, положив, таким образом, начало этому хлопотливому делу.

В МИРЕ НАУКИ

Академик С. Б. ВЕСЕЛОВСКИЙ

★

РОД И ПРЕДКИ А. С. ПУШКИНА В ИСТОРИИ

Произведения, подобные историческому очерку академика С. Б. Веселовского, обычно публикуются в специальных журналах, если же их печатают в журнале литературном, то в связи с каким-либо юбилеем. Однако место Пушкина в русской культуре столь велико, значение всего, что он сделал, так существенно, и не для одного только прошлого, а буквально для сегодняшней духовной жизни страны, наконец, все увеличивающийся интерес к личности великого поэта захватывает такие широкие круги читателей, что было бы непозволительно, мне думается, дожидаться юбилейной пушкинской даты.

Кто из читавших «Мою родословную» Пушкина не испытывал желания, если можно так сказать, заглянуть в ту подлинную, восходящую ко временам Александра Невского жизнь, какая лежит за этими стихами. Небольшой исторический очерк В. О. Ключевского «Евгений Онегин и его предки», хотя он излагает родословную литературного персонажа, то есть лица вымышленного, несколько удовлетворяет это желание — вернее сказать, создает иллюзию удовлетворения, поскольку блестящий этот этюд все же плод фантазии ученого.

Но вот перед нами исследование историка, которое знакомит нас не только с прямыми предками поэта, но со всем родом Пушкиных — от полулегендарного Раши, жившего еще до XIII века, и до служилых людей первых Романовых, причем с Гаврилы Алексича, витязя Александра Невского, утверждает Веселовский, «все поколения могут быть фиксированы хронологически, и реальность большинства лиц дальнейших колен может быть проверена и доказана». Уже одна эта генеалогическая сторона исследования вызывает к нему исключительный интерес.

Но есть в очерке еще и то, что я назвал бы поэзией истории, при всей подобающей научному труду строгости, даже сухости изложения. Пушкин предстает перед нами на уходящем в глубь веков историческом фоне и как человек, предок которого «мышцей бранной святому Невскому служил», и как поэт, в особенности автор «Бориса Годунова».

Веселовский как бы рассказал здесь историю Древней Руси в основных ее чертах, причем такие страницы и строчки, как портрет Дмитрия Донского, рассуждения о Борисе Годунове, попутные замечания о местничестве, да и многие другие, им подобные, не просто интересны, привлекают безупречной документированностью и одновременно своеобычностью суждений, но еще, я бы сказал, и высокой нравственностью, так как взгляд ученого на историю, то есть на жизнь далеких предков, лишен какой-либо предвзятости, исполнен понимания и потому человечен.

Во всем этом и состоит обаяние Веселовского как историка.

Степан Борисович Веселовский родился в 1876 году и умер в 1952-м, на семьдесят шестом году жизни. Его перу принадлежат многочисленные исследования по истории СССР, главным образом по истории землевладения, крестьянства и финансов в XIV—XVII веках, из которых особенно известны «Сошное письмо. Исследование по истории кадастра и посошного обложения Московского государства», «К вопросу о происхождении вотчинного режима», «Из истории закрепощения крестьян (отмена Юрьева дня)», «Село и деревня в Северо-Восточной Руси XIV—XVI вв. Историко-социологическое исследование о типах внегородских поселений», «Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси»...

К числу наиболее значительных работ Веселовского следует отнести и вышедшие спустя одиннадцать лет после его смерти «Исследования по истории опричнины». Книга эта получила известность в широких читательских кругах, рецензия на нее была помещена в нашем журнале.

Публикуемый здесь очерк был любезно передан «Новому миру» семьей покойного академика — В. С., Б. С., А. С., М. М. и Н. К. Веселовскими, за что редакция выражает им свою искреннюю признательность.

Над монографией о боярских родах — «Исследования по истории класса служилых землевладельцев» — С. Б. Веселовский работал в тридцатых годах. Для этой монографии им был написан и очерк «Род Ратши», позднее переработанный, расширенный и получивший название «Род и предки А. С. Пушкина в истории».

Издательство «Наука», выпустившее «Исследования по истории опричнины», сейчас осуществляет издание монографии «Исследования по истории класса служилых землевладельцев», где помещен и публикуемый ниже очерк. Монография выходит из печати в ближайшее время. На очереди издание справочников, составленных С. Б. Веселовским,— «Имена, прозвища и фамилии Древней Руси» и «Дьяки и подьячие Северо-Восточной Руси XV—XVII веков».

Остается сказать, что особенности нашего журнала не позволили поместить здесь приложенные к очерку поколенную роспись, список фамилий, родственных Пушкиным по брачным связям, научный аппарат.

Е. ДОРОШ.

Глава I

ЛЕГЕНДА О РАТШЕ, РОДОНАЧАЛЬНИКЕ ПУШКИНЫХ

Род Ратши, из которого вышел А. С. Пушкин, по исторической значительности происшедших от него фамилий принадлежит к древнейшим русским родам. В роде Ратши первые три колена не поддаются критической проверке при помощи источников, но с Гаврилы Алексича, жившего в середине XIII века, все поколения могут быть фиксированы хронологически и реальность большинства лиц дальнейших колен может быть проверена и доказана. Следующее за родом Ратши место занимает род черниговского боярина Федора Бяконта, выехавшего в Москву в последних годах XIII века, от которого пошли фамилии Плещеевых, Басмановых, Игнатьевых и другие.

Родословия всех без исключения исторически известных родов становятся достоверными только со второй четверти XIV века и позже.

Чтобы не повторяться в дальнейшем изложении, следует дать схему первых колен рода Ратши. Эта часть родословия одинакова в Государеве родословце, составленном в пятидесятых годах XVI века, и в различных частных родословцах, которые были составлены на основе Государева родословца позже, в XVI и XVII веках.

1. Из Немец пришел Ратша. 2. У Ратши сын Якун. 3. У Якуна сын Алекса. 4. У Алексы сын Гаврила Алексич. 5. У Гаврилы дети: Иван Морхиня да Акинф Великой. 6. У Ивана Морхини один сын Александр. У Акинфа Гавриловича Великого дети: Иван да бездетный Федор. 7. У Александра Морхинина пять сыновей: Григорий Пушка, Владимир Холопище, Давид Казарин, Александр да Федор Неведомица. У Ивана Акинфовича дети: Андрей, Владимир, Роман Каменский да Михаил, убит на Дону (1380). 8. У Григория Пушки дети: Александр, Никита, Василий Улита, Федор Товарко, Константин, Андрей и Иван. А у Андрея Ивановича восемь сыновей: Федор Свибло, Иван Хромой, Александр Остей, Иван Бутурля, Андрей Слизень, Михаил, бездетные Федор Корова и Иван Зеленый. У Владимира Ивановича — Иван Замытский. У Романа Каменского дети: Григорий Курица, Иван Черный, Юрий, Полуект Каменский и Дмитрий [1].

Составители Государева родословца и Бархатной книги устраняли, как общее правило, легенды о выездах знатных родоначальников, но для Ратши сделали исключение и признали его выезд из «Немец». Частные родословцы следовали моде и украшали родословия легендами о выездах и различными новыми вымыслами. Относительно Ратши многие родословцы сообщают: «Во дни благоверного

[1] Родословцы частных редакций — «Временник Общества истории и древностей российских», т. X, стр. 102 и 169; родословец, списанный в 1677 году для князя Степана Васильевича Ромодановского — Государственный исторический музей, Собрание Уварова, № 1506, 34-я глава. Некоторые частные родословцы старшим сыном Александра Морхинина показывают Владимира Холопища, а Григория Пушку — младшим сыном. По времени жизни следующих поколений это представляется более правильным.

великого князя Александра Ярославича Невского прииде из Немец муж честен, именем Ратша». Так, заимствованное из Государева родословца предание о выезде осложнялось хронологической несообразностью. Ниже будет показано, что Гаврила Алексич жил в середине XIII века и был боярином Александра Невского. Поэтому его прадед Ратша, если считать по три поколения на столетие, как это принято в генеалогии, должен был жить в первой половине XII века и никак не мог служить Александру Невскому.

Во времена удельной раздробленности Руси выездами называли вообще всякий переход служилого человека от одного князя к другому. После объединения Руси под властью московских государей выезды бывали действительно приходом из-за рубежа, и это представление о выездах было перенесено на родословные предания, сложившиеся еще в удельной Руси. В последней четверти XVII века в связи с отменой местничества и составлением новой родословной книги начинается сочинение самых смелых легенд о выездах знатных родоначальников из иностранных государств.

Эти легенды не только забавны, но и показательны для невысокого уровня образованности их творцов. Некоторые легенды обличают авторов в незнании родного языка. Так, Загоскины, очевидно, не знали, что загоска, зекзюля, зегзица есть чисто русское слово, позже вытесненное немецкой кукушкой, и сочинили легенду о татарине. Чичерины считали своим родоначальником итальянца Чичери, выехавшего будто бы в Москву с Софьей Палеолог. Очевидно, они не знали, что чичером называется в средней полосе России, где они жили, непогода, мокрый снег при ветре. Прозвища Рюма и Бестуж, Бестужий, то есть бесстыжий, были в XV—XVII веках весьма распространенными, но это не помешало Бестужевым-Рюминым считать своим родоначальником немчина Гавриила Беста. Толыза — чисто русское слово, означающее дубина, оглобля, а Талызины выводили свой род от мурзы Кучук Тагалдызина.

Высокий образец нелепой легенды о выезде знатного иноземца дал не кто иной, как первый герольдмейстер Петра I — Степан Андреевич Колычев, происходивший из рода Андрея Ивановича Кобылы, боярина великого князя Симеона Гордого. Колычев сочинил легенду о выезде из Пруссии Камбила Дивоновича. Искажение имени родоначальника, писал Колычев, произошло от небрежности древних писцов, которые «убавлением литеры» вместо Камбила написали Кобыла.

Уже в XVIII веке к этой легенде относились (например, Крекшин) весьма недоверчиво, но это не помешало барону Кампенгаузену написать большое исследование о Камбиле и его мнимых знатных предках.

Последующие генеалоги относились к легенде о Камбиле «критически», то есть серьезно обсуждали эту нелепицу, не заслуживавшую внимания. Ведь достаточно обратить внимание на то, что по родословцам у Андрея Кобылы был брат Федор, имевший прозвище Шевляга, что значит кляча, плохая лошаденка, что старший сын Кобылы носил прозвище Жеребец, а младший, Федор, имел прозвание Кошка. В этих прозвищах допустимо предположить пережиток тотемистических воззрений, можно принять их просто как плоды родительского остроумия, но во всяком случае их достаточно, чтобы покончить с критическими разборами легенды о Камбиле.

Многочисленные легенды о знатных выходцах из-за рубежа дискредитировали генеалогические предания вообще, хотя в них нередко бывали элементы правды очень далеких времен. В XVIII веке при глубоком упадке дворянской генеалогии было принято относиться с недоверием и усмешкой к чужим преданиям и в то же время кичиться своей легендой, сохраняя ее в недрах фамилии как реликвию далекого славного прошлого. В небольшом багаже генеалогических познаний среднего дворянина хранились и передавались от отца к сыну имя родоначальника, действительного или вымышленного, и два-три факта, традиционно связываемые с каким-либо крупным общеизвестным историческим лицом или событием: Ледовым побоищем, Куликовской битвой, Александром Невским, Иваном Калитой, Дмитрием Донским и т. п.

Переходя из уст в уста, родословные предания деформировались. Самым слабым местом этих «творимых легенд» были смещения хронологических вех и контаминация разновременных лиц и событий.

Потомство Григория Пушки уже в XV веке разбилось на несколько фамилий, которые с течением времени утрачивали родственные связи, или, как тогда говорили, «родственное согласие», и отдельные отрасли рода продолжали в своих недрах творить особые легенды. Так, Мусины-Пушкины, признавая Ратшу своим родоначальником, считали его выходцем из Семиградии, Бобрищевы-Пушкины тоже веровали в Ратшу и полагали, что он вышел в конце XII века из Германии в Новгород. По преданиям или из летописей они знали, что правнук Ратши Гаврила Алексич был боярином Александра Невского и прославился на Ледовом побоище, а затем, игнорируя Государев родословец и Бархатную книгу, приплетали некстати к своим прямым предкам Акинфа Великого. Пушкины, прямые предки Александра Сергеевича, принимали своим предком Ратшу, но считали его потомком прибалтийских словен, выходцем из Пруссии, и связывали его с Александром Невским.

А. С. Пушкин в «Моей родословной» писал: «Мой предок Рача мышцей бранной святому Невскому служил». В наброске родословной Пушкиных и Ганнибалов А. С. Пушкин писал: «Мы ведем свой род от прусского выходца Радши или Рачи (мужа честна, говорит летописец, то есть знатного, благородного), выехавшего в Россию во время княжества св. Александра Ярославича Невского. От него произошли Мусины, Бобрищевы, Мятлевы, Поводовы, Каменские, Бутурлины, Кологривовы, Шерефединовы и Товарковы». Пушкин знал, наверное, Бархатную книгу, изданную Н. И. Новиковым в 1787 году, но, видимо, читал ее невнимательно. Из Бархатной книги он мог бы узнать еще ряд фамилий, происшедших от Ратши, но Шерефединовых он там не нашел бы. Очевидно, он имел в виду фамилию Шафериковых-Пушкиных, пресекшуюся в XVII веке [1].

Обращает на себя внимание двукратное употребление Пушкиным имени «Рача» наряду с правильной формой «Ратша». Дело в том, что имя Рача нигде не встречается — ни в родословцах, ни в летописях, ни в других русских источниках. Возможно предположить, что «Рача» был плодом французского воспитания Пушкина. Во французском языке звука «ч» нет. Для передачи его в иностранных словах приходится употреблять три буквы — tch. Между тем имя Ратша, написанное французскими буквами — Ratcha, француз мог прочитать как Рача.

Очевидно, А. С. Пушкину было неизвестно, что личное имя Ратша, уменьшительное Ратишка, равно как и другие личные имена с окончанием «ша», в Киевской Руси и в Великом Новгороде были в большом употреблении. В летописях и в новгородских писцовых книгах XV—XVI веков мы находим множество подобных имен: Гавша — Гавриил, Кирша — Кирилл, Данша — Даниил, Павша — Павел, Перша — Порфирий (Перфилий), Прокша — Прокофий, Стенша — Стефан и т. п.[2].

Имя Ратша могло быть производным от очень распространенных у киевских, новгородских и поморских (прибалтийских) славян имен Ратислав, Ратибор, Ратмир. Наиболее вероятным Ратшей рода Пушкиных представляется имя Ратислав. Из летописей известно, что у великого князя Александра Невского был слуга Ратислав, который после смерти Александра служил его брату Ярославу и был убит в 1268 году под Раковором в большом походе новгородской рати против немцев. В некоторых списках летописей этот Ратислав называется Ратшей и Ратишкой, а иногда, по малограмотности переписчиков,— Ратьшей и Рачтшей.

Возможно, что А. С. Пушкин знал из летописей этого Ратшу-Ратишку, соратника Александра Невского (хотя и не на Невском побоище), и отождествил его с

[1] В конце XV века в Коломне упоминается Серефединов, а позже — Шерефединовы. Об известных дьяках Ивана Грозного Петре и Андрее Шерефединовых А. С. Пушкин мог знать из «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина.

[2] От многосложных имен бытовые имена образовывались иногда путем отбрасывания первого слога. Например, от имени Александр производными были: Алексаша, Саша и Саня, употребляемые нами и в настоящее время. От имени Иаков употреблялись производные: Яков, Якша, Яша, Яня, Якун, Якуня.

Ратшей родословцев, жившим лет на сто ранее Ратишки, так как не знал, что его прямым предком был витязь Александра Невского Гаврила Алексич.

Чтобы закончить наши справки из области древней ономастики, прибавлю, что сына Ратши, Якуна, нет никаких оснований выводить от скандинавского имени Гакон. Якун, Якуня — чисто славянская форма имени Иаков, очень распространенная в Киевской и Новгородской Руси, равно как Алекса есть производное от имен Александр и Алексей. Так, следует признать, что в именах предания о Ратше нет никаких следов его иноземного происхождения. Был ли Ратша выходцем, остается под вопросом, но несомненно, что он сам и его ближайшие потомки уже более ста лет жили в Новгороде и, может быть, в Киеве. В предположении, что Ратша был выходцем, нет ничего невероятного. Хорошо известно, что в дружинах первых Рюриковичей, кроме славян, были представители и других национальностей: скандинавы, ляхи, прусы — выходцы из Прибалтики, наконец, половцы и хазары. Несомненно, что некоторые приживались на новой родине, подвергались обрусению и становились родоначальниками служилых родов.

М. П. Погодин подверг тщательному исследованию свидетельства летописей о боярах и дружинниках — слугах русских князей домонгольского периода — и убедительно доказал, что служба этих лиц была нередко наследственной. Приведу один пример. Великий князь Юрий Всеволодович в 1237 году посылал против татар своего воеводу Жирослава Михайловича, сына Михаила Борисовича, служившего сначала великому князю Всеволоду (1204—1207), а затем его сыновьям Юрию и Ярославу Новгородскому (1215). Михаил был сыном Бориса Жирославича, боярина и воеводы великого князя Андрея Боголюбского (1169—1175). Борис был сыном Жирослава Иванковича, известного по летописям в продолжение двадцати пяти лет (1146—1171). Жирослав Иванкович был посадником великого князя Вячеслава Владимировича, а после бездетной смерти Вячеслава служил его брату Юрию, а затем сыну Юрия Андрею. Предками указанных лиц, весьма вероятно, были Иван Жирославич, служивший великому князю Всеволоду Ярославичу и убитый в 1078 году, и его сын Жирослав, служивший великому князю Владимиру Мономаху.

Все последующие исследования генеалогии дружинников первых русских князей вполне подтвердили взгляды Погодина, и представление о текучести и сбродном составе княжеских дружин следует считать не отвечающим действительности. Позднейшие генеалогические легенды, главным образом XVII—XVIII веков, скомпрометировали древние родословные предания, так как дворянство утратило способность их понимать и хронологическим смещением действительных исторических событий и лиц довело эти предания до нелепости. Отсюда нелепости о выездах из «Немец» или из «Пруссии», которой в XII—XVI веках еще не существовало.

Прусами в древности называлось литовское племя, жившее на восточном побережье Балтийского моря, приблизительно между устьями Вислы и Немана. В конце XV века московские книжники сочинили для прославления московских великих князей легенду о происхождении Рюрика в двенадцатом колене от Пруса, сына кесаря римского Августа, которому Август будто бы дал в обладание ту часть Прибалтики, которую древние географы считали населенной прусами. Герберштейн, посетивший Московию в первой четверти XVI века, знал уже эту легенду о Прусе, а Иван Грозный в своих сношениях с Польшей не раз заявлял о своем происхождении через Рюрика и Пруса от римских императоров.

Непосредственными соседями прусов на западе в XII веке были поморяне, поморские славяне, от которых впоследствии получила свое название завоеванная и заселенная немцами Померания. Далее на запад, по Эльбе, жили полабские славяне. В XII—XIV веках все прибалтийские славяне и прусы были завоеваны германцами. Славяне и прусы, не успевшие спастись бегством на восток, подвергались ассимиляции или беспощадному истреблению. Немецкие историографы в древности и в новейшее время, чтобы оправдать свирепое уничтожение славян и прусов, представляли их как диких, не имевших никакой культуры язычни-

ков. В действительности славяне и литовцы, подвергшиеся завоеванию крестоносных насильников, по культуре были нисколько не ниже своих соседей-немцев и других народов тех времен.

Новгородские славяне имели оживленные торговые сношения с народами Прибалтики. Свидетельством этого является существование в Великом Новгороде с древнейших времен Прусской улицы.

Если принять во внимание все вышесказанное о прибалтийских славянах и прусах, то следует признать, что генеалогические предания о выездах из «Прусов», из «Пруссии» и из «Немец», то есть из стран, которые оказались под властью немцев, когда складывались эти предания, были отзвуками реальных исторических явлений. Отзвуком тех же явлений следует считать родословное предание Пушкиных о том, что их родоначальник Ратша хотя и вышел из Пруссии, но был потомком словенских князей. Ничего невероятного в этом нет.

Отдав должную дань внимания родословным преданиям Пушкиных, можно перейти на прочную почву несомненно исторических фактов.

Глава II

ГАВРИЛА АЛЕКСИЧ, ВИТЯЗЬ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, РОДОНАЧАЛЬНИК ПУШКИНЫХ

Первым историческим лицом рода Ратши можно считать Гаврилу Алексича, витязя великого князя Александра Ярославича Невского.

Летописцы в рассказе о битве великого князя Александра Ярославича на реке Неве с полчищами шведов летом 1240 года увековечили подвиги шести дружинников Александра Невского, отличившихся в бою. Четыре витязя — Гаврила Алексич, новгородец Сбыслав Якунович, ловчий князя Яков Полочанин и Миша Прушанин (по родословным преданиям родоначальник Морозовых, Шеиных, Салтыковых, Тучковых и других боярских фамилий) — были из старшей дружины великого князя, а Савва и Ратмир были из «простых слуг», то есть из молодшей дружины. Гаврила Алексич на коне вскочил на сходни вражеского судна и был сбит в воду, но выскочил из воды, вновь налетел на неприятелей, врубился в середину вражеского полка и убил самого «епископа» и воеводу шведов: «ту убиен бысть пискуп их и воевода их».

Историческая достоверность Гаврилы Алексича и его связь с последующими поколениями рода Ратши подтверждаются записями его потомков в синодике Переяславского Горицкого монастыря. Так, в записи 1535 года Ивана Андреевича Чулкова перечислены в нисходящем порядке следующие предки вкладчика: Гаврила (Алексич), Акинф (Великой, сын Гаврилы), Иван (сын Акинфа), Андрей (Иванович), Александр (сын Андрея) по прозвищу Остей, Тимофей (сын Остея), Василий (сын Тимофея) по прозвищу Чулок, Андрей (Чулков), отец вкладчика, и т. д.

В записи Александра Упина-Слизнева предки вкладчика перечислены в обратном порядке, и запись кончается Акинфом и Гаврилой.

Записи в синодиках заслуживают полного доверия, так как к этому относились с верой и никому не могла прийти в голову мысль поминать в своих молитвах вымышленных предков.

В лице Гаврилы Алексича, Сбыслава Якуновича, Миши Прушанина и других соратников Александра Невского мы можем видеть дружинников древнейшей формации первых русских князей. Старшие дружинники, за которыми с течением времени упрочилось название бояр, были советниками князя, его боевыми товарищами, организаторами ратных сил князей и помощниками по управлению княжеством. Непосредственными слугами княжеского двора и телохранителями князя была молодшая дружина князя, из свободных «простых» людей и из рабов. В источниках они называются то «отроками» или «детскими» (позже детьми бояр-

скими), то огнищанами или чадью, как бы детьми, жившими во дворе князя, возле его княжеских теремов, на княжеском «огнище».

Клятвенная присяга, подкрепляемая крестным целованием, крепко связывала дружинника с князем. Вольные люди, поступавшие на службу князя, приносили присягу лично за себя и за своих детей и принимали обязательство служить верно князю и его детям, во всем хотеть им добра, не замышлять никакого лиха во вред князю, не сноситься с его недругами и не скрывать от князя никакого «дурна», грозящего ему со стороны. На почве таких обычаев дружинной службы связи, соединявшие дружинника с князем, нередко превращались в наследственную службу. Князь не мог обойтись без преданной ему дружины, а все жизненное благополучие дружинника зависело от прочности власти князя и от его успехов в борьбе за власть.

На многих страницах наших летописей с древнейших времен «княжие мужи» — старейшая дружина выступает как большая военная и социальная сила, без которой князья не могли обойтись и прочно владеть своей «волостью» — княжеством. Дружинники князя Игоря говорили: «А ты добудеши, и мы». А Владимир Мономах поучал своих сыновей: «Сребром и златом не имам налезти (то есть приобрести.— *С. В.*) дружины, а дружиною налезу сребро и злато, яко же дед мой и отец мой доискася дружиною сребра и злата».

Неудачи, а тем более гибель князя неизменно отражались на его слугах. Когда князь Всеволод Ольгович выгнал своего дядю Ярослава из Чернигова, он «всю дружину его посече и разграби».

Во всех сколько-нибудь значительных предприятиях князья должны были советоваться со своими боярами и вообще опираться на общественное мнение всей дружины. Летописец с неодобрением говорит о князе Владимире Галицком, что он любил выпить и «думы не любяшеть с мужми своими». Насколько опасно было для князя затеять какое-либо большое дело без согласия и поддержки бояр, можно видеть на примере из жизни князя Владимира Мстиславича Волынского, который задумал поход на своего племянника Изяслава, князя киевского, без совета с дружиной. Бояре сказали ему: «О собе еси, княже, замыслил, а не едем по тобе (то есть с тобой.— *С. В.*), мы того не ведали», то есть знать не знаем и знать не хотим. Неразумный и упрямый князь решил обойтись без старейшей дружины. Обращаясь к своим «детским», то есть к молодшей дружине, он сказал: «А се будут мои бояре» — и отправился с ними в поход, но был разбит, его отроки «детские» все перебиты, а сам он бежал в Дорогобуж (1169).

Присяга связывала дружинника, но она же, как и обычаи дружиннической службы, связывала и князя. Князь должен был быть милостивым и щедрым, справедливым покровителем и защитником своих слуг, верным своему слову так же, как дружинник своей присяге. Князь должен был блюсти и охранять «честь» своих бояр, то есть то положение, которое боярин занимал в дружине князя по своей личной службе и по заслугам своих родителей.

На этих представлениях о служебной «чести» дружинника и о долге князя блюсти «честь» своих слуг зародились и с течением времени упрочились обычаи местничества, вносившие в княжеские дружины порядок и дисциплину. Эти обычаи ограничивали произвол князя в награждении и выдвижении своих слуг и в то же время полагали известные пределы честолюбию и чрезмерной предприимчивости княжеских дружинников. Есть указания, что в древнейшие времена дружинник, заявлявший чрезмерные претензии на выдвижение и оскорблявший таким образом «честь» другого дружинника, не менее заслуженного, чем он, но более умеренного в своем честолюбии, по приговору князя и его бояр мог быть «выдан головой», то есть в полное рабство дружиннику, которого он «обесчестил» своими притязаниями.

Летописцы, воздавая похвалу князю Васильку Константиновичу Ростовскому, убитому татарами Батыя за отказ покориться ханской власти (1238), в своем похвальном слове рисовали как бы идеал князя своего времени: «Бе же Василько лицом красен, очима светел и грозен, паче меры храбор, на ловех вазнив, серд-

цем легок, до боляр ласков, а кто ему служил, и хлеб его ел, и чашу его пил, то той за любовь его никако же не можааше быти у иного князя, ни служити, излишне бо слуги своа любяше. Мужество и ум в нем живяше, правда же и истинна с ним ходиста».

Если князь был скуп и несправедлив, обижал дружинника своим жалованием и относился небрежно к «чести» своего слуги, отдавая предпочтение новым любимцам, то дружинник имел право «сложить с себя крестное целование» и «отъехать» к другому князю. Не следует, однако, представлять себе отказ дружинника от присяги и отъезд как простой бытовой факт. Подобно тому как крестьянин, желавший отказаться и перейти на новое место, к другому землевладельцу, должен был соблюсти обычные правила отказа, чтобы не оказаться в положении беглого, уклоняющегося от исполнения принятых на себя обязательств, так же и дружинник, недовольный своим князем, должен был соблюдать соответствующие обычаи. Во-первых, он должен был «бить челом» князю о своей обиде в присутствии других слуг князя. Во-вторых, он должен был найти представителя церковной власти, который признал бы его отказ от присяги уважительным и «разрешил» его от присяги и крестного целования. Недопустим был отказ во время похода, а также в тех случаях, когда князь был в плену или в отлучке, например в Орде.

И князь, со своей стороны, налагая за какую-либо провинность дружинника опалу и наказание, должен был соблюдать известные обычаи. Он должен был объявить дружиннику его вину прямо в лицо в присутствии своей старшей дружины и в своих решениях опираться на общественное мнение дружины. В опале он был волен и мог наложить любое наказание, но он был обязан дать провинившемуся слуге «исправу», то есть возможность сказать все, что он имеет, в свое оправдание. Поэтому заглазная опала, а тем более наказание считались со стороны князя поступком недопустимым и предосудительным.

Судя по истории отдельных боярских родов, случаи отъездов бояр и слуг вольных были гораздо реже, чем это представляют себе историки. Да и вообще ходячие представления о «бродячестве» древних дружинников следует признать сильно преувеличенными.

Бояре-дружинники были не только лично хорошо вооруженными и опытными воинами, но и одновременно они были организаторами и предводителями своей «чади». Они выходили в поход со своим князем во главе младших родичей и со своим «полком-дружиной» из вольных слуг, послужильцев и рабов. Военные силы русских князей, как и армии раннего средневековья Западной Европы, не знали строевой дисциплины в собственном смысле слова, как не знали и правительственной организации вооружения и продовольствия ратных сил. Каждый воин, отправляясь в поход, должен был сам позаботиться о своем вооружении и о продовольствии в походе. Порядок и дисциплина в походе и боях поддерживались личными связями боярина-дружинника с его «чадью», слугами и послужильцами и личной же связью боярина со своим князем.

Поскольку дружинник жил во дворе князя, он «ел его хлеб и пил его чашу», получая иногда в подарок от князя коня, оружие, «порты», то есть платье, и т. п. Но основу существования и благополучия дружинника составляли военная добыча и кормления при исполнении различных должностей в управлении княжеством и в хозяйстве княжеском.

Несомненно, что дружинники, «княжие мужи» разных чинов, с незапамятных времен владели иногда «селами», то есть землей, но их хозяйство в селах сводилось главным образом к использованию природных богатств — рыбных и бобровых ловель, пушного зверя, бортных угодий, где водились в изобилии пчелы, и изредка — соляных варниц. Земледелие в собственном смысле слова играло в их хозяйстве небольшую роль и было рассчитано не на сбыт, а на удовлетворение личных потребностей дружинника, его чад и домочадцев.

Хозяйство велось главным образом при помощи рабов, без значительных затрат самого землевладельца. Если на земле дружинника сидели его слуги и различные зависимые люди, то они вели личное хозяйство на свой страх и риск, а за

пользование землей, защиту и покровительство землевладельца-дружинника несли различные службы и платили своему «государю» различные натуральные доходы.

Получал ли дружинник землю от князя или приобретал на свои средства, он легко мог развернуть хозяйство описанного выше склада, без особого риска мог оставлять его на долгое время без присмотра и так же легко мог свернуть свое хозяйство и бросить землю, захватив с собой все наиболее ценное — рабов, скот, незатейливый инвентарь и запасы различных продуктов.

В общем, можно сказать, что дружинники древнейшей формации были связаны со своими князьями не своими землевладельческими интересами, а присягой и личными связями с князем. При переходе князя с одного стола на другой и из города в город дружинники обыкновенно следовали за ним, а после смерти князя служили в большинстве случаев его сыновьям или, при отсутствии сыновей, его младшим братьям.

Глава III

ПЕРЕХОД РАТШИЧЕЙ НА СЛУЖБУ К МОСКОВСКИМ КНЯЗЬЯМ И БОЯРСТВО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО

После смерти великого князя Александра Невского (1263) сыновья Гаврилы Алексича, как было в обычае у настоящих дружинников, стали служить его сыновьям. В начале XIV века мы находим их на службе у Андрея Александровича, третьего сына Александра Невского. Андрей Александрович получил великое княжение в 1294 году и прозывался Городецким, так как большую часть своей жизни прожил в своем уделе, в Городце на Волге, где и был погребен в 1304 году. Андрей Городецкий не оставил мужского потомства, и после его смерти возник вопрос, кому быть великим князем. Старшим в роде был князь Михаил Ярославич Тверской, племянник Александра Невского, но у него оспаривал великое княжение Юрий Данилович Московский, старший племянник Андрея Городецкого.

В связи со спором князей о великом княжении стал вопрос и о Переяславле Залесском, стольном городе Александра Невского. Переяславль после смерти Александра Невского достался его старшему сыну — великому князю Дмитрию, а после смерти Дмитрия (1294) был за его сыном Иваном. Иван Дмитриевич, умирая бездетным (1302), отдал Переяславль своему дяде Даниилу Александровичу Московскому. Законность этого распоряжения была весьма сомнительной и спорной, но Даниил Александрович, а после его смерти его сын Юрий Московский «засели», то есть заняли, Переяславль и присоединили его к великому княжению.

Итак, в 1304 году Михаил Тверской и Юрий Московский «сперлись» о великом княжении и отправились для разрешения своего спора в Орду. Юрий, уезжая в Орду, посадил в Переяславле своего младшего брата, Ивана Калиту. Княжеские бояре в силу присяги, обязывавшей их всегда и во всем «добра хотеть» своему князю и его детям, принимали деятельное участие в спорах и междоусобиях князей из-за столов. Летописи сообщают, что в связи с распрей Михаила Тверского и Юрия Московского «бысть замятна в Суздальстей земле во всех градех». В Костроме было убито несколько бояр. В этом же мятеже был убит Александр Зерно, сын которого, Дмитрий, впоследствии выехал служить в Москву и стал родоначальником боярских фамилий Сабуровых, Годуновых и Вельяминовых-Зерновых. В Нижнем Новгороде в кровавых схватках приняли участие «вечники», то есть все население, за что князь Михаил Тверской, вернувшись из Орды, перебил зачинщиков веча.

Бояре князя Андрея Городецкого, умершего бездетным, остались без государя и решили принять сторону Михаила Тверского. Летописи непосредственно после сообщения о смерти Андрея Городецкого, не находя нужным объяснять связь событий, говорят: «Болярин же его Акинф и с чады своими и прочие бояре идоша во Тверь ко князю Михаилу Ярославичю, братаничю Александрову». Затем после рассказа о поездке князей в Орду летописец сообщает: «И тогда

усмотрив си время, болярин тверский, именем Акинф, хотя сотворити угодное князю своему, прииде со многими воиньствы на великого князя Ивана Даниловича, седящу ему тогда на великом княжении во граде Переяславли». Некоторые летописцы поясняют, что Акинф Великой хотел «вверитися и угодное сътворити князю своему», то есть заслужить доверие и милость нового господина.

Так, Акинф Великой на свой страх и риск задумал «засесть» Переяславль и захватить в плен Ивана Даниловича. Переяславль не был подготовлен к обороне, Иван Калита не успел собрать ратных людей и хотел уехать в Москву, но переяславцы не пустили его и решили отсидеться в осаде, «к тому же приспела и московская рать, и бишася зело крепко». О бое под Переяславлем летописи рассказывают коротко, что тверская рать была разбита, сам Акинф и его зять Давид были убиты, а сыновья Акинфа Иван и Федор спаслись бегством в Тверь. Родословное предание Квашниных прибавляет несколько интересных подробностей. На выручку князя Ивана Даниловича приспел «с своим полком» Родион Нестерович Рябец (родоначальник Квашниных). Акинф Великой с тверской ратью уже три дня стоял под Переяславлем, подготовляя приступ. Родион послал сквозь тверские полки своих двух слуг, Сарыча и Свербея, с известием о своем приходе. Князь Иван Данилович в ту же ночь вернул Сарыча с ответом, «а Свербия у себя оставил для веры, потому что Окинфова дочь была за Иваном Родионовичем». По сговору осажденные сделали вылазку, а Родион ударил в тыл тверской рати. Тверичи были разбиты наголову, причем Родион лично убил Акинфа.

Выезд сыновей Акинфа Великого и других Ратшичей в Москву, как и бой под Переяславлем, связан с последующими этапами борьбы тверских князей с московскими за великое княжение. Юрий Данилович щедро «умздил» в Орде хана, его жен и вельмож, но ярлык на великое княжение все-таки получил Михаил Тверской. Юрий Московский, продолжая хлопотать в Орде о великом княжении, в 1314 году женился на Кончаке, сестре хана Узбека, роздал «дары многие», но ничто не помогло, и Михаил сидел на великом княжении до своей смерти в 1318 году. Только после смерти князя Михаила Юрий Московский стал великим князем. Но в 1323 году тверские князья опять получили ярлык на великое княжение. После смерти князя Юрия борьбу продолжал его брат Иван Калита и наконец в 1328 году получил в Орде ярлык на половину великого княжения, а в 1332 году новый ярлык — на все великое княжение.

Тверские князья продолжали бороться, но в 1338 году понесли тяжелое поражение — по приказу хана в Орде были убиты тверские князья Александр Михайлович и его сын Федор. Иван Калита использовал это, чтобы нанести тверичам сугубое унижение — «взял изо Твери колокол от церкви святого Спаса (соборного храма.— *С. В.*) на Москву». Смерть князя Александра и его сына освобождала от присяги тверских служилых людей, дело тверских князей казалось им безнадежно проигранным, и к этому именно времени относится немотивированное сообщение летописей о выезде многих тверских бояр в Москву.

В числе выехавших в Москву бояр были и Ратшичи, всем родом, как это было тогда в обычае, то есть сыновья Акинфа и его брата Ивана Морхини с чадами и домочадцами, со своими дружинами слуг, послужильцев и рабов. Уже в 1339 году мы видим на службе в Москве двух представителей рода. По приказу хана великий князь Иван Данилович отпустил с ханским послом Товлубием к Смоленску своих воевод — Александра Ивановича Морхинина и Федора Акинфовича, который в 1304 году бежал из-под Переяславля. А в 1349 году упоминается в Москве и другой сын Акинфа, Иван, которого великий князь Симеон Гордый посылал со своею ратью на Великий Новгород.

Внуки Гаврилы Алексича выехали в Москву «всем родом», с чадами и домочадцами, с многочисленными слугами, послужильцами и челядью, и заняли в среде московского боярства высокое положение. Очевидно, они принесли с собой большое богатство в виде хорошего оружия, платья, лошадей, домашнего скота и рабов.

У Александра Ивановича Морхинина по родословцам было пять сыновей, причем потомство показано только у Григория Пушки. В действительности от Владимира Холопища пошла фамилия Холопищевых, от Давида Казарина пошли Гавриловы, от Федора Неведомицы — Неведомицыны. Молчание родословцев о потомстве этих сыновей Александра Морхинина объясняется тем, что эти фамилии с течением времени захудали, выбыли из среды «родословных» людей и в середине XVI века, когда составлялся Государев родословец, не подали росписей своих родов.

Григорий Александрович Морхинин получил в Москве прозвище Пушка. В середине XIV века в Москву стали проникать сведения об изобретении огнестрельного оружия, для определения которого на основе русских корней «пыл» и «пых» было образовано новое слово «пушка». Оправдывалось ли какими-либо личными чертами характера Григория Морхинина применение к нему прозвища Пушка, сказать невозможно, так как прозвища нередко давали с детства и без всякой связи с личными качествами человека[1].

О службе Григория Александровича Пушки ничего не известно. Относительно же его потомства следует заметить, что оно в XV—XVI веках отличалось, по сравнению с потомством Акинфа Великого и множества других боярских родов, совершенно исключительной плодовитостью. В XVII и XVIII веках плодовитость Пушкиных разных фамилий значительно падает. Этот несомненный факт заслуживает, как мне представляется, специального исследования. С чисто исторической точки зрения об этом следовало упомянуть, так как чрезмерно успешным размножением Пушкиных в XV веке объясняется их служебное и социальное снижение. Обладая первоначально большими, несомненно, вотчинами, Пушкины дробили их постоянно в семейных разделах, мельчали и спускались в слои рядовых служилых землевладельцев. Что Григорий Пушка был незаурядным служилым человеком, с несомненностью можно заключить из того, что его отец был воеводой и, может быть, даже боярином, а четвертый сын, Федор Товарко, был впоследствии в боярах.

Потомки Акинфа Великого заняли на московской службе неизмеримо более высокое положение, чем Пушкины. Отчасти это объясняется, вероятно, тем, что сам Акинф был значительнее своего старшего брата Ивана Морхини, но, несомненно, большое значение имело и то, что Акинфовичи размножались гораздо умереннее Пушкиных.

Федор Акинфович, в молодости бежавший (в 1304 году) из-под Переяславля и в 1339 году бывший воеводой Ивана Калиты, умер бездетным, вероятно, во время одного из моровых поветрий середины XIV века. Его брат Иван Акинфович в середине века был в боярах. В Харатейном (пергаментном) списке синодика Успенского собора он записан среди самых крупных бояр XIV века.

Из четырех сыновей Ивана Акинфовича самым замечательным был старший — Андрей. Младший сын, Михаил Иванович, в молодости пал на Куликовом поле смертью храбрых и не оставил потомства. От второго сына, Владимира, пошли фамилии Замытских и Застолбских. Замытские получили свое фамильное прозвище от Замытского стана Переяславского уезда, где у них были большие вотчины, а Застолбские прозывались по селу Застолбью во Владимирском уезде.

[1] Нет сомнения, что иногда прозвища бывали меткой характеристикой лица. Таковы, например, прозвища Хромой, Криворот, Косой, Шадра (рябой от оспы), Свибло (шепелявый, косноязычный), Возгра и Возгривая Рожа (сопливая).

В XVII веке один из Бутурлиных имел прозвище Очунная Рожа, вероятно, потому, что у него на лице было застывшее выражение глупого изумления. Но несомненно, что в большинстве случаев прозвища давали без всякой связи с личными качествами лица, по каким-то другим соображениям. Так, в роде потомков смоленских князей Фоминских в XV веке в четырех поколениях употреблялись ботанические прозвища: Трава (от него — Травины), Осока, Пырей, Щавей, Дятелина, Вязель (полевой горох) и т. п. Один из рабов Травиных носил прозвище Отрасль, а его сын — Ветка Отраслев. В роде Линевых в XV—XVI веках были в ходу рыбьи прозвища: Сом, Окунь, Ерш, Карась и т. п. В роде Тыртовых в XVI веке были в употреблении звуковые прозвища: Зук (Звук), Шум, Гам и Крик.

Эта линия рода вымерла в XVI веке. Наконец, третий сын, Роман, по весьма вероятному показанию генеалогических источников, был великокняжеским боярином. Он носил прозвище Каменский, по вотчине на реке Каменке в Каменском стану Бежецкого уезда. От него пошли фамилии Каменских, Курицыных и Волковых-Курицыных. Все эти фамилии в XV веке были вытеснены из рядов великокняжеского боярства и дали большое количество рядовых служилых людей великих княгинь и удельных князей, а позже опустились еще ниже — в ряды городовых детей боярских.

Исторически самым значительным было потомство старшего брата — Андрея Ивановича Акинфова. Пятеро его сыновей, а может быть, и все шесть, были боярами великих князей Дмитрия Донского и Василия Дмитриевича.

Старший сын боярина Андрея Ивановича — Федор Свибло (свиблой, швиблой — шепелявый, косноязычный) — в 1366—1367 годах, будучи молодым человеком, принимал участие в спешной постройке первых каменных укреплений Московского Кремля и оставил по себе память до наших дней в названии одной из башен кремлевских стен [1]. Большое историческое значение этого предприятия Дмитрия Донского не только для самой Москвы, но и для всего Московского княжения сказалось в следующем же 1368 году, когда великий князь литовский Ольгерд произвел внезапный набег на Московское княжение и должен был отступить перед неожиданно для него воздвигнутыми укреплениями Москвы. В 1377 году Федор Свибло был воеводой в походе на Мордовскую землю. Из таких походов воеводы возвращались, по выражению летописцев, «с великой корыстью», то есть с большой добычей.

Во время похода Дмитрия Донского против Мамая Федор Свибло был оставлен в Москве для охраны столицы и путей сообщения с Москвой вышедших в поход полков.

В 1384 году Федор Свибло во главе нескольких бояр ездил в Великий Новгород за «черным бором», данью Орде, которую московский великий князь за своей ответственностью уплачивал за все великое княжение, а затем взыскивал по разверстке с Новгорода и удельных княжеств их доли. Господин Великий Новгород платил «черный бор» неохотно, с задержками и постоянными пререканиями. Поэтому поездки за «черным бором» были делом ответственным, подчас не совсем безопасным, и поручались обычно самым выдающимся боярам. И на этот раз у московских послов произошло какое-то столкновение с новгородцами, о котором летописи говорят неясно. Новгородцы выехали на Городище тягаться с боярами, спор перешел в свалку, и «свиблова чадь», то есть дружина, бежала в Москву, «исправы не учинив», а иные остались с боярами добирать «черный бор».

В 1389 году Федор Свибло в числе самых близких к великому князю Дмитрию Донскому бояр был свидетелем его духовного завещания. После смерти Дмитрия Донского Свибло упоминается в числе великокняжеских бояр, производивших мену землями великого князя Василия Дмитриевича с митрополитом Киприаном. В самом конце XIV или в начале XV века Федор Свибло по неизвестной причине подвергся опале, и все его вотчины и имущество были конфискованы.

Второй сын, Иван Андреевич Хромой, был выдающимся боярином Дмитрия Донского и его сына. Подпись Ивана Хромого на духовной грамоте Дмитрия Донского говорит о его близости к великому князю. Иван Хромой женился на дочери боярина Дмитрия Александровича Монастырева и получил в приданое большую вотчину на Белоозере — волость Старую Ергу (ныне село Ерга-Воскресенское), которая находилась в роду Хромого около двухсот лет. В потомстве Ивана Хромого никогда не бывало более двух человек в колене, и его потомки были так «велики» и всем хорошо известны, что в различных актах назывались по имени и отчеству и не пользовались никаким фамильным прозвищем.

Третий сын, Александр Андреевич Остей, получил боярство в конце княжения

---

[1] Свиблова, или Водовзводная (угловая башня от Боровицких ворот к реке Москве).

Дмитрия Донского. В 1385 году он был наместником в Коломне, где был захвачен в плен великим князем Олегом Рязанским. Вскоре, однако, он был освобожден из плена и в 1389 году со своими старшими братьями был свидетелем духовной Дмитрия Донского. В последний раз Остей упоминается в 1416 году как боярин на суде великого князя Василия Дмитриевича. От Александра Остея пошли боярские фамилии Чеботовых, Чулковых и Жулебиных.

Следующие сыновья Андрея Ивановича появляются на исторической сцене при великом князе Василии Дмитриевиче. Перечислю происшедшие от них фамилии. От Ивана Бутурли пошла самая плодовитая и долговечная боярская фамилия — Бутурлиных; от Андрея Слизня пошли фамилии Мятлевых, Булгаковых, Слизневых; наконец, от младшего сына, Михаила Андреевича, пошла фамилия Челядниных, которые более ста лет находились в первых рядах московского боярства.

Так, можно сказать, что Акинфовичи с первых же шагов службы в Москве заняли очень высокое положение, а сыновья Андрея Ивановича начиная с княжения Дмитрия Донского вошли в среду московского боярства целой фалангой, оттесняя на вторые места старые московские роды.

Гаврила Алексич и Акинф Великой были представителями той древней формации княжеских слуг, которая сложилась при первых Рюриковичах, когда Северо-Восточная Русь не имела еще ни общепризнанного политического центра, ни единого наследственного государя-правителя. Во второй четверти XIV века в упорной борьбе суздальских, московских и тверских князей ясно намечается перевес Москвы. В четвертом десятилетии века, когда Иван Калита получил великое княжение, на службу в Москву приходят крупнейшие представители великокняжеского боярства: Андрей Иванович Кобыла, потомки Миши Прушанина во главе с Иваном Семеновичем Морозом, Дмитрий Александрович Зерно, родоначальник Сабуровых и Годуновых, и другие. Около 1338 года в Москву выезжают многие тверские бояре, и в том числе Ратшичи, всем родом. Во второй половине XIV века тверские и суздальские князья пытаются еще продолжать борьбу, но перевес Москвы становится несомненным. Так, в какие-нибудь 25—30 лет со дня смерти Ивана Калиты (1341) в Москву собираются все элементы старого великокняжеского боярства и образуют крепкое ядро правящей верхушки будущего Московского государства.

Притягательная сила Москвы как организующего центра была так велика, что в это же время в нее стекается множество выходцев из-за рубежей. Спасаясь от засилья Литвы, пришли, в разное время, смоленские княжата — Фоминские, Березуйские, Ржевские, Дмитрий и Владимир Александровичи Всеволожи и другие. Спасаясь от Литвы же и от татар, приходили княжата и бояре с Волыни и из Чернигово-Северской земли: Дмитрий Михайлович Боброк Волынский, Иван Федорович Шонур Козельский, брянские бояре Пересвет и Ослябя, киевский боярин Родион Нестерович и другие. Междоусобия в Литве сыновей Ольгерда привели в Москву Дмитрия Ольгердовича Брянского и Андрея Ольгердовича Полоцкого.

От татар бежали в Москву измельчавшие потомки муромских князей. Наступивший в Золотой орде после смерти хана Узбека (1353) длительный период дворцовых переворотов выбрасывал из Орды в разные стороны татарских царевичей и мурз, потерпевших поражение в борьбе. Так, приехал в Москву и крестился царевич Серкиз, от которого пошла боярская фамилия Старковых. Остался в Москве ханский посол Албуга, приехавший из Орды с Дмитрием Донским, и стал родоначальником фамилии Мячковых.

Великий князь Дмитрий Иванович, как говорит английская поговорка, был надлежащим человеком на своем месте, то есть именно таким человеком, который был нужен в свое время на месте государя-правителя.

Дмитрий остался после смерти отца мальчиком и был воспитан московским боярством в традициях дружинных товарищеских отношений князя к своим слугам. Рослый, дородный, всегда уравновешенный и спокойный, бесхитростный,

но в то же время осмотрительный и осторожный, Дмитрий всем внушал доверие, умел принять пришельцев, пожаловать каждого по достоинству, не обижая старых слуг, расставить старых и новых слуг по своим местам и заставить всех служить общерусскому делу.

В первом открытом столкновении Руси с татарами, в бою на реке Воже в 1378 году, во главе московских полков пошел, разбил татар и сам был убит недавний выходец из Смоленска Дмитрий Александрович Монастырев. Через два года Русь сделала героическую попытку сбросить ненавистное татарское иго. Дмитрий Донской объединил на Куликовом поле почти всю Северо-Восточную Русь и поставил в бою с Мамаем плечом к плечу своих старых слуг и множество выходцев из-за рубежей.

Смоленские княжата Дмитрий и Владимир Всеволожи сражались во главе передового полка. Во главе Коломенского и Переяславского полков сражался и был убит сын ордынского царевича Андрей Иванович Серкизов. Дмитрий и Андрей Ольгердовичи, братья великого князя литовского Ягайла, союзника Мамая, были воеводами засадного полка. Дмитрий Михайлович Боброк Волынский, воевода того же засадного полка, своевременным выступлением решил исход боя. Родион Ржевский и выходец из Литвы Семен Мелик перед боем произвели глубокую разведку движения татар в степях, а Семен Мелик после этого принял участие в бою и пал на Куликовом поле смертью храбрых.

На помощь Дмитрию пришли княжата — белозерские, ярославские, ростовские, Иван Всеволодович Холмский, тарусские и оболенские князья.

Много надо было такта, выдержки и упорства, чтобы объединить столь разнородные элементы, сорганизовать их и достигнуть победы над страшным врагом, казавшимся всем непобедимым.

Основное ядро боярства Дмитрия Донского состояло из небольшого сравнительно числа родов, не успевших еще разбиться на множество фамилий, как это произошло позже. Это ядро, состоявшее приблизительно из 25—30 родов, было правящей верхушкой Московского великого княжения, организатором его военных сил и источником кадров помощников Дмитрия Донского по управлению его хозяйством.

Виднейшие представители этих родов были все наперечет лично известны князю, знали друг друга, а многие из них были связаны между собой и с великокняжеским домом узами родства.

Дмитрий Донской и его любимый боярин Микула Васильевич Вельяминов, убитый на Куликовом поле, были женаты на родных сестрах, дочерях князя Константина Дмитриевича Суздальского. Дмитрий Михайлович Боброк Волынский при выезде в Москву женился на сестре Дмитрия Донского. Дочь Микулы Вельяминова была замужем за боярином Иваном Дмитриевичем Всеволожем, а дочь Ивана Всеволожа вышла замуж за князя Андрея Владимировича Радонежского. Старший брат последнего был женат на Марье Голтяевой Кошкиной (Кобылиной). Сын Дмитрия Донского Петр Дмитровский женился на дочери Полиевкта Вельяминова, младшего брата Микулы, свояка великого князя. Боярин Михаил Иванович Морозов по своей жене приходился шурином Микуле и Полиевкту Вельяминовым.

Родственные сплетения боярских родов между собой хорошо характеризуются браками пяти дочерей Дмитрия Александровича Монастырева. Не имея сыновей, он мог дать хорошее приданое своим дочерям и выдал из них замуж одну за боярина Ивана Андреевича Хромого, другую — за боярина Александра Андреевича Белеута, третью — за воеводу Дмитрия Донского Ивана Чепечку, четвертую — за героя Куликовской битвы Семена Мелика, наконец пятую — за Ивана Толбугу, потомка смоленских княжат, родоначальника Толбузиных.

Летописный рассказ о смерти Дмитрия Донского прекрасно обрисовывает взаимные отношения Дмитрия и его бояр. Особая «Повесть о житии и преставлении великого князя Дмитрия» подробно излагает его предсмертные заветы. Обращаясь к сыновьям, Дмитрий говорил: «И боляры своя любите, честь им достойную

воздавайте противу служению их, без совета их ничьто же не творите». Боярам Дмитрий говорил: вы знаете мой нрав и обычай, при вас я родился и вырос, с вами царствовал и держал свою вотчину, великое княжение, «мужествовах с вами на многи страны», вами был страшен в бранях врагам, вами поражал и покорял врагов, и великое княжение «вельми укрепих», великую честь и любовь имел к вам, «под вами грады держах и великия власти», детей ваших любил и никому из вас не сделал зла, никому не досадил, никого не обесчестил, но всех любил и держал в великой чести, радовался с вами и скорбел,— вы были у меня не боярами, а князьями моей земли. В заключение Дмитрий напоминал боярам их присягу наследственно служить его детям, не щадя своих голов.

Глава IV

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ ПОТОМКОВ ГАВРИЛЫ АЛЕКСИЧА В УЕЗДАХ МОСКОВСКОГО КНЯЖЕНИЯ И ВЛАДЕНИЯ ПУШКИНЫХ В ПОДМОСКОВЬЕ

Во второй половине XIV века великокняжеская власть московских государей неуклонно растет и крепнет, и Москва приобретает значение общепризнанного политического центра Северо-Восточной Руси. Бояре и слуги вольные московских князей почувствовали под собой твердую почву и стали прочно оседать на землю, расчищать первозданные дремучие леса и расширять земледельческое хозяйство. Экономические факторы этого важного процесса скрыты от нашего наблюдения полным отсутствием соответствующих памятников письменности. Судить об этом мы можем только по косвенным признакам.

В попытках осветить хоть сколько-нибудь эти важные и сложные явления мы должны указать в первую очередь два фактора.

Покорение Руси монголами более чем на два столетия остановило расселение славян в восточном и юго-восточном направлениях. Среднее и нижнее течение Оки надолго стало пределом, за которым мирный труд земледельца подвергался постоянной опасности разорения со стороны кочевников. С середины XIV века начинается распад Золотой орды, и после образования Крымского, Казанского и Астраханского самостоятельных ханств положение южных и восточных окраин еще более ухудшается.

Под постоянной угрозой разорения население отливало на запад, в междуречье Оки—Волги.

Это обстоятельство в значительной мере способствовало усилению Москвы и Твери. Скопившееся в междуречье Оки—Волги население стало заселять обойденные первыми поселенцами дремучие леса на водоразделах рек. Есть множество указаний, что вторая половина XIV века и почти весь XV век были временем наиболее интенсивного истребления лесов в средней полосе Руси. Признав это, мы подходим ко второму очень важному фактору, обусловившему развитие земледельческих промыслов. Расчистка и истребление лесов сопровождались истощением природных богатств. Такой ценный пушной зверь, как бобер, в Подмосковье был истреблен уже в конце XIV века. По мере истребления лесов иссякали и другие природные богатства. Большие бортные леса, окружавшие стены Кремля и московского посада в XIV веке, через столетие отодвигаются на сотни верст от Москвы.

Тот же процесс усиленной расчистки лесов и истребления природных богатств мы можем наблюдать и вокруг других крупных городов Руси.

Князья, чтобы привлечь к себе людей, на первых порах щедро раздавали им землю, всяческими льготами поощряли заселение пустых земель, которых в XIV веке в Московском княжестве было много. Нет сомнения, что бояре и слуги вольные приобретали землю и на свои средства, поселяли на ней крестьян и заводили хозяйство.

Бояре и слуги вольные наряду с самими князьями и с монастырями принимали деятельное участие в этом внутреннем заселении Руси. Так, приблизительно с середины XIV века тип старого дружинника-воина стал перерождаться и начала складываться новая формация господствующего класса. Воин прочно садится на землю, заводит на ней хозяйство и тесно связывает свои интересы с владением землей и становится сельским хозяином.

Наши сведения о древнем боярском землевладении очень скудны, их приходится собирать с большим трудом, по крупицам, в самых разнообразных источниках. Однако и то сравнительно немногое, что удается сделать, дает весьма выразительную картину.

Ратшичи, как один из очень значительных боярских родов, оставили по себе довольно много следов в различных актах и в названиях существующих и исчезнувших селений. Не буду делать ссылок на многочисленные источники, что потребовало бы много места, так как это в значительной мере представляет специальный интерес. О землевладении потомков Гаврилы Алексича до перехода их на службу в Москву мы, к сожалению, ничего не знаем. Все известные нам владения приобретены на службе в Москве во второй половине XIV века и позже.

Сыновья боярина Андрея Ивановича Акинфова, жившего в середине XIV века, представляются людьми очень богатыми и, как тогда говорили, многовотчинными.

О вотчинах Федора Андреевича Свибла, конфискованных у него в опале в конце XIV века или в самом начале XV века, мы узнаем из духовных грамот великого князя Василия Дмитриевича. Под Москвой ему принадлежали села Буйловское и Тимофеевское с мельницей на реке Яузе. Местонахождение села Буйловского неизвестно. А Тимофеевское на Яузе — это существующее ныне на окраине города Москвы село Свиблово. В уезде Переяславля Залесского ему принадлежали села Весьское и Родионовское, недалеко от Переяславского озера. В уезде Юрьева Польского упоминаются села Федора Свибла: Чагино, Савельевское, Иворово и Карабузино. В Бежецком уезде (впоследствии — Тверской губернии) ему принадлежали села Максимовское и Алабузино. Чтобы обеспечить себя и свое хозяйство рыбой, он приобрел в Новгороде село Непейцыно, в Нижегородском уезде — села Алагинское и Мангач. Затем Федору Свиблу принадлежало несколько сел в Ростове, на Вологде — в Отводном стану и в Сямской волости (на запад от Кубенского озера) и в далекой Устюжской земле,— «и все села Свибловские Федоровские», прибавляет духовная, не указывая их поименно.

У Ивана Андреевича Хромого, жившего во второй половине XIV века, известны следующие владения. Женившись на дочери боярина Дмитрия Александровича Монастырева, потомка смоленских княжат, он получил в приданое на Белоозере целую волость — Старую Ергу, Воскресенское тож, с небольшим вотчинным монастырьком и рыбными ловлями в реке Шексне. Это крупное владение принадлежало потомкам Ивана Хромого около двухсот лет и перешло Кириллову Белозерскому и Новоспасскому Московскому монастырям после казни в опричнине в 1567 году последнего представителя рода Ивана Хромого — боярина Ивана Петровича Федорова.

В роде Ивана Хромого известны еще следующие старые владения: в Коломенском уезде — Кишкино-Челяднино и Мартиновское, существующее ныне; в Калуге — Губин угол; в Бежецком уезде — села Ивановское Большое и Ивановское Меньшое; в Звенигороде — Салославль, позже Салослово.

У третьего сына Андрея Ивановича, у Александра Остея, известно несколько владений под Москвой и в старых уездах Московского великого княжения. Самым древним владением можно признать село Жулебино в десяти километрах на восток от Москвы и смежное с ним село Остеево, ныне не существующее, но известное нам по писцовым книгам XVI века. Очевидно, здесь в конце XIV века была большая вотчина Александра Остея, часть которой досталась его внуку Андрею, носившему прозвище Жулеба. Другое Остеево находится в тридцати километрах от Переяславля Залесского, в уезде которого нам по актам известны села Русано-

во и Новоселка, принадлежавшие Василию Тимофеевичу Чулку Остееву. В Нерехотской волости Костромского уезда, в бассейне реки Солоницы, Остею и его внуку Андрею Хрулю принадлежало село Тетеринское, которое он дал Горицкому Переяславскому монастырю во второй половине XV века. Следует отметить еще Хрулево в тринадцати километрах от Волоколамска и Чулково в восемнадцати километрах от Бронниц.

У четвертого сына, Ивана Андреевича Бутурли, и его потомков известны по актам XV века следующие владения: село Спасское в Арбужевеси Пошехонского уезда, которое его вдова Евфросинья продала в середине XV века митрополичьему дому; в Углицком уезде село Воздвиженское на реке Пукше, в тридцатых годах XV века было дано Троицкому монастырю сыном Ивана Бутурли иноком Геннадием.

Затем, в XV веке известны владения Бутурлиных в Радонеже и в Бохове стану (бассейн рек Учи и Вязи), где упоминается не существующее ныне село Старое Бутурлино, и, наконец, существующее ныне село Бутурлино в четырех километрах от Серпухова.

У потомков пятого сына боярина Андрея Ивановича Акинфова, у Андрея Слизня, были значительные владения вокруг Переяславского озера: села Нила и Бубеково и деревни Якимова и Рябинки. В Звенигороде известно принадлежавшее им селение Белкино, а в Бежецком уезде — сельцо Семково в нескольких километрах от города Городецка (позже и ныне Бежецка).

Наконец, Челядниным принадлежало в XV веке несколько очень древних и весьма крупных владений, быть может, XIV века, в южной части Ростовского княжества и за рекой Нерлью в северных станах Переяславского уезда: в Ростове, в бассейне реки Сары,— села Первятино и Новотроицкое с несколькими участками земли в соседней слободе Карашской; в Переяславле и Юрьеве — села Загорье, Маурино и другие. В середине XV века великий князь Василий Темный «пожаловал в куплю», то есть продал, Федору Михайловичу Челядне в Бежецке село Максимовское, конфискованное в опале у его дяди Федора Свибла.

Потомство Григория Пушки по своему служебному положению, как будет показано в следующей главе, было значительно ниже потомков Акинфа Великого. И в землевладении Пушкиных не было того широкого географического размаха, который мы видели у «многовотчинных» и могущественных боярских фамилий, происшедших от Акинфа Великого. Для Пушкиных характерно то, что в первых поколениях они держатся Подмосковья и уездов Московского княжения в его первоначальных пределах. И лишь с конца XV века, размножаясь и разбиваясь на несколько фамилий, Пушкины начинают приобретать поместья и вотчины в более отдаленных от Москвы уездах. Замечательно, что, расширяя с течением времени владения, Пушкины продолжают сохранять тесные связи с Москвой и Подмосковьем — с древнейших времен и почти до Александра Сергеевича. Недостаток памятников письменности для истории землевладения Пушкиных за первые два столетия можно восполнить данными топонимики, то есть сведениями о происхождении названий существующих ныне селений. Дело в том, что, по приблизительным вычислениям, не менее двух третей селений Московской области получили свои названия от имен и прозвищ бывших владельцев. А у потомков Григория Пушки, если говорить только о первых трех поколениях, живших в XV веке, были такие прозвища, которые неизвестны ни в одной другой дворянской фамилии.

В первой половине XV века жили третий сын Григория Пушки Василий Улита и четвертый сын Федор Товарко, в середине века жил Михаил Никитич Рожон, внук Григория Пушки, а во второй половине того же века жили Михаил Муса и Иван Кологрив Тимофеевичи Улитины и внук Федора Товарка Иван Борисович Бужар (иногда Бужур).

После этих предварительных замечаний вернемся к названиям древнейших селений первоначальной территории Московского княжества, совпадающей в большей части с современной Московской областью.

С прозвищем Григория Александровича Пушки связано девять селений. Весьма возможно, что некоторые из них более позднего происхождения, то есть получили свои названия не от Григория Пушки, а от кого-либо из его потомков. Тем не менее этот факт представляется весьма показательным.

Наиболее интересным является хорошо известное москвичам Пушкино на реке Уче, в двадцати пяти километрах от Москвы по Ярославской железной дороге. По актам известно, что в конце XV века оно принадлежало как «старинное» владение митрополитам всея Руси, а после учреждения патриаршества стало домовой вотчиной патриархов. Как и когда оно досталось митрополичьему дому, неизвестно. Возможно, что оно было приобретено в третьей четверти XIV века митрополитом Алексеем непосредственно у Григория Пушки, но не исключена возможность, что оно было отчуждено кем-либо из многочисленных потомков Григория Пушки в XV веке.

Укажем затем три селения Пушкино в бывшем Бронницком уезде, из которых одно находится в трех километрах от города. В бывшем Московском уезде в двадцати километрах от Москвы находится Пушкино-Андриановское. Еще Пушкино мы находим в пятнадцати километрах от Богородска и еще одно — в двадцати шести километрах от Подольска. Наконец, два селения Пушкино находятся в бывшем Верейском уезде.

С прозвищем Василия Григорьевича Улиты связано селение Улитино в бывшем Волоколамском уезде, а с прозвищем его брата боярина Федора Товарка — деревня Товаркова в десяти километрах от Рузы.

Михаил Рожон Пушкин оставил о себе память в двух селениях — в Рожнове на реке Десне в двадцати пяти километрах от Подольска и деревне Рожнове в бассейне реки Истры. Последняя была частью большого владения Пушкиных, которое, дробясь между сонаследниками, перешло частью в младшую линию рода Пушкиных. Село Синево-Семеновское и Мушков погост принадлежали еще деду Александра Сергеевича. Деревня Рожнова в XVI веке была дана Чудову монастырю, а затем выкуплена у монастыря думным дворянином Гаврилой Григорьевичем, увековеченным А. С. Пушкиным в «Борисе Годунове».

С прозвищем Михаила Мусы связана деревня Мусина в девятнадцати километрах от Волоколамска, впоследствии вошедшая в состав владения Ярополец, в пушкинское время принадлежавшего Гончаровым.

Наконец, с прозвищем Ивана Борисовича Бужара (иногда Бужура) Товаркова связано село Бужарово в нижнем течении реки Истры, о котором известно, что в 1512 году оно было продано Ириной Товарковой Иосифову Волоколамскому монастырю.

Само собой разумеется, что на основании одних названий нельзя с полной уверенностью говорить о принадлежности всех упомянутых селений Пушкиным, но равным образом невозможно видеть в приведенных топонимических данных ничего не говорящую нам случайность. Позднейшие памятники письменности во многих случаях подтверждают, прямо или косвенно, принадлежность упомянутых выше селений Пушкиным разных фамилий. Не менее важно то обстоятельство, что в древней топонимике территорий бывших Рязанского, Тверского, Ярославского и Нижегородско-Суздальского княжеств мы не находим никаких следов имен и прозвищ Пушкиных. В XVI веке и позже Пушкины приобретают поместья и вотчины во многих уездах, отдаленных от Москвы, но это совершенно не отражается на названиях селений.

Это понятно. Употребление прозвищ в дворянских семьях с течением времени выходит из обычая, а затем развитие с конца XVI века правительственных описаний фиксирует старые названия, независимо от их принадлежности тому или иному лицу. Кроме того, входит в обыкновение крупные селения, села называть по храмам, а не по владельцам. В XVI и XVII веках появляется множество селений с названиями Введенское, Покровское, Никольское, Рождественское, Вознесенское и т. п., которые вытесняют из употребления старые названия.

Подводя итоги, можно смело сказать, что Пушкины с середины XIV века прочно оседают в Подмосковье и в уездах Московского княжества в его тогдашних границах. Сохранившиеся акты XV и следующих за ним веков показывают, что Пушкины, в особенности младшей линии, из которой вышел А. С. Пушкин, продолжают поддерживать старые связи с Москвой и Подмосковьем более четырехсот лет. Достаточно сказать, что, по писцовым книгам Московского уезда 1623—1627 годов, в Московском округе с радиусом приблизительно пятьдесят километров четырнадцати Пушкиным младшей линии принадлежало двадцать поместий и вотчин, большей частью небольших размеров.

Интересно отметить те районы Подмосковья, в которых Пушкины гнездились в наибольшем количестве и держались дольше всего.

На первом месте следует поставить бассейны Малой Истрицы и ее притока Холохольни, нижнего течения Истры, затем бассейн реки Всходни и ее притока Горетвы. Здесь, в этом обширном районе, сходились границы западных станов Московского княжества — Сурожского и Горетова — с границами юго-западных станов Дмитровского удела — с Ижвой, Берендеевым станом и волостью Раменкой.

В духовной грамоте 1328 года московский князь Иван Калита упоминает в числе своих владений Мушкову гору. Позже мы узнаем, что на Мушковой горе был погост Троицы и что он был центром Мушкова стана. Еще позже границы Дмитровского и Звенигородского уделов были перекроены, и получилось то деление на станы, которое упомянуто выше. В межевой грамоте уделов 1504 года на границе Дмитровского удела упоминается несколько владений Курчевых-Пушкиных. Давиду Ивановичу принадлежало сельцо Вогнениково (ныне Огниково) в Радомле Московского уезда, а его брату Борису — Ломишино в Дмитрове, справа от Истрицы, Ивану Тимофеевичу Курчеву принадлежали в Горетове стану деревни Симанкова, Телешова и Павлова.

Затем, Пушкиным принадлежали следующие селения: справа от Истрицы — село Бужарово с шестнадцатью деревнями, ныне не существующими, Ломишино и Верхуртово, на запад от Бужарова и Ломишина — Ананово, Мартюшино, Матвейкова, Зорина и село Синево-Семеновское, а вблизи от него Мушков погост. Слева от Истрицы Пушкиным принадлежали: Софонтьево, село Дорна на речке Холохольне, Скориково, Степанково, Куртасово, Вогниково и Раково. Последнее селение ныне находится на дне Истринского водохранилища.

Все перечисленные селения лежали смежно и в первой половине XV века составляли, вероятно, одно очень крупное владение. Во второй половине века и позже мы находим части этого массива во владении всех сыновей Григория Пушки, а затем его внуков и правнуков. Нет никакой возможности проследить многочисленные разделы, переделы, продажи и покупки, которые совершали Пушкины на этой территории за четыреста лет. Достаточно остановиться на нескольких интересных эпизодах.

В 1512 году Ирина Товаркова-Пушкина, бездетная вдова князя Семена Романовича Ярославского, уступила Иосифову Волоколамскому монастырю за долг в 500 рублей село Бужарово с шестнадцатью деревнями. В конце XV и в XVI веке Курчевы-Пушкины и Внуковы-Улитины раздавали по частям свои жребии в родовой вотчине Чудову и Иосифову монастырям. Тем не менее Пушкины продолжали сохранять остатки своих вотчин, а после Смуты сделали несколько попыток вернуть старые владения.

Так, Федор Федорович Пушкин выкупил у Зыбина сельцо Рожново-Павловское, вотчину Михаила Никитича Рожна, жившего в середине XV века. В 1627 году Пушкины всем родом, шесть глав семейств, выкупили у Чудова монастыря Мушков погост и село Синево. Они не только выкупили это родовое гнездо, но также занялись восстановлением родового богомолья—Троицы на Мушковой горе. Писцовая книга 1627 года сообщает, что «на погосте церковь», а в ней вся утварь — ризы, книги, свечи поставные, образа и «всякое церковное строение Федора Семенова сына да сына его Федора Пушкиных». По тем же писцовым книгам

за Пушкиными записаны следующие старинные вотчины: село Синево-Семеновское — за Федором Федоровичем и Федором Тимофеевичем, Лунево — за сыновьями Григория Сулемши, наконец, Ананово, Степанчиково, Матвейково и Мушков погост — за думным дворянином Гаврилой Григорьевичем.

Село Синево имело в 1627 году очень скромный вид, и в нем велось небольшое хозяйство. На дворе вотчинника жили пять «деловых людей», да в особых дворах — приказчик и еще пять «деловых людей». Крестьян в селе не было, а «деловые люди» пахали десятин пятнадцать пашни. Под лесной порослью и перелогом было немногим менее сорока пяти десятин. В общем, если учесть приблизительно покосы, в Синеве было около двухсот десятин земли. В сельце Рожнове было три семьи «деловых людей», а крестьян, как и в Синеве, не было.

После указанных владельцев село Синево досталось Ивану Федоровичу Пушкину, который занялся хозяйством. В 1644 году он взял у властей Иосифова монастыря в пожизненное владение пустоши Мартюшину и Сонину со льготой на шесть лет и дал такое обязательство: «И мне, Ивану, в те шесть лет посадить на тех пустошах... своих вотчинных крестьян четырех человек, а пятого крестьянина посадить в 10-ой год... и дворы им крестьянские устроить... и пашня мне велеть роспахивать и сенные покосы роскосить и леса пашенные роспахать и росчистить». После льготных лет Иван Федорович Пушкин обязался платить в монастырскую казну по 4 рубля в год, а за каждого непосаженного по условию крестьянина по 50 рублей. После своего живота Иван Федорович Пушкин обязывался вернуть имение монастырю «со крестьяны и с хлебом стоячим и с молоченым и с земляным и со всеми крестьянскими животы и со всем с тем, что на тех пустошах устройства будет... по моей душе в вечной поминок».

Иван Федорович Пушкин, вероятно, добросовестно старался исполнить принятое на себя обязательство, но, очевидно, это было не так просто. По переписи 1678 года, в селе Синево были двор вотчинника с «деловыми людьми», двор приказчика и три двора крестьян, а людей в них десять человек. В Мартюшине было всего два двора крестьянских, а в них восемь человек.

После смерти Ивана Федоровича село Синево перешло к его сыну Ивану, при котором, по переписи 1705 года, в селе числились двор вотчинника с «деловыми людьми», двор приказчика с тремя человеками и пять дворов крестьянских с шестью душами мужского пола. Иван Иванович, не имевший детей, по духовной 1718 года завещал все свое состояние, в том числе село Синево, Александру Петровичу, прадеду Александра Сергеевича. Александр Петрович был невидным представителем рода Пушкиных. Он начал службу рядовым Преображенского полка, в 1722 году получил чин каптенармуса, и на этом его карьера окончилась. В припадке ревности он убил свою жену, за что был посажен в тюрьму, где и умер в 1725 году. Село Синево перешло к его сыну Льву Александровичу.

Лев Александрович был капралом артиллерии, когда произошел переворот 1762 года. Он был верен присяге императору Петру III и за это был посажен императрицей Екатериной в тюрьму, в которой пробыл больше года. Карьера его была окончена, он вышел в отставку и занялся приведением в порядок расстроенного отцом хозяйства в родовых имениях.

При Льве Александровиче по третьей ревизии (1760—1762) числилось: в селе Синево, Мушков погост тож,— 20 душ мужского пола и 12 душ женского пола, в сельце Ананово — 47 душ мужского пола и 32 души женского пола, а в Мартюшине — 15 душ мужского пола и 13 душ женского пола. После смерти Льва Александровича Синево-Семеновское перешло к его сыновьям, но было ли оно во владении отца Александра Сергеевича и когда было отчуждено Пушкиными, пока остается невыясненным.

Кроме описанного массива земель на Истре, Пушкиным в XV—XVIII веках принадлежали находящиеся ближе к Москве владения в нижнем течении Истры, на реке Всходне и ее притоке Горетве Так, например, внук Григория Пушки, Константин Никитич, около 1475 года продал князю Д Д. Холмскому села Петров-

ское и Федоровское, на юг от Истры. Тогда же его племянник Давид Иванович Курчев дал Симонову монастырю деревню Гавриловскую на Всходне. Воину и Петру Тимофеевичам, прямым предкам Пушкина, в 1627 году принадлежали на верховьях реки Сетуни Манухино и Хорошево.

Среди древних подмосковных селений Пушкиных одно заслуживает особого внимания. Это село Виноградово на Долгих прудах.

В конце XVI века деревня Дубровки, Виноградово тож, принадлежала упомянутому выше думному дворянину Гавриле Григорьевичу, а после его смерти (1646) его сыновьям — Григорию и Степану. При них была поставлена деревянная церковь, и Виноградово стало селом. Григорий и Степан Гавриловичи были выдающимися деятелями царствования Алексея Михайловича. У Григория детей не было, и после его смерти Виноградово осталось за Степаном Гавриловичем, а потом перешло к его сыновьям Матвею и Якову Степановичам. При них в селе Виноградове была построена та каменная церковь, которая с большими переделками существует доныне.

Бояре Матвей и Яков Степановичи были самыми видными представителями рода Пушкиных и в свое время пользовались при дворе большим влиянием, но их слишком тесные связи со старообрядчеством и с мятежными стрельцами кончились катастрофой, в результате которой все Пушкины навсегда утратили свое место в среде московской знати. В 1697 году сын Матвея, молодой стольник Федор, женатый на дочери Алексея Соковнина, за участие в заговоре Соковнина и Цыклера на жизнь Петра был казнен. Дело не ограничилось казнью молодого Федора Матвеевича. В связи с делом Соковнина Матвей Степанович был сослан в Сибирь с конфискацией всего имущества, а Яков Степанович, как менее виноватый, отправлен в свою касимовскую деревню, где вскоре и умер.

Катастрофой бояр Матвея и Якова Пушкиных воспользовались новгородские родичи, настолько далекие, что их лучше называть однофамильцами. Один из новгородских Пушкиных, а именно Иван Калинникович, был женат на Матрене Даниловне, родной сестре «безродного баловня счастья, полудержавного властелина» Александра Даниловича Меньшикова. В 1707 году Иван Калинникович и его брат Петр, вопреки всем законам и обычаям наследования недвижимости, получили вотчины сосланного в Сибирь боярина Матвея Степановича, в том числе и село Виноградово.

В 1729 году Иван Калинникович продал село Виноградово князю Василию Владимировичу Долгорукову, и таким образом это старинное владение Пушкиных окончательно ушло из их рода.

Произведенный обзор древних вотчин Акинфовичей и Пушкиных, конечно очень неполный, дает тем не менее яркую картину широкого размаха землевладельческих интересов московского боярства XIV—XV веков. Следует прежде всего обратить внимание на то, что многочисленные вотчины Акинфовичей и Пушкиных, как и других значительных московских боярских фамилий, были расположены в Московском княжестве и в уездах Московского великого княжения. Ни в Рязанском, ни в Тверском, ни в Ярославском княжествах мы не находим ни одной старой вотчины Пушкиных. Это понятно, так как по мере оседания дружинников на землю происходило обособление служилых родов — сначала по великим княжениям, а затем в пределах великих княжений — по уделам, то есть землевладелец обыкновенно служил тому князю, в уделе которого было его владение.

Мелкие бояришки, имевшие одну-две вотчины, были настолько слабы, что связывали свою судьбу с тем князем, в уделе которого была их земля, но крупные великокняжеские «многовотчинные» бояре относились к своей службе иначе: по своим землевладельческим интересам были естественными противниками удельной раздробленности Руси и столь же естественными сторонниками княжеского единодержавия.

Московские князья в XIV—XV веках добросовестно, по-родственному наделяли своих братьев и сыновей уделами и поддерживали таким образом удельную раздробленность, а крупное боярство в целом как правящий верх землевладель-

ческого класса относилось к удельным князьям по меньшей мере недружелюбно и делало все, чтобы низвести их на положение служебных князей, лишенных державных прав и всякой независимости.

В этом важном историческом процессе Акинфовичи, а частью и Пушкины сыграли выдающуюся роль.

Глава V

ПОТОМКИ ГАВРИЛЫ АЛЕКСИЧА В ДУМЕ МОСКОВСКИХ ГОСУДАРЕЙ ПОСЛЕ СМЕРТИ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО И ДО СЕРЕДИНЫ XVI ВЕКА

При великом князе Василии Дмитриевиче (1389—1425) Акинфовичи продолжали занимать в среде бояр очень высокое положение. В боярах продолжали служить Федор Свибло, Иван Хромой и Александр Остей Андреевичи. Опала и конфискация вотчин Федора Свибла не отразились на службе его младших братьев. В боярах же был, по-видимому, четвертый брат — Иван Бутурля. В последние годы княжения Василия выдвинулся и был пожалован в бояре младший брат — Михаил Андреевич. Боярство этих пяти братьев говорит об исключительно высоком положении, занятом старшей линией потомков Акинфа.

О Пушкиных за это время пока ничего не известно.

Кроме упомянутых сыновей Андрея Ивановича Акинфова, правнуков Гаврилы Алексича, известных нам из Государева родословца и из Бархатной книги, из рода Ратши вышел еще один выдающийся боярин великого князя Василия Дмитриевича — Дмитрий Васильевич, известный нам из частных родословцев.

Среди выписок из местнических дел и различных заметок генеалогического содержания в частных родословцах встречается список бояр великого князя Василия Дмитриевича, которых «заехал» при выезде из Литвы в Москву потомок Гедимина, великого князя литовского, князь Юрий Патрикеевич, родоначальник Щенятевых, Куракиных и Голицыных. Великий князь Василий Дмитриевич принял знатного выходца с великой честью, выдал за него замуж свою дочь и «упросил» для него у своих старых бояр высокое место.

Непосредственно «под» князем Юрием Патрикеевичем занимали места: Константин Дмитриевич Шея Зернов, родной дядя Федора Сабура, родоначальника фамилии Сабуровых, и Ивана Годуна, родоначальника Годуновых; Иван Дмитриевич Всеволож, потомок смоленских князей; Владимир Данилович, из рода муромских князей, утративший свои вотчины и титул в междоусобиях; на четвертом месте Дмитрий Васильевич, а «под» ним Федор Федорович Голтяй Кошкин, дочь которого Марья несколько позже вышла замуж за князя Ярослава Владимировича Боровско-Серпуховского и стала матерью жены великого князя Василия Васильевича Темного Марьи Ярославны.

Из приведенной заметки можно видеть, что Дмитрий Васильевич занимал в среде бояр великого князя Василия Дмитриевича очень высокое положение.

Другая родословная заметка сообщает: «Дмитрей Васильевичь, от Гаврила от Алексеевича, а сына у него не было, а были у него две дочери: Марья, Васильева мати Образцова, да Григорьева мати Поплевина, да Михайлова мати Игнатьевича Минина, да Игнатьева мати Костянтиновича».

Для читателей, не посвященных в тайны старинной боярской генеалогии, следует расшифровать приведенную цитату.

Первая дочь Дмитрия Васильевича Марья была женой Федора Константиновича Добрынского, боярина великого князя Василия Темного, известного из летописей выдающегося воеводы, которому «при жизни слава, а по смерти вечная память». В летописях и других источниках Федор Константинович называется обычно Симским, по своей вотчине в уезде Юрьева Польского (село Сима находится в нескольких километрах от Юрьева). Его сын Василий Федорович Образец принадлежит к замечательнейшим деятелям времени Ивана III. Имя Василия Федоровича Образца Симского связано со всеми важнейшими событиями объединения

Руси, с ликвидацией независимости Великого Новгорода, с присоединением к великому княжению Тверского княжества, с борьбой против хана Ахмата. В летописях есть сообщение о том, что Василий Федорович Образец построил на своем дворе в Москве каменные палаты, в то время это было редкостью.

Вторая дочь Дмитрия Васильевича, имя которой неизвестно, была замужем за Василием Михайловичем Слепым Морозовым, старшим представителем рода Миши Прушанина, витязя Александра Невского. Его сын Григорий Васильевич Поплева, боярин великих князей Василия Темного и Ивана III, стал родоначальником известной в истории фамилии Морозовых, угасшей в XVII веке со смертью известных бояр царя Алексея Михайловича Бориса и Глеба Ивановичей Морозовых.

Михаил Игнатьевич Минин, сын третьей дочери Дмитрия Васильевича, был правнуком воеводы великого князя Дмитрия Донского Дмитрия Минича. Из летописей и синодиков известно, что Дмитрий Минич был убит литовцами в бою на Тросне во время внезапного набега Ольгерда в 1368 году на Москву. Сыновья и внуки Дмитрия Минича были в боярах.

Наконец, четвертая дочь Дмитрия Васильевича была замужем за боярином Константином Даниловичем, внучатным племянником митрополита Алексея и его младшего брата Александра Федоровича Плещея, родоначальника фамилии Плещеевых. От сына Игнатия Константиновича пошла фамилия Игнатьевых, из которой одна ветвь в XIX веке получила графский титул.

Из родственных связей Дмитрия Васильевича можно видеть, какое высокое положение в боярской среде занимал этот потомок Гаврилы Алексича. Отсутствие его «рода» и его самого в Государеве родословце и в Бархатной книге объясняется тем, что этот род, не имея мужского потомства, пресекся, и не было никого, кто позаботился бы записать его в Государев родословец, когда он составлялся в пятидесятых годах XVI века.

По времени жизни Дмитрий Васильевич был, вероятно, правнуком Гаврилы Алексича и происходил от третьего его сына, младшего брата Морхини и Акинфа Великого.

При великом князе Василии Васильевиче (1425—1462) великокняжеская власть пережила тяжелый и длительный кризис, вызванный борьбой за власть между князьями московского дома. Вопрос вовсе не сводился к тому, быть ли великим князем Василию Васильевичу или его старшему дяде, удельному князю Юрию Дмитриевичу, как это часто принято изображать. Борьба шла по вопросу гораздо более важному: будет ли великокняжеская власть продолжать расти и укрепляться за счет власти и значения удельных князей или последние раздробят и обессилят великокняжескую власть так же, как дробление на уделы обессилило другие крупные княжества Северо-Восточной Руси. В этом сложном процессе великокняжеское боярство сыграло огромную роль. Не обошлось, конечно, без изменников и предателей вроде Ивана Дмитриевича Всеволожа и братьев Добрынских. Такие были извергнуты со всем своим потомством из боярской среды. Были лица, проявившие шатание между борющимися сторонами. Таковы Михаил Федорович Сабуров и Иван Федорович Старков Серкизов. Большинство же великокняжеского боярства оставалось верным великому князю Василию даже после его ослепления и доставило в конце концов ему победу. К этому большинству твердых сторонников единодержавия принадлежали, судя по всему, что пока известно, Акинфовичи и Пушкины. В первой половине княжения Василия Темного в боярах были оба сына Ивана Хромого — Давид и умерший бездетным Роман, и оба сына Александра Остея — Роман Безногий и Тимофей. Последний был вытеснен из среды великокняжеских бояр и одно время служил в боярах князя Василия Ярославича Боровского, а позже князя Дмитрия Юрьевича.

В боярах были, затем, оба сына Ивана Бутурли — Иван и Григорий. Последний в конце тридцатых годов ушел в Троицкий монастырь, где пробыл простым чернецом лет сорок, принимая горячее участие в служебной карьере своих сородичей и обогащая Троицкий монастырь вкладами. В последние годы княжения

Василия Темного были пожалованы в бояре старший сын Ивана Ивановича Бутурлина Андрей и двое Остеевых — Андрей Романович Хрулев и Василий Тимофеевич Чулок.

Наконец, при Василии Темном продолжал служить младший Андреевич — Михаил, пожалованный в бояре в конце княжения Василия Дмитриевича. У Михаила Андреевича известны два сына: Иван и Федор Челядня. Иван Михайлович был женат на Елене, дочери боярина князя Юрия Патрикеевича, которая по матери была внучкой великого князя Василия Дмитриевича и приходилась родной племянницей Василию Темному. В связи с этим браком Иван Михайлович был пожалован в бояре. Он умер в молодости, ничем не отличившись. Его младший брат Федор Михайлович Челядня известен как деятельный сторонник Василия Темного и один из влиятельнейших бояр последних лет княжения Темного и позже — Ивана III.

В общем, можно сказать, что за все княжение Василия Темного не было года, когда бы в его думе не было по два-три представителя рода Акинфа.

Из Пушкиных в боярах был, насколько известно, только четвертый сын Григория Пушки — Федор Товарко. В молодости он принимал участие в одном деле, о котором стоит сказать несколько слов. Заселение южных окраин Московского государства, постоянно разоряемых Литвой и татарами, было в XIV—XV веках делом большой государственной важности. Служилые люди не имели для этого достаточных средств и неохотно шли на постоянный риск разорения. Мало интересовались южными окраинами и монастыри, предпочитавшие заниматься хозяйством в более безопасных местах. Так, дело заселения окраин стало делом государственной важности, и за него брались князья. Окраины обрастали княжескими слободами и слободками, льготными поселками, находящимися под непосредственной защитой и покровительством князей. Иногда коллектив вольных людей получал от князя разрешение сесть на землю, сзывать со стороны «охочих людей» и «копить» на льготе на государя слободу. Иногда князья проявляли инициативу сами: сажали в слободы своих рабов или посылали своих слуг устраивать слободы. Для заслуженного человека подобное поручение, конечно, было неподходящим, но молодым людям его давали нередко. Так, на южной окраине сажали в разное время слободы Карамышевы, Картмазов и Товарко Пушкин. Существующая ныне на реке Угре Товаркова слобода (при впадении в Угру реки Шани, в бывшем Медынском уезде) и является одним из плодов деятельности Федора Товарка.

Уже в преклонном возрасте, будучи боярином, Федор Товарко показал себя верным сторонником великого князя. В 1433 году князь Юрий Дмитриевич решил силой захватить Москву и великокняжеский стол. Великий князь был застигнут врасплох. В надежде предотвратить столкновение и кровопролитие он отправил навстречу князю Юрию своих послов, бояр Федора Товарка и Федора Андреевича. Бояре встретились с князем Юрием близ Троицы, горячо спорили и убеждали его не начинать междоусобия, но не имели успеха.

Ликвидация в последней четверти XV века независимости Ярославского, Ростовского, Тверского и Рязанского княжеств и объединение Руси под властью Москвы вызвали наплыв княжат ко двору великого князя Ивана III. Старые нетитулованные боярские фамилии должны были потесниться и дать место потомкам великих и удельных князей. Только немногие боярские роды в лице своих наиболее крупных представителей были в состоянии сохранить свои места в думе и при дворе великого князя. В числе этих родов были Акинфовичи, но более слабым Пушкиным это не удалось.

В конце XV века в четвертом колене от Григория Пушки было не менее пятидесяти человек. Самой значительной фамилией были Товарковы, но над ними тяготел какой-то рок бездетности. Из шести сыновей Федора Товарка три умерли бездетными. Из семи его внуков только один Иван Иванович Малого оставил потомство, двух сыновей, но и эти последние умерли без мужского потомства. Так пресеклась в пятидесятых годах XVI века боярская линия Пушкиных.

Вымирание многих боярских фамилий объясняется не бездетностью в соб-

ственном смысле слова, а иногда смертностью молодежи в боях и в плену, но главным образом, по-видимому, это было следствием большой детской смертности. Судя по записям в синодиках, содержащих множество имен лиц, умерших в младенчестве, детская смертность в быту высшего класса в XVI—XVII веках была не меньше, чем в крестьянском быту в XIX веке.

Процесс вытеснения княжатами старых слуг из первых рядов можно наблюдать на карьере Товарковых.

Старший сын Федора Товарка Иван Федорович Ус Товарков был выдающимся человеком последней четверти XV века. Иван III не раз давал ему ответственные поручения в острые моменты ликвидации независимости Новгорода: в 1471 году он был послом в Великий Новгород, в 1477 году — послом во Псков для переговоров о действиях против Новгорода, в 1478 году — вторично послом в Новгород. В 1480 году он был послом в Крым к хану Ахмату. В 1483—1485 годах он был уже боярином.

Брат Ивана Уса Борис Федорович Шушлепа (шушлепень — лентяй, увалень, лежебока) служил князю Юрию Васильевичу Дмитровскому (который умер в 1472 году) и был у него боярином.

У Ивана Уса было два сына — Иван и Андрей Дыхайло. Иван Иванович Усов служил великому князю и был окольничим. Андрей Иванович Дыхайло служил в уделе князя Юрия Ивановича и был у него боярином.

Андрей Иванович Товарков был состоятельным человеком и боярином старого склада. Перед смертью (около 1520 года) он «благословил» своего слугу Неждана Феофанова и дал ему в вотчину деревню Плетенево в Повельском стану Дмитровского уезда. Деревня Плетенево, существующая ныне, была куплена Андреем Товарковым в 1511 году за 30 рублей, из чего видно, что это был довольно хороший участок земли.

Двоюродный брат Андрея Дыхайла Иван Иванович Молодой служил великому князю (1475—1479) и был, по-видимому, в думных дворянах. Оба сына Молодого служили в уделе князя Юрия Ивановича. После смерти князя Юрия они стали служить великому князю (в 1545 году Андрей Иванович Меньшой Товарков был на годовой службе в Смоленске в полковых воеводах). Оба умерли бездетными, и на них пресеклась фамилия Товарковых.

Упорнее и успешнее, чем Товарковы, боролись за первые места многочисленные Акинфовичи.

Единственный внук Ивана Хромого, Федор Давидович, старший в роде Акинфа, был выдающимся боярином Ивана III. Он получил боярство около 1471 года, минуя чин окольничего, что было очень большой честью (умер около 1483 года).

После его смерти выдвигаются оба его сына — Григорий и Петр, но боярство получают только после долгой службы в воеводах и окольничих. Из Остеевых в начале княжения Ивана III в боярах были умерший бездетным Андрей Хрулев и Василий Чулок. Вслед за ними, несколько позже, выступают младший брат Василия Чулка Андрей Жулеба (в 1472 году — боярин и посол к магистру Ливонии) и старший сын Чулка Иван Васильевич Чебот. Последний получил боярство только перед смертью (1501), прослужив много лет в чине окольничего.

Бутурлины при Иване III были вытеснены из думы, быть может, за малолетством наличных представителей, и только при великом князе Василии III вновь попали в думу в чинах окольничих и бояр три сына Никиты Ивановича, младшего сына боярина Ивана Ивановича.

Челяднины при Иване III и позже, вплоть до вымирания (1535) всей фамилии, неизменно держались в первых рядах боярства. Они принадлежали к замечательнейшим людям своего времени на государственном поприще. Оба сына Федора Михайловича Челядни, Петр и Андрей, были боярами. Последний сверх боярства имел самый высший чин — боярина-конюшего. Затем, в боярах были оба сына Андрея Федоровича, Иван и Василий. Иван Андреевич сверх боярства был конюшим, а Василий Андреевич — большим дворецким. Василий не оставил мужского потомства, а его дочь Марья первым браком была за князем Иваном

Осиповичем Дорогобужским, а вторым — за своим дальним родственником боярином Иваном Петровичем Федоровым.

Сестра Ивана и Василия Андреевичей была замужем за князем Семеном Даниловичем Холмским, и через этот брак Челяднины вторично были в свойстве с великокняжеским домом, так как брат Семена Холмского Василий был женат на дочери Ивана III.

Боярин и конюший Иван Андреевич был взят в плен в злополучном сражении под Оршей и умер в плену в Литве. После него остался один сын, Иван, который тоже был боярином и конюшим и умер бездетным в 1535 году. С ним пресеклась фамилия Челядниных.

Просматривая изложенные в этой главе факты, мы можем сразу заметить очень значительное различие в судьбах Пушкиных, с одной стороны, и потомков Андрея Ивановича Акинфова — с другой. У Андрея Ивановича было восемь сыновей, из которых двое умерли бездетными и совершенно безвестными, а остальные пять, а может быть, и все шесть, были в боярах. В следующем колене у Андрея Ивановича было двенадцать внуков, из которых не менее шести были в боярах. В третьем колене было пятнадцать правнуков, из которых семь человек были в боярах и один — в окольничих. Наконец, в пятом колене, жившем уже в XVI веке и испытавшем на себе наплыв ко двору московского великого князя бывших удельных княжат, был тридцать один человек, из которых трое были в боярах и четверо — в окольничих.

Иную картину мы видим в судьбах потомков Григория Пушки. Из его семи сыновей в боярах был только один человек. Один же человек из пятнадцати внуков Григория Пушки был в боярах у великого князя. В последующем колене Пушкиных было не менее тридцати трех человек, из которых один был боярином у великого князя и один — боярином в уделе. В дальнейшем Пушкины так успешно размножались, что в пятом колене их было более шестидесяти человек, и в служебном отношении они так снизились, что не выдвинули из своей среды ни одного человека в думу московского великого князя, а некоторые представители, из числа испомещенных в Новгороде, опустились до того, что стали служить дому святой Софии, то есть новгородскому владыке, что для представителей боярских фамилий было большой деградацией.

Снижение Пушкиных в первых поколениях обусловливалось, конечно, не одной причиной. Смерти в походах в молодости, без потомства, бездарность и нерадивость некоторых представителей фамилии, различные не зависящие от их воли несчастные случайности — все это оказывало свое влияние. Таким же неблагоприятным обстоятельствам были подвержены служилые люди всех фамилий, в том числе и потомки Акинфа Великого, которые, размножаясь гораздо умереннее Пушкиных, успешнее боролись за высокое положение в правящей среде московского боярства.

Глава VI

КОНЕЦ ДРУЖИННОГО СТРОЯ И НОВАЯ ФОРМАЦИЯ СЛУЖИЛОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦА

Многолетнее правление великого князя Ивана III (1462—1505) ознаменовалось величайшими и многосторонними переменами в жизни Северо-Восточной Руси. После распада Золотой орды и образования на развалинах ее Крымского, Астраханского и Казанского ханств московский великий князь стал самодержцем всей Руси в полном смысле этого слова, то есть государем, независимым от какой бы то ни было внешней власти. В то же время одно за другим теряли свою независимость великие и удельные княжества и происходила постепенная ликвидация автономии Господина Великого Новгорода. Объединение Северо-Восточной Руси под властью московского государя к концу XV века в основном было закончено.

Одновременно происходили глубокие изменения в экономике и социальном строе нарождавшегося Московского государства. Уничтожение удельной раздробленности Руси и независимости Великого Новгорода с его огромными владениями на севере создало единый общерусский рынок и открыло возможности более равномерного заселения Руси и более успешного использования ее природных богатств. В зависимости от перемен в экономике и в политическом строе Руси в короткий сравнительно срок, в какие-нибудь пятьдесят—шестьдесят лет, подвергся полному перерождению и класс служилых землевладельцев. Изменились его отношения к княжеской власти, экономическая основа его существования и весь социальный и бытовой облик. Так на смену боярина-дружинника, сидевшего на своих родовых и благоприобретенных вотчинах, пришел рядовой воин-помещик, временный владелец государевой (по существу государственной) земли.

Князья XII—XIV веков ходили лично в походы со своими дружинами, в бою шли впереди, увлекая собственным примером своих боевых товарищей и слуг. Для дружинника было большим бесчестьем отстать в бою от своего господина и не подать ему помощи в опасности. Дмитрий Донской, в полном сознании исторической важности своего выступления против Мамая, бился на Куликовом поле как рядовой боец, отдав знамя и знаки власти своему слуге — Михаилу Бренку. Спешившись, он бился до изнеможения и был найден после битвы лежащим под деревом без сознания, в иссеченных и избитых доспехах. Внук Дмитрия Донского, Василий Темный, по выражению московских летописцев, «любил сечу», то есть сражался лично во главе своей рати. В злополучном бою под Суздалем (1445) он был окружен татарами и взят в плен. Василий Темный был последним из московских великих князей, который «любил сечу». Иван III, осторожный политик, гордый своими успехами и огромной властью, не только не любил сечи, но даже редко посещал свои полки.

Военные силы первых московских князей имели довольно сложный состав. Основным ядром был Государев двор, дворовый полк великого князя, состоявший из боярских дружин, возглавляемых самими боярами, и из отрядов «слуг под дворским» — низших слоев государевых дворян. В зависимости от обстоятельств дворовый полк был подкрепляем поуездными отрядами городовых детей боярских под начальством особо назначенных воевод великого князя, отрядами так называемых служебных князей, утративших права удельных государей, и, наконец, полками союзных, вассальных князей.

При великом князе Иване III вассальные и служебные князья и мощные бояре былых времен, организаторы и предводители отрядов и «полков», в значительном количестве были уже ликвидированы, а те из них, кто продолжал существовать, измельчали и не могли уже, как прежде, выводить с собой в походы сотни слуг и послужильцев.

Иван III и его ближайшие преемники последовательно и успешно перестраивали военные силы Московского государства на новых началах.

Они заводят «наряд», то есть пушки, первоначально для обороны городов, а позже — для военных действий в открытом поле. Великий князь Василий III завел отряды пехоты «с огненным боем», стрелков, позже получивших название стрельцов. Подвергалась постепенно переустройству и дворянская конница.

В общем, можно сказать, что московское правительство со времени Ивана III взялось за непосредственную организацию своих военных сил, устраняя посредничество княжат и своих былых дружинников-бояр. В связи с этим находится его нивелирующая политика относительно служилого класса и создание среднего служилого человека, воина, непосредственно подчиненного ему и зависящего от него.

Боярство дробило свои вотчины в семейных разделах, не было способно вести на них хозяйство и, в общем, неуклонно мельчало. Иван III воспользовался этим естественным процессом: как осторожный политик, он не ставил ребром вопрос о низведении бояр на положение рядовых слуг, но и не упускал удобных случаев. Обладая крутым нравом и тяжелой рукой, Иван III без ненужных жестокостей своего нервного внука царя Ивана сделал очень много, чтобы разрушить

дружинную организацию армии и низвести крупное боярство на положение покорных слуг. Опалы при Иване III случались нередко. Подвергая опале крупного служилого землевладельца, Иван III отбирал у него вотчины, частично или все, и «распускал» дворы его «чади», отпуская на волю рабов.

Так, подверглись опалам в разное время любимец Василия Темного Федор Васильевич Басенок, Иван Иванович Салтык Травин, Андрей Шеремет Беззубцев, братья бояре Иван и Василий Тучки Морозовы, боярин и дворецкий Михаил Яковлевич Русалка Морозов, окольничий Иван Васильевич Ощера Сорокоумов, одно время бывший любимцем Ивана III, бояре князь Иван Юрьевич Патрикеев и князь Семен Иванович Ряполовский, князь Ярослав Оболенский и другие. Распуская дворы опальных бояр, Иван III выбирал лучших воинов из числа боярских послужильцев, зачислял их на свою службу и давал им поместья.

Блестящий пример твердой политики нивелировки служилого класса мы можем видеть при ликвидации независимости Великого Новгорода.

Отобрание в последней четверти XV века земель новгородских бояр и житьих людей, земель новгородского владыки и монастырей отдавало в распоряжение московского правительства огромное количество земли, жилой, доходной, с заведенным на ней хозяйством. Часть новгородцев погибла при этом в тюрьмах и опалах, а значительное количество было сведено в Москву, испомещено в центральных и восточных уездах государства и перешло на положение рядовых служилых людей.

Отобранные в Новгороде земли были розданы в поместья москвичам, старым слугам московских князей. Из недавно присоединенных к Москве Тверского, Ярославского и Рязанского княжеств ни один человек не получил поместья в Новгороде. Так было обеспечено прочное политическое, экономическое и военное присоединение к Москве Новгородской земли.

Исследование генеалогического состава испомещенных в Новгороде москвичей представляет большой интерес. По неполным данным сохранившихся писцовых книг, в последней четверти XV и в первые годы XVI века в Новгороде было испомещено около двух тысяч человек. Из них около ста пятидесяти человек были «холопами» (слугами и послужильцами) опальных московских бояр, о которых было упомянуто выше. Затем, насчитывается человек сорок холопов («людей») новгородских бояр, лишившихся своих вотчин. Наряду с бывшими холопами получили поместья шестьдесят — семьдесят мелких княжат, русских и выезжих из Западной Руси. Подавляющая масса помещиков была набрана из малоземельных или безвотчинных представителей московских боярских и небоярских родов и изо всех старых уездов Московского государства.

Большинство поместий колеблется в пределах от двадцати до шестидесяти обеж. Несколько позже обжу стали приравнивать к десяти четвертям в трех полях, то есть к пятнадцати десятинам земли. Таким образом, можно сказать, что поместья в Новгороде колебались, в зависимости от служебного положения человека, в пределах от трехсот до девятисот десятин, не считая угодий, то есть усадебной земли, покосов и т. п. На угодья можно положить приблизительно от десяти до пятнадцати процентов поместья.

Разница в размерах поместий бывших холопов и других категорий помещиков заметна, хотя и не всегда, и, в общем, невелика. Становится несомненным, что при наделении поместьями решающее значение имела не родовитость помещика, а его служебная годность.

Трудно преувеличить огромное значение этой политики Ивана III, проведенной успешно и последовательно в Новгороде. Дело в том, что новгородский опыт послужил образцом для подобных же массовых испомещений в других частях государства, везде, где представлялась к тому возможность. Раздача земель в поместья участками в указанных выше размерах со времени Ивана III становится на целое столетие основой земельной политики московских государей.

Везде, в бывших Ярославском, Тверском и Рязанском княжествах, в Псковской области после ликвидации независимости Пскова, в западных и юго-запад-

ных областях, отнятых у Литвы, наконец, на южных и восточных окраинах, заселяемых вновь в XVI веке, как, например, в Орловском, Веневском, Каширском, Арзамасском, Курмышском и Алатырском уездах,— везде в XVI веке московское правительство раздает земли только в поместья, а не в вотчины. Таким образом, поместное землевладение непрерывно росло, и рядовой воин-помещик становился господствующим типом служилого землевладельца.

Насколько позволяют судить сохранившиеся источники, подавляющее большинство служилых людей уже в середине XVI века несло службу только с поместий. Не были редкостью среди потомков недавних удельных князей совершенно безвотчинные люди.

Если у некоторых представителей верхов служилого класса были родовые или купленные вотчины, то они были так невелики, что без дополнительного поместного обеспечения их владельцы не могли нести государеву службу. Так при Иване III было прочно положено начало новой формации служилого землевладельца — помещика, рядового воина, находившегося в полной зависимости от правительства.

А. С. Пушкин очень интересовался вопросом об исторических судьбах русской «аристократии». За неимением фактических данных он пытался осветить его при помощи сравнения привилегированных сословий Руси и государств Западной Европы. Наше боярство обладало в средние века большими привилегиями и большими земельными богатствами, но не породило аристократии, привилегированного сословия, ограничивающего власть монарха. В самом деле, недаром княжата и бояре уже в XV веке в своих челобитных именовали себя холопами, то есть как бы рабами великого князя. Наблюдательные иностранцы, как, например, Герберштейн, писали, что московские князья (Иван III и его сын Василий) обладают такой огромной властью над жизнью и имуществом своих людей, какой не имеет ни один монарх Западной Европы.

В настоящее время история наших сословий настолько изучена, что мы можем уже несколько осветить вопрос, интересовавший А. С. Пушкина.

В XIV веке и раньше князья, чтобы привлечь к себе людей, щедро раздавали земли. В XV веке власть московского князя уже настолько окрепла, что ему не было никакой надобности щедрыми земельными пожалованиями привлекать людей на свою службу из соседних княжеств и из зарубежных государств. Как показывают духовные грамоты московских князей, они нередко сами покупали населенные и ненаселенные земли у своих бояр и слуг. В виде особой милости они «жаловали» иногда землю «в куплю», то есть продавали небольшие участки незаселенной земли.

Следует напомнить, что до падения монгольского ига и позже, до взятия Казани и Астрахани, еще не было тех больших возможностей расселения на юг и восток, которые открылись во второй половине XVI века. А в центральных частях Московской Руси, в междуречье Оки—Волги, все лучшие и «угожие» земли были давно разобраны. Таким образом, рост вотчинного землевладения в XV веке остановился. Между тем на исторической сцене у служилого землевладельца появился страшный соперник в лице монашествующей братии пустынножительских монастырей.

Хорошо известно, что XV и XVI века были временем наиболее сильного и быстрого роста монастырского землевладения, происходившего главным образом за счет частновладельческих вотчин. Некогда богатые бояре раздавали и продавали свои вотчины монастырям и владыкам церкви. Эта убыль вотчинного частного землевладения совершенно не возмещалась приобретением новых земель.

В Англии с незапамятных времен существовал обычай (а не закон) наследования земли по первородству, то есть нераздельно старшим представителем рода. По мнению известного философа и экономиста Джона Стюарта Милля, этот обычай имел то положительное значение, что в каждой семье было только по одному бездельнику.

Исчерпывает ли эта оценка Милля значение права первородства, мы можем не обсуждать, но несомненными следствиями этого обычая было, во-первых, то, что в Англии сохранились до наших дней крупное землевладение времен феодализма и вместе с тем земельная аристократия, во-вторых, то, что младшие члены семей, получавшие хорошее воспитание и образование, должны были сами завоевывать себе положение в жизни. В большом количестве они в молодости покидали родину и отправлялись в колонии, чтобы составить себе состояние и обеспечить свои семьи. Несомненно, что это обстоятельство на протяжении веков играло значительную роль в колониальной экспансии Англии.

На Руси господствовал обычай равного раздела наследства отца между сыновьями. Если родители при жизни выдавали замуж дочерей, то они давали им приданое и таким образом выделяли. После смерти родителей обязанность выдать замуж и наделить приданым, «как мочь сяжет», то есть посильно, прилично своему положению и состоянию, лежала на братьях. И в том и в другом случаях надел дочерей и сестер приданым обыкновенно обременял вотчины долгами. Так происходило постоянное дробление вотчин между сонаследниками и обременение их долгами для выдела приданого дочерям и сестрам. Между тем приобретение новых вотчин в XV веке стало уже делом трудным, которое удавалось очень немногим людям, занимавшим высокое служебное положение и имевшим возможность нажиться на службе.

Вследствие постоянного дробления вотчин между сонаследниками старое крупное боярство утратило, подобно удельным княжатам, основу своей социальной и политической силы и в XV веке оказалось вынужденным возлагать все свои надежды на милости великого князя. Таким образом старое вотчинное землевладение, дробясь в семейных разделах, стало играть роль как бы питомников, в которых вырастали одно за другим поколения малоземельной или вовсе безземельной молодежи, воинов, привычных к ратному делу, «добрых службой», как тогда говорили, и желавших поддержать свой социальный и бытовой уровень жизни.

Эти следствия обычая равного раздела вотчин между сыновьями породили со второй половины XV века (приблизительно) ту большую силу экспансии, которую мы можем наблюдать в жизни Московского государства. Московское правительство использовало эту силу, чтобы расширить пределы государства и обезопасить его восточные и южные окраины. Силами этой молодежи, нарождавшейся в недрах служилого класса, в середине XVI века были взяты Казань, Астрахань и очищен для сношений с народами Востока волжский путь. Во второй половине века открылась широкая возможность прочного поместного освоения восточных окраин государства — Арзамаса, Курмыша, Свияжска, Алатыря и Шацка.

* * *

В небольших сравнительно княжеских уделах средневековой Руси все отношения князя к его боярам и слугам носили личный и патриархальный характер. Многие из них были лично известны князю. Перед великим князем Иваном III стояла многотысячная толпа слуг разных званий и чинов. Отношения их к князю утрачивают личный характер, и в повседневной практике управления вырабатываются — медленно и не без труда — безличные, общие нормы служебных обязанностей и вознаграждения за службу. Этот интересный процесс можно наблюдать в истории поместного права лучше, чем в какой-либо другой области жизни Древней Руси.

Поместье XV—XVI веков имеет очень мало общего с тем, что понимали под этим словом в XIX веке, когда происхождение поместий в собственном смысле слова было давно забыто.

Поместьем первоначально назывался участок государевой, княжеской земли (по существу государственной), данной служилому человеку во временное владение и пользование — для службы, за службу и на время службы.

Парень пятнадцати лет считался «поспевшим в службу», записывался в списки служилых людей и мог быть поверстан «новичным», то есть начальным, окладом, земельным и денежным. В пределах оклада он имел право получить поместье. За исправную службу и особые заслуги новик имел право на придачу к окладу и на дополнительную поместную дачу.

Служба продолжалась бессрочно, до полной потери трудоспособности из-за раны, увечий или старости. При отставке от службы помещик имел право получить небольшую часть поместья на «прожиток», то есть в пожизненное владение. Небольшой прожиток получали и вдова и сироты помещика, пожизненно или до выхода замуж. В середине XVI века, когда уже испытывался недостаток в пригодных для испомещения землях, был издан указ — «за девками (сиротами.— *С. В.*) долее 15 лет прожиточным поместьям не быть». По достижении пятнадцати лет «девка» лишалась прожитка, если не выходила замуж за служилого человека, который мог закрепить за собой ее поместье.

Если у помещика были сыновья, то правительство в интересах службы оставляло за ними часть или все отцовское поместье. В большинстве случаев сыновья начинали служить при жизни отца. Если они были «службою добры», то им давали поместье «в отвод от отца», то есть отдельное поместье. Но чаще молодежь зачисляли на службу и верстали поместными окладами «в припуск к отцу» и «в поджить», то есть с условием нести службу с отцом и вместо него, а после его смерти владеть отцовским поместьем.

За опоздание или за неявку на службу, «неты на смотру», за побег из похода или уход со службы без отпуска помещик, смотря по вине, мог лишиться всего или части поместья. В XVI веке, в особенности во время частых в то время войн, угроза отписки поместья «на государя» вовсе не была пустым словом. Во времена Ливонской войны царя Ивана, когда угроза отписки поместий оказывалась недостаточной, а действительное лишение поместья было нецелесообразным, так как служилый человек без поместья становился совершенно небоеспособным, правительство доходило до применения телесных наказаний: жену, детей и людей помещика сажали в тюрьму, а его самого, если удавалось поймать, били батогами и отправляли под конвоем в полки.

Так поместная система с последней четверти XV века становится в руках московского правительства мощным средством, при помощи которого оно поддерживало служебную дисциплину и боевую готовность своих ратных сил. Постоянная угроза лично лишиться и лишить свою семью средств существования выбила из головы служилых людей Московского государства память о былой вольной службе их предков, о праве «сложить крестное целование» и «отъехать в иное княжение» и принизило их до положения чади—холопов Акинфа Великого или Федора Свибла.

Описанная выше схема поместного права сложилась, конечно, не сразу. Первые московские князья давали своим слугам участки земли, но до конца XV века все основывалось на милости и усмотрении князя. В многочисленных сохранившихся источниках по Новгороду мы не находим ни норм окладов, ни норм обеспечения вдов, сыновей и дочерей служилого человека, ни других деталей впоследствии сложной системы поместного права. Все эти общие безличные нормы права очень медленно складываются на практике в течение XVI века.

Перелом в истории служилого землевладения произошел в Смутное время. Уже в XVI веке вотчинное землевладение утратило свой безусловный характер, в особенности после того, как в середине XVI века служба с вотчин стала столь же обязательной, как и с поместья. С другой стороны, поместная система утрачивает свою острую обусловленность личной службой, и все чаще и чаще поместье переходит по наследству к сыновьям и внукам на тех же условиях, на которых получали поместья их отцы и деды.

Процесс сближения права поместного землевладения с вотчинным продолжается и в XVII веке и оканчивается указом Петра I 1714 года, уничтожившим всякое различие между поместным и вотчинным правом.

Глава VII

ПУШКИНЫ НА ПОМЕСТЬЯХ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ, ТВЕРИ, КАШИНЕ, ЗУБЦОВЕ И ДРУГИХ ГОРОДАХ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА

По мере объединения Северо-Восточной Руси под властью московских государей происходило расселение размножавшихся потомков Григория Пушки по всему лицу земли Русской. Массовое испомещение московских служилых людей в Новгороде и Торжке началось в 1484 году. В 1485 году бежал в Литву последний тверской великий князь, и Тверское княжество перестало существовать, а в 1489 и 1500 годах в Новгороде были произведены повторные массовые испомещения москвичей.

По приблизительному подсчету, в это время было в наличности до девяноста потомков Григория Пушки, если считать не только отцов семейств, но и взрослых сыновей, служивших при отцах с их же поместий. На поместья в Новгороде попали следующие лица: Василий, Иван и Захарий Васильевичи, потомки Александра, первого сына Григория Пушки. Родословцы сообщают о них, что они служили новгородскому владыке Геннадию (1484—1504). От них пошла новгородская ветвь Пушкиных, от которой все прочие Пушкины постоянно старались отмежеваться и отделаться, как от захудалых родичей.

Из второй линии, от Никиты Григорьевича, получили поместья три человека: Василий Константинович и его двоюродные братья Василий и Андрей Никитичи. Из третьей линии (от Василия Улиты) было испомещено четырнадцать Мусиных-Пушкиных и двое Шафериковых. Наконец, из четвертой линии получил поместье Григорий Борисович Товарков. Всего, по неполным данным сохранившихся писцовых книг, удалось обнаружить двадцать три человека. Если же принять во внимание взрослых сыновей, известных нам по родословцам и не упомянутых в писцовых книгах, то можно сказать, что по меньшей мере треть наличных в то время Пушкиных получила в конце XV века поместья в Новгороде.

Приведу сведения о размерах поместных дач некоторых лиц из числа вышеупомянутых:

Игнатий и Василий Васильевичи — 42 обжи (630 десятин, не считая угодий),
Василий Константинович — 54 обжи (810 десятин),
Андрей Никитич — 23 обжи (345 десятин),
Григорий Михайлович Мусин — 29 обеж (435 десятин),
Тимофей Михайлович Мусин — 22 обжи (330 десятин),
Гаврила Михайлович Мусин — 30 обеж (450 десятин),
Григорий Борисович Товарков — 29,5 обжи (440 десятин).

Количество крестьянских дворов в поместьях, в общем, находилось в некотором соответствии с обжами, но было несколько больше обеж, так как не всякий дворохозяин был в состоянии обрабатывать целую обжу. Так, например, у Григория Мусина при двадцати девяти обжах было тридцать пять дворов, а у Тимофея Мусина на двадцати двух обжах — двадцать пять дворов.

Древнейшие новгородские книги и писцовые книги Торопецкого уезда 1539/40—1540/41 годов содержат подобное описание доходов, которые помещик имел право получать с крестьян: хлеба, зерна, масла, сыров, бараньих лопаток, полтей мяса, овчин, горстей льна и т. п. Но уже в тверских книгах 1540 года и в позднейших новгородских перечисления повинностей нет, так как помещику было предоставлено право изменять оброки и повинности и заменять их по своему усмотрению и по соглашению с крестьянами.

Очень важно отметить, что правительство Ивана III, насаждая поместья в Новгороде и в других городах, перенесло на помещика все судебные, административные и податные привилегии, которые сложились в предшествовавшие столетия в практике вотчинного землевладения.

По образцу вотчинного иммунитета сам помещик и его приказчик были неподсудны местным княжеским наместникам и волостелям. По всем делам они были

судимы в Москве самим князем или его боярами. Люди и крестьяне помещика были подсудны местным судебным властям только в душегубстве, разбое и татьбе (краже) с поличным, то есть в наиболее тяжелых уголовных преступлениях. Во всех прочих делах люди и крестьяне поместья были судимы самим помещиком или, по его полномочию, его приказчиком.

«Смесные дела», то есть такие, в которых люди и крестьяне поместья тягались с посторонними людьми, подлежали «смесному» (совместному) суду помещика и его соседа, помещика же, или наместника и волостеля, если поместный крестьянин «сплетался» в тяжбе с государевым человеком, с посадским, дворцовым, или черным крестьянином. В смесном суде помещик «сидел и берег своего человека», а судебные пошлины с виноватого по суду смесные судьи делили пополам. Таким образом, право смесного суда давало помещику возможность защищать своих крестьян от «сторонних» людей.

Очень существенной привилегией иммунитета было право помещика платить все причитающиеся с поместья налоги не по мирской волостной раскладке, а по окладу княжеских писцов и даншиков, и только за свое поместье.

Таким образом, каждое поместье было замкнутой в себе и независимой от соседей социальной ячейкой, полным хозяином которой был помещик. На него правительство возложило податную ответственность за крестьян поместья и дало ему право прибавлять и изменять повинности и оброки крестьян и брать для своего хозяйства любое количество земли. Единственным ограничением этих прав были требования не брать с крестьян доходов с той земли, которую помещик возьмет для своего хозяйства, и общая угроза опалой, если он чрезмерными поборами запустошит поместье,— «а доспеет пусто, и ему платити великих князей дан и посошная служба самому, а от великих князей в том быти ему в опале».

Указанные выше новгородские писцовые книги сообщают, что Пушкины без промедления воспользовались предоставленным им правом. Так, Григорий Мусин из двадцати девяти обеж своего поместья стал пахать со своими людьми две обжи, а Иван Мусин из тридцати четырех обеж взял в свое хозяйство шесть обеж, то есть около девяноста десятин.

Так немедленно после массового испомещения служилых людей началось превращение воина, привыкшего на кормлениях получать готовые доходы, в сельского хозяина, сначала при помощи свободных крестьян, имевших право отказа и выхода, а позже, в конце XVI века, лишенных права выхода и закрепощенных.

Очень трудно охарактеризовать в кратких словах ратную службу, которую должен был нести помещик за данную ему государством землю и связанные с этим судебные и податные привилегии. Общей нормой было: со ста четей (сто пятьдесят десятин) жилой, то есть обрабатываемой, земли, «доброй и угожей», то есть обеспеченной необходимыми угодьями (лесом, покосами),— хорошо вооруженный человек на коне, а в дальний поход «о двуконь», то есть с запасной лошадью. Все снаряжение, а также продовольствие помещик должен был делать на свой счет.

От этой общей нормы приходилось на практике отступать, в зависимости от дальности похода, продолжительности службы и реального размера поместья. Поэтому разрядные дьяки перед отправкой служилых людей в поход производили смотр и давали «на подмогу» или на подъем денежное жалование, смотря по земельному обеспечению служилого человека вотчинами и поместьями, по его вооружению и вообще по боевой годности, а также по количеству и качеству выведенных им слуг.

Этот сложный учет боевой годности людей для нас не всегда ясен, но тем не менее я приведу один пример. Иван Никифорович Рожнов-Пушкин имел оклад денежного жалования в девять рублей. По справке за ним оказалось вотчины шестьдесят шесть и две трети четей и сто тридцать четей поместья, всего без малого двести четей, или триста десятин. В 1556 году на общий смотр в Серпухове он явился «сам на коне в доспе с е, за ним человек без доспеху». Ему предстояло идти под Казань. «По уложенью», то есть по общему указу, ему следовало дать «на его голову» полный оклад — девять рублей, а за человека, явившегося без

доспеха, по количеству земли поместья следовало вычесть два рубля. По осмотру и по новому окладу ему было положено семь рублей, а за вычетом двух рублей за человека без доспеха ему было дано пять рублей.

Этого заурядного примера достаточно, чтобы показать, как зорко и дотошно учитывали московские дьяки службу и земельное и денежное вознаграждение за нее.

Расселение Пушкиных по Руси, объединенной под властью московских государей, можно обрисовать по сохранившимся источникам только в общих чертах.

После бегства в Литву последнего тверского князя и его сторонников московскому правительству досталось в бывшем Тверском княжестве большое количество дворцовых, черных и частновладельческих земель, которые оно роздало своим старым слугам.

Курчевы-Пушкины вдобавок к своим измельчавшим дмитровским вотчинам получили в первой трети XVI века поместья в Тверском уезде. Василий, Иван и Тимофей Семеновичи и их двоюродный брат Семен Григорьевич получили село Филистово с двадцать одной деревней; всего в их поместье были двор боярский, два двора людских и 34 двора крестьянских, пашенной земли 322 четверти да 1013 копен покосов; считая на десятины, около 535 десятин. Богдан и Третьяк Ивановичи получили село Теляково с десятью деревнями, в которых было 22 крестьянских двора, а земли около 350 десятин. Истома Давидов получил село Клокатое с 265 десятинами. Наконец, Семен и Афанасий Ивановичи Курчевы получили около 500 десятин в селе Болсунове.

Тогда же или немного позже получили поместья: в Кашинском уезде — Василий Иванович Рожнов, в Старицком — Иван и Семен Никифировичи Рожновы, в Зубцовском — десять Кологривовых и трое Поводовых. Во второй четверти XVI века Поводовы обосновались на поместьях в Белеве, а Бобрищевы — во Ржеве.

Младшая линия Пушкиных до середины XVI века держалась на своих московских и дмитровских гнездах, а в третьей четверти века, быть может в связи со службой в опричнине Семена Михайловича (прямого предка А. С. Пушкина), выделила несколько представителей на поместья в Вяземский уезд. По дворовому списку 1577 года, в Вязьме имели поместья Семен Михайлович и его двоюродные братья Григорий Иванович и Федор Александрович.

(Окончание следует)

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Н. АТАРОВ

★

КОРНИ ТАЛАНТА

(О прозе Фазиля Искандера)

Всякий талантливый писатель со всем своим достоянием — героями, образами и сюжетами — непременно где-то «прописан» на планете, и самый счастливый случай — это когда память таланта прописана в детстве писателя. Так Бунин никогда не мог забыть сердцем елецкие усадьбы и деревни, так Колдуэлл, еще молодой и веселый, черпал и черпал из штата Джорджия, где все ему было родное по впечатлениям детства. Мы знаем Нормандию по Мопассану, старую Францию по дю Гару, каменистые пашни Исландии по Лакснессу. Что ни говори, где-то в детстве происходит укоренение таланта на земле, и надо, чтобы природа дарования, даже самого гениального, оказалась сродни породившему его краю.

Что-то солнечное, прозрачное, как виноградная гроздь, изначально присутствует в творчестве молодого писателя Фазиля Искандера. Он хороший поэт, выпустивший две книги стихов. И он отличный прозаик — к его сатирической повести «Созвездие Козлотура» примыкает целый цикл веселых и умных рассказов, собранных в сборниках «Запретный плод» («Молодая гвардия») и «Тринадцатый подвиг Геракла» («Советская Россия»).

В крестьянском дедушкином доме, в абхазском селении «укоренен» талант Искандера. Красками южного неба и моря, проглядывающего «миражной стеной» за лесистым хребтом гор, всем укладом патриархального быта крестьян-горцев с их трудом и весельем, лукавством и благородством, добротой и скупостью, тщеславием и товариществом до краев полнится память писателя. С первых же щедро набросанных страниц он ведет нас к себе, в дедушкино селение, в дедушкин дом с верандой, где на столе вино «изабелла», жареная кукуруза и грецкие орехи, где во дворе в тени каштана в знойный полдень валяется на бычьей шкуре детвора, где слышно, как тетушкины пальцы шлепают по ситу, и звякают в шкафу тарелки, и мамалыжная лопатка шаркает по котлу. Рассказчик не скрывает, что он давно уже горожанин, журналист, писатель, «цивилизованный человек», но он снова и снова ищет повода рассказать нам о людях своего детства, о своей родне — о великом труженике дедушке, о «красном дяде» с его апоплексическим цветом лица, о «сумасшедшем дяде», который потому и считался в семье сумасшедшим, что никогда не пил вина, рассказывает о тетушкиной и бабушкиной кухне с кругом сыра, миской кукурузной муки, вяленым мясом,— и все время жужжит и жужжит в наших ушах точильный камень, на котором затачивается лезвие мотыги, тюкает и тюкает топорик-цалда, перерубающий ежевичные плети на краю лесистого оврага.

Только над своим, кровно любимым, нежно дорогим, можно так заразительно посмеяться, как это делает «цивилизованный рассказчик», снова и снова кружа в воспоминаниях над дедушкиным домом в горах (рассказ «Дедушка», «Новый мир», № 7, 1968). Над чем только не подтрунивает веселый жизнелюб из абхазского детства: над догмой горского гостеприимства, над присланной с дружеского стола бутылкой, от которой нельзя отказаться, над застольными преувеличениями пышных тостов, над криками горских петухов, над наивным русско-кавказским бюрократизмом с канцелярским высокоумием сельсоветских справок,

над свирепыми родовыми клятвами, над чангалистами — любителями выпить за чужой счет,— над пышными именами вроде Платона, видно, «оставшимися еще со времен греческой и римской колонизации черноморского побережья», над традиционными позами патриархов — старика с посохом и старика с палкой, сидящих под могучим шатром ореха, над веселыми тризнами на похоронах этих старых, почтенных и все же вовремя покидающих землю людей...

Таков дедушкин дом Фазиля Искандера, и трудно его не полюбить.

«Даже если я там бывал редко, самой своей жизнью, своим очажным дымом, доброй тенью своих деревьев он помогал мне издали, делал меня смелей и уверенней в себе. Я был почти неуязвим, потому что часть моей жизни, мое начало шумело и жило в горах. Когда человек ощущает свое начало и свое продолжение, он щедрей и правильней располагает своей жизнью, и его трудней ограбить, потому что он не все свои богатства держит при себе».

Фазиль Искандер — умный писатель: в смешных и веселых эпизодах, в забавных сюжетных ситуациях, в необязательном и даже как будто бессмысленном кружении слов он без претензии обнаруживает совсем не юношескую зрелость мысли. В рассказе «Мой кумир» мальчишка, преодолевая страх, проходит тайком от всех по перекладине; все переживания героя при выполнении высотного номера описаны с полным пониманием детской психологии. Рассказ простодушен до чрезвычайности. Но вот «вползает» сентенция:

«Мне кажется, в любом деле первоначальный страх силен тем, что предстает в наших ощущениях, как шаг в зияющую пустоту, в бесконечный ужас. Одолев его, мы не опасность устраняем, а находим меру тому, что мы считали бесконечностью. Кто определит меру небытию, тот и даст людям лучшее средство от страха смерти...

После меня и некоторые другие ребята научились проходить по качающейся перекладине, но ни они, ни я даже ни разу не попытались пробежать от одного конца до другого. Мы чувствовали, что это дело избранника, и только в самых потаенных мечтах могли повторить его подвиг.

...В видении Христа, идущего по воде, есть что-то от шарлатанства Великого Инквизитора. Мы видим, как при помощи чуда заманивают людей в религию. Но с еще большим успехом их можно было бы заманить в религию, если б Христос на глазах рыбаков прибрежную гальку превращал в золотые монеты. В его прогулке по воде нет ничего духовного, потому что нет преодоления. Он идет по воде или потому, что бесплотен, или потому, что с неба на невидимой нитке его придерживает Главный Конструктор. А раз так, ему ничего не остается, как идти по воде Заслуженной Походкой с тем скромным достоинством, с каким на собраниях проходят на сцену избранные в президиум».

В одном месте Искандер с неизменной грацией юмора пишет: «юность специализации души». Что касается самого писателя, то, по всей вероятности, у него она произошла в детстве. «Может быть, самая трогательная и самая глубокая черта детства,— пишет автор «Созвездия Козлотура»,— бессознательная вера в необходимость здравого смысла. Следовательно, раз в чем-то нет здравого смысла, надо искать, что исказило его или куда он затерялся. Детство верит, что мир разумен, а все неразумное — это помехи, которые можно устранить, стоит повернуть нужный рычаг. Может быть, дело в том, что в детстве мы еще слышим шум материнской крови, проносившейся сквозь нас и вскормившей нас. Мир руками наших матерей делал нам добро, и разве не естественно, что доверие к его разумности у нас первично. А как же иначе? Я думаю, что настоящие люди — это те, кто с годами не утрачивает детской веры в разумность мира, ибо эта вера поддерживает истинную страсть в борьбе с безумием жестокости и глупости».

И опять — о доме дедушки... Пожалуй, дедушка и Колчерукий в двух одноименных рассказах с наибольшей выразительностью воплощают в себе идею разумности мира. «Веселье и труд украшают землю»,— пишет Искандер. Рассказав о многих чудачествах Колчерукого, громкоголосого горлопана и остряка, спорщика и смутьяна, изобразив в серии анекдотов почти гомерическую фигуру упрямого вздорного старика и весело похоронив его в конце рассказа, автор пишет о нем: «Кто же достоин человеческой памяти, если не Колчерукий, который всю жизнь украшал землю весельем и трудом, а в последние десять лет, можно сказать, добрался и до своей могилы и ее заставил плодоносить, собирая с нее, как говорят, неплохой урожай персиков».

Рассказ же о дедушке — это гимн труду. Всего-то и сюжету, что на глазах у мальчишки дедушка рубит на обрывистом склоне ореховые прутья — не то для плетня, не то для новых виноградных корзин,— а потом вместе с мальчишкой несет связку прутьев на своем горбу. И отдыхая по пути, что-то рассказывает внуку о далеких временах напрасного бегства абхазов в Турцию, где их обманули посулами насчет хлебных деревьев и сахара, который там копают, мол, прямо из земли. Всего-то и сюжету — на два часа знойного полдня. А сколько здесь ненатужной, незаемной, незаказной поэзии труда, сколько любви к труженику, любви, озаренной светом таланта. Цитировать — но сколько же можно цитировать...

«Прежде чем добраться до зарослей, ему нужно перерубить толщиной с веревку ежевичную плеть. Я всем телом чувствую, до чего ему неудобно стоять, свесившись на одной руке и вытянутой другой едва доставая, тюкать по упругой ежевичной плети. Топорик все время отскакивает, да и удар не тот.

— Дедушка, не перерубливается,— говорю я ему сверху, давая ему возможность почетного отступления.

Дедушка молча продолжает бить по пружинящей плети, а потом говорит, сообразуя свой ответ с ударами топорика:

— Перерубится... Куда ей деться? Перерубится...

И снова тюкает топорик. Я смотрю и начинаю понимать, что в самом деле некуда ей деться. Если б она могла куда-нибудь деться, может быть, дедушка и не угнался бы за ней. А так ей некуда деться. А раз некуда деться, он так и будет ее рубить целый день, а то и два, а то и больше. Мне представляется, как я ему сюда ношу обед, ужин, завтрак, а он все рубит и рубит, потому что деться-то ей некуда».

Вот оно, искандеровское кружение слов, юмор бессмыслицы, за которым проглядывает большой смысл, как за кустарником на склоне горы — море.

Нарубив прутьев, сложив две вязанки, взгромоздив их на спины, дедушка и внук отправляются в путь. Ох, какое это мучение для мальчишки, когда болит плечо, и ветки впиваются в тело, и труха летит за ворот, жжет и щекочет потную спину. Нет, они идут не Заслуженной Походкой Христа по воде; в преодолении тяжести полдневного пути с вязанкой ореховых прутьев на спине начинается «специализация души» будущего рассказчика. А теперь попробуйте «ограбить» Искандера, когда он держит в памяти детства такие подробности:

«Я усаживаюсь рядом с дедушкой в знак того, что теперь намерен его долго слушать. Дедушка снимает с ног чувяки из сыромятной кожи, вытряхивает из них мелкие камушки, землю, потом выволакивает оттуда пучки бархатистой особой альпийской травы, которую для мягкости закладывают в чувяки. Сейчас он слегка копнит эти пучки в руках и осторожно, как птичьи гнезда, всовывает в чувяки».

Следует рассказ о бегстве в Турцию обманутых абхазов.

«Я смотрю на крупные ступни дедушкиных ног, на их какое-то особое, отчетливое строение. На каждой ноге следующий за большим палец крупнее большого и как бы налезает на него. Я знаю, что такие ступни никогда не бывают у городских людей, только почему-то у деревенских. Гораздо позже точно такие же ноги я замечал на старинных картинах с библейским сюжетом — крестьянские ноги апостолов и пророков».

Идут дальше. Знойный полдень, бесконечная горная тропа, проклятая вязанка за спиной. И вот последний штрих портрета; уже никакого юмора и легкомыслия, а — не боюсь преувеличить — рембрандтовская выразительность деталей:

«Дедушка отворачивается, и снова перед глазами волнуется и шумит огромный зеленый сноп. Я почему-то вспоминаю дедушкино лицо в то мгновение, когда он повернулся ко мне, и начинаю понимать, что свирепое выражение у него выработалось от постоянных физических усилий. Сейчас под грузом у него резче обозначались на лице те самые складки, которые видны на нем и обычно. Я догадываюсь, что эта гримаса преодоления так и застыла у него на лице, потому что он всю жизнь что-то преодолевал».

Мысль о труде преодоления, прямо противоположном «хождению по воде», проникает из одного рассказа в другой. И в этом особая черта дарования Искандера: все его творчество — из одного материала, точно корзина, сплетенная из ореховых прутьев. Мальчишка положил поперек шеи дедушкин посох, перевалил через него руки. «По-

лучается — вроде висишь на самом себе. Очень удобно». Дедушка замечает и высмеивает присказкой, потому что это поза лентяя. И тотчас начинается искандеровское кружение слов:

«Ну, что ты ему скажешь? А главное, я и сам чувствую, что, может быть, он и прав, потому что, когда я так палку держал, мне ничего-ничего неохота было делать. И даже не просто неохота было ничего делать, а было приятно ничего не делать. Может быть, думаю я, настоящие лентяи это те, кто с таким удовольствием ничего не делает, как будто делает что-то приятное».

Подобные пассажи составляют непременную черту стиля Искандера. Мысль как бы ленится идти дальше, рассказчик испытывает наслаждение, выбирая из ситуации самой незначительной и будничной весь ее юмор до самого донышка и еще выскребая со стенок до полной прозрачной выскребанности. В рассказе «Улыбка Диониса» один за другим следуют два пассажа: первый о мальчишке, впервые испробовавшем беспамятство опьянения, когда его движения «потеряли привычку», второй — о бессмысленно надравшемся угрюмом забулдыге, встреченном на московской улице. В «Колчеруком» дан великолепный пассаж о горском князе, который гордился умением так счищать кожуру с фруктов, что ленточка кожуры ни разу не прерывалась,— и в этом образе легко проглядывается поэтика самого Искандера. В рассказе «Мой кумир» на нескольких страницах описано умывание юноши, который любил, моясь после работы, одновременно болтать о международном положении. Самая невинная сцена выбора меню в переполненном вагоне-ресторане становится материалом для удивительных юмористических открытий. А затем в рассказе «Попутчики» следует отступление от сюжета по поводу ташкентского землетрясения, где вдруг объектом сатирического обозрения становятся некий главный эксперт по восстановлению разрушенного города и юный распорядитель, по легкомыслию разгневавший его в аэропорту в час отлета в Москву.

Некоторые рассказы Искандера — городские по сюжету. Но и там всегда действует юноша, за которым легко проглядывает фигура самого рассказчика, только теперь уже на фоне городского кинотеатра, школьного буфета, небольшого парка с лодочной пристанью и, конечно, моря, моря, в которое автор влюблен так же, как в дедушкино село за горами. Эти рассказы — упомянутый «Мой кумир», «Англичанин с женой и ребенком», «Зимнее море» — родственны «Дедушке» и «Колчерукому»: в них та же человечность и умная издевка над всевозможными разновидностями «рыцарей с вывернутыми карманами», незадачливыми абреками нашей современности, та же нетерпимость ко лжи и насилию, и при этом милое снисхождение, подобие любви к древним законам «товарищества, землячества, свояченства или как там еще...». И неизменный юмор. В рассказе «Мой кумир» мальчишка вместе со своим другом решают ночью выкрасть из школьного буфета заветную миску с сосисками. Крадутся по коридору. «Сердце стучало так, что с каждым шагом приходилось одолевать отталкивающую назад силу отдачи. Когда мы проходили мимо окон, в темноте появлялся бесстрашный профиль моего друга, и действие страха ослаблялось. Я забыл сказать, что на мне была почему-то белая рубашка. Эта рубашка, больше подходящая для привидения, чем для грабителя, сейчас в темноте казалась странной, словно я был одет в собственный страх. Я старался не смотреть на нее, чтобы еще больше не пугаться».

«Словно я был одет в собственный страх»... За редким исключением метафоричность прозы Искандера есть юмористическое низведение или возвеличение конкретных реалий. Не могу удержаться от примеров:

«А вот и сливовое дерево. Длинные голые ветки, а какие на них бывали летом толстые в голубоватой пыльце плоды. Проведешь пальцем, а под пыльцой глянцевитая темень кожуры, совсем как чернильница, случайно забытая и нашаренная в парте после каникул».

«Однажды я долго глядел на этого мужичка, и вдруг мне показалось, что сквозь его усы и бородку проглядывает улыбка. Это было так неожиданно, что я даже испугался немного. Она проглядывала из щетины его лица, как маленький хищник из-за кустов. Конечно, мне это могло показаться, но, видно, могло показаться потому, что я почувствовал в нем какую-то фальшь».

«Человек позвал собаку. Я услышал в тишине ее приближающееся дыхание. Мощное тело выметнулось из кустов. Она подбежала к хозяину, присела, шлепая хвостом по траве, мимоходом вспомнив обо мне, еще раз быстренько обнюхала: так

проверяют документ, когда уверены, что он в порядке».

«Вентилятор стоял на столе напротив него, и каждый раз, начиная совещание, Автандил Автандилович выключал его, и голова его прямо возвышалась над жирными лопастями вентилятора, и он был похож на пилота, прилетевшего издалека. Кончая совещание, он включал вентилятор, лицо его каменело, и тогда казалось, что он неподвижно улетает в нужном направлении».

«Их несколько раз вызывали на бис, и вместе с ними выходил сам Пата Патарая — тонкий, с пружинистой походкой пожилой человек. Постепенно загораясь от аплодисментов, он в конце концов сам вылетал на сцену со своим знаменитым еще с тридцатых годов па «полет на коленях». После сильного разгона он вылетал на сцену и, рухнув на колени, скользил по диагонали в сторону правительственной ложи, свободно раскинув руки и гордо вскинув голову».

Наиболее зрело выразились все особенности, свойственные письму Искандера, в повести «Созвездие Козлотура» — здесь талант писателя как бы вцепился в гриву остросовременной, социально-масштабной темы и сразу нашел свое настоящее применение.

Не так часто случается, когда счастливо найденный жизненный анекдот (подобно «Мертвым душам» или «Ревизору»), обремененный социально-историческим смыслом, обладает такой вместимостью, такой способностью к «самораскручиванию», что может держать целое произведение.

Недавно минувшие годы нашего общественного развития были омрачены пороками показухи, волюнтаризма и произвола. Все это осуждено народом и партией,— однако искусство потому оно и искусство, что умеет произнести и свой особенный приговор.

Надо вспомнить признания Фазиля Искандера о первоначальной детской вере в здравый смысл, чтобы понять органичность для его творчества бог весть как возникшего в его голове сюжета о кампании по разведению козлотуров. Тут здравый смысл на некоторые годы затерялся или был искажен до неузнаваемости, и речь шла уже о «безумии глупости», с которым надо бороться. Сам тяжкий груд крестьян на табачных и чайных плантациях, и каждая помидорина на тетушкином огороде, и то ореховое дерево, которое разросшимися ветвями затемнило целый угол табачного поля, и неплохой урожай персиков, который собирал Колчерукий со своей преждевременно отрытой могилы,— все, все диктовало молодому писателю серьезное отношение к серьезной теме. Тут было уже не до подтрунивания: с безумием глупости надо бороться!

«Вот как это началось. Года два назад Платон Самсонович побывал в одном горном заповеднике и привез оттуда небольшую заметку о селекционере, которому удалось скрестить горного тура с обыкновенной козой. В результате появился первый козлотур. Он спокойно пасся среди домашних коз, не подозревая, какое великое будущее предназначила ему судьба. На заметку в газете никто не обратил внимания, но, оказывается, один большой человек, хотя и не министр, однако никак не меньше министра по значению, прочел ее. Он каждый год отдыхал у нас на Оранжевом мысе. Он прочел ее и сказал вслух:

— Интересное начинание, между прочим...»

Все доводы хороши, и «результат не медлит сказаться», когда конъюнктура, подсказанная сверху, начинает вращать людские карьеры, человеческие судьбы, точно мельничное колесо. Заговорили о шерстистости козлотура, о его превосходной способности «к покрытию», была исследована и взята на вооружение «прыгучесть» козлотура, новый гибрид был использован даже в антирелигиозной пропаганде. Разумеется, возникла научная дискуссия с политическими заушениями по поводу преимуществ наименования «козлотур» перед «турокозом». Над скромным городским павильоном возникла вывеска «Водопой козлотура». Ансамбли запели сочиненные по случаю песни. Кто-то предложил вызвать штат Айову на соревнование...

Среди всех пассажей, рассеянных по рассказам Фазиля Искандера, пассаж с козлотуром оказался самым развернутым, грандиозная гипербола человеческого заблуждения легла основанием талантливой повести. Не упуская ни одной возможности, писатель рассказал нам о том, как из снежного кома, нечаянно сдернутого с крутых склонов рукой газетчика, выросла лавина благоглу-

постей, административных восторгов и совершенно невероятных в иное время событий общегосударственного масштаба.

Подобно своему горскому князю, который умел серебряным ножичком снять кожуру с плода так, что вся гирлянда кожуры не обрывалась ни разу, развивает Искандер в повести гирлянду эпизодов «козлотуризации» мозгов вплоть до того фантастического происшествия, когда захмелевший журналист в командировке ночью наблюдает небо, то самое южное небо, знакомое с детских лет, когда он мальчишкой пас обыкновенных коз в дедушкином селе.

«Мы вышли из закусочной. Над нами темнело теплое звездное небо. Небосвод покачивался и то приближался, то отходил, но и когда отходил, он был гораздо ближе, чем обычно. Большие незнакомые звезды вспыхивали и мерцали. Странные, незнакомые мысли вспыхивали и мерцали в моей голове. Я подумал, что, может быть, мы сами приблизились к небу после такой дружеской выпивки. Какое-то созвездие упрямо мерцало над моей головой. И вдруг я почувствовал, что эти светящиеся точки напоминают что-то знакомое. Голова Козлотура, радостно подумал я, только один глаз маленький, совсем подслеповатый, а другой большой и все время подмигивает.

— Созвездие Козлотура,— сказал я.

— Где? — спросил Валико.

— Вон,— сказал я и, обняв его одной рукой, показал на созвездие.

— Значит, уже переименовали? — спросил Валико, глядя на небо.

— Да,— подтвердил я, продолжая глядеть на небо. Это была настоящая голова козлотура, только один глаз его все время подмигивал, и я никак не мог понять, что означает его подмигивание».

Таков в кратком обзоре характер дарования Фазиля Искандера. Такова его «прописка» на земле — детство в абхазском селении. Такова его вера в здравый смысл, помогающая ему бороться с безумием жестокости и глупости. Таково настроение его прозы — солнечное, прозрачное, как виноградная гроздь. Такова его мысль, и таков обвивающий ее юмор.

Я радуюсь, что в нашей литературе, столь богатой талантливыми молодыми именами, что мы их даже не сразу успеваем, растет великолепное дарование Фазиля Искандера. Я верю в его будущее, потому что чувствую его корни.

НАТАЛИЯ ИЛЬИНА

★

ЛИТЕРАТУРА И «МАССОВЫЙ ТИРАЖ»

(О некоторых выпусках «Роман-газеты»)

Представим себя пассажиром скорого поезда Москва—Ташкент.

«Поехали!» — произнес бодрый голос, и в соседнем купе раздался звон стаканов. Поезд тронулся. Оглядевшись, вы начали устраиваться, раскладывать вещи и вдруг обнаружили, что книги, которую вы рассчитывали читать в дороге, в чемодане нет. Книга забыта дома.

На первой же большой станции вы кидаетесь к киоску Союзпечати. Нет, не газеты. Нет, не тонкие журналы — ехать-то долго. И не толстые. Там непременно продолжение чего-нибудь. Роман бы купить с началом и концом. Но киоски не торгуют романами. Да нет, вот же «Роман-газета»! На радостях вы покупаете сразу два романа и мчитесь обратно в вагон.

Там тепло, за окном — бескрайние просторы, и вам уютно, вам есть что читать! Начнем хотя бы с этого романа. Называется он так: «Солноворот». Имя автора — Аркадий Филев — ничего вам не говорит. Видимо, появился новый писатель.

ФИЛЕВСКАЯ ПРОЗА

Однако из предисловия, напечатанного на обороте обложки, вы узнаете, что А. Филев не новичок. Настолько не новичок, что о произведениях его как о чем-то само собой разумеющемся сказано: «филевские романы» («...особое достоинство филевского романа...», «масштаб... филевских романов...»). Это звучит совершенно так же, как «чеховские рассказы», «бунинская проза», и свидетельствует о том, что А. Филев — писатель сложившийся, со своим почерком, со своей яркой индивидуальностью... Вы сами, значит, виноваты в том, что до сих пор этот писатель был вам неизвестен.

Какая удача, что филевская проза попала наконец вам в руки и вы сможете заполнить досадный пробел в своем читательском образовании.

Вы узнаете также из предисловия, что автор принадлежит к той писательской плеяде, которая продолжает «напряженный... поиск нового в судьбах советского села»... Действие романа развертывается на «скудных от природы полях Вятчины, Вологодчины... Нет плохой земли — есть плохие земледельцы. В этом накал борьбы... Жернового, секретаря Краснолудского обкома, и Сергея Дружинина — секретаря одного из райкомов области». А еще в предисловии вот что сказано: «Сергей Дружинин, профессор Штин, Вера Селезнева, второй секретарь обкома Федор Янтарев, Валя Щелканова, Степан Волнухин, Игорь Порошин, Николай Кремнев — в этих людях олицетворено будущее».

Из этого списка людей будущего с двоими вы знакомитесь на первых же страницах, а третий там же упоминается. Председатель колхоза Вера Селезнева любит секретаря райкома Сергея Дружинина, но его также любит инженер Валя Щелканова, которая пока еще не появилась. На первой же странице выясняется, что Селезнева опубликовала статью, в которой ратует за клевера, и вряд ли этой статьей будет доволен секретарь обкома Жерновой... Ясно, что Жерновой против клеверов. Не за кукурузу ли он?

Намечается и еще одна любовная линия... Тракторист Игорь Порошин обучает своему делу юную Марину Кремневу, которая проходит практику в мастерской МТС. Поначалу появление хорошо одетой девушки вызвало у трактористов «иронические улыбки». «Но когда узнали, что это дочь председателя райисполкома, любители пошутить сразу притихли». Сама же Марина очень демократична. Пожилой Волнухин сунулся было величать ее по имени-отчеству, а она попросила называть ее Маринкой. Ее огорчает сервилизм переставших смеяться трактористов. Она уже думает, что лучше было бы проходить практику в другом районе, «где не знают отца» и где, следовательно, ей удалось бы сохранить инкогнито...

Но вас, читателя, беспокоят сейчас не взаимоотношения дочери предрайисполкома с коллективом, а иной вопрос... Кто такой Волнухин? — вот о чем вы задумались. Знакомая фамилия. На всякий случай вы заглядываете на предыдущие страницы и убеждаетесь, что там как раз шла речь о Волнухине. Проклятая забывчивость! Директор МТС — вот он кто, Волнухин! Страдая флюсом, обвязавшись жениным платком, шагал Волнухин, видимо, к врачу и, встретив некоего Сыромятина, остановился, чтобы высказать ему ряд мыслей о будущем колхозов...

Как же так? Только что был Волнухин, а вы о нем забыли! Нехорошо, читатель!

Дружинин собрал заседание членов райкома, чтобы решить, кого послать на курсы, где обучают будущих председателей колхозов. Дружинин предлагает послать Глушкова. Тучный прокурор возражает. Откуда взялся прокурор? Или опять вы что-то пропустили? Ладно, читаем дальше. Кремнев кандидатуру Глушкова поддерживает. Кремнев. Кремнев. Кремнев?! А, да он же отец Марины, значит, председатель райисполкома. Новое лицо: Юрий Койков, второй секретарь райкома. Дружинин предлагает ему ехать на курсы, а Койков отказывается. Кремнев его стыдит. Больше того: позорит! А Койков ни слова в ответ, только краснеет. Это неспроста, конечно. Причины отказа Койкова и той покорности, с которой он выносил нападки Кремнева, несомненно, выяснятся позже. На курсы вызывается ехать сам Кремнев. Его жена в ужасе. Кремнев немолод. Нездоров («О контузии уже и не вспоминаешь? У председателя колхоза должно быть железное здоровье... к пяти на ногах будь...»).

Но Кремнев не сдается и едет в Краснолудск на курсы. Там с ним учится и бойкий интеллигент Платон Забазных: образование филологическое, в агрономии не смыслит ничего, цитирует то Гёте, то Архилоха; и ясно, что он развалит хозяйство первого же колхоза, куда его назначат... На лекцию профессора Штина является сам Жерновой.

Профессор хотя и дрогнул, завидев начальство, хотя и объявил торжественно: «...к нам прибыл Леонтий Демьянович» — а все-таки профессор душою тверд. Клевера отстаивает. Дескать, с клеверами умру. «И пусть мои ученики сплетут мне из них венок». Жерновой в ответ шутит: «...но разрешите вплести в него початок кукурузы». Ну, конечно, он за кукурузу. Так вы и знали. Что-то будет дальше?

Начало лета, в разгаре «праздник песни». Дружинин вызывает ревность Вали тем, что торчит около Селезневой. Валя давно уже ревнует его к Селезневой, из-за этого и ссора. Но вскоре примирение состоялось. Кусты сирени дышат «густым пьянящим запахом». Валя, сорвав «духмяную ветку», легонько ударяет ею по лицу Дружинина, и ясно, что свадьба не за горами.

Внимание! Появляется новый персонаж. Это Одинцов — начальник стройки. На стройку уходят колхозные кадры и в том числе два плотника из колхоза Селезневой. Та явилась к Одинцову и требует, чтобы он плотников вернул. Одинцов не соглашается. Селезнева настаивает.

Как, право, странно! Ведь действие происходит не во времена Чичикова и Собакевича, когда обменивались плотниками и дарили друг другу кучеров. В наши дни плотники сами вольны выбирать, где им работать. Тем не менее Селезнева очень горячится, требуя обратно свои кадры. Одинцов в конце концов уступает. Интересно: как взглянут на это плотники?

Покончив с плотниками, Селезнева и Одинцов беседуют о сирени. Он эти цветы не любит, с ними связаны тяжкие воспоминания. Этим воспоминаниям Одинцов предается после отъезда Селезневой. Его, оказывается, покинула жена. Ах, недаром он вспомнил о жене! Не затронула ли пылкая Селезнева его сердце? Не заменит ли Один-

цов ей Дружинина, который вот-вот женится на Вале?

А Дружинин и в самом деле женится! К воротам щелкановского дома подкатили две «победы». В машинах — жених, а также Ромжин и Кремнев с женами. «По старинному обычаю Дружинин шутливо называл одного тысяцким, а другого — дружкой». По тому же обычаю родственники и гости Щелкановых заперли ворота и приезжих не пускают. Тут жена тысяцкого, знакомая с обычаями, звонко запела: «Ехали мы полями, зелеными лугами, по сухим вереям. Доехали до двора, как до терема. У этого двора дверь стеклянная была, заскочила туда куна...»

«Не дадим ловить нашу куничку, не дадим!» — орут в ответ щелкановские родственники и гости и допрашивают приезжих: кто, мол, такие? «Мы люди добрые — райкомовцы да райисполкомовцы!» — отвечают по-старинному приезжие. Невесту называют уже не «куничкой», а «лебедушкой» — видимо, по-старинному можно было и так и эдак. Вот она и сама выплыла на крыльцо — «настоящая лебедушка». За ней шествуют ее родители с хлебом-солью. Секретарь райкома Дружинин, которого теперь уже запросто кличут «лебедем», отведал хлеба-соли, попотчевал невесту, и вот двор опустел, зато из дома несутся крики «горько!».

Очень живо описана эта свадьба. Вы зачитались, не слышите постукивания вагонных колес, не слышите разговоров соседей, но что-то тревожит вас, что-то сосет...

Откуда взялся тысяцкий по фамилии Ромжин: со звонкоголосой женой? Был он раньше в романе или его не было в романе? Листаем назад. Ну-ка, а кто присутствовал на заседании бюро райкома? Прокурор там был, бесследно исчезнувший. Красневший Койков. И Кремнев, который уехал на курсы и вот уже вернулся. А Ромжина не было. Э, да вот он! «Дружинин открыл праздник песни и предоставил первое слово председателю райисполкома Ромжину». А на другой странице митинг открыл Ромжин, предоставив первое слово Дружинину. Ромжин, значит, после отъезда Кремнева стал предрайисполкома.

Едва вы прояснили вопрос с Ромжиным, как на страницах романа возникает «начальник сельхозуправления Пекуровский, недавно рекомендованный на эту должность Трухиным». Боже, а кто такой Трухин? Упоминался ли он раньше? Опять вернемся назад. Спокойно, спокойно, времени много, ехать еще долго... Трухин, Трухин... Нашли. Вот эта страница: «Начальник сельхозуправления Трухин...»

Раньше, значит, он возглавлял сельхозуправление, а теперь — Пекуровский. Сосредоточимся: на одной странице два совещания — межобластное и пленум обкома. Непременно замелькают новые фамилии. Вот пожалуйста. Янтарев. Второй секретарь обкома. Пекуровский во всем поддакивает Жерновому, который против клеверов и за кукурузу. А Янтарев мужественно противостоит Жерновому и поддерживает председателей колхозов. Те-то понимают, что надо сеять клевера.

Внимание! Новое лицо. Секретарь обкома, ведающий сельским хозяйством, Брусенцов. Запомним. Диалог Жернового и во всем поддакивающего Пекуровского. Упоминается Трухин, который стал секретарем райкома в Фатенках. «А раньше-то был начальником сельхозуправления!» — бормочете вы, гордясь тем, что освоились в районной номенклатуре...

Выясняется: у Жернового есть жена по имени Юля. Она находится в Ялте. Когда-то Жерновой встретил свою будущую жену в кинотеатре «Метрополь», случайно сидели рядом, вышли вместе, и этот культпоход окончился свадьбой. Едва вы успели переварить данные сведения, как бац! — телеграмма: Юля скончалась. Жерновой восклицает: «Юленька!» — и на этом история семейной жизни Жернового кончается. Тем временем мелькает новое имя — Ирина. Поначалу вы отнеслись к этому спокойно: стенографистка, лицо эпизодическое, подиктуют ей, и она уйдет. Но нет, не так все просто. Жерновой любуется ее «хрупкими, почти девичьими плечами», и ему становится «все ближе эта женщина»... Но где, на какой странице впервые возникла эта женщина? Вы не помните.

В вас ли дело или это особенности «филевской прозы»? Происходит что-то странное: одни действующие лица незаметно возникают на страницах романа, не привлекая к себе внимания, и тут же исчезают из вашей памяти... О других даны какие-то сведения, вы их запомнили, но вскоре оказывается, что сведения эти лишние, ибо ни на что потом не «работают». Вы, к примеру, помните, что жена Кремнева не хотела.

чтобы ее муж руководил колхозом: возраст, последствия контузии, слабое здоровье... Но Кремнева бросают в самый отстающий колхоз. Мало того. Три колхоза сливают в один совхоз, всем этим руководит Кремнев и — ничего. И ни звука больше о его слабом здоровье и последствиях контузии... Или вот Юрий Койков, второй секретарь райкома. На курсы ехать отказался, его стыдили, позорили, он отмалчивался, только краснел. Во что же это вылилось? А вылилось это в то, что Койков распоряжается судьбами тех, кто вернулся с курсов. «А мы все подработали,— говорит он Платону Забазных,— думаем вас рекомендовать в «Восход»... Самый слабый у нас «Земледелец». Туда посылаем товарища Кремнева...» Подумать только: краснел, увиливал, уклонялся от трудностей, а теперь рекомендует, посылает, распоряжается... Но изумляет это только вас, читателя. В романе же о поведении Койкова сказано как о чем-то само собой разумеющемся, будто это норма, что тот, кто похуже, распоряжается тем, кто получше... Позже мелькает, правда, сообщение, что Койков работает бригадиром в колхозе Кремнева, но загадок койковского поведения этот факт тоже не объясняет...

Вы запомнили, что начальник стройки Одинцов не любит сирени, а любит лиственницы, ибо под лиственницей «были прочитаны с Еленкой первые книги» и лиственница «была свидетельницей и первых их поцелуев». На что «работают» первые поцелуи Одинцова, с чего он вспомнил о них? Добро бы он еще в Селезневу влюбился (вот и нахлынули воспоминания!). Но он не влюбился. Селезнева приехала, поговорила о плотниках и уехала.

Селезнева идет вверх по служебной лестнице, и вот она уже председатель облисполкома, и внезапно вы узнаете, что Валя Щелканова своим счастьем обязана Селезневой. Эти сведения вы почерпнули из краткой беседы Дружинина и Селезневой. «Но ведь ты сама, Вера, так решила,— будто оправдываясь»,— сказал он. «Знаю, дорогой.. Я хочу, чтобы вы были счастливы». Итак, Дружинин женился на Вале, ибо так решила Селезнева. Реши она иначе — он бы не женился. Уж не говоря о том, что Дружинин предстает тут в странном свете, интересно бы еще и выяснить: где говорилось раньше об этом решении Селезневой?

Но вы уже не в силах рыскать по страницам. Вы читаете дальше — и будь что будет... Пусть звонит Жерновому какой-то Лазуренко, пусть возникает на страницах «уполномоченный по заготовкам Ховшанов... любитель горячих речей на трибуне...». Пусть. Вы заранее убеждены, что ни с Лазуренко, ни с Ховшановым больше не встретитесь, речей их не услышите, и не желаете тратить сил на запоминание их имен... На эти детали вы махнули рукой. Основное зато вам ясно: волюнтаризм Жернового приведет к кошмарным последствиям. Так и случается. Невзирая на протесты Янтарева, Дружинина, Селезневой, профессора Штина, на предупреждения простых колхозников в лице старика Сократыча,— Жерновой гнет свое. И вот уже молодняк в погоне за процентом зачисляется в сверхплановую поставку, и режут маточное поголовье... Селезнева лично посетила рынок, убедилась, что колхозники распродают мясо, и вообще происходит что-то ужасное... Жерновой же ничего не желает слушать. Говорят ему ученые — он ноль внимания. Ему сотрудники — он плюет. Хоть кол ему на голове теши! Он одно знает: гонится за процентом. Слово «показуха» мужественно бросила ему в лицо Селезнева, но и это на него не подействовало. Трудно сказать, к чему бы все это привело, если б не статья в центральной печати. Там и о том, как Жерновой разделался с клеверами, как оставил колхозы без семян, как обрезали усадьбы, прекратили выдачу кормов на трудодень, взвинтили цену на скот... Очень, в общем, правильная статья, и подписана она Дружининым. Затем на место Жернового садится Янтарев, и солнце будто только и ждало этого, чтобы повернуть к весне. «Миновал солноворот... сразу словно стало больше света и больше тепла... Дрогнули на ветвях почки».

Читать вам больше не хочется. Вам разобраться в «филевской прозе» хочется. И, глядя в окно, вы погрузились в размышления.

Больше всего вас беспокоят личные и бытовые дела персонажей: слабое здоровье Кремнева, способность Янтарева «тонко чувствовать лирические строки», воспоминания Одинцова о первых поцелуях с впоследствии изменившей ему женой и воспоминания Жернового о встрече в кинотеатре с впоследствии скончавшейся женой... Странное ощущение не покидает нас:

а ведь можно и наоборот! Жерновому могла бы изменить жена, а у Одинцова — умереть. Янтарев мог бы мучиться от последствий контузии, а Кремнев — тонко чувствовать лирические строки. Дружинин мог быть счастлив с Валей и с Селезневой мог быть счастлив. А подвернись ему Маринка — и с ней был бы счастлив. А почему бы нет? Они все одинаково хороши. Селезнева «по-девичьи стройна», у Вали «тонкая и ладная девичья фигура», она «стройна и легка»... Марина просто «тоненькая», и глаза у нее карие. У Вали же «серые с грустинкой». Валя — прекрасная мать и хозяйка. И Марина будет не хуже. В цвете глаз вся и разница. У Ирины «хрупкие, почти девичьи плечи», но Ирина-то уже замужем. На нее можно только заглядываться. Заглядывается Жерновой. А мог бы Одинцов. И Янтарев мог бы. Ну да, он персонаж положительный, но будто положительные не заглядываются!

Можно так, а можно и эдак: странная легкость, от которой становится как-то не по себе... Зато разные соображения, там и сям разбросанные по страницам романа, не вызывают у вас никаких протестов... Очень все правильно.

Разве не прав Дружинин, что от людей «зависит и судьба урожая, и надои молока, и вообще все наши успехи»? Прав, конечно. Прав и Кремнев, утверждающий, что о человеке надо заботиться: «Позаботишься о человеке — человек-то добрее становится. Он силу в себе почувствует, станет себя больше уважать».

Ровно ничего нельзя возразить и против того, что руководителям следует советоваться с нижестоящими... Эта мысль вложена в уста безымянного старика, олицетворяющего, несомненно, глас народа: «Мужик-то побольше иного прочего знает. Только не путай его. А ведь, бывало, наедут из района, им только бы отчитаться поскорей».

Руководя и планируя, следует учитывать специфику местных условий — это ли не правильно?! «Леса, кустарники, речушки мелкие... Овец надо разводить, коров. Специализацию вводить. А нам свиней рекомендуют, кур. Нельзя так планировать, товарищи!» — говорит Кремнев.

Упомянуто в романе и о том, что сперва следует думать о базисе, а затем уж о надстройке... Бойкий Платон Забазных, став председателем колхоза, устлал свой кабинет коврами, понастроил мостики с перильцами, футбольное поле обнес железной оградой.. А колхозные домишки покосились, а босые бабы на себе хворост тащат, лошадей нет... И покинув кабинет председателя, старик Сократыч размышляет так:

«Культура, ведь она что? Она, братец ты мой, должна идти в ногу со всем хозяйством. На пустом месте, как вот здесь, ее не воздвигнешь. Надо вначале базу укрепить, а потом уж кошельком трясти».

Не забыто в романе и известное изречение: не хлебом единым жив человек. Выражено оно так: «Человек любит не только хлеб, но и розы. Хлеб для желудка, розы — для души». Слова эти вложены в уста случайного попутчика Жернового, некоего подполковника. Подполковник возник исключительно затем, чтобы бросить эту мысль, и, бросив, исчезает бесследно.

Какая, право, ненужная расточительность! Вполне можно было обойтись без подполковника. Насчет хлеба и роз мог бы высказаться кто угодно другой из положительных персонажей. Дружинин мог бы, Кремнев, Валя Щелканова. И тот же Янтарев. Он, кстати, тоже очень правильные слова произносит: «...дополнительными заданиями мы... подрываем веру у колхозников в справедливость оплаты труда... лишаем их материальной заинтересованности». Но это мог бы и Дружинин сказать. Или Кремнев. А насчет хлеба и роз пусть бы Янтарев сказал, зачем тут еще подполковник? Важно держаться принципа: правильные слова вкладывать в уста положительным персонажам, а неправильные — отрицательным.

Этого принципа автор как раз строго придерживается...

А ведь вот в чем секрет «филевской прозы»! Движимый благородным желанием довести до широких масс ряд пусть общеизвестных, но всегда нужных истин, автор облек их в форму беллетристическую. У беллетристики же свои требования: необходимы действующие лица. Часть этих лиц высказывает правильные соображения, часть — неправильные. Но нельзя же им все высказываться да высказываться — не заседание это, не совещание в конце концов! Надо время от времени освежать внимание читателя личной жизнью персонажей. В настоящей литературе ситуации

возникают из характеров действующих лиц и сюжетной логики. В произведениях же подобного рода характеров нет, сюжетной логики тоже, а ситуации возникают лишь для того, чтобы иллюстрировать определенное положение...

Теперь понятно, зачем понадобилась встреча Селезневой и Одинцова. Не ради Селезневой. Не ради Одинцова. И не ради плотников. А только ради того, чтобы напомнить вот какую истину: если колхозные кадры материально не заинтересовать, то эти кадры в поисках твердой зарплаты будут уходить на стройки... Понятно и то, зачем вспоминает Одинцов о сирени, лиственнице и первых поцелуях. Это для освежения читательского внимания, а также для утепления персонажа.

Янтарев утеплен стихами. Дружинин — семейной жизнью. Селезнева — любовью к Дружинину. Жерновой — интересом к хрупким плечам своей стенографистки... И так далее.

Высказывания персонажей — это как бы хлеб, а их личная жизнь — как бы розы.

Секрет филевской прозы разгадан. Неразгаданным осталось лишь предисловие.

Непонятно, почему общеизвестные истины, высказанные на страницах произведения, названы в предисловии напряженным поиском нового в судьбах советского села. Непонятно и то, почему к лику тех, кто олицетворяет будущее, причислена Валя Щелканова, а Марина Кремнева не причислена. Профессор Штин причислен, а старик Сократыч — нет. Но старик Сократыч, право, высказывается не хуже всех других!

И совсем уже невозможно понять, почему автор предисловия сделал прилагательное из имени автора романа: «филевский... филевские...» А. Филев не является первооткрывателем рецепта, пользуясь которым можно превратить газетную статью в беллетристическое произведение. Рецепт давно известен, рецептом широко пользуются. Но, однако, не каждому автору, работающему в этом русле, удается дойти со своим произведением до читателя. А. Филев оказался счастливым. И прежние свои произведения он доводил до читателя. А данный роман довел до самых широких читательских масс, ибо тираж...

Вы заглядываете на самую последнюю страницу и видите цифру тиража: два миллиона сто тысяч экземпляров.

В глазах у вас темнеет. Это, наверное, потому, что день кончился, за вагонным окном — вечер.

БЕСТСЕЛЛЕРЫ НАШИХ ДНЕЙ

Пусть пассажир тоскливо глядит в темное вагонное окно, забудем о нем пока. Поразмыслим над цифрой: два миллиона сто тысяч экземпляров.

И это не предел. «Роман-газета» выпускает книги тиражом и в три миллиона. Обычный тираж издательства «Советский писатель» — тридцать тысяч. Массовый тираж — семьдесят пять тысяч, ну сто тысяч. А тут не тридцать тысяч книжек, не сто и даже не двести и не триста, а три тысячи тысяч! И каждая стоит пустяк, всего двадцать—тридцать копеек. Читать у нас любят, беллетристика расхватывается мгновенно, и все же некоторые задумаются, прежде чем истратить на книгу рубль. Расставанье же с двугривенным ни у кого колебаний не вызовет.

Нет, значит, лучшей возможности дойти до читателя со своим заветным словом, как через посредство «Роман-газеты». Заветное слово услышат три миллиона человек, купивших книжку, а также их родственники, друзья и знакомые. С произведением автора «Роман-газеты» ознакомится, следовательно, вся страна. Вот она, истинная массовость!

Это еще не все. Книжки «Роман-газеты» распространяются «сейчас в 83 странах мира. И везде, куда приходит журнал художественных новинок, его встречают как полпреда литературы социалистического реализма»,— пишет М. Черкасова в статье «Трибуна современного романа», посвященной сорокалетию «Роман-газеты».

В статье заведующего редакцией «Роман-газеты» В. Ильинкова, посвященной тому же событию, говорится о том, что мысль о необходимости создавать романы для народа в виде пролетарской газеты невысокой стоимости принадлежала В. И. Ленину. «По инициативе А. М. Горького в июле 1927 года ленинская идея была претворена в жизнь — вышел первый номер «Роман-газеты» тиражом в 50 тысяч экземпляров».

Ныне этот тираж дошел до трех миллионов.

Ни дореволюционные писатели, ни классики советской литературы ни о чем по-

добном мечтать не могли. «Разгром» Фадеева, «Чапаев» Фурманова, «Педагогическая поэма» Макаренко этими тиражами не издавались. Да и выходил ли «Тихий Дон» в таком количестве экземпляров?

Тонны бумаги, на которой можно было бы выпустить шестьдесят романов шестидесяти разных авторов, дав каждому приличный тираж в пятьдесят тысяч, тратятся на один роман. Можно смело предположить, что издательство «Художественная литература» с болью расстается с этими тоннами, уходящими из его запасов. Бумага на счету, бумаги не хватает, не покрыты потребности в издании русской классики, ждут своей очереди Пушкин, Лермонтов, Гоголь... Но издательство, несомненно, утешается тем, что лучшие современные произведения нашей литературы становятся общедоступными, входят в каждый дом.

Редакционный совет «Роман-газеты» понимает всю меру своей ответственности перед читателем — нельзя же в самом деле наводнять книжный рынок произведениями не только серыми и слабыми, но даже посредственными. Это явствует из статьи В. Ильинкова, заметившего, что «достоянием широких народных масс» должны становиться «наиболее значительные произведения советских и передовых зарубежных художников слова». «Роман-газета» многого ждет от своих авторов. «Народность и партийность, актуальность и высокий художественный уровень — вот те требования, которые по традиции предъявляет «Роман-газета» ко всем писателям» (В. Ильинков).

Тем удивительнее появление романа «Солноворот» А. Филева. Почему же к этому автору не было предъявлено тех требований, какие по традиции предъявляются ко всем писателям?

Зато, видимо, остальные романы, вышедшие в 1968 году — «Берегите солнце» А. Андреева, «Угол падения» В. Кочетова, «Разорванный круг» В. Попова, «В вечном долгу» И. Акулова и другие,— и в самом деле являются лучшими произведениями нашей литературы последних лет. Ну, а с романом Филева произошла ошибка. Автору удалось каким-то образом обмануть бдительность членов редсовета, стоящего на страже интересов массового читателя. Бывает и такое.

Будем надеяться, впрочем, что случай с романом Филева — исключение и что во всех других случаях редсовет предъявляет к писателям именно те требования, которые перечислены в юбилейных статьях.

* * *

В редакцию «Нового мира» пришло письмо от читателя А. И. Формакова из Риги: «Мне очень нравятся писатели Сибири... я обеими руками ухватился за роман Черкасова «Хмель»... Сразу скажу: этот роман не только обманул мои ожидания, но и глубоко меня возмутил».

Корреспондент журнала утверждает, что А. Черкасов плохо знает ту обстановку, в которой действуют его персонажи, в романе присутствуют искажения истории и всякого рода неточности... Много упреков по адресу А. Черкасова содержится в письме, и в заключение его автор удивляется, почему этот роман, создающий в читательских умах превратные представления о событиях, которые автор взялся описывать, издан в количестве трех миллионов экземпляров.

«Хмель» и в самом деле вышел тиражом в 2 976 000, заняв три выпуска «Роман-газеты». Тут наш читатель прав. Прав ли он в остальном?

СОЦИАЛЬНАЯ ЭПОПЕЯ

В предисловии, принадлежащем перу М. Шкерина, сказано: «Хмель» — социальная эпопея, охватывающая около ста лет — от восстания декабристов до Великой Октябрьской социалистической революции и состоящая из ярких драматических и трагических картин и сцен русской народной жизни...» «Удивительно сочно и последовательно выписаны разнообразные характеры действующих лиц — будто мы видим этих людей наяву, слышим их голоса, проникаем в их мысли и чувства, наблюдаем их поведение в жизни».

Характеры — это важно. Это, быть может, самое важное в художественной литературе. Еще Горький сказал, что уметь писать — это значит уметь рисовать людей словами. Разумеется, автор обязан знать обстановку, которую взялся описывать, однако многое простится А. Черкасову, если он сумел заставить читателя видеть своих героев, слышать их голоса, проникать в их мысли и чувства...

Пойдем же, читатель, поглядим на этих людей, послушаем их голоса, понаблюдаем их поведение...

По безводной степи бредет закованный в кандалы, изнемогающий от жары и жажды бывший мичман Лопарев, декабрист, бежавший с этапа. «В ночь на шестые сутки Лопарева одолевали видения...» В частности, ему мерещилась одна прекрасная полячка... «О, Ядвига, Ядвига!.. Лопарев повстречался с пани Менцовской на водах».

Знакомство произошло при обстоятельствах печальных: пани вывихнула ногу на горной тропинке и звала на помощь... И вот Лопарев вспоминает, как он бежал, а добежав, «с ужасом глядел... на ее маленькую ножку». Осмотрев маленькую ножку, он сообщил, что перелома нет, только вывих. Вывих — это больно. Понятно, что Ядвига смотрит на Лопарева, «смигивая слезы». Непонятно другое: почему она вдруг стала рассказывать о своем отце, которого погубила Россия: отец «бежал во Францию и умер там в изгнании»... Вместо того, чтобы немедленно нести пострадавшую к врачу, Лопарев объясняет ей, что Россия не виновата в несчастьях ее отца. Это цари виноваты. Но настанет день — «и презренных правителей уничтожат». После чего Лопарев поведал распростертой на земле Ядвиге, что он сам и его друзья сложа руки не сидят, а намерены «уничтожить деспотию, только бы представился случай». Тут снова разговорилась Ядвига. Она перешла на ты («Ты мой друг!»), попросила Лопарева назвать себя и в свою очередь сделала ряд признаний... И она не сидит сложа руки. И она состоит в тайном обществе «Братство польских патриотов», и там же состоят ее друзья, которых зовут так-то и так-то... Ядвига, однако, попросила Лопарева, чтобы все сказанное осталось строго между ними: «На огне сгори — но имена твоих братьев и сестер забудь!..» Ну, а нога-то ее как, нога? Оживленно беседующие молодые люди (она, видимо, все лежит, а он, видимо, перед ней стоит) о ноге не вспоминают, пока наконец Лопарев не спохватывается, что пора бы уже доставить разговорившуюся полячку к врачу...

Все это Лопарев и «восстанавливает в памяти», бредя в кандалах по степи. Он бормочет: «Ты слышишь, Ядвига? Я не предал вас. Ни тебя, ни Юлиана, ни Мстислава, ни Станислава». Это прекрасно, что он не предал. Очень возможно, что и она не предала, но с ней мы больше не встретимся. Лопарев же погибает к концу первой книги трилогии, что не удивительно. Дело в том, что он попал к раскольникам, в общину старца Филарета, а нравы там строгие: все время кого-то сжигают, распинают на кресте, пытают каленым железом и бьют смертным боем. Лопарева, в частности, бьют смертным боем, а затем закалывают ножом.

И вот он погиб, а странности его поведения так и остаются неразгаданными. Мы сомневаемся и в том: действительно ли был декабристом этот разговорчивый молодой человек? Он-то утверждает, что был. Он рассказывает раскольникам, «как вступил в тайное общество Союза благоденствия, а потом в Северное, как собирались на тайные сходки, обсуждали конституцию для народа, какую хотели объявить, если бы восстание удалось, и что по той конституции крестьяне освобождались от помещичьей крепости, престол упразднялся и что установили бы парламент с народными министрами».

Раскольники слушают с детским простодушием: люди они темные, что им о декабристах ни скажи — всему поверят. Откуда им знать, что конституция Северного общества, разработанная Никитой Муравьевым, упразднение престола целью не ставила. Южное общество собиралось упразднять престол, что было записано в пестелевской «Русской правде»... «Парламентом» высший орган государственной власти ни Муравьев, ни Пестель не называли и в своих документах термина «народные министры» не употребляли. Что-то, значит, совсем не то сообщает доверчивым слушателям бывший мичман Лопарев... Декабрист ли он на самом-то деле? Но Лопарева закалывают, и вопрос остается открытым.

Главного героя второй и третьей книг эпопеи зовут Тимофей Боровиков. Этот потомок старца Филарета родился в 1895 году в темной крестьянской семье, одурманенной религиозными предрассудками. В возрасте десяти лет Тимофей срубил вершину тополя — акт бунтарский, если принять во внимание, что Боровиковы и ряд их односельчан считали этот тополь священным деревом. «Мало того, в мелкие щепы искромсал икону Благовещенья и опаскудил моленную горницу, где свершались службы тополевцев... А ведь какой рос смышленый парнишка! На девятом году читал Писание».

В восемь лет, значит, читал «Писание», а в десять сжег все, чему поклонялся. Как же совершился этот перелом в душе ребен-

ка? Но процесс превращения тихого отрока в бунтаря, бросившего вызов семье и обществу, остался за кулисами повествования. Взбунтовавшийся исчезает со страниц эпопеи и появляется вновь уже в образе девятнадцатилетнего юноши, высланного под родительский надзор. Урядник сообщает: «Прибыл по этапу на отбытие ссылки как политический преступник. Был арестован в декабре минувшего года за участие в стачке мастеровых депо, а так и за хранение подрывной литературы. Состоит в подпольной партии сицилистов... В политику ударился ваш сын. Работал в депо кузнецом...»

Уже и стачки за плечами этого юноши, и тюрьма, и ссылка. И кузнецом он работал. Стихийно взбунтовавшийся подросток превратился в сознательного революционера. Как именно произошло это превращение, что передумал, что перечувствовал юноша— осталось за кулисами.

Началась война. В селе общая растерянность. Не растерян лишь Тимофей, ибо он-то твердо знает, что надлежит об этой войне думать: «За кого воевать? За такую каторгу? За царя-батюшку? За обжорливых жандармов и чиновников?»

Но вот Тимофея насильно увозят в дисциплинарный батальон, и наш герой опять исчезает со страниц повествования. Вновь он появляется в образе высокого представительного офицера... У него «четыре креста на груди, один из них золотой, и три медали»... По селу пополз слух, «что на побывку приехал Тимоха-«сицилист»... «весь в «Георгиях» и «в офицерских погонах».

Почему же так старался на неправедной войне молодой Боровиков? Об этом важном этапе его жизни читатель узнает на этот раз из уст не урядника, а полковника, некоего князя Толстова, который так представляет Тимофея гостям, собравшимся у богатого купца: «...полный георгиевский кавалер, прапорщик Боровиков... Когда наша дивизия оказалась у немцев в котле, рядовой Боровиков нашел в себе силу и мужество, находчивость и смелость, чтобы обезвредить предателя, командира батальона... Боровиков уничтожил предателя, принял на себя командование батальоном и тем спас штаб дивизии во главе с покойным ныне генералом...»

Чудеса храбрости, чудеса бдительности проявил герой, а читатель снова при этом не присутствует! А ведь так хочется знать: что там делалось в этом котле? Как случилось, что никто не угадал в командире предателя, и не дал себя провести лишь рядовой Боровиков? Почему все остальные проявили, сидя в котле, непонятную беспечность? На каком предательском акте был застигнут командир? Как именно удалось Боровикову предателя обезвредить и как уничтожить?

И еще любопытно бы выяснить: за какие доблести наш герой получил остальных «Георгиев», если считать, что за расправу с командиром был награжден одним крестом? Ведь несмотря на все легкомыслие, проявленное штабом попавшей в котел дивизии, представить отличившегося сразу к четырем «Георгиям» эти штабные вряд ли могли... А впрочем, кто знает? С нашим героем все время происходят чудеса. Несколько позже тот же полковник Толстов говорит ему: «Я настоял о присвоении вам воинского звания штабс-капитана»... Это подумать только: из прапорщика сразу в штабс-капитаны, минуя подпоручика и поручика!.. Окружающие не удивлены нисколько. Присутствующие дамы восклицают: «Браво, браво капитану!» Но дамы, как известно, не мастерицы чины-то разбирать... А вот как удалось полковнику Толстову «настоять» на этом неслыханном повышении?

Чудеса здесь не кончаются... Мало того, что Боровиков — доблестнейший воин. Он, оказывается, еще и оратор, выступающий на митингах. Некий генерал в марте 1917 года сообщает вот что:

«Прапор Боровиков призывает солдат верить только социал-демократам фракции большевиков. Да-с! А все существующие партии, по его утверждению, не что иное, как обманщики народа, жрущие буржуйские пироги. И что в России, мол, царил бесшабашный произвол, кровавая тризна царских сатрапов только потому, что у власти стояли жандармы и буржуазия. Надо покончить с буржуазией и с ее партиями. Да-с! Так-то, господа! Мало того, прапор призывает к прекращению войны, к миру с вероломной Германией!»

Вот какие убеждения сложились у нашего героя, и складывались эти убеждения опять где-то за кулисами. Нет, это поразительно, что о самых важных этапах духовного роста молодого Боровикова мы вынуждены узнавать то от урядника, то от полковника, то от генерала... Как пришел

герой к своим мыслям, что передумал и перечувствовал — узнать нам не удалось.

Быть может, удастся увидеть Дарьюшку, героиню второй и третьей книг романа, понять, что она за человек?

Дарьюшка — дочь богатого купца, окончила гимназию, что не прошло для Дарьюшки бесследно. Окружающие только и слышат от нее:

«Плавт сказал: человек человеку — волк. Как страшно... Апре ну ле делюж...»

«Либертэ, эгалитэ, фратернитэ...»

«Помните у Данте в «Божественной комедии» на вратах ада написано: «Оставьте надежду входящие сюда». Это же страшно, страшно, капитан!»

«Помнишь, у Блока: «Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, с раскосыми и жадными очами!..»

Это, конечно, странно, что Дарьюшке в марте 1917 года известны строки из «Скифов» Блока, в то время еще не написанных... Но таких странностей в эпопее много. Тимофей Боровиков в том же марте 1917 года собирается «взять винтовку, записаться в Красную гвардию совдеповцев и рушить вековую тьму, созданную не без религии». И вековая тьма была, и религия была, но вот Красной гвардии в то время еще не было... В 1830 году в разгроме старообрядческой общины принимает участие становой пристав, хотя этой должности в те годы не существовало. Прекрасная Ядвига сообщает Лопареву о «Братстве польских патриотов», хотя действовавшая тогда в Польше подпольная организация называлась «Патриотическое общество»... Старообрядка Ефимия утверждает, что ее мать велела ей беречь иконку: «В ней все мое достояние. Писал ее иконописец Рублев...» Но в начале минувшего века о ценности икон, написанных Рублевым, еще никто не подозревал, и откуда это было известно маме — непонятно... Та же Дарьюшка рассказывает, что была в гостях у архиерея в «чистый четверг» и «мы сидели в креслах — колени в колени», хотя можно поручиться, что в этот день страстной недели архиереи с девушками не сидели, а находились в церкви — такова была архиереева работа... Да всех странностей не перечислишь! Видимо, они и вынудили автора письма в редакцию А. И. Формакова задать вопрос: «Что делали люди, редактировавшие «Хмель»?»

Но мы не дадим этим странным неточностям, как бы часто они ни встречались, отвлечь себя от главного. Нас интересуют характеры, это в конце-то концов основное!

Лопарева понять не удалось. Боровикова тоже. Быть может, с Дарьюшкой мы будем счастливее?

Итак, она образованна: цитирует и цитирует... Кроме того, нежна и чувствительна. Говорит: «Никогда не помирюсь с жестокостью». Озабочена несправедливостью окружающего ее общества: «Один — всегда в роскоши, кушает на серебряных блюдах... а другой, как мастеровые люди, всегда в мазуте, грязи, нищете...»

Перед нами как будто светлый образ. Но та же Дарьюшка «хохотала до слез», читая не ей адресованное письмо, в котором написано вот что: «И меня лупили нещадно... Били, били до полного бесчувствия. Вся спина моя волдырем покрылась».

Очень также беспокоит монолог Дарьюшки, обращенный к служанке: «У тебя шеи совсем нет... И сама ты ужасно толстая. Ан гро, анфан тэррибль,— дополнила Дарьюшка по-французски, что означало: «В общем, ужасный ребенок»...— Ты почему такая толстая?»

Служанка растерянно оправдывается тем, что сестра ее еще толще: «В эту дверь не влезет». Это сообщение рассмешило Дарьюшку необыкновенно: «Не влезет? Ха-ха-ха! Как же она, ха-ха-ха, на свете живет?» «На раскатистый смех Дарьюшки примчалась встревоженная хозяйка...»

Тут, конечно, есть все основания для тревоги... Но, быть может, объяснение странных Дарьюшкиных поступков следует искать в ее безумии? Жестокий отец запретил ей видеться с любимым, затем пришло извещение о его гибели, и Дарьюшка лишилась разума. Правда, над письмом человека, которого били, она хохотала до того, как впасть в безумие. Но к служанке-то с вопросами насчет шеи приставала именно в этом состоянии...

Началось так: «Прислушиваясь к бормотанью Дарьюшки, к ее внезапному хохоту... и как она, не обращая внимания на присутствующих, задирая подол батистового платья, в которое ее вырядили утром, разглядывала свои ноги, сосредоточенно ощупывая их пальцами, Елизар Елизарович наконец-то уяснил: не в уме».

Она перестает узнавать близких. Ее сознание то проясняется, то заволакивается

туманом. Но эти перепады длятся недолго, и вот уже Дарьюшка всех узнает, и окружающие говорят о ней: «Никакая она не «психическая»... Рассуждает нормально».

Не верит в безумие Дарьюшки и капитан парохода «Россия», услышав от нее вот какие слова:

«И все время думаю: куда идет Россия? Куда? Где наша счастливая пристань? Или для России нет счастливой пристани? От жестокости — к новой жестокости, да? За что?»

Мы уже говорили, что Дарьюшка цитирует то Плавта, то Лермонтова, то Данте... Капитан тоже не ударяет лицом в грязь и цитирует Шекспира: «Россия дошла до такой черты, как Гамлет Шекспира, когда задал себе знаменитый вопрос: «быть или не быть!»...» Затем этот знаток Шекспира посвящает Дарьюшке несколько строк своего дневника: «Я прячу свои мысли, она их держит на ладони. Она обнаженная... Может быть, она из будущего?»

А когда Дарьюшка заявила отцу, что «...чиновники, губернаторы, фабриканты, купцы и все насильники... грабят честных людей», то и родной отец был поражен здравостью этого рассуждения. «Эге-ге! — призадумался папаша, как бы со стороны приглядываясь к дочери». Он, однако, поместил ее в сумасшедший дом. Дарьюшка проводит там некоторое время, затем за ней приезжает подруга и говорит: «У тебя все прошло».

Какой же все-таки душевной болезнью страдала Дарьюшка? Как ее лечили? Чем вылечили?

Но внезапно выясняется, что Дарьюшка сходить с ума и не думала. «...в этом ее отчуждении повинны были люди, когда ее, доверчивую, необычную в своей откровенности, сочли сумасшедшей, не догадываясь, что она просто была в состоянии крайнего накала всех душевных сил. Она искала участия, ответа на свои вопросы, а нашла убийственный приговор: сумасшедшая».

Прав был капитан, читавший Шекспира! Не было никакого безумия. Просто в тяжелый момент своей жизни, решив, что терять ей все равно нечего, Дарьюшка стала высказывать вслух свои сокровенные мысли. В жестоком же обществе, к которому она принадлежала, откровенности приняты не были. Это — удел будущего, вот почему, видимо, капитан и записал: «Может быть, она из будущего?»

Но чем же тогда объяснить издевательства над беззащитной служанкой? И почему искавшая участия Дарьюшка бормотала, хохотала и ощупывала свои ноги?

Вот так и остается неизвестным, была ли героиня безумна или не была. В этих условиях проникнуть в ее мысли и чувства, объяснить ее поведение совершенно невозможно.

Быть может, хоть кого-нибудь из второстепенных персонажей, хотя бы даже эпизодических, нам удастся понять?

Проследуем, читатель, в пещеру, где в начале минувшего века засел старец Амвросий Лексинский. Он не воюет, на митингах не выступает, через чины не прыгает, в сумасшедший дом не попадает... Он сидит в своем укромном уголке и изучает Библию. «...за долгие годы в пещере он перечитал много библий на разных языках, каким был обучен в молодости». О старце рассказывает Лопареву старообрядка Ефимия: она познакомилась с пещерником в дни юности, и он способствовал ее духовному росту. «Амвросий открыл мне, что Библия писалась по сказаниям разных народов: египетских и вавилонских». Еще мы узнаем, что старец «познал... еврейский и греческий языки, чтоб читать Библию в первозданности». Изучив первоисточники, старец пришел к выводу: «...разночтений множество, прелюбодеяния и скверны — как в миру навоза».

Неясно, какого рода «прелюбодеяния» обнаружил в Библии пытливый старец, но эта любознательность не довела его до добра: «...его схватили... жестоко пытали в подвалах... предавали анафеме...»

О злоключениях старца Ефимия повествует в 1830 году, когда ее сыну пошел шестой год. С отцом ребенка Ефимия познакомилась уже после катастрофы с пещерником. Путем нехитрых вычислений можно установить, что Амвросий погиб никак не позже 1824 года.

К этому времени он многое успел: ознакомился с библиями, установил, что писались они по египетским и вавилонским сказаниям, нашел разночтения, возмутился и погиб в подвалах. Если вспомнить, что первая попытка прочесть египетское иероглифическое письмо была сделана Ф. Шампольоном лишь в 1822 году, расшифровано же это письмо было и того позже, а вавилонскую клинопись удалось прочитать лишь в пятидесятых годах минувшего столетия, то

успехи старца становятся совершенно необъяснимыми.

Будем, следовательно, считать, что наше знакомство с пещерником не состоялось...

Сделаем еще одну попытку проникнуть в мысли и чувства персонажей... Вот Арсентий Грива. Этот человек с пестрой биографией возникает в третьей книге эпопеи. После революции 1905 года Гриве необходимо было скрыться, и друзья достали ему «паспорт для поездки в Мексику на имя болгарина Арзура Палло». Не будем отвлекаться, перебирая в памяти болгарские имена и удивляясь необычности данного имени и данной фамилии... Нас Грива интересует. Пусть он будет Арзуром Палло, в имени ли дело? Перед тем как скрыться в Мексику, молодому человеку удалось окончить «физико-математический факультет» и стать «талантливым математиком». В те годы Грива «мечтал о расщеплении атомного ядра и в то же время не порывал связи с партией «Народная воля», чтобы потом не стыдиться отца-народовольца».

Это странно. Дело в том, что Гриве в 1917 году было тридцать семь лет, и родиться, значит, он должен был в 1880-м. Организация же «Народная воля» в восьмидесятые годы свое существование прекратила, и, следовательно, поддерживать с ней связь Грива должен был, находясь в младенческом возрасте. Когда этот ребенок-подпольщик подрос, то стал мечтать о расщеплении атомного ядра, что тоже странно. Лишь в 1911 году Э. Резерфорд впервые сказал о том, что атомное ядро в природе имеется. А вот Гриве еще до 1905 года удалось каким-то образом об этом пронюхать. Грива знал: ядро есть. Мало того. Уже задумывался: а не пора ли его расщепить?

Загадочные персонажи в этой эпопее! Поздравим автора предисловия с тем, что ему каким-то образом посчастливилось проникнуть в мысли и чувства действующих лиц, услышать их голоса и понять их поведение. Нам это не удалось.

Автор предисловия отметил, что в данной эпопее имеются сцены и картины. Они и в самом деле имеются.

Например, такая. Дело происходит в Монако. В это гиблое местечко во время войны 1914 года явился Арзур Палло, чтобы купить оружие для мексиканских повстанцев, и единственно из любопытства забрел в игорный дом, где стал свидетелем жуткой сцены. «Да, это было нечто ужасное! Арзуру никогда не забыть ту ночь. Такое даже в игорном доме бывает не каждый год. Ну, стрелялись, тут же у стола кидались на крупера (?) с ножом — всякое бывало. Но такого!..»

А было вот что. Подполковник Юсков, помощник военного атташе в Англии и он же дипкурьер, «проиграл мундир русского офицера, проиграл дипломатический паспорт, сапоги и даже крест на золотой цепочке». В самом деле кошмар. Так и видишь, как полковник бросает сапоги на зеленый стол казино... Мало того. Разувшись, полковник пытался поставить на карту «секретнейший пакет от самого царя-батюшки на имя Пуанкаре». Ну, естественно, «крупер» и окружающие иностранцы оживились: всякому бы хотелось сунуть нос в секретный пакетец! Но вмешался Палло. Он, «будучи революционером Мексики, в душе оставался русским» и «бесчестья России» допустить не мог. И «как всегда в подобных обстоятельствах действовал единым ударом: «Портфель и пакет мои, и я буду играть вместо русского,— сказал он круперу по-итальянски». Общее волнение. Палло ставит на красное, затем на «церо»... Колесо крутится. «Церо выходило крайне редко»... но наконец «церо вышло». Честь России спасена. Мундир, сапоги и паспорт отыграны. Подполковник, естественно, благодарит, плачет, в ногах валяется.... А Арзур Палло ему по-русски: «Но речь шла о чести России, сэр, и вы это помните! Оставьте самобичевание, не люблю!»

Вот как решительно, смело и гордо действовал мексиканец с русской душой среди круперов и церо растленного Монако. Очень живая, красочная сцена.

Не менее красочна сцена в доме архиерея Никона... Развратная жена купца-миллионщика «...сняла сверкающую диадему... сняла с белой лебяжьей шеи жемчужное ожерелье и, как бы завершая священный обряд египетской жрицы, встряхнула головой, распуская копну волос по спине и полным плечам. Сам «жрец» босиком, в лохматом французском халате на голом теле, перетянутом по чреслам, изрядно надушив цыганскую бороду... вступил в кабинет и остановился в двух шагах от жрицы». Затем они обнимаются.

«О господи, Евгения! Жрица, ниспосланная мне языческими богами Олимпа! — едва продыхнул жрец Никон, отрываясь от пух-

лых и сладостно-пьянящих губ искусительницы...— Трепетно тело твое, нисполненное византийскими ваятелями, Евгения!»

Поговорив таким образом, сладострастный архиерей рвет роскошное платье купчихи. В эти минуты... «Никона не укротит даже Ниагарский водопад холодной воды. Он будет рвать, рвать с треском, кидать лоскутья в разные стороны, топтать их босыми ногами, беспрестанно повторяя четыре зловещих слова: «Возолкал (?!), отче; исцели, сыне!»

Причудливая смесь из языческих богов Олимпа, посылающих египетских жриц, диадемы, трепетного тела, Ниагарского водопада, византийских ваятелей, французского халата, фальшивых церковнославянизмов и босого архиерея производит сильное впечатление. Этой сцене могли бы позавидовать те дореволюционные авторы, популярная продукция которых отличалась яркими заголовками такого примерно рода: «С брачной постели на эшафот»... «Три любовницы кассира, или Невинная девушка в цепях насилия»... «Полны руки роз, золота и крови».

А Арзур Палло, несомненно, превосходит смелостью, гордостью, решительностью и общим великолепием Раулей и Гастонов из романа «Роковая любовь», которым зачитывалась горьковская Настя...

О языке эпопеи автор предисловия пишет вот что: «Самобытен язык романа. Соцветье слов — как безбрежные луга и нивы после дождя под солнцем. И художник властно распоряжается этой стихией. Живая речь персонажей всегда точно соответствует характерам».

Ну что ж, пройдемся напоследок по этим лугам и нивам.

Подзаголовок произведения гласит: «Сказания о людях тайги», а главы именуются «завязями». Пристрастие к древнерусским словам оправдано, быть может, тем, что в «сказаниях» повествуется о старообрядцах. В речи тех, кто жил более ста лет назад, должны встречаться славянизмы... Так оно и есть. «Эко! Человече бог послал!», «Откель те ведомо... что зришь человече, а не сатано в рубище кандальника?»

Уж кто-кто, а раскольники, читавшие церковнославянские книги или их чтение слушавшие, должны бы знать, что «человече» и «сатано» — формы звательные (такие же, как «боже») и возможны, следовательно, только в обращении. Быть может, одни раскольники лучше знакомы с церковнославянской речью, а другие хуже? Но нет. Вот, к примеру, некий Мокей то так говорит, то эдак: «Ведаю теперь хитрость сатано...», «Хто... сполнял волю сатаны?»

Все раскольники прибыли в Сибирь из одного места, живут общиной, но говорят по-разному... Ефимия говорит «цепи», а ее дядя Третьяк — «чепи», старец Филарет говорит «чепи», а его верижники — «цепи», некто Микула говорит «цепи», а некто Ксенофонт — «чепи»...

Впрочем, дядя Ефимии Третьяк не настаивает на том, чтобы непременно говорить «чепи». Иногда Третьяк произносит это слово правильно. К примеру, на одной странице Третьяк говорит так: «...Мокея в чепи заковали». А на другой странице говорит эдак: «На барина понадейся — на веревке будешь али цепями забрякаешь...»

Не отстает от Третьяка и старец Филарет: «...хочешь почтен быти — почитай другова. Алчущего накорми, жаждущего напои, нагого — одень». Казалось бы, если «другова», то почему же не «нагова»? А уж если «нагого», то надо бы и «другого»! Хотелось бы для удобства читателей, чтобы действующие лица эпопеи были более последовательны в своих речениях. Но персонажи за последовательностью не гонятся... Вот, скажем, персонаж, поименованный американским капиталистом, никак не может решить, с акцентом или без акцента он произносит слово «очень»... На одной и той же странице этот капиталист произносит «очень» тремя разными способами: «очень», «ошень», «ошинь»...

Полковник Толстов, принадлежащий к обедневшему княжескому роду, подозревает, что его дочь неспроста вышла замуж за таможенного чиновника... Дочери хочется иметь возможность глядеть на дам, «возвращающихся из заморских променажей»...

Вдова Бальзаминова у Островского советовала своему сыну говорить «проминаж». Ей казалось, что это, с одной стороны, звучит по-иностранному красиво, а с другой стороны, близко к русскому глаголу «проминаться». Но князь-то — не замоскворецкая вдова. Князя-то, несмотря на бедность, чему-то, надо полагать, все-таки учили!

А еще князь размышляет так: «Надо сесть и подумать. Подбить итоги жития».

Откуда бы князю, жившему в начале века, могло быть известно бухгалтерское вы-

ражение наших дней? Но князь не одинок. И другие персонажи эпопеи знакомы с современными жаргонизмами. Они кратко именуют психиатрические лечебницы «психичками», а безумную Дарьюшку называют «психическая»... В одном из авторских описаний встречается слово «цитрусовые», явно почерпнутое из товарных накладных наших дней. «Цитрусовые» рядом с «завязью» выглядят так же неожиданно, как «подбить итоги» рядом с «житием». Смелое сочетание славянизмов с современными жаргонными словами и выражениями дает своеобразную окраску языку сказаний. Это ли имел в виду автор предисловия, говоря о «соцветии слов»?

«Художник властно распоряжается этой стихией»,— пишет также автор предисловия, имея в виду стихию языковую... Властность действительно налицо. Рядовые писатели в своей работе опираются на объективную языковую реальность, что, несомненно, и ограничивает и сковывает... Автора же сказаний не сковывает ничто. Он властно вводит в текст слова, до сих пор в русском языке не бытовавшие, такие, как «городчанка», «сырица», «рабица», «поселюга», «сгил»... Личное изобретение адмирала Шишкова слово «мокроступы» обычно употреблялось только в шутку, а в языке сказаний оно употребляется совершенно серьезно. Понравилось автору это слово, вот он его и ввел. Глагол «глаголати» испокон веков спрягался по первому спряжению («глаголешь, глаголет»)... А наш автор властно спрягает его иначе («глаголишь, глаголит»...). Обычно пишут «надулась» (в смысле «обиделась»), а автор сказаний пишет «вздулась». Вместо обычного «возвеличивать» — «навеличивать», вместо «зеро» — «церо», вместо «исполненное» — «неисполненное» — да всего не перечислишь. Автор пишет «нечистивка», а тут же рядом «нечестивец», хотя корень у этих слов тот же самый — «честь». Но корни и вся эта грамматика автора удержать не могут. Он властно обращается с языком. И если бы мы наткнулись на написание «ничистивка» — мы бы тоже не удивились. Удивляться давно уже нечему.

* * *

Читатель А. И. Формаков горько недоумевал: почему «Хмель» вышел трехмиллионным тиражом? У нас теперь есть все основания разделить это недоумение...

Но, как говорил Гоголь: «Зачем же изображать бедность, да бедность...» Рассмотрим еще какое-нибудь издание «Роман-газеты», не полагаясь, однако, на случайности. Будем действовать наверняка. Вот, помнится, критика очень тепло встретила повесть, появившуюся в журнале, а затем в 1966 году изданную «Роман-газетой» тиражом в 2 182 400 экземпляров.

ЗАМЫСЕЛ И ВОПЛОЩЕНИЕ

Любе Егоровой, героине повести В. Матушкина «Любаша», к началу войны исполнилось четырнадцать лет. А мать умерла. А отец ушел на фронт.

«Пришлось тогда Любаше и за отца и за мать хозяйничать. А годков-то было маловато, и росточком не могла она похвалиться. И все остальные егорята — лесенкой к земле. Алеша почти вровень, Варя — тростинка худенькая, чуть повыше плеча, Марийка в первый класс пошла. А болезненный, синеватый Володя и большеголовый Васятка, крепыш и задира,— эти еще в рот глядели, еще присмотра требовали».

Повесть начинается вот с чего. Любаша так и эдак повязывает старый материнский платок. Ей надо казаться взрослее, она пойдет сейчас просить работы у председателя колхоза Флегана Акимовича.

«Их, ртов-то, как на ферме!.. Сама шеста... Большой перетерпит, а малый, как встал, так и вопит и теребит: кусок ему подавай!»

У старика Флегана Акимовича першит в горле: жалко Любашу. И нам с вами, читатель, жалко эту девочку, в четырнадцать лет ставшую главой семьи. Нам уже понятно и симпатично намерение автора, который хочет рассказать о том, как семья, состоявшая из одних детей, несла тяжесть тыловой деревенской жизни.

Любаша будет работать почтальоном. Это известие очень обрадовало егорят, как ласково называет автор членов семьи. «Шумно стало. Счастье-то какое подвалило сестре! Даже Варя... плясать готова. А малые совсем от радости куролесить начали: кувыркаться, кричать, руками размахивать». Варе лет десять, а Марийке, Володе и Васятке — восемь, шесть и пять, по-видимому. Они не могут, конечно, представить себе тяжести труда, выпавшего на долю старшей сестры. Ей за день придется обегать

четыре деревни, а с теплой одеждой неблагополучно, с обувью тоже. Но егорята в восторге. Особенно почему-то прельстило их, что Любаша, кроме писем, будет разносить и денежные переводы. Хором кричат: «И переводы денежные?!» Платить Любаше будут мало: «Елшанка и Озерное... просом и рожью. А Немишкино и Корнеево — трудодни начислять». «Но малышей это не озадачило. Ведь главное — это бегать по деревням да разносить денежные переводы». Малы еще, глупы. Что с них взять?

Начинаются страдные Любашины дни. Она вскакивала до свету. Потом будила остальных. «Что полегче — малышам, потяжелее — на свои плечи». Старшие идут в школу, Володя с Васяткой остаются дома, а Любаша — на почту. Сначала легко бегалось по лесным и полевым дорогам. Хуже стало осенью. И совсем уж скверно зимой. Бывало, что Любаша «упадет в снег и ревмя ревет. Вроде чуть полегчает, и снова бежит, как все равно дом свой увидела в пламени, спасти малышей рвется». Обедать она прибегала домой.

Но что это был за обед! Жидкий суп, лишь для видимости заправленный каплей подсолнечного масла, да блины из тертой картошки. Отец ушел на фронт, не успев поставить новую избу. В старом, покосившемся домике переносили холода егорята, и пока Флеган Акимович не подбросил топлива, совсем скверно приходилось. «Замахрились белым инеем углы в избе... Утром встанут малыши, остроплечие, тонконогие, и дрожат как стебельки на ветру». Согрет этот бедный дом лишь любовью братьев и сестер друг к другу, их заботой друг о друге... Все они по мере сил трудятся. Старшие в школу ходят, уроки делают, маленькие к обеду картошку чистят. А когда ребятишки получили сколько-то килограммов ржи и проса, то на мельницу не отдали: нечем за помол платить. «И теперь егорята брали у бабки Матрены тяжелую дубовую ступу. На целый вечер занятие: один устанет толочь, другой подхватывает, до поту старается».

Мужественные дети. А всех мужественнее Любаша. «Никто еще не видел даже крохотной слезинки на ее обветренных, опаленных морозом щеках. И в глазах одна синяя затаенная суровость». По виду она «тише и слабее цветка полевого синеглазого». А внутри — кремень «То ли от родителей передалось, то ли учителя и книги прочитанные взрастили в Любаше гордость крепкую, чисто вот камень-гранит». Она всегда находила в себе силу улыбнуться тому, кому приносила письма. И «от приглашений к столу всегда отказывалась, дескать, не попрошайка». Один лишь раз изменила своему гордому правилу. Добрая женщина по фамилии Числова угостила юную почтальоншу горячим компотом и пышкой. «Раза два откусила (Любаша.— *Н. И.*) от пышки и незаметно ее в карман. А компот отхлебывала и вроде бы с пышкой его. Жует, жует... И очень радостно было ей от той задумки, ради которой пышку припрятала». Пышка, конечно, будет по-братски разделена между егорятами. Не умеет думать о себе эта девочка, все ее мысли о братьях и сестрах. Вот она идет, утопая в сугробах, резиновые сапоги (других нет!) не греют ног, руки одеревенели, сумка оттягивает плечо, а Любаша находит в себе силы хворост по дороге собирать, хворост домой тащить... И несомненно: все это правда. Были, несомненно, в военные годы такие вот дети...

Но что это? Мы с вами, читатель, как будто уговариваем себя любить юную героиню повести. Будто в нашем к ней отношении нет теплоты и непосредственности, а есть какая-то умозрительность. Что ж нам мешает? Ведь Любаша мало того что вынослива, горда, мужественна, добра. Она и собой прекрасна. Волнистая, «просяного отблеска» челка. Синие глаза, которые автор называет то «синие радости», то «синие просторы». А бывает в Любашиных глазах предрассветная синь, «что может и грозой обернуться, и знойно-радостным блеском урожайного лета».

Не эти ли «предрассветные сини» мешают нам с вами, читатель, попросту полюбить эту девочку, не синие ли просторы стоят между ней и нами? Попроще, попроще говорил бы автор о Любаше, это было бы лучше для нее и для нас! Но автор почему-то не говорит просто. Вот как он описывает такое будничное занятие, как топка печи:

«Запылал в печи хворост... И сразу — праздник, будто набежали в избу нарядные подружки: одни белее облака, другие в золотом да в луговом цветастом. Захороводили! И у каждой заветная тайна в лучисто-пугливых глазах».

Очень хочется пойти навстречу автору, который предлагает нам увидеть пылающий

в печи хворост в образе каких-то подружек, из которых одни одеты в белое, другие в золотое, третьи в цветастое, причем в глазах у всех — заветная тайна... Но почему глаза? Откуда глаза? Это не говоря уже о тайне...

Но допустим, мы через это перешагнем. Не будем особенно вдумываться в пышные метафоры... Притерпимся к слогу автора, называющего письмо «огнисто-радостной весточкой», а намерение спрятать пышку для братьев и сестер — «задумкой». Спокойно отнесемся и к «синим просторам», и к «цветку синеглазому», и к тому, что глаза Володи и Васятки похожи на «ягоды сизые, дождем омытые, солнцем насквозь пронизанные». Эти красивости критик Г. Бровман объясняет «лирико-романтическим ключом», добавляя, что образ Любаши «овеян поэтичностью». Хорошо. Допустим.

Хуже другое Нашему искреннему желанию отнестись к Любаше и другим егорятам с любовью и сочувствием мешает нечто куда более серьезное...

Любаша добра, ясна, ровна, шутлива. Послушны, терпеливы, склонны к шутке и другие егорята. Несмотря на свой нежный возраст, ни Володя, ни Васятка никогда не вопили, не теребили и куска не требовали. Раздача еды в семье Егоровых неизменно проходит в обстановке высокой сознательности и дисциплины. Как бы ни приходилось этим детям голодно, как бы ни было им холодно, ничто не может исторгнуть жалоб из их уст и слез из их глаз. Зарыдали егорята лишь однажды все разом, и то по недоразумению.

Автор сообщает, что характеры у детей разные: хилый Володя любит рисовать, Васятка — задира, Варя несколько пессимистична, Алеша увлекается техникой. Про Марийку не сказано ничего, но, надо полагать, что и у нее есть свои склонности и свой нрав. Однако ни разница темпераментов, ни разница возрастов на поведении детей совсем не отражается. Утром все как один вскакивают по первому зову старшей сестры. Радуются все разом. Плачут тоже все разом. Васятка разве что поболтливее других. И массу знает всяких слов. Вспомним, как он радовался на первых страницах повести, услыхав, что Любаша будет разносить денежные переводы. Ну откуда, казалось бы, этому малышу знать такие слова? А он их знает. И не только их. Находясь в пятишестилетнем возрасте, Васятка вскричал: «Пускай погибну! Кто Гитлера взорвет, тому и погибнуть не страшно».

Очень интересен разговор доброй бабки Матрены, любившей егорят, как родных внуков, с маленьким Васяткой. «Живые тут?» — окликнула. «А ты, баба Матрена, тоже живая?» — спросил с печи Васятка. «А рази не видишь?» — усмехнулась старая. «А чего же ты нас поперед себя в гроб-то суешь? Мы еще малые, нам еще пожить надо,— рассудил Васятка.— Эдак безобидно». Далее бабка Матрена сообщает, что связала варежки: «Будешь в них летом на печи спать!» — «Где же еще спать? Диванов мягких у нас нет...» — находчиво парирует мальчик.

Диалог любопытен тем, что без авторских добавлений («спросил Васятка», «усмехнулась старая») нельзя было бы понять, какая реплика принадлежит семидесятилетней, а какая семилетнему. А уж в репликах егорят нет никакой возможности разобраться. Подросший Алеша получил работу пастуха. В егоровской избе — радость, все шутят: «Алеша... Командиром молочного отряда будешь!», «Алеша, тебя офицером назначили. Вот здорово!», «Алеша, а я у тебя сержантом буду!», «А я тогда санитаркой буду!», «А я разведчиком буду! Разведую, где трава высокая, туда и коровы в атаку пойдут». Про санитарку явно сказала какая-то из девочек: или Варя-пессимистка, или не имеющая особых примет Марийка. Кому принадлежат остальные реплики, мы бы ни за что не догадались, если б не заботливость автора. Насчет «командира молочного отряда», оказывается, шутит Любаша, которой уже лет семнадцать—восемнадцать, ибо дело идет к концу повести. Насчет офицера шутит Васятка, насчет сержанта — Володя.

Мало того, что эти дети не отличаются друг от друга, они еще и совсем не растут. Прошло пять лет. Вернулся с фронта отец, и егорята хвастаются ему старшей сестрой:

«— Она и в Елшанку носит письма, и в Озерное, и в Корнеево!

— И денежные переводы!»

Кому принадлежит первая реплика — остается неизвестным. Автор же второй реплики указан: это Васятка. Шестилетним он радовался по поводу денежных переводов и продолжает ликовать по тому же поводу, став одиннадцатилетним. Впрочем,

автор по инерции все называет Васятку «малышок».

Прекрасное было у автора намерение — рассказать о детях, оставшихся в тяжелые годы без взрослых. И автор, конечно же, хорошо знаком с обстановкой, какая сложилась в деревне тех лет. Вот он добросовестно сообщает читателю, что дети ели, что носили. И какие заботы были у председателя колхоза. Все знает автор. А вот показать своих героев живыми не сумел. Вместо крестьянских детей вышли из-под его пера юные поселяне без возраста, без характеров. «Внутренняя сущность дела», что, по словам Л. Н. Толстого, самое главное в литературном произведении, в повести отсутствует.

А что же критика? А критика, в лице на этот раз Н. Изюмовой, вот что говорит по поводу невнимания автора к внутренней жизни персонажей: «В повести Василия Матушкина нет «сложности» психологических ассоциаций, «раскованности» мыслей и чувств — этих модных атрибутов «современного произведения». Но зато есть гражданственность, человечность, ясность повествования. А это ли не настоящие признаки современной повести?!»

Но гражданственность сама по себе как будто не существует. Носителем этого прекрасного качества является человек. Каким же образом автору, не сумевшему показать людей, удалось «зато» показать гражданственность?

А намерения-то у автора были самые светлые... Но не всегда добрые намерения приводят к добрым результатам. И это особенно ярко сказалось вот в какой истории, происшедшей в деревне Корнеево.

Любаша, щадя полюбившуюся ей добрую женщину Числову и ее славного сына Николку, решила скрыть от них похоронную: пусть подольше не узнают о гибели отца и мужа. Но умолчание обернулось страшным злом для семьи фронтовика. По селу пополз зловещий слух: Числов в плену, Числов — изменник, Числов воюет на стороне Гитлера. И вот уже вдова и сын Числова преданы остракизму: «А изба их словно вражеским духом опозорена, и сами они чисто вот заразные стали. Вроде и близко к ним подходить нельзя». А вскоре Николка говорит Любаше: «Вся деревня выселить нас сговаривается...» И добавляет: «Если в плену, тогда я сам в лагерь пойду! Не жизнь... если все указывать начнут, что выродок изменника, врага народа!»

К счастью, похоронная сохранилась, Любаша передает ее Николке, и Числовы спасены. Их оставляют жить в родной избе.

Что же хотел сказать всем этим автор? А то, несомненно, хотел он сказать, что в страшной войне, какую пережила наша отчизна, не было пощады изменникам. И юноше сыну, как бы горячо ни любил он отца, было легче примириться с мыслью о его смерти, чем с его изменой. Прекрасная мысль, но выразить ее автору не удалось. «Сказалось» у него совсем другое.

Изумляет прежде всего вот что: почему в родной деревне, где хорошо знали Числова, так легко поверили в его измену? Нет никаких доказательств ни тому, что Числов в плену, ни тому, что он изменил отечеству. Какой-то мерзавец пустил слух, а односельчане немедленно верят. И действовать готовы. Вот-вот выбросят на улицу ни в чем не повинных вдову Числова и его сына. Хороши односельчане! Не ожидая доказательств, на основании слуха, смутного подозрения они готовы тут же расправиться с подозреваемым! А так как подозреваемого под рукой нет, то наказаны будут его родственники.

Изумляет и поведение юных героев повести. Николка — лицо не эпизодическое, это будущий жених Любаши. И он уже готов верить, что отец в плену. Мало того. Что отец враг народа! И не зная за собой никакой вины, уже в лагерь стремится. И попытки не делает бороться за доброе имя отца, дознаться, откуда пошла сплетня. И о судьбе матери не задумывается. Странное равнодушие к родителям, необъяснимая пассивность, удивительное непротивление злу!

А что же гордая Любаша, что синеглазый цветок? Уж она-то наверное возмущена, что добрую женщину и славного Николку хотят крова лишить? Но нет. Ничего противоестественного не видит Любаша в поведении жителей деревни Корнеево. Себя только и винит. Ах, отдай она вовремя бумажку, ничего бы и не было!

Автор хотел сказать одно, а получилось у него совсем другое. Однако критика в лице Д. Дычко пишет: «Эта линия в повести... не главная. Но она свидетельствует, что... художественное отражение жизни в наши дни невозможно без заострения читатель-

ского внимания на проблемах морально-этических...»

Странная тут получилась мораль, странная этика! Но критик не говорит о том, что у автора получилось. Критик догадался о добрых намерениях автора, за них и хвалит.

Стоит ли это делать?

Намерения автора повести «Любаша» настолько в самом деле симпатичны, что, быть может, за них и стоило хвалить и надо было их поддерживать? Книги невыдающихся достоинств, книги скромного значения и притязаний всегда существовали и, видимо, будут существовать в литературе. И мы с вами, читатель,— не правда ли? — не поставим эту повесть в один ряд с «Солноворотом» и тем паче с «Хмелем»... Однако редакция «Роман-газеты» оказала, пожалуй, автору дурную услугу. Повесть, столь высоко вознесенная, вышедшая двухмиллионным тиражом, попавшая в свет рампы, претендует уже на роль эталона, а потому заслуживает придирчивого и строгого суда. Этого суда повесть не получила. Ее расхвалили за тему, за намерение. Ее расхвалили и за язык!

Вот, скажем, что пишет та же Н. Изюмова:

«Скорее всего именно в результате вдумчивых поисков, а не в озарении родилась и сама стилевая манера повести. В ней как бы слиты воедино красота народной речи и поэзия деревенской жизни. И сплав получился прочный и органичный».

Это о каком же «сплаве» речь?

Характерные для былинно-сказовой манеры автора выражения вроде «вражины крылатые», фольклорное «по-над лесом», инверсии вроде «ягоды сизые» и «цветок синеглазый» перемежаются в авторской речи словами и выражениями иного рода: «И глядит с улыбкой: довольна ли адресатка обслуживанием?», «Слово за слово, и пошел Сашка раскручивать свой репертуар», «А теперь вот еще рейсик», «активничать» и т. п.

Слияние воедино «ягод сизых» с «обслуживанием», а «вражин крылатых» с «адресатками» вряд ли можно назвать органичным сплавом.

Огромный тираж и критические восторги придают заурядной книге значение, ею не заслуженное. Самому писателю безотчетные похвалы, наверное, приятнее, чем трезвое суждение о достоинствах и недостатках его труда, но они, похвалы, ставят писателя в особенно беззащитное положение, когда речь идет о действительно высоких критериях большой художественной литературы.

ПО ДРУГОМУ СЧЕТУ

Итак, мы познакомились с тремя произведениями, изданными в пяти выпусках. Это книги из лучших, наиболее значительных произведений последних лет, ибо других «Роман-газета», как не раз объявлялось, не выпускает.

И внезапно нас с вами, читатель, охватывает горькое ощущение бедности, сиротства, какой-то даже бесприютности... Будто нет у нас богатства, каким мы привыкли гордиться — русской литературы. Будто нет традиций. Потому что если богатство есть и традиции существуют и были написаны великие исторические романы, и хорошие исторические романы, то не мог быть издан трехмиллионным тиражом и причислен к историческим романам «Хмель»... И не могли быть изданы двухмиллионным тиражом и тем самым причислены к произведениям выдающимся «Солноворот» и «Любаша»...

Как это объяснить, как понять?

В критической заметке, принадлежащей перу И. Баукова (газета «Сельская жизнь»), читаем:

«О повести «Любаша» писателя Василия Семеновича Матушкина я узнал не от литераторов... «Интересно, есть ли сегодня в газете продолжение «Любаши»?» — говорили между собой пассажиры. Я невольно обратил на них внимание. Нет, это были не литераторы».

Автор другой заметки, опубликованной в «Неделе», А. Асаркан, узнал о романе «Хмель» тоже не от литераторов. «...790 страниц чтения, рекомендованного строителями и шоферами с Арадана. Кто хоть раз побывал в Сибири, никогда не отмахнется от такой рекомендации».

Критик не отмахнулся, прочитал «Хмель» и написал о нем так:

«Лихой литературовед или непреклонный учитель словесности могут разделаться с «Хмелем» просто и безапелляционно. Похвалить его так коротко не удастся... В короткой заметке можно только поддержать рекомендацию парней с Арадана, у которых нет такого образования, чтобы проанализи-

ровать эту книгу, и нет такого опыта, чтобы разобраться в своем восприятии, но зато есть такая душевная чистота, чтобы полюбить ее, ни о чем не спрашивая».

Очень странно, что критик противопоставляет образование душевной чистоте, давая понять, что одно исключает другое... Суть, однако, не в этом. И. Бауков бросил намек, А. Асаркан высказался прямее, но мысль обеих заметок та же самая: и «Любаша» и «Хмель» вряд ли будут иметь успех среди учителей, литераторов и литературоведов. Зато оба произведения понравятся тем, кто не умеет анализировать прочитанное. Не поздоровится от эдаких похвал!

И зачем понадобилось критикам противопоставлять «парней с Арадана» учителям словесности, а пассажиров электрички (колхозников?) литераторам? Дескать, мнение одних ценно, а мнение других неважно. Но, полагаю, что сами же парни с Арадана с этим не согласятся. Им, парням с Арадана, как раз может быть интересно знать мнение о той или другой книге учителей словесности и литераторов!

А кроме того, не обязательно надо уметь анализировать книгу, чтобы понять, хороша она или дурна. Достаточно иметь эстетическое чутье. Чутье же это не является непременной принадлежностью образования, оно встречается и у людей без высшего образования. На этом основании можно утверждать, что «Хмель» покорил не всех парней с Арадана.

Если бы оба критика сказали попросту, без противопоставлений и иных затей, что такое произведение, как «Хмель», своего читателя найдет, то на это возразить было бы нечего. И в самом деле — найдет.

Пятьдесят пореволюционных лет подняли культурный уровень масс и дали писателю аудиторию, о которой прежде нельзя было мечтать. В большинстве своем читатели несут сегодня домой «Белинского и Гоголя», а не «Милорда глупого»... Однако читатель невзыскательный, простодушный, не умеющий еще отличить литературу от подделки под нее, имеется.

Разумеется, есть спрос на такие произведения, как «Хмель»! Там много волнующего. Старообрядцы, которые поминутно пытают и убивают друг друга,— надо же! Подполковник, проигрывающий сапоги в Монте-Карло,— это подумать! Развратная жена купца-миллионщика с диадемами и жемчугами. Сказочный храбрец, он же революционер, борец за народное счастье, крестьянский сын Тимофей Боровиков...

А с «Любашей» дело иного рода. Эта повесть нашла читателя, который воспринимает ее как бы через призму собственных горьких воспоминаний о войне. Вон ведь и малым детям что вынести пришлось! И не замечает читатель, что нет в произведении ни детей, ни стариков, а есть условные фигуры. Одна фигура поименована Васяткой, другая — бабкой Матреной...

Каждому нормальному человеку свойственна любовь к своему отечеству, к его традициям, нравам, обычаям. И найдется, конечно, читатель, которому придется по душе подсюсюкиванье былинно-сказовым слогом, фольклорные слова, славянизмы и все эти «тысяцкие», «кунички» и «лебедушки». Псевдолубок выдается за «народность», поскольку смысл данного термина известен не всем читателям.

Речь пока шла о читателе невзыскательном, простодушном. А что же критика?

«Любашу» Матушкина в печати хвалили. Хвалили и «Хмель». Мне, правда, не случилось прочесть ни одной статьи, в которой содержался бы добросовестный анализ этих произведений и где свои выводы автор статьи доказал бы и подтвердил цитатами из текста. Посудите сами. Один критик пишет, что язык романа «Хмель» «неторопливый и плавен, словно сама природа тайги породила этот ритм». Другой критик утверждает, что слог повести «Любаша» «родился на немишкинских лугах и нивах». Доказать бы эти красивые высказывания цитатами! Но цитат нет. Подобный метод вряд ли можно назвать критическим. Это скорее метод рекламный.

Всем известны слова Ленина: «Не опускаться до неразвитого читателя, а неуклонно — с очень осторожной постепенностью — поднимать его развитие».

Но есть критики, которые невольно, а иные, быть может, и вольно (ложно понятый демократизм?) к неразвитым вкусам подлаживаются, им потакают.

И вот «Хмель» назван «социальной эпопеей», а «Солноворот» — романом. Но названия эти даны по другому счету, по другой как бы валюте. Есть в нашей литературе истинные социальные эпопеи, есть истинные романы. А есть и эрзацы социальных эпопей и романов. Там — для всех. А тут для тех, кто еще не умеет отличить настоящую литературу от подделки под нее. Для

читателя невзыскательного сгодятся эпопеи удешевленного типа и уцененные романы...

Но еще И. Д. Сытин, действовавший в начале века, утверждал, что никакой «отдельной литературы» пониженного сорта для тех, у кого не развит вкус, не нужно. Прекрасное, настоящее доступно всем. «...пока Пушкин продавался по 5 рублей за полное собрание сочинений, он был недоступен. Но когда я стал продавать всего Пушкина по 80 копеек, а Гоголя — по 50 копеек, то спрос на книги этих писателей превысил самые смелые мои ожидания».

Если это было справедливо для населения царской России, то разве мыслимо в наше время издавать миллионными тиражами литературу заведомо сниженного качества?

Революционность — это борьба за культуру для всех. Именно в этом идея горьковской «Всемирной литературы».

«Солноворот», «Хмель» и «Любаша», изданные в нескольких миллионах экземпляров,— это очень и очень много. Но, возможно, этого все-таки мало, чтобы судить о деятельности редакции «Роман-газеты».

Давать этой редакции какие бы то ни было рекомендации мы, конечно, не осмелимся. Но выразить вслух свое удивление — право каждого. И вот, пользуясь этим правом, удивимся, что нет в выпусках «Роман-газеты» ни «Бабьего Яра» Кузнецова, ни романа Абрамова «Две зимы и три лета», ни второй книги «Полесской хроники» Мележа, ни «Привычного дела» Белова, ни «Кражи» Астафьева, ни «Созвездия Козлотура» Искандера. Несомненно, и в этих произведениях есть недостатки, но никто, надо думать, не сомневается в том, что это истинная литература, литература для всех.

Будем, однако, надеяться, что редакция все же стремится публиковать на страницах «Роман-газеты» лучшие литературные произведения современности, делая прекрасное доступным всем. И предъявляет к авторам высокие требования, без всяких скидок и уценок.

* * *

А что там делает давно забытый нами пассажир скорого поезда Москва—Ташкент?

О пассажире осталось сказать немного. В последний день своего пребывания в пути он решился открыть второй роман, купленный в киоске Союзпечати... Но не успел. Лежавшую на столике книгу распахнул ветер, ворвавшийся в неплотно затворенное окно.

Взгляд нашего пассажира упал на строки: «Напрасно пыталась Елена гальванизировать его стремление стать дирижером, говорила о его исключительном слухе, о способности расчленять оркестр на отдельные составляющие, рисовала картины заманчивого будущего».

Еще несколько страниц перелистал ветер: «Когда тебе выворачивают мозги и одновременно кладут на лопатки...»

Пассажир задвинул оконное стекло и забросил роман в сетку. Кем он был, наш пассажир, учителем ли словесности, шофером, строителем или колхозником — неизвестно. Известно одно: он любил родной язык. И хотя прекрасно понимал, что нельзя же судить о романе по одной, двум и даже пяти фразам, но читать ему все-таки расхотелось.

Он просто сидел у окна, курил, вздыхал, думал. И вот поезд замедлил ход, замелькали станционные строения, и чей-то бодрый голос произнес в соседнем купе: «Приехали!»

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Соловьев. Недалеко от Москвы.— **Б. Рунин.** О красоте и пользе.— **Мирон Петровский.** Тринадцатый критик.— **А. Берзер.** Загадки и ребусы Олеся Бенюха.— **В. Харитонов.** Серьезные чудеса.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Далин. Штрихи к портрету Ильича.— **Л. Леонтьев.** Глазами вдумчивого экономиста.— **В. Шляпентох.** Теория общественного мнения.— **А. Гуревич.** Право и человеческая личность.—**В. Френкель.** Современники о Нильсе Боре.

Литература и искусство

НЕДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ

Алексей Леонов. Яблоки падают. Рассказы и повесть. «Советский писатель». Л. 1968. 330 стр.

Первая книга Алексея Леонова существенно отличается от прозаических дебютов ленинградских писателей, состоявшихся в последние годы.

О прозе молодых ленинградских писателей читатель мог судить главным образом по нечастым выпускам альманаха «Молодой Ленинград»— там начинали и Р. Грачев, и А. Битов, и И. Ефимов, и М. Данини, и В. Марамзин. При всех индивидуальных отличиях этих литераторов, их многое объединяло: городская тематика, автобиографизм, проблемы становления человеческой личности и ответственности молодого человека перед временем, пристрастие к утонченным стилистическим поискам. Я далек от того, чтобы объединять их в некую ленинградскую школу, как это делают некоторые критики, и все же... И все же появилась книга Алексея Леонова — и сразу же бросилось в глаза ее резкое отличие от книг этой группы молодых ленинградцев.

Книга Алексея Леонова примыкает к распространенному и популярному сейчас направлению отечественной литературы, которое критики называют «деревенской прозой». Но не к той ее части, которая склонна к лиризму, где много внимания уделяется быту и пейзажу, а к той, где сюжетные столкновения даны обнаженно и резко.

А. Леонов хорошо знает деревню (он сам родился здесь и долгое время работал в колхозе), но пишет как бы «со стороны», оценивая сложившиеся в ней человеческие отношения с точки зрения более общих этических и жизненных норм, здесь, казалось бы, и не всегда применимых. Многие его герои, сами выходцы из деревни, изображены Леоновым в момент их приезда на родину — из армии или из города; они отвыкли от привычного быта, и это позволяет им взглянуть на открывающуюся им жизнь не просто свежим взглядом, но и строже, требовательнее.

В рассказе «Из тумана» герой идет в соседнюю деревню за лошадью, чтобы отвезти больного ребенка в больницу. В тумане и впотьмах блуждает он по заснеженным оврагам и уже отчаивается найти дорогу, а в ушах у него звенит крик сына, и он зло думает. «Завтра напишу в «Изве-

стия». В тундре самолеты, олени, собаки, а у нас даже лошади нет. Председатель с машиной, у бригадира верховая лошадь. Председатель агитирует переселяться в центральные бригады, там все есть: и лошади и машины. А здесь что же будет? Ладно, переселимся! Придет весна — и переселимся куда-нибудь в Москву на стройку или в Тулу на завод. Переселимся!» И еще он вспоминает армию: «Эх, телефон бы провели к больнице или рацию, как в армии!..»

А. Леонов избегает географической романтики. Его деревни расположены не за тридевять земель, куда не ступала еще нога столичного литератора или — на худой конец — районного журналиста, а где-то рядом, в центре России. Тем драматичнее выглядят события, описанные им, и драматизм этот прост и реален, он возникает внезапно, часто от почти случайных мелочей, которые неожиданно превращаются в непреодолимые препятствия.

В одном из рассказов А. Леонов дает если не точные географические координаты описанной им деревни, то во всяком случае определяет ее местоположение по отношению к Москве — триста километров от столицы. Рассказ этот, однако, называется так: «Дорога не на Москву».

Отец избил и обидел Сашку, причем сделал это в раздражении, по злу, несправедливо. Однако и сам отец обижен так же нелепо и несправедливо, и обида эта очень давняя; к тому же у него есть и конкретная, сегодняшняя причина чувствовать себя скверно. «У отца было свое несчастье: продешевил корову, не купил другую, а тут еще отличился сын»...

«Отец протянул Сашку по ногам кнутом. Сашка закричал, сорвался вниз, в отцовские руки. Кнутом ожгло спину, бока, живот. Он кричал: «Ой, папочка, не буду!» Но отец, словно не слышал его крика, зло и сильно продолжал хлестать кнутом, приговаривая:

— Знай, как со взрослыми драться! Знай!..»

Обиженный Сашка убегает из дома. «Пойду в Москву, в Кремль, и расскажу!» — решил он. «Солнце высушило от росы травы, пригрело Сашку. Он пересек луг, просяное поле и вошел в рожь. Деревня скрылась. Впереди показался лес. Дорога вдруг раздвоилась: одна вела к лесу и, наверное, к станции, другая — через рожь, в сторону и тоже, наверное, к станции. До станции считалось тридцать километров, а до Москвы, говорили, триста.

Сашка свернул в сторону от леса — во ржи не так боязно — и пошагал, оставляя на пыльной дороге маленькие следы босых ног.

А дорога шла не на Москву. Москва была в другой стороне».

Желание Сашки немедленно найти справедливость, наивная и детская его убежденность в том, что «высший суд» не только есть, но и идти-то до него всего триста километров,— все это корректируется жизнью, где нет ни сиюминутного торжества добра над злом, ни их резкой отграниченности в реальном движении жизни.

Упорная вера в где-то непременно существующее безусловное добро есть и у взрослых героев прозы Леонова. Причем, при всей отдаленности от каждодневной их жизни, эта категория для них не абстрактна, а воспринимается ими как непременный и обязательный для жизни закон, если и утраченный, то лишь временно, в силу конкретных обстоятельств.

В рассказе «Ухан и Кряжик», одном из лучших в книге, А. Леонов рассказывает о том, как вдали от центральной усадьбы по разным сторонам глубокого оврага стоят два дома, в одном живет старик Ухан, в другом — старик Кряжик с бабкой Павлой. Живут они в отдалении от деревни, даже друг с другом видятся редко — только когда спускаются в овраг за водой. Они стары и слабы, им уже не под силу «обеспечивать» свое существование: сходить за водой, ярку зарезать, срубить липовые побеги на лыко. Им кажется, что деревня забыла их. Обозленный Ухан надумал даже поджечь колхозное сено («пусть примчатся на дымок, покрутятся...»), но в последний момент устыдился своей затеи, вспомнил привычные и родные будни деревенской жизни.

«Дурак я старый! — спохватился Ухан.— Что же я делаю?» Ухан остановил взгляд на сене. Перед ним потянулись луга в пестром цветенье, донеслось вжиканье кос, мужики, словно полукосяк летящих гусей, идут по склону, сваливая травы в ряды, и он вместе с ними в домотканой рубахе...

Ухан тяжело встал на ноги. По щекам

текли слезы. Сунув в карман спички, он медленно побрел к Угорью».

Для таких героев А. Леонова их трудная, порой очень трудная, жизнь, пользуясь точной поговоркой героя Белова, Ивана Африкановича,— привычное дело. Однако «привычка» — это не только пассивность. Здесь и источник того мужества, с которым они переносят несчастье. Герой повести «И остались жить», потеряв на войне ногу, несправедливо обвиненный, лежит в больнице и дает показания следователю, а в мыслях уже прилаживает «себя, безногого, к жизни,— и выходило, что и таким будет он полезен людям».

Привычность к обрушивающимся невзгодам и несчастьям, мужество и терпение, с которыми некоторые герои А. Леонова переносят их, писатель не идеализирует и не порицает. Он смотрит на жизнь сложнее, глубже и когда, например, описывает в рассказе «Ночь в Подвязье» убийство, интересуется не уголовно-судебной стороной дела, а общим течением быта, приведшего к той ситуации, в которой оказалось возможным это убийство.

Писатель не вмешивается в судьбу своих героев, не появляется на страницах своих рассказов и не выказывает своего отношения к описываемым событиям. Но это не значит, что читатель не чувствует его позиции. Гражданская направленность прозы А. Леонова существует не в виде приложенной к сюжету морали — она вытекает из описанных им ситуаций, возникает и из самой внутренней задачи, поставленной автором перед собой. Позиция писателя видна уже в самом посыле — в том, что он рассказывает о судьбе Ухана и Кряжика, а не о судьбе какого-нибудь удачливого и скорого победителя всех и всяческих жизненных препятствий.

Избирая для своих героев ситуации драматические, Алексей Леонов заостряет внимание читателя на тревожных фактах деревенского быта. Порою реальность в его прозе кажется даже несколько усиленной, сгущенной, жесткой, но его сюжеты так прочно увязаны с выстраданными самим автором даже не воспоминаниями, а кровным знанием, что описанному А. Леоновым нельзя не верить, а героям его невозможно не сочувствовать.

Правдивость его прозы продиктована любовью и болью писателя, и эти чувства, выраженные сдержанно и вместе с тем с большим душевным напряжением, передаются читателю.

Конечно, в первой книге Алексея Леонова есть и недостатки. Его рассказы иногда перенаселены, причем некоторые герои обозначаются только фамилией или именем, никак не проявляясь ни в действии, ни в описаниях. Порой поступки героев сопровождаются сентиментальными, мелодраматическими мотивировками, никак не действующими на читателя. В рассказе «Близненские женихи» отрицательный персонаж настолько «отрицателен», что теряет художественную убедительность. Неудачным представляется мне и рассказ «Эхо», построенный хоть и на вполне реальной, но за последнее время очень уж «залитературенной» ситуации: гибель детей в мирные дни от взрыва старого минометного снаряда.

Будем надеяться, что опыт и время помогут молодому прозаику находить для выражения сложной полноты жизни, к чему он и стремится, более совершенные изобразительные формы.

В. СОЛОВЬЕВ.

Ленинград.

★

О КРАСОТЕ И ПОЛЬЗЕ

В. Василаке. Сказка про белого бычка. Роман. Перевод с молдавского автора и В. Рожковского. «Дружба народов», № 7, 1968.

Роль критика в данном случае заведомо неблагодарна. И вот почему. Всякая попытка рационально подойти к содержанию этого замысловатого произведения уже заранее осмеяна автором. Каждый, кто попытается проникнуть в сложную образную структуру романа В. Василаке, рискует уподобиться фигурирующему здесь дотошному академику, чей карандаш испещрил предложенный нам текст многозначительными подчеркиваниями и чьи соображения на этот счет якобы уже составили капитальное исследование, частично процитированное в романе.

Впрочем, опасность прослыть вслед за академиком всезнающим педантом — еще не самая худшая перспектива, тем более что сей ученый муж не без оснований заметил, что в сказочке много разных смыслов и что «текст это одно, а каков он, подтекст?». Куда обиднее было бы уподобиться другому, совсем уже фантастическому персонажу В. Василаке — тому шальному комару, который нажужжал в романе несколько страниц всякой всячины про «интонацию с модуляциями» и прочие отвлеченные понятия.

Словом, автор и своим «текстом», и своим «подтекстом» настойчиво заявляет себя насмешливым противником критического глубокомыслия и всяческого морализирования по поводу его творения.

Ну а все-таки что же представляет собой «Сказка про белого бычка»? Почему она уже вызвала в Молдавии столько споров? Что, очень уж необычна? Или внутренне противоречива? Пожалуй, и то и другое. Но, кроме того, с очевидностью можно утверждать, что написана она талантливой рукой.

Как же она написана?

На этот вопрос упомянутый комар ответил бы недоуменной тирадой: «Как это «как»? Это слово ведь у нас означает разное-преразное: образ, способ, манеру, род, вид, сорт, обычай, привычку, свойство, характер, сущность, происхождение, профессию, и еще, и еще. Лучше бы вы меня спросили, о т ч е г о и д л я ч е г о».

Хорошо, пусть так. Коснемся и способа, и манеры, и происхождения, но сначала все-таки попробуем уяснить себе, «для чего». То есть попытаемся выделить из многих смыслов главный, хотя сделать это вовсе не легко просто потому, что сюжет романа В. Василаке не поддается лаконичному, а тем более однозначному пересказу.

Коротко говоря, перед нами вереница злоключений молдавского колхозника Серафима Поноарэ, купившего однажды на базаре лично для себя совершенно бесполезного в хозяйстве, но очень уж красивого белого бычка. Покупка озадачила его самого, но еще больше окружающих и сделала и без того невезучего Серафима объектом самых неожиданных домыслов, насмешек и каверз. В результате покладистый Серафим внял голосу своей рассудительной жены Замфиры и попытался избавиться от горячо полюбившегося ему бычка. Однако намерение это оказалось тщетным. Бычок вернулся к Серафиму. Вернулся, ибо у этой ситуации нет и не может быть конца — она обречена на вечное повторение: «Стоял бык за воротами, на рогах у него висело мочало, не начать ли нам сказочку сначала?»

Что же означает в романе В. Василаке Серафим? А ничего! — с невинным видом уверяет нас автор. «Серафим — он Серафим и есть...» Простофиля, конечно, даже можно сказать — дуралей, но добродушный, отзывчивый, славный. Этакая симпатичная бестолковшина. Он так же реален, как и пастух по имени Ангел. Пастух — и все тут. Разве что обслуживает по совместительству колхозный радиоузел, сообщая новости, разъезжает по округе на мопеде и щеголяет замысловатой зажигалкой, которая, стоит ею щелкнуть, исполняет популярную песенку «Пусть всегда будет солнце». Сказочка-то ведь современная.

Ну, а белый бычок, он что — символ? Ничуть! «Какой символ, ты что, японец? — читаем мы тут.— Мы же крестьяне, говорим конкретно: лошадь в яблоках, курица рябая...» Ну и так далее.

Нет, что-то здесь не так, догадываемся мы, хитрит с нами автор, можно сказать, морочит нам голову. И действительно, за бытовой конкретностью в повествовании В. Василаке по мере чтения все явственнее проступает второй план — философско-метафорический, где приняты совсем другие измерения и узаконены совсем другие связи, открывающие широкий простор для самых различных ассоциаций и толкований.

Вполне допустима, например, даже такая, гротесковая трактовка. Серафим не просто молдавский колхозник, а некий очарованный странник, грезящий Штраусом, тем самым Штраусом, что всю жизнь играл беспечные вальсы. И Ангел не колхозный пастух с часами «вымпел» на руке, а этакий деревенский черт, который вертит односельчанами, как хочет. И бычок не бессмысленная скотина, а провинциальный представитель тех гордых животных, которых так великолепно изображал великий Пикассо и так хорошо понимал «великий Хем», Хемингуэй то есть. Ведь обо всем этом здесь тоже говорится наряду с колоритными жанровыми сценками и живописными пейзажными зарисовками такого, например, рода:

«И тогда снова кидает Серафим взгляд на поля, а там как вчера, как завтра, как сегодня днем — трактора в гору, трактора под гору, а на ровном месте машины, комбайны, и, куда ни глянешь, только столбы

да провода! А сверху с самолета опрыскивают то сад, то кукурузу, то бахчу, и гудят, и тарахтят...» Или в другом месте: «Ох, много странностей было в этом селе, и одна похлестче другой... Например, сам поп купил себе мотоцикл, а обслуживал он три церкви и вокруг каждой трещал этим своим мотоциклом по утрам и вечерам так, что даже самые что ни на есть верующие и те начали сомневаться, даже звонарь однажды сказал ему, попу:

— Батюшка, что вы делаете? О нас судачат».

Что ж, примем предложенные автором условия игры, поскольку они позволяют ему столь весело и непринужденно рассказывать о современной молдавской деревне, о ее нравах, о тесном и чрезвычайно причудливом сочетании отживающей старины и самой новейшей новизны, давних традиций и нынешних навыков жизни. Изворотливость соседствует здесь с наивностью, бесшабашность с патриархальностью, рассудок с предрассудками. Перед нами проходит вереница эпизодов, сцен и невероятных происшествий, одни из которых отличаются лирической проникновенностью, другие комичностью, третьи озорством, а иные и тем, и другим, и третьим...

Сюда надо добавить забавные несуразицы и фантастические нелепицы, которые преподносятся читателю с вызывающей ухмылкой, с заговорщическим подмигиванием. И все это щедро расцвечивается шутками, прибаутками, поговорками, притчами и присказками, очень далекими от того мира, где живут образы Пикассо и Хемингуэя: «И он, Бельй, снова весело зашевелил ушами — видите ли, с раннего утра столько у него было беспокойства, но если случилось, что чья-то нужда совпала с чьей-то нуждой и как раз так, что у него, у Белого, от этого одной нуждой меньше стало, есть ли тогда нужда еще в какой-то другой нужде?»

Так повествование В. Василаке то поднимается до поэтизации современной сельской жизни, то снижается до откровенного балагана, то вбирает в себя народную мудрость, то заводит нас в дебри смысловых несообразностей, то переходит на торжественный сказ, то превращается в болтовню с читателем запанибрата.

Из сложной системы подобных сопряжений и возникает тот образный сплав реального и призрачного бытия, который делает «Сказку про белого бычка» произведением необычным, дерзким по своей поэтике, совмещающей пафос с иронией, возвышенное с «вульгарным», архаизмы с неологизмами. «Идет одна мелодия, только-только начатая, а за ней уже другая, тоже начатая едва, и понимаешь тогда, что у каждой мелодии есть еще одна, над ней, внутри ее, и в каждую мелодию можно продеть еще одну, ибо такова она, вечная полифония».

Однако вернемся к Серафиму с его злосчастным бычком. Серафим «добр, как теплый хлеб», и доверчив, как дитя. Но главное в нем — удивленная, бессознательная и какая-то беззащитная тяга к красоте, ради которой он готов поступиться своим благополучием и достоянием. Бескорыстный мечтатель, он смешон и незадачлив в своих поступках.

В этом смысле Ангел — его антипод. Ангел, если допустимы такие аналогии, — сельский Мефистофель при Серафиме-Фаусте. Это его совратитель, удачливый, напористый и безжалостный. Злодей? Нет, скорее плут. Он во всех обстоятельствах себе на уме, из всего стремится извлечь пользу. Даже исполняемое приезжими артистами на полевом стане адажио из «Лебединого озера» он использует, чтобы совратить только что вышедшую замуж Замфиру. Но именно вследствие практицизма ему-то, пожалуй, труднее всех понять, «кто он, этот Серафим: птенчик с травинкою в клюве, или, как говорится, немножко дурак, или кто?». «Или этот Серафим так глуп, что земля его еле держит, или так хитер, что пары ему не сыскать...»

И вот уже роман В. Василаке вовсе не невинная сказочка, а продолжение извечного спора добра и красоты с выгодой и интересом, поэзии жизни с прозой жизни, гуманного идеала с грубым прагматизмом. Сказочка-то оказалась философской, и притом с перцем.

Вы скажете, что далеко не всегда эти позиции так прямо противостоят в нашей жизни одна другой? Да, не всегда. А все-таки... Ведь проблема соотношения духовных и утилитарных ценностей, их неполного совпадения, опять и опять возникает с самого начала, как сказка про белого бычка, перед каждым поколением, начиная с библейского «не хлебом единым».

На чьей же стороне писатель? Казалось

бы, тут все кристально ясно и вопрос излишен. Но в том-то и дело, что спор этот обернулся в романе еще одной неожиданной стороной. Его стихийно выплеснуло за пределы сюжета непосредственно в сферу стилистики. А здесь он развивается едва ли не в обратную сторону, и притом весьма красноречиво.

Хитроумная сказка В. Василаке возникла как бы на пересечении двух эстетических условностей. Я бы сказал так: одна идет от Серафима с его непосредственным восприятием прелести жизни, с его зачарованным неумением жить, «как все люди», а другая — от Ангела с его кознями, умыслом и плутовской искушенностью в житейских делах. От Серафима в романе фольклорное начало, карнавальная пестрота красок, лиризм и народная мудрость. А от Ангела — начало чисто умозрительное, позаимствованное из современной иронической прозы, даже из поэтики абсурда.

Кто же побеждает з д е с ь? Светлый ангел рая или черный ангел ада? Боюсь, что побеждает второй.

Я уже говорил, что автор с самого начала предложил нам веселую игру, требующую от нас не только снисхождения по части отступлений от повествовательных канонов, но и настороженного внимания. Иначе ему ничего не стоило бы обвести нас вокруг пальца, и мы бы сами не раз рисковали оказаться в дураках. Нам ничего другого и не оставалось, как принять эти условия, чтобы не прослыть ворчунами в своем консервативном неприятии.

Однако, установив с нами такие отношения, автор, что называется, разошелся, увлекся процессом игры, утратил чувство меры и стал забывать о правилах, предложенных им самим. До поры, до времени мы не замечали, в какой момент его шутки переходили в мораль, где кончался мир бытовых реалий и начинался мир метафорических отвлечений. И это было очаровательно. Но Ангел, искушенный мастер обманов и розыгрышей, оказался настолько всесильным демоном-искусителем, что перед его соблазнами не устоял не только Серафим — простая душа, но и сам писатель.

Чем дальше, тем чаще В. Василаке навязывает нам изощренные словесные фокусы и литературные эксцентриады, ошарашивает нас нарочитой бессмыслицей, строит нам всякие умственные козни и вертит нами, как хочет,— просто так, из любви к искусству. Словом, резвится вовсю.

Происходит ничем не оправданная подмена. Только что мы невольно вспоминали «Вечера на хуторе близ Диканьки», но вот уже милый бычок чем-то начинает смахивать на заморского носорога. Только что мы с интересом следили за необычной художественной логикой романа, но вот уже в его текст насильственно вторгаются формулы, позаимствованные из математической логики. Словно только для того, чтобы похлестче озадачить нас.

Ах, этот Ангел! Хотел автор высмеять нынешние модернистские увлечения, да бес попутал, и слова незаметно вылились за ту роковую черту, где кончается искусство и начинается чистая мистификация. Так в некоторых главах романа, особенно в «комариной притче», народное лукавство обернулось ухищрениями от лукавого.

Впрочем, может быть, эта стилистическая победа Ангела над Серафимом тоже не случайна, а умышленна. Может быть, она месть за моральное поражение. Так ведь в жизни тоже бывает. Не знаю. Меня она огорчила.

Конечно, творческое открытие — всегда в какой-то мере нарушение обыденного «здравого смысла». Оно всегда «не как у людей». Так же, как красота и польза — далеко не всегда синонимы. Но я твердо верю, что оригинальность при всех условиях становится подлинным искусством лишь в тех случаях, когда она органична.

Б. РУНИН.

★

ТРИНАДЦАТЫЙ КРИТИК

Г. Гуревич. Карта страны фантазий. «Искусство». М. 1967. 176 стр.

Любопытная, никем не отмеченная особенность современной советской научной фантастики: на страницах произведений этого жанра не прекращается литературоведческая дискуссия о нем самом. Проблемы научной фантастики—едва ли не главное содержание ряда рассказов (рассказов, не статей) Г. Альтова и В. Журавлевой. И. Ефремов в своем последнем романе делится мыслями об американской фантастической литературе и ее отличиях от нашей. Много места уделено различным соображениям о научной фантастике в повестях Г. Гора. О писателях-фантастах написан рассказ А. Громовой, о них же—целый роман Н. Томана, причем, если верить последнему автору, его коллеги—народ хуже всякой тли...

Выразит ли писатель-фантаст мысли о собственном жанре через диалог своих героев, или выведет резонера, или явится перед читателем открыто в литературно-критическом отступлении—слишком регулярно, чтобы быть случайными, встречаются в научно-фантастических произведениях эти суждения о проблемах и задачах научной фантастики. Если бы проблемы любого другого жанра обсуждались в нем самом с такой же настойчивостью и частотой, это давно обратило бы на себя внимание.

Особенность научной фантастики, о которой я говорю, осталась незамеченной по той же причине, по какой она возникла: из-за недостаточной активности критиков научной фантастики. Это как наружная болезнь, загнанная внутрь: жанр поглотил все не доведенные до конца споры о себе. В то же время нет, кажется, ни в одной другой области современной «движущейся эстетики» такого количества самых нелепых и вполне устойчивых предрассудков, как в этой. Каждая критическая работа о научной фантастике, будь то протяженная журнальная статья или крошечная газетная рецензия, претендует—ни более, ни менее—на концепцию всего жанра. Сколько статей — столько концепций. Рядом с научно-фантастической литературой медленно и неуклонно, словно коралловый риф, вырастает критика, в большей степени фантастическая, нежели научная. Книг, посвященных серьезному анализу жанра,—раз (Ю. Рюриков), два (Е. Брандис и В. Дмитревский) и обчелся.

Поэтому появление новой книги о научной фантастике—пусть маленькое и сугубо локальное, все же событие. Тем более что книга известного советского писателя Г. Гуревича «Карта страны фантазий» (название и жанр которой, по-видимому, связаны с путеводителем Кингсли Эмиса по зарубежной фантастике «Новые карты ада»), выросшая из опубликованной несколько лет назад в журнале «Искусство кино» статьи и посвященная научно-фантастической литературе с точки зрения ее реализации в кино,— живо, местами остроумно написана, охватывает обширный фактический материал, разворачивает целую панораму теоретических представлений автора. Книга отлично иллюстрирована. Последнее обстоятельство я нахожу достойным упоминания, так как многочисленные кадры из сказочных и фантастических фильмов не просто украшают книгу, но являются составной частью, порой очень ответственной, в системе доказательств Г. Гуревича. Автор размышляет вслух в присутствии читателя, советуется с ним, задает ему вопросы (не всегда риторические), спорит со своими оппонентами.

Он спорит с «двенадцатью разгневанными критиками», которые персонифицируют самые распространенные предрассудки о научной фантастике. Киноремининсценция объясняет такое подозрительно «ровное» число оппонентов автора. Она объясняет заодно, почему не все воплощения оспариваемых мнений наделены достаточной самостоятельностью: жесткая заданность приема (впрочем, эффектного) принудила автора кое-где пойти на неточность классификации этих мнений. Поэтому иногда Г. Гуревичу приходится сливать свои полемические персонажи и оспаривать их гуртом. Спор ведется о том, что́ есть и чем должна быть научная фантастика.

На нормативные заявления «двенадцати разгневанных критиков»—фантастика-де есть то-то и должна быть тем-то—Г. Гуревич каждый раз возражает резонно: не всякая, не всегда; не должна, а может. Здесь, в полемической своей части, книга заслуживает самого пылкого сочувствия.

Но отрицая, надо же что-то и утверждать. И тут оказывается, что в книге Г. Гуревича

не двенадцать, а тринадцать критиков. Тринадцатый, не столь разгневанный, сколь непреклонный,—сам автор. По мере того, как сходят со сцены один за другим его разгневанные оппоненты, все яснее обрисовывается образ тринадцатого критика, который, желая как можно быстрее внедрить фантастику в кинематограф, начинает уверять читателя, будто научно-фантастический жанр—это и в литературе проще пареной репы, а уж в кино и того проще, надо только все делать по предлагаемым им, Г. Гуревичем, рецептам. Тут у автора меняется даже стиль повествования — из иронического он делается докучливо-наставительным, на манер известных строк: «Душа моя Павел, держись моих правил: люби то-то, то-то, не делай того-то»,— но всерьез, без покушений на пародийность. Рецепт следует за рецептом.

Сначала осторожно, не категорично: «Можно саму машину очеловечить... наделить памятью, стремлениями, даже чувствами... и пускай эти полусущества отправляются исследовать...» Дальше решительней: «А теперь разберемся, какие приключения пригодны и для фантастики...» Решительность приносит плоды: «Все другие приключенческие сюжеты и конфликты пригодны и для фантастики (геологические, технические, морские и пр.)». И, наконец, бегом по всему тексту—рецепты: «На стадии испытания главное—показать...», «На стадии же всеобщего распространения надо описать...», «Перечисленные и многие другие конфликты творчества можно изображать...» Чтобы читатель не подумал, будто рецептурные пристрастия Г. Гуревича случайны, он напоминает о рецептах, составленных другим фантастом: «Г. Альтов даже составил реестр использованных в фантастике тем и идей, настойчиво призывал не повторяться. Реестр его был встречен неодобрительно большинством, считающим, что в фантастике главное — литературность (типа критиков № 9 и № 11), и опубликован не был. А жаль. Он мог бы помогать и авторам и редакциям, как справочник». Оказывается, любовь к рецептам делят с Г. Гуревичем школьники, которые, по его словам, «воспринимают фантастику как каталог профессий, справочник «Куда идти работать?»...»

Не ограничиваясь все разъясняющей картой «страны фантазий», с помощью которой так удобно ориентироваться на фантастической местности, Г. Гуревич снабжает свою книгу таблицей критериев фантастики, настоящей таблицей, где по вертикали отложены разновидности фантастического жанра (познавательная фантастика, приключенческая, «мечта о цели», «техника будущего», фантастика психологическая и сатирическая, утопия и т. д.), а по горизонтали—соответствующие им «специфические задачи», «специфический критерий», «допуски», «герои», «сюжет». Выбрав условия задачи, на перекрестке найдете нужный ответ. Таблица, конечно, очень рационализирует труд фантастов, заменяя творческие поиски поисками графы.

Итак, предлагается набор высококачественных, проверенных штампов, своеобразный литературный «конструктор», из коего каждый, желающий потрудиться, может составить нечто научно-фантастическое. Рецепты выписываются с точки зрения абстрактной, умозрительной и универсальной задачи создания научно-фантастического произведения (в кино и литературе). Не такого произведения, какое задумал писатель Г. Гуревич, а любого, всякого, по исчерпывающей сводке схем теоретика Г. Гуревича.

«Что выбирать—зависит от автора, от его сверхзадачи»,—почти правильно утверждает тринадцатый критик. Он был бы прав безупречно, если бы не его абсолютная уверенность в том, что выбирать будущему автору предстоит из предложенных схем. Вместо обещанного в прологе путеводителя по фантастике получается самоучитель для авторов, жанр мало почтенный, обращенный к писателю-ремесленнику и благословляющий серость. Не случайно творчество наиболее талантливых из нынешних фантастов (например, А. и Б. Стругацких), по свидетельству самого Г. Гуревича, не вписывается в его схемы, напротив—все решительней и дальше уходит от них. Чего, однако, стоит теория, неспособная вместить наиболее плодотворную практику?

Г. Гуревич-критик одержим пафосом нормативности. Он до предела рационализирует процесс создания литературного произведения: изображение техники и техника изображения—других задач и трудностей фантастического жанра он и знать не хочет. Область человеческих отношений, как предмет художника, и нравственные категории, как критерии художества, признаются, по-видимому, такой малостью, что их можно опустить вовсе. Чтобы ввести читателя в конфликт между двумя учеными, жалуется

Г. Гуревич, «приходится довольно подробно объяснять технологию, нередко это наводит скуку. Бывает и так, что автор нечаянно поддерживает неправых. И происходит это даже не от неграмотности литератора. Просто заранее нельзя знать, кто добьется успеха. Если же умалчивать о технологии, суть спора становится неясной, читатель вынужден верить на слово, что герой Иванов прогрессивен, а Петров — вреден». Вся суть конфликта сводится, таким образом, к научной правоте, а правота—к успеху. Объяснение технологии, правда, наводит скуку, но мысль о моральном аспекте конфликта даже не возникает...

Она не возникает у Г. Гуревича и тогда, когда анализируемое им произведение буквально вопиет о нравственной оценке. В одном рассказе Ю. Сафронова, сообщает Г. Гуревич, «в Черном море испытывается автомат, предназначенный для ловли животных на Венере. И при испытании эта железная акула глотает всех подвернувшихся... Можно представить себе переживания этих заживо проглоченных...». Г. Гуревич видит в этом рассказе только «несоблюдение элементарной техники», вернее, двух «техник»— безопасности и сюжетосложения. У Ю. Сафронова, считает тринадцатый критик, вышла неувязка с «приемами», из-за чего вместо рассказа получился фельетон. Поразительный нравственный просчет Ю. Сафронова, назвавшего свой рассказ об экспериментах на людях «Ничего особенного» (!), остается незамеченным и неоцененным Г. Гуревичем. Между тем опыт Ю. Сафронова как раз и показывает, куда приходит фантастика, изображающая «технику» при помощи набора «приемов». Напрасно, на мой взгляд, так насмешливо относится Г. Гуревич к попытке другого писателя-фантаста—Г. Гора— перевести речь с чисто научных проблем на общественные, из плоскости «выйдет—не выйдет?» в плоскость «хорошо ли выйдет?» (по собственной терминологии Г. Гуревича).

Зато сам Г. Гуревич не колеблясь переводит разговор из плоскости «как писали научную фантастику?» (и не всегда лучшие писатели) в плоскость «как нужно писать?».

В «Карте страны фантазий» все было бы гораздо ближе к истине, если бы автор заменил на прошедшее время все свои императивы и футурумы. Тогда его книга попала бы в ту область науки о литературе, которая изучает научную фантастику—увы, изучает пока еще мало и плохо.

Мирон ПЕТРОВСКИЙ.

Киев.

★

ЗАГАДКИ И РЕБУСЫ ОЛЕСЯ БЕНЮХА

Олесь Бенюх. Челюсти саранчи. Повесть. «Октябрь», № 1, 1969.

Эта повесть привлекает к себе внимание прежде всего незнакомым именем автора — Олесь Бенюх (ведь новое имя всегда обещает радость открытия, если открытие, конечно, состоится), а потом уже своим странно зловещим названием — «Челюсти саранчи»...

И хотя саранча, как известно, давно уже с наших полей отлетела в далекое прошлое, название это заинтриговывает...

Однако ничего экзотического на первых страницах повести мы не обнаруживаем, наоборот, сразу же становится ясно, что действие ее протекает в наши дни, в августовской Москве, в один из вечеров, когда «к Московскому дому журналистов подъехала новенькая «Волга» в экспортном исполнении» и «ее владелец опрометью кинулся к застекленному входу в Домжур (как ласково свой клуб называют журналисты)».

Владелец экспортно-исполненной «Волги» — Сергей Симбирцев, главный положительный герой этой повести, молодой журналист-международник, который только что приехал в Москву в отпуск из далекого Талана. Автор тут же объясняет в сноске, что Талан, «разумеется, страна вымышленная». Это необходимо запомнить, так как в повести страна эта занимает определенное место, о чем нам и придется говорить дальше.

Главное содержание повести — возвращение героя на родину, в Москву, к ее улицам, людям, театрам, книгам, домам. Особенностью повести является при этом то, что взгляды и суждения Сергея Симбирцева для автора всегда окончательны и беспрекословны.

...Итак, в повесть входит сегодняшняя Москва. Герой бродит, а чаще ездит в своей

машине по Тверскому бульвару, он пьет пиво в кафе под левым крылом кинотеатра «Россия», он расплачивается с таксистом у магазина «Тысяча мелочей», пьет коньяк и ест бутерброды с семгой в буфете на втором этаже Шереметьевского международного аэропорта.

Первое появление Сергея Симбирцева на родной земле — в ресторане Дома журналистов. «Столик уже был обильно уставлен закусками. На отдельной тарелке лежало несколько филипповских калачей. Над бутылками боржоми возвышались горлышки коньяка и «Столичной»... Они выпили, закусили. Снова налили...

— Сейчас бы в наш реалийский кабачок «Веселый дьявол»,— мечтательно протянул Валерий,— попробовать тундури чикен.

— А по мне бы сейчас в Порт-туан!..— воскликнул Иван.

— Отведать одну утку по-пекински, а другую по-американски...»— добавил Сергей.

Тут все написано просто, понятно, со знанием дела.

А забытая на время отпуска жена Сергея Лида со своей подругой Тоней тем временем катается на пароходике по Москве-реке: «Обе рослые, с высокими прическами, и одеты они были под стать друг другу: плотные однотонные платья-костюмы из дорогого джерси, легкие высокие перчатки, узкие, глубоко открытые туфли. У блондинки весь туалет был выдержан в голубых тонах, у шатенки — в розовых... «Аристократками», как, присвистнув, окрестила двух пассажирок судовая буфетчица, были Лида Симбирцева (блондинка) и Тоня Валькина, жена Семена (шатенка)».

Здесь уже не во всем соглашаешься с автором. Потому что если судовая буфетчица, присвистнув, что-нибудь и произнесла, то вряд ли это было слово «аристократки». А между тем с каким благоговением описаны эти «аристократические» одежды: ведь даже не «красивое» джерси, нет — «дорогое» — вот что, оказывается, может быть мерилом вкуса...

Лида пишет Сергею и вполне «аристократические» письма: «Мама считает, что у меня нервы расшатаны вконец — «влияние проклятых тропиков». И я должна поплескаться в Черном море, поваляться на песочке где-нибудь в полупустынном закоулке Закавказья... Прилетела сегодня в пять и заскочила домой, чтобы повидать тебя и захватить свои курортные тряпки»...

Олесь Бенюх вообще любит описывать предметы в их, так сказать, прейскурантном виде: «золотистые соломенные индийские пуфики», «модные торшеры, лампы, ночники», «деревянная японская сигаретница», «великолепный «швецкий» паркет»...

Во всех этих и им подобных случаях автор вполне конкретен.

Но иногда в повести «Челюсти саранчи» происходят странные вещи. Так, в центре реальной Москвы рядом с Пушкинской площадью и Тверским бульваром вырастает несуществующий «Бульвар радости», и президент могущественного агентства печати, где работает Сергей, из своего кабинета смотрит на «редкие огни» этого бульвара.

Но ведь действие происходит в реальной Москве, а не в условном Талане... Может быть, это своеобразная форма художественного озеленения столицы? Но с подобными вещами мы встречаемся и дальше. «Волга» Сергея, читаем мы, «вырвалась на Садовое кольцо, пересекла почти пол-Москвы и, наконец, въехала в один из самых юных районов города, где и расположилось агентство «Москва». А в конце своего отпуска Сергей «попал в один из маленьких театриков, приютившихся где-то на окраине города».

«Один из самых юных районов», «один из маленьких театриков», «где-то на окраине»... Почему же Садовое кольцо может войти в повесть подлинным названием, а один из самых юных районов столицы — нет? Почему в другом месте ТАСС или Литературный институт названы своими именами, а «театрик на окраине» не имеет ни улицы, ни названия? С какой целью в художественное произведение вводится это засекречивание?

А оно вводится весьма интенсивно и в разных случаях по-разному. Оглядывая зал ресторана Дома журналистов, Сергей, например, думает: «...все, как в Лету канувшие времена «волюнтаризма», когда одним из высоких и всемогущих патронов Дома журналистов был «счастья баловень безродный».

В общем, как поется в известной песне: «В каждой строчке только точки. Догадайся, мол, сама». И потом с каких это пор «безродность» (вполне естественная в строке Пушкина, так как она относится к Меньшикову — «счастья баловень безродный, полудержавный властелин»), как и выше «аристократизм», стали оценочными кате-

гориями в произведениях советской литературы?

В центре повести — отношения Сергея и Иры. Иру, как говорит автор, Сергей любил раньше («Потом была весна. И любовь. И разрыв. И отчуждение»... Но все равно «что-то тлело в их душах, что-то теплилось, ласковое и тоненькое»). Теперь Сергей опять полюбил Иру. и она его тоже полюбила.

Ира — явление глубоко отрицательное, и она вводит Сергея в жизнь литературной Москвы. Она, эта жизнь, и составляет, пожалуй, главное содержание повести. Поэтому постараемся, насколько позволяет нам повесть, быть в этом вопросе обстоятельнее.

Поначалу Олесь Бенюх неторопливо реалистичен. «Если,— пишет он,— мысленно очертить циркулем круг с радиусом в сто метров и с центром в самой середине Пушкинской площади, то в пределах этого небольшого пространства окажутся редакции журналов и газет самых различных ведомств, направлений, содержаний и оттенков. Здесь и «Известия», и «Труд», и «Москоу ньюс», и «Новое время», и «Знамя», и «Новый мир».

Эта почти топографическая обстоятельность описания настраивает на самый серьезный лад, чувствуется, что это не случайно. Автор заставляет нас на каждом шагу если не думать, то задумываться. И правда, в следующем абзаце мы узнаем, что «без четверти десять Сергей подбросил Иру к кинотеатру «Россия». Они простились, договорившись вечером созвониться, и она направилась в редакцию одного из журналов, расположенную неподалеку. Сергей долго провожал ее взглядом».

Для чего же размечалась циркулем Пушкинская площадь? Зачем перечислялись так подробно расположенные на ней редакции? Только для того, чтобы сообщить, что героиня работала в редакции «одного из журналов»? Кинотеатр «Россия» — последняя реальная точка, за которой Ира теряется в тумане неизвестности.

Правда, мы знаем зато, что у Иры «вздернутый нос и глубокий восточный разрез глаз», а хозяйка литературного салона Леокадия Степановна говорит, обращаясь к Ире: «Я понимаю, нынче в вашем журнале столько вылетает вещей уже из верстки, а иногда и из сигнала, что вам, бедняжке, работать приходится вдвое, а то и втрое против обычного».

Но тем более, честное слово, хочется узнать, что же это за журнал? А как тут узнаешь?..

Словом, можно и не заметить, как с головой погрузишься в отгадывание загадок, отточий, многоточий, намеков и полунамеков, которые так смело вводит в художественную прозу Олесь Бенюх. На секунду мелькнет мысль: а как же читатель, не имеющий отношения к литературе? Но от этой мысли надо сразу отказаться — не до читателя тут Олесю Бенюху.

Система намеков и многоточий в повести «Челюсти саранчи» носит весьма многообразный характер. С некоторыми формами этой новой для нашей литературы манеры мы уже познакомились выше: 1) замена подлинных названий, имен, понятий словами типа «один из...», «некоторый», «где-то», «кто-то»; 2) переход с простой речи на язык закодированный, на «шифр» для посвященных.

Есть и другие формы. Для того, чтобы их уяснить, вернемся на некоторое время в салон Леокадии Степановны, куда притащила Сергея Симбирцева Ира. (Кстати, когда она работает в своей редакции? В повести она только бегает по ресторанам, салонам и театрам, да еще пьет на даче коньяк с папой и мамой. А ведь, как сообщается в повести, в этом журнале надо работать в два, а то и в три раза больше.)

Как обычно, у Олеся Бенюха сначала обстоятельно описана дорога в салон, потом обстановка в квартире,— и так как трюмо у Леокадии Степановны «рассохшееся от времени», а мебель разностильная, мы сразу догадываемся, что она фигура отрицательная (в то время как импортность и ресторанный шик — признаки положительности и избранности). Потом появляется сама Леокадия Степановна — «почти (!) уже (?) отцветшая блондинка». Но мы уже знаем, что подробности эти мнимые, потому что в них должно потонуть что-то самое существенное.

Мы не ошибемся и на этот раз. Кто такая Леокадия Степановна? «Белкина,— говорит Ира,— это ее девичья фамилия, а сама она вдова... (многоточие автора.— *А. Б.*) — Ира назвала имя одного из крупнейших прозаиков последнего тридцатилетия». Далее мы узнаем, что в одной из комнат висел «большой портрет покойного мужа Леокадии Степановны, выполненный маслом в реалистической манере». Так одно неизвестное

заменяется неизвестным другим, «но выполненным в реалистической манере». Эта последняя подробность как-то особенно трогательна — вот где действительно победа реализма. И все-таки незаметно ловишь себя на том, что потихоньку перебираешь в памяти «крупнейших прозаиков последнего тридцатилетия» — кто же из них... А может быть, Олесь Бенюх просто ввел в литературу новый жанр — повесть-кроссворд — и в следующем номере журнал «Октябрь» опубликует к ней «решение»?

Но если говорить серьезно, то метод этот в повести «Челюсти саранчи», увы, чрезвычайно целесообразен, так как только при его помощи можно нарисовать те дикие сцены из жизни современной литературной Москвы, которые в ней даны.

Средоточием всех кошмаров является прежде всего салон Леокадии Степановны. Поэтому комнаты ее квартиры приобретают какой-то колоссально-нереальный размер, они буквально набиты толпами «мыслящих интеллектуалов», как характеризует гостей этого дома Ира.

Одна из причин их сборов (тоже со слов принадлежащей к их среде Иры) — «потрепаться, слушок пустить или подхватить». «Плешивый дядя с курчавой сизой бородой» сидит «с молоденькой стильной девицей»; «мемуарист Антип Чаруев-Коляскин. Каждый год выдает по тому новых воспоминаний о не описанных еще встречах с известными писателями. Проживет до ста лет и выдаст на-гора еще томов двадцать». Этот герой одновременно ворует ценные вещи из всех домов и салонов. «На позапрошлой неделе он из богатейшей коллекции Кильдеева прямо под носом у хозяина уникальнейшую трубку увел»; Моня Тишкин — «одинокий, сардонического вида, изможденный брюнет с прической а-ля биттлз» «вещает свои переводы «грациозным речитативом» — «в свете худосочной, словно заплаканной крупными матовыми слезами, люстры сверкал крупный сиреневый камень перстня, сверкали зубы, сверкали белки глаз»; «в компании трех сопляков» появляется «гривастый молодой человек» — «Леонтий Картонников, не признанный богом и читателем поэтический гений России. Стишата гонит метрами — для «Самиздата», конечно...»; Кедова — «костлявая» «женщина лет шестидесяти пяти. Редкие, небрежно-покрашенные в рыжий цвет и ставшие уже наполовину седыми волосы... популярнейшая новеллистка, синий чулок и любительница-хиромантка»; Аллочка Рассохина — поэтесса «томно-шизофренического направления...».

Верный своему способу характеристик, автор обязательно добавит, что очки у Кедовой «старенькие», а мундштук «видавший виды», что ужин Леокадии Степановны «не особенно разнообразный, но довольно обильный». Но это в данном случае действительно мелочи, которые не могут развлечь нас в тягостно-гнетущей атмосфере повести. Дело тут не в потоке ругательств, которые по существу являются главным средством художественной изобразительности. Ведь известно: хоть горшком назови, только в печь не станови. Но Олесь Бенюх и горшком назовет, и в печь поставит — с одинаковой, правда, неуклюжестью.

Почти невозможно что-либо понять в хаосе этих сцен. Не всегда ясно, кто что сказал. Кому верить? Кто прав? Это не имеет здесь значения — все валится в одну кучу. Вдруг врываются обрывки фраз: «Всеволод то мне рассказывал после того, как он свои «Приключения факира» изобразил, что будто идет он это однажды по самым что ни на есть джунглям, а навстречу ему...»

Все... что увидел «Всеволод» «в джунглях» — остается в тайниках творческой лаборатории писателя. Или все начинается с отточия автора: «...На что тот ему выплюнул: «Я никогда не торговал дружбой...» и т. д.

Кто-то походя что-то произносит. Кто-то начинает спор — но мы не знаем его причины. Подслушанные фразы, перевернутые стихи, непонятные отрывки из романа «о судьбах интеллигенции в период расцвета культа»...

Подробнее других показан Моня Тишкин.

«— Это Моня Тишкин,— говорит Ира,— плодовитый переводчик со всех восточных и прочих языков.

— В свое время отсидел пять лет за организацию в университете нелегального кружка неомарксистов,— невозмутимо заметил Иван.

— Кружка кого? — изумился Сергей, внимательнее прежнего рассматривая физиономию доморощенного теоретика.

— Видишь ли, кружки эти...— начала было объяснять Ира, но голос ее потонул в глубоком контральто Леокадии Степановны».

Ну, хорошо, допустим, что голос Иры «потонул». А если читатель задумается над

тем, что бы было, если бы голос Иры не «потонул» в контральто Леокадии Степановны? И знает ли сам Олесь Бенюх, что ответила бы Ира Сергею Симбирцеву? И можно ли писать повести на эти темы, опуская все ответы и вопросы, которые здесь возникают, возникают не у меня, а у такого выдержанного товарища и любимого героя, как Сергей Симбирцев?..

Ставятся ли в этой повести проблемы творчества, искусства, самой жизни литературы? В одном месте нам показалось, что да,— речь зашла о литературе.

Моня Тишкин читает свой перевод одной из песен Тагора (слава богу, тут можно хоть понять, о ком идет речь). А Сергей отлично знал эту песню и читал ее в подлиннике. «Никаких отступлений от оригинала,— отмечает Сергей.— Никакой отсебятины, ни одной фальшивой ноты. Но если сама песня была пронизана ожиданием светлого порыва, парением над мелким и низменным, то перевод ее навевал сумеречную грусть, вселял тревожное ощущение безысходной тщетности, ничтожности, никчемности бытия».

Вероятно, в вопросах перевода Олесь Бенюх занимает мистическую позицию иррациональности творчества: «Никаких отступлений», «ни одной фальшивой ноты», а вместо «светлого порыва» — одна лишь «никчемность бытия». Была бы хоть одна фальшивая нота — все-таки было бы немного легче.

На разных страницах повести мимоходом бросаются и другие обвинения обитателям салона Леокадии Степановны — кроме того, что они воруют и сплетничают, они еще пишут листовки и статьи, дают интервью, сочиняют «Эстетический манифест», подписывают письма.

Сергей Симбирцев, обращаясь к Моне Тишкину и его друзьям, говорит: «Верно, Тишкин, идет борьба. Борьба двух идеологий. И самая жалкая участь в этой борьбе— участь «пятой колонны». Понятно?»

Так печально кончается для Сергея знакомство с литературной жизнью. Печально еще потому, что Ира тоже подписала какое-то письмо, и после недолгих с ней дискуссий на эту тему Сергей вспоминает наконец свою жену. «Почему мне нравится ее тело, если я к ней равнодушен?» — думает он теперь.

Гораздо привлекательнее писателей выглядят в повести работники агентства печати «Москва». Когда речь заходит о работе агентства печати, кажется, что О. Бенюх с прозы переходит на стихи: «Макеты, макеты, макеты .. Статьи, статьи, статьи... Фотографии, фотографии, фотографии... Сувениры, сувениры, сувениры... Приказы, приказы, приказы». Здесь, в агентстве печати «Москва», есть у Олеся Бенюха по-настоящему любимые герои — прежде всего это президент совета директоров (у него нет фамилии, он просто зовется «президентом»), потом вице-президент агентства Клеменчук, генеральный секретарь Валькин и Виктор Сергиенко, главный редактор журнала «Светоч мира», где Сергей работает. Что же касается нижестоящих сотрудников, то в них не всегда хватает обаяния. Когда Сергей вернулся из Талана, то сразу же передал секретарше Леночке «сверток с сувенирами, бутылку виски и блок сигарет «Кэмэл». «В редакции произошло мгновенное оживление. К Леночкиному столу подошел зав. общественно-политическим отделом Алексей Спицын. Высокий, тощий, с неимоверно длинными руками, он осторожно, словно боясь сломать, перебирал бусы из слоновой кости и полудрагоценных таланских камней, поделки из сандалового дерева и крохотные бронзовые статуэтки, шелковые косынки и галстуки, приговаривая при этом: «Вот это, я понимаю, таланский гость! Сразу чувствуется, наш человек в отпуск приехал. Леночка, заготовьте билетики, сейчас все разыграем. А что касается сигарет, эти десять пачек мы распределим между курильщиками»... Рядом с ним стоял низенький, толстый, лысый Абрам Колесник, заведующий отделом культуры. Воинственно сверкая линзами очков и легонько оттирая Алексея животом в сторону, Абрам возмущенно воскликнул: «То есть как это — между курильщиками?» Сергиенко, который «с ухмылкой» наблюдал эту картину, «вполголоса» сказал Сергею: «Что ты наделал! По сравнению с тем, что сейчас здесь разгорится, талано-налатский конфликт покажется задушевной беседой двух милых кумушек вечерком на завалинке».

Картина отталкивающая — и не только дикарской жадностью сослуживцев Сергея, но и глубочайшим чувством превосходства самого Сергея, как владельца этих вещей, над теми, кто их не имеет. Да, вот уж действительно когда не скажешь: мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь.

Вообще если еще раз вспомнить всю по-

весть, то охватывает странное чувство недоумения от пронизывающего ее крайнего недемократизма — он непроизвольно прорывается, как мы видели, в отдельных словах, фразах, сценах, в описаниях ресторанного шика и «дорогих» одежд. Он определяет и весь стиль намеков и полунамеков, зашифрованных описаний, «подмигивания» посвященным, который так характерен для этого произведения.

И есть еще одна сюжетная линия, которая в повести занимает много места,— это «таланская» его часть. Она уже вся идет на шифре и условных определениях, и автор в примечании об этом предупреждает прямо (по отношению к родной земле он, как мы видели, не был так щепетилен). Тут все переведено на «таланский» язык, лишено предметности и конкретности. Приведу один только пример — встреча с таланским премьер-министром:

«Премьер принял его в саду. Белоснежная тога. Белоснежная шапочка Национального Фронта. Алое пятно на груди — еще мокрая от росы роза. Глаза умные, веселые, даже озорные. Походка энергичная, бодрая — не старца, а юноши. Рядом с премьером стояла огромная черно-бурая корова. Немолодая уже таланка, ловко подоткнув подол длиннополой юбки,— ну, совсем на манер наших рязанских баб! — умело, словно пианист по клавишам, скользила тонкими смуглыми пальцами по бело-розовым соскам могучего вымени».

Что же можно вынести из подобного описания? Только одно — что сравнить труд доярки с трудом пианиста может лишь человек, не имеющий ни малейшего (даже зрительного) представления ни о том, ни о другом. И больше, пожалуй, ничего. Неужели же если ты пишешь правду, то нельзя зарубежную страну назвать подлинным именем? Что бы было, если бы все писатели пошли этим, «таланским», путем? Что бы мы сумели понять и представить по их книгам?.. Позицию Олеся Бенюха во всяком случае не назовешь смелой.

С Таланом связано и название повести — «Челюсти саранчи». Коротко дело сводится к следующему: журнал «Светоч мира», в котором, как мы знаем, работает Сергей, напечатал статью советского академика о борьбе с саранчой и рядом с ней карту или, вернее, схему распространения саранчи в мире. Не будем излагать подробности этой истории, скажем только, что эта крошечная схема дала в повести повод американскому разведчику Арчибальду Бейту через таланского желтого газетчика устроить громкое дело. «Потягивая из крохотных рюмочек мартель» или отпивая из рюмок «терпкое «Шерри», они объявили, что на этой схеме какая-то частица территории Талана отнесена к соседнему государству. И начинается шум.

Автор в течение всей повести потихоньку погружает нас в «технику» этого дела: когда схему (на которой вообще ничего не видно) рассматривают в лупу — на ней все правильно, когда ее увеличивают в двадцать раз — все границы на месте, но потом делают увеличение в пятьдесят раз — и происходит незаметное, невидимое, тайное «смещение» — и из ничего, как «из пены морской», возникает провокация. Она растет, ширится, она, как снежный ком, обрастает подробностями, требует ответов, объяснительных записок, расследований. И уже президент агентства восхищается стойкостью Сергея: в его положении, говорит он, «иной субъект» «мог бы и слезу выжать и оговорить кого хочешь». Но Сергей никого не оговорил.

Надо отдать должное Олесю Бенюху — он проявил в этой истории несомненное владение материалом, понимание тайных механизмов, невидимых пружин запутывания, возникновения клеветы, разнообразных форм ее распространения.

Мрачная тень этой «операции» нависает над повестью, вносит в нее еще большую тягостность и духоту.

С чувством недоумения заканчиваешь эту повесть со странным названием и не менее странным содержанием.

А. БЕРЗЕР.

★

СЕРЬЕЗНЫЕ ЧУДЕСА

Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес.— Сквозь зеркало и что там увидела Алиса. Перевод Н. Демуровой. Издательство литературы на иностранных языках. София. 1967. 225 стр.

В 1967 году Льюиса Кэрролла ожидал приятный сюрприз. Сто лет назад он был нашим гостем, и словно в память этой даты издательство «Прогресс» выпустило на языке оригинала «Алису в стране чудес», а в Софии был напечатан русский перевод обеих знаменитых книг Кэрролла — «Алисы» и «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса». Отличная работа Н. М. Демуровой увеличила число почитателей Кэрролла на сто тысяч как минимум.

Нас не удивляет, что некоторые книги, написанные для взрослого читателя, со временем стали любимым детским чтением — как «Робинзон Крузо» или «Путешествия Гулливера». Но вот обратный случай («наоборот» — как это в духе Кэрролла!): написанные для детей, книги об Алисе сделались взрослой классикой. Что было этому причиной? Бедность воображения у сегодняшних ребят? Или стремление взрослых и серьезных людей вкусить радости наивного и заинтересованного взгляда на жизнь? А может быть, постепенно открывающееся сознание того, что в этих детских книгах было высказано много серьезного и глубокого — такого, что детям и не понять? Странные, удивительные книги — такая репутация держится за ними по сей день.

Страна трезвого практицизма и здравого смысла, Англия в случае с Л. Кэрроллом не впервые дала образец эксцентрического и экстравагантного выхода за рамки житейской «постепеновщины». Не будем, однако, преувеличивать степень оппозиции Кэрролла укладу викторианской Англии. Его книги — симптом беспокойства, тревоги, внутреннего разлада, но совсем не яростный протест Свифта или Шоу. Кэрролл — типичный английский «чудак» (вроде героев Стерна), который умеет и поладить с жизнью, и уйти от ее докучливых обязанностей в мир капризных увлечений. Недаром исследователи называют писательское творчество Льюиса Кэрролла «каникулами» его преподобия Чарльза Л. Доджсона, оксфордского математика и проповедника.

Основной принцип художественной системы Кэрролла — алогизм, абсурдность положений. С редкой изобретательностью воспроизводит он перевернутую логику страны чудес и Зеркалья. В причудливых построениях Кэрролла виден, однако, строгий расчет. О Свифте писали, что его фантастический гротеск пользуется услугами таблицы умножения, — то же можно сказать и о творчестве Кэрролла. Сталкивая серьезность и псевдосерьезность, разум и безумие, Кэрролл высекает комические эффекты, создает парадоксальные ситуации. Головоломки, загадки Кэрролла подчас требуют основательной расшифровки — лингвистической, логической, реально-исторической. Бывает, что комментаторы долго, до пресноты разжевывают соль его шутки. Иное дело — «бессмыслицы» Э. Лира: в них ярко выразилось народное игровое начало, поражающее наивностью и поэзией. «Перевертыши» Лира — это вести из мира сказочной свободы. Абсурдные же ситуации и диалоги Кэрролла доносят отголосок традиции, которая использовала «бессмыслицу» в целях сатирического разоблачения.

Чрезвычайно сильна в книгах об Алисе пародийная стихия. Пародируются нравоучительные, морализаторские стихотворения, иронически переосмысливаются пословицы и крылатые выражения, в которых закрепилась обиходная мудрость. Современник Диккенса, Кэрролл оставил потрясающей силы сатиру на судопроизводство, где решающей уликой против подсудимого оказывается совершенно не идущее к делу стихотворение. Эту знаменитую сцену сравнивают с «Процессом» Ф. Кафки. Пародийное мастерство Кэрролла виртуозно, с языком он творит подлинные чудеса: каламбурит, оживляет метафоры, стершиеся сравнения, дает ироническую детскую этимологию. Наконец, он конструирует собственный язык и пишет стихотворение «Бармаглот», над которым сегодня раздумывают семиотики. Книги об Алисе — книги исключительно английские в том смысле, что многие положения и персонажи в них основаны на чисто языковых явлениях, и многое бы переменилось, будь эти книги написаны на другом языке. В Англии говорят: «Безумен, как мартовский заяц». Можете посмотреть, как это выглядит: Мартовский Заяц — один из героев «Алисы». Однако вполне оценить его экзотическую прелесть русско-

му читателю, конечно, не дано. Или еще один герой — Лже-Черепаха. Лже-Черепаха — фикция, это суп из телятины, вкусом и запахом похожий на черепаховый суп. Лже-Черепаха — вкусное напоминание, что-то вроде нашего морковного кофе. Н. Демурова превратила ничего не говорящую нам Лже-Черепаху в Подкотика. В Подкотике есть запах реальной вещи, обманное обладание чем-то трудно достижимым (котиковая шуба!).

На примере с Подкотиком можно увидеть механику многих абсурдных и комических ситуаций у Кэрролла: нечто отвлеченное переводится в план реального существования. Например, Никто — у Кэрролла вполне конкретный персонаж, аналогичное понятие в математике — «пустое множество». «— Кого ты там видишь? — Никого.— Какое у тебя прекрасное зрение!.. Увидеть Никого!» «Кисельные барышни» на дне колодца рисуют «множество». Чего? «А ничего — просто «множество». Чеширский Кот то возникает, то опять пропадает, а то оставляет одиноко парить в воздухе свою улыбку. Парадоксальная идея медленного исчезновения и медленного появления Кота, возможно, была подсказана Кэрроллу его занятиями фотографией — при печатании из «ничего» обязательно получается «нечто», а по своему времени Кэрролл был замечательный фотограф. И, наконец, какое содержание скрывается за стихотворением «Бармаглот»? О чем оно? Этот шедевр зауми переведен на многие языки, и теперь это можно прочесть по-русски (понять едва ли). Чародей языка, Кэрролл поднял здесь древнейший фольклорный пласт: заумный язык есть в детских считалках, им пользовались при магических заклинаниях, и, конечно, злой колдун английских сказок и легенд Мерлин знал его так же хорошо, как у нас Крученых.

Итак, лингвистические «трюки», логические нелепости. Зачем? Показать капризную игру интеллекта? Демонстративный уход от скучной житейской прозы? Оказывается, не только это. Оказывается, попутно идет пересмотр, проверка корневых основ мировоззрения. Как ребенок видит мир? Это прежде всего слова. Мир предметен, всему есть название. И вот множеством уст словоохотливая флора и фауна страны чудес и Зеркалья отчитывается перед маленькой девочкой, внося поправки и дополнения в картину, которая успела составиться в ее голове. Добираясь до смысла их слов и речей, Алиса стремится найти порядок, систему в окружающем мире — хотя бы это был хаос страны чудес и Зеркалья. Алиса видит: здесь есть свой масштаб, своя логика, своя мера реальности — сказочный Единорог признается, что в свою очередь всегда считал детей «сказочными чудовищами». Книги об Алисе — это фантастические сказки с захватывающе острым сюжетом: среди скованных традицией и привычным мышлением слов и ситуаций блуждает смысл, теряется истина. Понятно, почему Алиса не может правильно прочесть ни одного азбучного стихотворения: среди всеобщего безумия зарифмованные прописи, как на рентгене, выдали свою бессмысленность и стали смешной чепухой. А детские стишки и песенки о Шалтае-Болтае, Траляля и Труляля, о битве Единорога со Львом Алиса читает, не перевирая: это правомерные бессмыслицы и в сказочной атмосфере они — дома.

Отталкиваясь от этих смешных стихов, Кэрролл создает иронические и одновременно грустные апокрифы, разворачивая строки песенки в живые сценки. Единорогу и Льву до смерти надоело драться, а драться надо — про это уже написана песенка. Живая сцена убита автоматизмом, предопределенностью развития и развязки. Ее динамика оказалась топтанием на месте — так же после стремительного бега не трогаются с места Алиса и Черная Королева. Вхолостую разыгрывается история с симпатичными близнецами Траляля и Труляля, с обидчивым и дотошлнвым Шалтаем-Болтаем. Даже в сказочном мире Кэрролл видит лишь обманчивую иллюзию свободы от традиций и внешнего предписания. Если поставить два зеркала одно против другого, то по обе стороны вытянется анфилада комнат. Кажется, стало просторнее, хотя человек остается все в той же комнате с зеркалами. Очень, в сущности говоря, меланхолический тон витает над сценой встречи Алисы с Траляля и Труляля: спящей девочке снится король, спящий под кустом, которому снится девочка, которой снится король,— и так далее, как в комнате с двумя зеркалами. И вместе с Алисой нам делается беспокойно: кто кому снится «сначала», кто здесь «настоящий» — король или Алиса? Похоже, Кэрролл разделяет грустные размышления мудрого волшебника

Просперо из последней пьесы Шекспира «Буря»:

Мы сами созданы из сновидений,
И эту нашу маленькую жизнь
Сон окружает...

Смешные и серьезные книги об Алисе очень метафоричны. Что-то сознательно зашифровал сам Кэрролл, что-то добавил его первый иллюстратор — политический карикатурист Д. Тениел, а что-то нашли многозначительным позднейшие истолкователи. Трезвые головы давно предостерегали от вычитывания из текста того, что и не снилось Кэрроллу, а вернее — Алисе в ее чудесном сне. Но редкая голова останется трезвой после чтения «Алисы». О Кэрролле высказывались психологи и фрейдисты, экспрессионисты и абсурдисты, о нем писали философы, филологи, математики, физики. Среди мнений о Кэрролле много интересных мыслей и замечаний, но предостаточно и так называемых ученых благоглупостей. В падении Шалтая-Болтая со стены, например, видят падение Люцифера и вообще идею о падшем Человеке. Способность Алисы расти на глазах связывают с теорией «расширяющейся вселенной». И все же в рассуждениях математиков и физиков заключена и большая доля правды. Ведь поэт был из их племени, и в книгах об Алисе выразился дух времени, богатого научными свершениями и предчувствием будущих открытий. У Кэрролла находят туманное обещание теории относительности и антивещества. Доджсон-математик был порядочно консервативен, но проницательнее оказался Льюис-поэт, и сегодняшние трактаты по физике и математике украшают себя цитатами из «Алисы». В образ сказочного мира Кэрролл внес черты научной вероятности, во многом подтвержденные временем.

Но нельзя забывать и того, что перед нами сказка, а поэзия далеко не всегда переводима на язык конкретного смысла, тем более поэзия «бессмыслицы». Книги Кэрролла далеки от мертвой схематичности — шахматная безупречность их структуры допускает игру, озорство, произвол. Чересчур серьезно настроенным читателям Кэрролла полезно напомнить слова Маркса: «...к смешному я отношусь серьезно, когда представляю его в смешном виде». А у Кэрролла очень много п р о с т о смешных бессмыслиц. Напрасно, например, подозревать какой-то смысл за образом Плотника из стихотворения «Морж и Плотник»: своему иллюстратору Кэрролл предложил на выбор плотника, бабочку и баронета — по-английски эти слова равносложны, а за смысл Кэрролл не держался. Тениел предпочел плотника — так и осталось. К сожалению, в русском переводе книг об Алисе пришлось отказаться от классических иллюстраций Тениела: образная система перестроилась — и рисунки Тениела заспорили бы с текстом. Тениела уже не попросишь нарисовать Подкотика вместо Лже-Черепахи. Отказ от иллюстраций Д. Тениела, может быть, самая большая потеря для «Алисы», но с нею нужно примириться. Потеря эта компенсируется: с другим своим соавтором, с переводчицей Н. Демуровой, Кэрроллу тоже очень повезло.

Вместе со сказками Кэрролла родился миф об их непереводимости, и, начиная с вольного переложения «Соня в царстве дива» (1879), все русские переводы «Алисы» с разным успехом этот миф подтверждали. Кэрролл тяжеловесно шутил, нес совершенный вздор, отпускал плоские остроты. Корректный, близкий перевод кэрролловских книг невозможен. Переводя Кэрролла, нужно состязаться с ним в остроумии, изобретательности, фантазии. Нужно подыгрывать ему, выяснив, конечно, по каким правилам он играет. Опытность, общая культура и вкус помогут переводчику определить для себя необходимую степень творческой свободы — и тогда можно надеяться, что будет передан дух, а не буква этих произведений. Перевод Н. Демуровой — это крупное событие, он, безусловно, заслуживает специального разбора, что и сделал в своей статье К. И. Чуковский («Литературная Россия», № 38, 1968). Но одно общее замечание хочется высказать и здесь. Даже очень хороший перевод в чем-то обедняет оригинал, и Н. Демурова старается компенсировать потери, кое-что присочинив от себя. Наверное, это заслуживает упрека, но нужно понять и переводчицу: она боится обделить русского читателя смехом. Эти «приписки» по большей части выполнены со вкусом, по кэрролловским правилам игры, а насколько хорошо знает эти правила Н. Демурова, видно из ее содержательного «Предисловия переводчика». Однако чаще ей приходится дописы-

вать Кэрролла, чтобы прояснить смысл его шутки, выигрышнее осветить его каламбур. В конце концов русское издание книг об Алисе едва ли не единственное в своем роде предприятие: нет традиционных для Кэрролла комментария и примечаний, нет ни одной сноски. И что мы не страдаем от их отсутствия — заслуга и победа Н. Демуровой.

В. ХАРИТОНОВ.

★

Политика и наука

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ИЛЬИЧА

Полина Виноградская. События и памятные встречи. Политиздат. М. 1968. 240 стр.

Читатели двадцатых годов знали П. С. Виноградскую как автора серьезного исследования о Фердинанде Лассале, так и оставшегося, к сожалению, единственным в советской исторической литературе. В начале тридцатых годов она выступила с содержательной работой о Женни Маркс, тогда первой в нашей литературе. Не так давно, после большого перерыва, эта книга вышла вновь и очень быстро разошлась. И вот сейчас мы знакомимся с П. С. Виноградской — мемуаристкой.

Мемуарная литература по истории революций имеет свои особенности. В ней редко звучат голоса подлинных руководителей движения — их жизнь обычно непродолжительна. Не оставили мемуаров ни Марат, ни Дантон, ни Робеспьер, ни Бабеф. Только через два-три десятилетия, по большей части уже в брюссельском изгнании, выступили со своими воспоминаниями сравнительно все же второстепенные участники событий, как Барер, Баррас, Бодо, Доменик Гара. В большинстве своем они мало интересны, и только мемуары Левассера живо запечатлели бурные дни Конвента...

В первые годы Октябрьской революции ее руководителям и активнейшим участникам было не до мемуаров,—тем более ценно то немногое, что все-таки было тогда создано в этом жанре по свежим следам событий. Теперь же, когда читатели с огромным интересом ищут воспоминаний о том героическом времени, в живых осталось до обидного мало людей, принимавших сколько-нибудь деятельное участие в революции, знавших Ленина и общавшихся с ним и его ближайшими помощниками. К тому же возраст имеет свои неумолимые законы: память слабеет, ясность воспоминаний тускнеет. Наконец, не всякий обладает даром повествования, вследствие чего рождается самый недостоверный вид мемуаров — «литературная запись».

Мемуары П. С. Виноградской выгодно отличаются от некоторых воспоминаний, появившихся в последнее время. Они написаны хорошо, живо, дышат неподдельной искренностью. В них множество деталей, которые говорят о превосходной памяти автора. Может быть, это объясняется тем, что она вошла в революцию совсем юной, когда впечатления бывают ярче и восприятие острее. Так или иначе, она сумела пронести их через всю жизнь.

П. С. Виноградская немало видела и пережила. Вскоре после Февраля она стала секретарем большевистской фракции Московского Совета, всю октябрьскую «страстную неделю» провела в самом центре событий — в московском Военно-революционном комитете. В момент переезда Советского правительства в Москву она была секретарем президиума Моссовета и впервые встретилась тогда с Лениным. Она запросто бывала у «Ильичей» в их кремлевской квартире и в Горках. П. С. Виноградская сопровождала Я. М. Свердлова в его последнюю поездку на Украину. Она близко знала Инессу Арманд, Клару Цеткин, А. М. Коллонтай. Легко представить себе интерес воспоминаний человека, так много видевшего и к тому же наделенного литературными способностями.

Книга состоит из двух частей: первая — «События и люди» — посвящена октябрьскому перевороту в Москве и его участникам. Как ни часто об этом писалось, здесь мы встречаем много нового и любопытного.

Такова глава о «двинцах». В руках П. С. Виноградской оказалось «секретное письмо», переданное одной работницей от

солдат, арестованных при Керенском на северо-западном фронте, привезенных в Бутырскую тюрьму и принявших после освобождения самое активное участие в октябрьских боях. Она участвовала в комиссии Моссовета, которая должна была добиться освобождения «двинцев», и ее воспоминания об этом особенно интересны. П. С. Виноградская сопровождала Г. И. Ломова и В. П. Ногина в помещение штаба Рябцева для переговоров,— эта поездка также описана чрезвычайно живо. Запоминается описание ночи с 27 на 28 октября, когда контрреволюционное кольцо почти сомкнулось вокруг здания Моссовета на тогдашней Скобелевской площади и П. С. Виноградская ночью должна была пробираться в один из районов для поисков помещения на случай отступления. Очень хорошо описана автором тревожная ночная Москва, изрезанная баррикадами двух враждебных лагерей.

В книге впечатляюще дана и общая картина жизни Москвы в эти незабываемые недели и месяцы. Автору удались портреты участников переворота, таких руководителей московских большевиков, как Г. И. Ломов, Г. А. Усиевич, В. П. Ногин, В. А. Обух, А. Я. Аросев и другие. Она вспоминает о М. Н. Покровском, явившемся в октябрьские дни в Военно-революционный комитет с просьбой дать ему самые опасные поручения, сообщает немало интересных деталей его деятельности в качестве первого после Октября председателя Совета и комиссара иностранных дел. Тщательно выписан портрет Петра Гермогеновича Смидовича, седого, как лунь, хотя ему было немногим больше сорока лет, инженера, окончившего с отличием электротехнический институт за границей и в течение пятнадцати лет работавшего простым рабочим для того, чтобы «честно бороться за социальную революцию», как он написал в своей анкете выпускника. Любовно обрисованы женские образы: член военного бюро МК Ольга Афанасьевна Варенцова, Варвара Николаевна Яковлева, одна из наиболее волевых руководительниц Московского комитета, Елена Константиновна Малиновская — первый комиссар театров. Но особенно большая заслуга П. С. Виноградской в том, что она воскресила забытые имена многих рабочих-большевиков — таких, как Орехов, Белоруссов, Уханов (будущий председатель Моссовета), Сахаров, Ведерников, Максимов, Пивунов. Они сохранились в памяти автора со своими характерными человеческими приметами и описаны с тем глубоким уважением, которого заслуживают все эти люди, чьи выдающиеся организаторские таланты помогла выявить революция.

Интересна глава «На другой день после революции», рассказывающая о невероятных трудностях, с которыми столкнулась советская власть в Москве в первые недели своего существования. Об этом до сих пор у нас писалось очень мало.

Вторая часть книги посвящена «памятным встречам» — воспоминаниям о В. И. Ленине, Н. К. Крупской, Я. М. Свердлове, Инессе Арманд.

Глава о Я. М. Свердлове прибавляет новые, подчас неожиданные черты к обаятельному образу Якова Михайловича, уже сложившемуся в нашем воображении: его тяга к философии, любовь к поэзии Гейне, Беранже, которых он охотно цитировал наизусть. Очень интересно все то, что П. С. Виноградская сообщает об Инессе Арманд, с которой она работала и с которой рассталась в Кисловодске всего за несколько дней до ее гибели.

Но ценнее всего в книге воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Для простого, почти спартанского образа жизни «Ильичей» чрезвычайно характерен рассказанный П. С. Виноградской эпизод с пирогом, изготовлявшимся по просьбе Владимира Ильича ко дню рождения Надежды Константиновны. Как раз накануне в Горки была прислана посылка с Украины, но Ильич категорически запретил воспользоваться мукой или хотя бы парой яичек из нее и распорядился все отдать в детский дом. Пирог пришлось готовить из пшена.

Не может не взволновать рассказ о ночном звонке Владимира Ильича. «В 3 часа ночи 11 октября 1920 года,— вспоминает П. С. Виноградская,— меня разбудил телефонный звонок. «Сейчас с вами будет говорить товарищ Ленин»,— сказала быстро телефонистка. Не успела я спросонья что-либо сообразить, как в трубке прозвучал глухой, не совсем обычный голос Владимира Ильича:

— Простите, что вас разбудили. Сейчас на Казанский вокзал прибывает гроб с телом Инессы Арманд. Мы с Надеждой Константиновной уже едем. Вы смогли бы с нами поехать?» Скупо и сдержанно, но с

большим внутренним волнением описывает П. С. Виноградская это скорбное шествие по предрассветной Москве от Казанского вокзала до Колонного зала — путь, который Владимир Ильич вместе с Надеждой Константиновной проделали пешком, молча, вслед за гробом И. Ф. Арманд. Это одна из лучших страниц книги.

Человек, испытавший потрясающие события и умалчивающий о них, похож на скупого, который закапывает свои драгоценности в пустынном месте, писал когда-то Н. А. Семашко. Пожелаем П. С. Виноградской долгих лет жизни — не в последнюю очередь и для того, чтобы «драгоценности», еще, вероятно, в изобилии хранящиеся под ее «плащом», были извлечены бережной рукой их хранителя и щедро переданы сегодняшним и завтрашним читателям.

В. ДАЛИН,
доктор исторических наук.

★

ГЛАЗАМИ ВДУМЧИВОГО ЭКОНОМИСТА

И. С. Малышев. Важнейшие проблемы социалистического воспроизводства. «Статистика». М. 1968, 80 стр.

Из краткой издательской заметки читатель узнаёт о необычной истории этой книги. Ее автор, известный советский экономист и статистик, должен был в феврале 1967 года выступить в одном из московских вузов с защитой основных опубликованных им работ, представленных на соискание ученой степени доктора экономических наук. 29 ноября 1966 года И. С. Малышев скоропостижно скончался, и перед читателем — автореферат, подготовленный для защиты, которая так и не состоялась. В предельно сжатом виде, как и положено для автореферата, резюмируется здесь главное содержание трудов автора, вышедших в течение примерно полутора десятков лет. В их числе — обширное монографическое исследование «Общественный учет труда и цена при социализме» (1960), ряд брошюр на самые злободневные темы, десятки статей, помещенных в газетах «Правда», «Известия», журналах «Коммунист», «Плановое хозяйство», «Вопросы экономики».

Работы И. С. Малышева — и это нашло полное отражение в автореферате — охватывали три взаимосвязанных комплекса проблем. Это теория воспроизводства в связи с балансом народного хозяйства, основы ценообразования и система показателей плана. Таким образом, речь идет об узловых проблемах экономической теории социализма и практики социалистического хозяйствования, особенно актуальных ныне в связи с экономической реформой.

Работы, выполненные И. С. Малышевым на протяжении ряда лет, а также подводящий итог этим работам автореферат пронизаны духом неразрывной связи теории и практики. Острота теоретического анализа в них сочетается с биением пульса живой экономической действительности. Будучи одним из руководителей государственной статистики нашей страны, И. С. Малышев отчетливо видел великие достижения социалистической экономики и убедительно опровергал измышления антикоммунистической пропаганды. В то же время он не закрывал глаза на наши трудности и нерешенные проблемы и продуманно ставил назревшие вопросы улучшения методов планирования и хозяйственного руководства.

Входя в состав ряда правительственных и научных комиссий, И. С. Малышев принимал деятельное участие в подготовке решений о новой системе хозяйствования. В книге приведена схема мероприятий по усилению роли экономических рычагов в руководстве народным хозяйством, внесенная автором в комиссию, разрабатывавшую соответствующие рекомендации. Легко заметить, что предложения автора шли в том же направлении, что и принятые впоследствии решения по основным принципам реформы, причем некоторые его предложения — например, об оформлении всего планового снабжения прямыми договорами между поставщиками и потребителями — еще ждут своей реализации.

Значит ли это, что книга И. С. Малышева имеет только, так сказать, исторический интерес? Такой вывод был бы непра-

вильным. Осуществление экономической реформы, задача ее дальнейшего развития вглубь выдвигает все новые проблемы, и жизнь настоятельно требует их разрешения. Конкретные формы новой системы хозяйствования проверяются практикой, некоторые мероприятия неизбежно имеют временный характер и уже в силу этого подлежат существенным изменениям. В рецензируемой книге содержится последовательная разработка нового подхода к хозяйственным вопросам, представляющего несомненную ценность с точки зрения задач дальнейшей конкретизации и развития принципов реформы, детальной отработки ее механизма.

В основе этого подхода, разделяемого — в той или иной степени — и другими экономистами и хозяйственниками, лежит в высшей степени простая мысль: как бы необходимы, как бы важны ни были определенные административные функции управления в народном хозяйстве, руководить хозяйством необходимо прежде всего экономическими методами. Мысль проста до тривиальности, не правда ли? Но опыт показывает, что как раз простые мысли иногда встречают куда более упорное сопротивление, чем значительно более сложные идеи. В книге И. С. Малышева слышны отзвуки тех баталий, которые пришлось выдержать автору при защите своих теоретических позиций и практических предложений. Это относится ко всем трем комплексам проблем, рассматриваемых в книге.

Общеизвестно значение балансового метода в системе централизованного планового руководства народным хозяйством, в обеспечении пропорционального развития экономики, бесперебойного хода расширенного социалистического воспроизводства. Но проблему пропорциональности нередко ограничивают только технологической стороной дела. (Обычный пример из учебников политэкономии — необходимость обеспечить соответствие между выпуском автомобилей и производством тонкого листа.) Дело, однако, в том, пишет автор, что, помимо «такого рода материальных, или, вернее, чисто производственных пропорций, в общественной экономике складываются более общие балансы или соотношения» (стр. 12). Таковы, например, соотношения между потреблением и накоплением, между доходами населения и размерами розничного товарооборота и т. д. «Другими словами,— подчеркивает автор,— в материальных балансах, в материальных пропорциях выражаются, реализуются экономические пропорции» (стр. 12).

Иначе говоря, помимо технологической пропорциональности, в ходе хозяйственного строительства складываются весьма важные экономические пропорции, а с ростом социалистической экономики и усложнением ее хозяйственных отношений и связей «централизованному планированию становится все труднее охватывать безбрежно расширяющуюся систему натуральных показателей». Отсюда следует, что «в основе действительно планомерной пропорциональности лежат прежде всего не технологические нормы и соотношения, а экономические соотношения» (стр. 18).

Автор рецензируемой работы напоминает ту истину, что в социалистической экономике затраты труда на изготовление продукции учитываются и оформляются обществом как ее стоимость, измеряемая деньгами, то есть ценой этой продукции. Каждое предприятие получает необходимые ему средства производства не бесплатно, а за деньги, возмещающие предприятиям-поставщикам стоимость поставляемого сырья, полуфабрикатов и других средств производства. Таким образом, когда речь идет о народнохозяйственных пропорциях, определяемых планом, то имеются в виду прежде всего «пропорции в распределении общественного труда, т. е. стоимостные пропорции» (стр. 19).

Или, как отмечается в другом месте книги, «пропорциональность между денежным и материально вещественным обращением является одним из наиболее важных звеньев эффективного использования экономических методов планирования и управления экономикой страны» (стр. 25). Забвением этой истины, как показывает автор, объясняется происхождение различных диспропорций, которые затрудняют и осложняют ход хозяйственного развития.

Управлять экономикой социалистического общества на подлинно научных началах, исключающих субъективизм, волюнтаризм и административный произвол,— значит прежде всего вести дело хозяйственного строительства на основе познаваемых обществом и успешно применяемых им объективных экономических законов социализма. Эта мысль красной нитью проходит через все работы И. С. Малышева. Он высказывается против увлечений некоторых эконо-

мистов-математиков, выступавших с нереальными предложениями так называемого «кнопочного» управления экономикой. Конечно, математика и электронно-вычислительная техника призваны играть существенную роль в качестве технических средств в планировании и статистике. Но важно понять, что ни математика, ни кибернетика не могут сами по себе справиться с проблемами, являющимися предметом экономической науки. Что же касается предложений решать вопросы планирования и повышения экономической эффективности производства путем усиленного применения в планировании математики и счетно-решающих машин, то они, по мнению автора, «только отвлекают научную экономическую мысль от актуальных проблем и создают возможность некоторым категориям ученых-экономистов прятать за этими разговорами свое нежелание или неумение разобраться по существу в экономических проблемах современности» (стр. 65). В другой связи автор подчеркивает, что «проблема технического прогресса — это проблема не просто инженерная, не только техническая, а прежде всего и главным образом экономическая. Действительная прогрессивность той или иной новой техники проверяется только экономикой» (стр. 73).

Выяснение решающей роли экономической стороны дела в управлении и руководстве хозяйственной жизнью социалистического общества, понимание важности экономических методов решения народнохозяйственных проблем закономерно сочетаются у автора рецензируемой книги с четким подходом к определению существа и особенностей социалистической системы хозяйства. Он правильно, на мой взгляд, отмечает, что, несмотря на наличие рудиментарных остатков досоциалистических отношений как в экономике, так и в сознании людей, социализм представляет собой «не конгломерат, не смесь из разных общественных формаций, а особый экономический строй, со своими собственными экономическими законами» (стр. 14).

Такая постановка вопроса, как мне представляется, чрезвычайно близка к тому пониманию специфической природы социалистического хозяйственного строя, которое в последнее время все отчетливее прокладывает себе путь в марксистско-ленинской литературе не только в СССР, но и в других социалистических странах (например, в ГДР). Речь идет о том, что нельзя рассматривать социализм как какой-то кратковременный этап, как некий полустанок на трассе, ведущей от капитализма к коммунизму, как гибридную структуру, в которой действуют законы, представляющие нечто среднее между законами капитализма и законами коммунизма. Зрелое социалистическое общество, развивающееся на своей собственной, самим социализмом созданной основе, представляет собой определенную общественно-экономическую систему, функционирующую по своим собственным объективным экономическим законам. Развернутая общественная система социализма существует и развивается на протяжении длительной исторической полосы, в течение которой происходит накопление предпосылок коммунизма.

Из такого понимания характера социалистической экономики вытекают определенные выводы относительно ряда проблем, занимающих большое место в экономической литературе. Сюда относится, в частности, давно дискутируемый вопрос о роли и месте товарного производства и товарно-денежных отношений в социалистической системе хозяйства. Являются ли они чужеродным телом в социалистической экономике, пережитком капитализма, который подлежит всемерному ограничению и ущемлению, а в самом ближайшем будущем и полному уничтожению, или эти явления имманентно присущи экономике социализма, ввиду чего они должны быть в полной мере использованы в процессе хозяйственного строительства?

Как известно, мнения экономистов по этому вопросу расходятся. Часть экономистов — они сами себя именуют «нетоварниками» — попросту отрицает наличие товарно-денежных отношений и, стало быть, товарного производства при социализме. Другие признают наличие товарно-денежных отношений, но, пренебрегая элементарной логикой, отвергают мысль о существовании товарного производства. Третьи не отрицают товарного производства, но видят в нем лишь остаточное явление капитализма. Наконец, в последнее время, в частности в связи с хозяйственной реформой, распространяется взгляд на товарное производство и присущие ему товарно-денежные отношения — такие, как цена, деньги, прибыль, кредит и т. д.,— как на существенную сторону экономической структуры социализма, ввиду

чего речь идет о социалистическом товарном производстве и о социалистических товарно-денежных отношениях.

Уместно вспомнить, что несколько лет тому назад И. С. Малышева упрекали в том, что он отрицает товарное производство при социализме. Насколько обоснованы были такого рода упреки, можно судить по ряду положений рецензируемой книги, а также и по другим выступлениям ее автора.

Еще в 1957 году, выступая на дискуссии в Институте экономики АН СССР, И. С. Малышев говорил: «Товарное производство и стоимость при социализме — это категории особого рода. Это не та стоимость и не то товарное производство, которые были в простом товарном хозяйстве и существуют при капитализме» («Закон стоимости и его использование в народном хозяйстве СССР». Госполитиздат. М. 1959, стр. 354). Здесь важно отметить четкую постановку вопроса о социалистическом товарном производстве, которое отличается от частного товарного производства столь же радикально, как социализм в целом отличается от досоциалистических общественных формаций. В свете приведенных высказываний И. С. Малышева не остается сомнений в том, что обвинения по его адресу в игнорировании товарного производства при социализме были основаны в лучшем случае на недоразумении.

Что он в самом деле, и притом решительно, отрицал — это наличие частнособственнического товарного производства в социалистической экономике, и в этом он был, несомненно, прав. Ибо, если прежде экономическая история человечества знала только один вид товарного производства, а именно — товарное производство, базирующееся на частной собственности на средства производства, то в современную эпоху существует и успешно развивается совершенно новый тип товарного производства, а именно — социалистическое товарное производство, функционирующее на основе общественной собственности на средства производства и централизованного планового руководства народным хозяйством.

Четкое представление о социалистическом товарном производстве и его особенностях открывает путь к реалистической оценке роли экономических рычагов планового ведения народного хозяйства — таких, как хозяйственный расчет, материальное стимулирование, цена, прибыль и т. д. Обращаясь к проблеме темпов расширенного социалистического воспроизводства, И. С. Малышев делает ряд интересных замечаний об экономической роли принципа материальной заинтересованности работников в развитии производства. Он последовательно проводит мысль о том, что материальная заинтересованность работников социалистического производства не является пережитком старых, капиталистических отношений, а есть производственное отношение, экономический закон социалистического общества. «Соблюдение этого закона обязательно для быстрого развития социалистического хозяйства» (стр. 37). Выясняя роль материальных стимулов производства, автор подчеркивает, что «объективные принципы ведения хозяйства при социализме требуют, чтобы вслед за повышением производительности труда закономерно повышалось потребление трудящихся» (стр. 36).

Особенно много и успешно занимался И. С. Малышев исследованием проблемы ценообразования в социалистической экономике. При разработке этой темы ему пришлось выдержать упорную борьбу с экономистами, отстаивавшими господствовавшие, но — увы! — не выдержавшие проверки жизнью позиции. В главе о ценообразовании автор рассматривает две коренные проблемы этого важнейшего раздела экономической теории и хозяйственной политики: роль цены в социалистической экономике и экономические принципы ценообразования.

«Цена,— писал он в работе, изданной еще в 1960 году,— это, пожалуй, одно из самых обобщающих и сложных экономических явлений. К ее анализу можно подходить с самых различных сторон. Не исключено, что выводы, получающиеся при том или ином подходе, будут противоречить друг другу. Для того, чтобы не запутаться в таких противоречиях, проблема цен должна быть рассмотрена прежде всего под углом зрения расширенного социалистического воспроизводства: это значит определить место, которое цена занимает в процессе воспроизводства, и выявить роль цены в плановом руководстве и управлении этим процессом» («Общественный учет труда и цена при социализме». Соцэкгиз. М. 1960, стр. 5).

В отличие от распространенных представлений о том, что цена должна выполнять целый ряд взаимно не связанных и подчас

противоречивых функций, И. С. Малышев исходил из того, что «единственное назначение цены — возможно точное отражение затрат общественного труда. Только при этом условии цена может быть наиболее эффективно использована для управления общественным производством, в интересах наиболее экономного расходования труда на производство всех видов продукции» (стр. 47).

И. С. Малышев отмечает, что эта его позиция вызвала и продолжает вызывать наибольшую критику. Автора обвиняют в том, что он сводит цену к учетной категории, тогда как цена — категория экономическая, заключающая в себе целый комплекс экономических отношений и выполняющая целый ряд народнохозяйственных функций. В их число обычно включают перераспределение национального дохода, стимулирование прогрессивных отраслей, новой техники, политические мероприятия и т. д. По мнению критиков, сведение цены к учетной категории лишает ее экономического значения. Отвергая эти упреки, автор придерживается того мнения, что «единственное назначение цены при социализме — это измерять общественный труд. Все остальные функции, которые пробуют возложить на цену, только отрывают цену от ее действительного экономического содержания, затрудняют управление общественным производством и не дают возможности цене выполнять возлагаемые на нее функции» (стр. 49—50).

В книге приведено рассуждение одного из представителей противоположной точки зрения, по словам которого успешная политика цен должна сообразовываться во всем с требованиями основного экономического закона социализма, то есть служить интересам удовлетворения постоянно растущих потребностей социалистического общества как цели социалистического производства и отвечать интересам непрерывного роста и совершенствования производства, являющегося средством достижения этой цели. Такого рода рассуждения весьма типичны для тех экономистов, которые общими фразами прикрывают леность мысли и стремление уйти от конкретных ответов на конкретные вопросы. Нельзя не согласиться с И. С. Малышевым, когда он саркастически замечает, что это все равно, как если бы в инструкции по изготовлению термометров записать, что они должны служить интересам народного здравоохранения. Подобно тому, как термометр должен служить одной строго определенной цели — точно показывать температуру,— так и перед ценой в социалистическом хозяйстве стоит задача — выражать общественный труд и тем самым давать возможность обществу учитывать его затраты и результаты этих затрат.

Ясное представление о функции цены служит предпосылкой для определения принципов ценообразования в социалистической экономике. Расхождение различных позиций по этому вопросу сводится, как известно, к вопросу о принципах распределения в ценах стоимости прибавочного продукта, то есть прибыли. Стоимость прибавочного продукта может включаться в цену различным образом, а именно: 1) по усмотрению в зависимости от определенных практических соображений; 2) пропорционально себестоимости продукции; 3) пропорционально затратам живого труда, то есть заработной плате; 4) пропорционально производственным фондам. И. С. Малышев последовательно и целеустремленно защищал именно эту последнюю точку зрения, считая, что «цены должны строиться по известной в марксистской политической экономии схеме — цены производства» (стр. 51).

Автор справедливо отмечает, что немалое число экономистов «занимают те же самые теоретические позиции в вопросах ценообразования в социалистическом хозяйстве», что «облегчало защиту и пропаганду общих взглядов данной группы экономистов на сущность цены при социализме... В силу объективного развития экономических процессов в СССР число сторонников защищаемых автором положений в области ценообразования за последние годы значительно возросло...» (стр. 45).

К этому остается добавить, что осуществление экономической реформы, и в частности введение платы за производственные фонды, не оставляет никаких сомнений в необходимости учета фондоемкости в цене, то есть построения цен по схеме социалистической цены производства. Реформа цен, проводимая в связи с новой системой хозяйствования, подтвердила эту необходимость языком практики. Остается лишь напомнить, что именно предложение об учете фондоемкости продукции в ее цене вызывало наиболее несдержанные нападки, вплоть до обвинений в перенесении «капита-

листической категории» (то есть цены производства) в социалистическую экономику, в «отходе от марксизма» (то есть трудовой теории стоимости) и т. п. Необоснованность подобных обвинений очевидна. Не менее очевиден вред, который причиняется как науке, так и практике, когда деловое обсуждение серьезных и спорных проблем заменяется приклеиванием ярлыков.

Проблемы ценообразования не могут рассматриваться в отрыве от вопроса о роли прибыли и рентабельности в социалистическом хозяйстве. По этому поводу ломалось немало копий в ходе широкого обсуждения путей совершенствования методов планирования и руководства народным хозяйством, предшествовавшего экономической реформе. Подход И. С. Малышева к этой проблеме отличается большой ясностью и определенностью. Он еще в 1955 году, когда этот вопрос почти не освещался в экономической литературе, подчеркивал роль рентабельности, критикуя «примитивное представление, что якобы важно произвести продукцию в установленном объеме, не считаясь с тем, во что это обошлось обществу».

Проблема рентабельности неразрывно связана с ценообразованием. «Прибыль и цена,— писал И. С. Малышев,— это две стороны одного и того же экономического явления. Цену нельзя установить изолированно от того или иного способа определения рентабельности, так же как показатель прибыльности нельзя определить независимо от системы ценообразования» (стр. 55). С этой точки зрения он, высоко оценивая инициативу Е. Г. Либермана, еще в 1956 году поставившего вопрос о значении рентабельности в качестве одного из важнейших показателей планирования, вместе с тем отмечал недостаток его позиции, состоявший в том, что в его статье проблема рентабельности не была связана с проблемой цен. «Не случайно поэтому,— говорится в рецензируемой работе,— когда сентябрьский Пленум определил прибыль и рентабельность производства в качестве главнейшего показателя планирования и оценки деятельности предприятий, то одновременно он вынес решение о разработке новых цен. Только при правильно построенных ценах показатель рентабельности способен полностью выполнять свою функцию» (стр. 56). Рентабельность — то есть прибыль, взятую в отношении к производственным фондам,— автор рассматривает в качестве главного, обобщающего показателя эффективности общественного производства и, следовательно, в качестве главного показателя планирования.

Несмотря на то, что решения об экономической реформе, принципы и внутренняя логика новой системы хозяйствования недвусмысленно раскрывают важнейшую роль прибыли и рентабельности, их место в системе экономических рычагов планового ведения народного хозяйства, до сих пор раздаются скептические, а то и осуждающие голоса в адрес этих показателей. При этом игнорируются неоднократные разъяснения о подлинной их связи с коренными принципами социалистической экономики. Так, прибыль противопоставляют цели социалистического производства, которой является удовлетворение потребностей общества и всех его членов. Между тем действительное соотношение прибыли и цели производства очевидно: ведь цель эта — повышение жизненного уровня народа — достигается не благими пожеланиями и не заклинаниями, а повышением эффективности общественного труда, показателями которого служат прибыль, рентабельность производства. Таким образом, прибыльная, рентабельная работа предприятий является важнейшим средством к достижению цели социалистического производства. В иных случаях высказывается опасение, как бы высокая рентабельность предприятий не достигалась путем вздувания цен, хотя опять-таки неоднократно разъяснялось, что использование этого показателя предполагает наличие экономически обоснованных цен, точно отражающих общественно необходимые затраты на производство продукции.

Автор рецензируемой работы справедливо замечает, что «переход на новую систему планирования, в основе которой лежит осуждение необоснованного, внеэкономического администрирования и всемерное усиление действия экономических рычагов и методов, необходимо выдвинул на первое место показатель прибыли, рентабельности» (стр. 57). В другом месте он развивает эту мысль, указывая, что наличие в плане показателя, обобщающего все стороны производства, «освобождает от необходимости мелочного, мы бы не побоялись сказать, вредного в силу своей мелочности контроля над деятельностью производственных предприятий сверху и создает дополнительную

возможность для развертывания инициативы и творческой активности работников производства» (стр. 71).

Развертывание инициативы всех звеньев хозяйственного организма, освобождение предприятий и их объединений от мелочной опеки относится к числу важнейших задач экономической реформы. Инерция прежних — преимущественно административных — методов руководства сказывается в том, что как раз в этой сфере особенно часто нарушаются принципы новой системы хозяйствования. Еще далеко не изжито примитивное представление о том, что ведущая роль централизованного планирования обеспечена тем лучше, чем больше повседневных хозяйственных решений регламентируется из центра и чем меньше места оставляется для почина и инициативы производственных единиц-предприятий. Автор еще в 1958 году высказывался в том смысле, что «централизованное планирование наиболее эффективно тогда, когда самое обширное поле предоставляется местному почину и активности при соблюдении, понятно, общеустановленных социалистических принципов хозяйствования». Он последовательно защищал ту точку зрения, что плановое руководство, «освобождающее от мелочной опеки производственные предприятия, концентрирующие в себе главные экономические узлы хозяйства, вовсе не означает развязывание всякого рода стихийных тенденций, как это мерещилось сторонникам административных методов планирования. В равной мере это не означает какого-либо подрыва мощи централизованного планирования. Напротив, только в этом случае оно приобретает максимальную силу воздействия на ход воспроизводства» (стр. 67).

Интересны соображения И. С. Малышева относительно давно дискутируемого вопроса об эффективности капитальных вложений. Он исходит из того, что «правильное ценообразование решает через показатель рентабельности проблему экономической эффективности производства, а тем самым решает проблему экономической эффективности капитальных вложений» (стр. 58). Еще несколько лет тому назад — отмечается в работе И. С. Малышева — в нашей литературе царила изрядная сумятица по вопросам экономической эффективности капиталовложений, а сейчас уже широко признается, «что будущая рентабельность сооружаемых предприятий является обобщающим показателем эффективности капитальных вложений». По мнению автора, в настоящее время речь идет «только о том — единой или дифференцированной по отдельным отраслям должна быть эта норма рентабельности» (стр. 60). И. С. Малышев доказывает необходимость единой нормы, общей для всех отраслей. Для того, чтобы покончить с таким явлением, пишет он, как «систематическое снижение экономической эффективности вновь строящихся предприятий, влекущее за собой снижение эффективности всех производственных фондов страны», необходимо обеспечить такое положение, при котором «ни одно новое предприятие (за исключением случаев внеэкономического порядка) не начиналось строительством, если оно не обеспечивает единой среднеобщественной нормы рентабельности» (стр. 61).

Небольшая по объему, но богатая содержанием книга И. С. Малышева дает много пищи для размышлений экономистам, да и не только экономистам, но и всем, кто интересуется коренными вопросами экономической теории и хозяйственной практики. Издательство «Статистика» поступило правильно, став на не совсем обычный путь опубликования автореферата. Остается лишь пожалеть о том, что книга издана микроскопическим тиражом — 4300 экземпляров. Экономист такого светлого творческого ума имеет право на внимание гораздо более широкой читательской аудитории.

Л. ЛЕОНТЬЕВ,
член-корреспондент АН СССР.

ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Б. А. Грушин. Мнения о мире и мир мнений. Проблемы методологии исследования общественного мнения. Политиздат. М. 1967. 400 стр.

Непреложным фактом является существование у каждого человека мнений о всевозможных вещах на белом свете. Эти мнения могут быть отстоявшимися или случайными, справедливыми или пристрастными, истинными или ложными. Но какими бы они ни были, мнения людей оказывают огромное влияние на поведение людей, на ход исторического процесса.

Конечно, мнения выдающихся людей науки, политики, литературы, промышленного и сельскохозяйственного труда представляют немалый интерес. Однако особое значение в истории имеет общественное мнение, то есть взгляд на различные явления окружающей жизни, разделяемый обществом в целом или его отдельными группами. Тщательное изучение общественного мнения является одним из важнейших условий функционирования социалистической демократии. «По нашему представлению,— писал В. И. Ленин,— государство сильно сознательностью масс. Оно сильно тогда, когда массы все знают, обо всем могут судить и идут на все сознательно» [1].

Возникновение и развитие эмпирической социологии позволило поставить дело изучения общественного мнения на научную основу и значительно расширить с помощью современной вычислительной техники объем исследований в этой области. Социологи в состоянии в достаточно короткие сроки выяснять общественное мнение по самым различным вопросам действительности. Строгое соблюдение требований науки обеспечивает надежность полученных результатов, не допускает злоупотребления авторитетом общественного мнения там, где идет речь лишь о взглядах отдельных лиц.

Чем более широкий размах принимают эмпирико-социологические исследования по общественному мнению, тем острее становится потребность в разработке марксистского теоретического аппарата, необходимого для этих исследований. От него зависит и использование полученных результатов, и выбор методов сбора информации, и даже размер затрат на исследования. Между тем в теории общественного мнения до сих пор еще много дискуссионных проблем. В книге Б. А. Грушина «Мнения о мире и мир мнений» сделана основательная попытка разрешить некоторые из них.

Трудности возникают, как только мы пытаемся определить саму природу общественного мнения. Как и некоторые другие авторы, Б. А. Грушин отказывается противопоставлять его иным подразделениям общественного сознания, например, теоретическому знанию, науке. Он считает, что общественное мнение как состояние массового сознания носит интегральный характер, включает в себя самые разнообразные компоненты: элементы стихийного и научного знания, классовые и идеологически нейтральные. Автор справедливо подчеркивает, что общественное мнение является «неофициальным» сознанием. «Разумеется,— добавляет он,— «официальная система взглядов» и «неофициальная позиция» общества могут совпадать (полностью или отчасти) по своему содержанию. Однако этот факт ни в малой степени не отменяет объективного различия названных аспектов общественного сознания. Общественное мнение связано как раз со вторым из них. Оно является «неофициальным» (в указанном смысле) сознанием, рассуждающим по вопросам политики и философии, религии и искусства».

О существовании общественного мнения можно говорить, конечно, лишь тогда, когда в обществе становятся известными мнения людей о тех или иных явлениях. Если каждый индивидуум, обладая своим собственным мнением, ничего не знает о позиции других членов коллектива, общественное мнение является «вещью в себе» и не может рассматриваться как функционирующий социальный институт. Очевидно, что круг предметов, занимающих общественное мнение, может существенно изменяться в зависимости от того, в какой мере люди получают информацию о мнении других, о различных проблемах. Существование общественного мнения по одним вопросам может сочетаться с его отсутствием по другим. Отсюда органическая связь общественного мнения и средств массовых коммуникаций (пресса, радио, телевидение, кино и т. д.).

Б. А. Грушин решительно отрицает тезис,

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 21.

защищаемый буржуазными социологами, о том, что объектом общественного мнения могут быть лишь явления, затрагивающие узкие интересы отдельных личностей. Опыт функционирования общественного мнения в СССР и других социалистических странах самым очевидным образом свидетельствует о другом. Советских людей глубоко волнуют проблемы, далеко выходящие за рамки их непосредственных обязанностей и забот. Они проявляют глубокий гражданский интерес ко всем важным событиям международной и внутренней жизни.

Весьма содержательны суждения Б. А. Грушина по поводу субъекта, то есть носителя общественного мнения. Прежде всего он показывает ограниченность положения о том, что субъектом общественного мнения является «общество в целом». Этот тезис справедлив лишь до тех пор, пока речь идет о единодушном мнении всех членов общества. Но сплошь и рядом в обществе по тому или иному вопросу появляется несколько различных мнений. «...предметом рассмотрения общественности,— замечает автор,— становятся только те (явления.— *В. Ш.),* которые предполагают различие в оценках, суждениях, характеристиках и т. д., то есть заключают в себе больший или меньший момент спорности, дискуссионности». Например, вряд ли кто-то решится утверждать, что все советские люди одинаково оценивают те или иные литературные произведения, придерживаются одних взглядов на пути улучшения использования свободного времени или на методы борьбы с алкоголизмом. Поэтому абсолютно прав автор, когда он пишет, что «в роли субъекта общественного мнения могут выступать не только общество в целом, но и какие-то его секторы, части, элементы». Б. А. Грушин обильно иллюстрирует этот тезис результатами своих эмпирических исследований, например, опросов, касавшихся путей дальнейшего повышения уровня жизни, оценки молодого поколения и т. д.

Автор книги сознает значение правильного определения субъекта общественного мнения. Он показывает несостоятельность попыток отрицать право называться общественным мнением за суждениями, высказываемыми коллективами отдельных районов, предприятий и вообще отдельных групп людей — независимо от того, разделяют ли данную точку зрения лица, принадлежащие к другим коллективам Он критикует деятелей того сорта, которые, с чем бы они ни выступили, говорят не иначе, как «от имени народа», не давая себе труда изучить действительное общественное мнение по тому или иному вопросу.

Б. А. Грушин впервые в марксистской литературе, отечественной и зарубежной, столь глубоко и основательно исследовал функции общественного мнения в социалистическом обществе.

Изучение общественного мнения выступает прежде всего как способ познания действительности. Например, с помощью общественного мнения эффективно вскрываются недостатки и разрабатываются меры по их устранению в сфере обслуживания, различных отраслях хозяйства и т. д. Народный контроль в своей деятельности во многом опирается на выяснение мнений людей по различным вопросам. В связи с экономической реформой важное значение приобрело изучение потребительских оценок, которые в возрастающей мере оказывают влияние на развитие многих отраслей народного хозяйства. Особое значение имеет общественное мнение как средство совершенствования руководства социалистическим обществом. В начале 1922 года В. И. Ленин писал В. А. Карпинскому, бывшему в то время редактором газеты «Беднота»: «т. Карпинский! Не напишете ли мне кратко (2-3 странички maximum), сколько писем от крестьян в «Бедноту»? что важного (особенно важного) и нового в этих письмах? Настроения? Злобы дня? Нельзя ли *раз в два месяца* получать такие письма (следующее к 15.III.1922)?»[1]. В. И. Ленин давал много прекрасных образцов и того, как можно и нужно на деле использовать мнение масс при выработке политики партии и государства.

Интересно написаны разделы книги, в которых анализируются источники «возмущения» общественного мнения. Автор насчитывает три рода помех выполнению общественным мнением своих функций.

Прежде всего он отмечает, что «существует прямая зависимость между правдивостью, искренностью высказываемого мнения и уровнем развития демократических институтов в обществе, степенью осуществления свободы личности во всех ее формах, в том числе свободы слова, печати, собраний и т. д.». При деспотических режимах, а также

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 54, стр. 143—144.

в условиях господства церкви возникают целые системы ложного сознания, которое несамостоятельно, основывается не на позитивном знании, а на вере. «Применительно к общественному мнению, поставленному в описанные условия, точнее всего было бы сказать,— пишет автор,— что оно фактически разрушается, не существует как самостоятельно функционирующий социальный институт. Казалось бы, здесь есть все необходимое: есть субъект мнения — члены общества, образующие определенные... структурные единицы; есть объект мнения — проблемы, представляющие бесспорный общественный интерес... И в то же время здесь нет самого главного: самого мнения».

Последняя часть этого интересного рассуждения представляется не вполне точной: искренность высказываний определенно смешивается здесь с их истинностью, соответствием нравственным требованиям и т. п. Конечно, если люди с помощью средств массовых коммуникаций обмениваются не своими личными мнениями, а теми высказываниями, которые не угрожают их безопасности и интересам, то говорить о существовании общественного мнения трудно. Но если взгляды, навязанные, положим, фашистским государством, воспринимаются людьми как их собственные, то тогда нет основания отрицать возможность общественного мнения, по всем вопросам почти полностью совпадающего с официальной точкой зрения. Конечно, такое общественное мнение (как показала, например, история Италии в период крушения фашистского режима) является весьма неустойчивым, однако здесь мы уже касаемся иной проблемы.

Другая группа помех связана с субъективным фактором — речь идет о влиянии на мнение личных качеств человека, характера его воспитания, уровня образования и культуры, жизненного тонуса, гражданской активности и т. д.

Наконец, третий источник помех лежит в природе социологического исследования. Этот источник связан, во-первых, с неспособностью человека точно передать смысл своей точки зрения, а во-вторых, с невозможностью или, наконец, с нежеланием сделать это.

Большое место в книге занимает интересный вопрос о компетентности общественного мнения. Автор книги исходит из предположения, что суждения, высказываемые в рамках общественного мнения, характеризуются степенью компетентности, то есть расстоянием, отделяющим их от истины. По его убеждению, объектом общественного мнения могут быть только те явления, которые доступны знанию и пониманию общественности. Автор тщательно анализирует факторы, от которых зависит компетентность общественного мнения, особое значение придавая в связи с этим общей и специальной подготовке общественности, ее информированности.

Многие положения Б. А. Грушина по поводу компетентности общественного мнения не вызывают сомнения. Однако автор, на наш взгляд, чрезмерно увлекся экзаменом общественного мнения на его «истинность» и этим самым невольно и необоснованно принизил авторитет этого важнейшего демократического института. Приняв на себя роль судьи, автор в одних случаях дает положительную оценку результатам того или иного опроса, в других случаях утверждает, что участники опроса «не справились» с поставленной задачей. Критически оценивая известное изречение о том, что «глас народа — глас божий», он упрекает общественное мнение в том, что оно «совершенно не задумывается над проблемой собственной компетентности и практически не способно к самокритике».

Далеко не все высказывания, относимые к общественному мнению, требуют «верификации», то есть проверки на истинность. Прежде всего отмечу, что Б. А. Грушин излишне расширяет объект общественного мнения, особенно за счет высказываний, относящихся скорее к «общественному знанию», хотя сам в одном случае (стр. 217) справедливо относит к общественному мнению лишь те суждения, которые выражают отношение говорящего к действительности.

Высказывания, могущие быть непосредственно отнесены к общественному мнению, следует, на мой взгляд, разделить на две группы. К первой я бы отнес оценочные суждения о явлениях, непосредственно влияющих на благосостояние людей, на удовлетворение их разнообразных потребностей — как личных, так и общественных. Вторая группа образуется из мнений, касающихся способов удовлетворения этих потребностей.

Суждения первого типа, например, высказывания людей о том, в какой мере устраи-

вает их пятидневная рабочая неделя и какие фильмы им нравятся, а какие нет, не должны проходить проверку на истинность (отсюда, разумеется, вовсе не следует вывод о равнозначности вкусов, справедливо отвергаемый Б. А. Грушиным,— речь идет о другом: любое, даже самое вздорное оценочное суждение истинно в том смысле, что данный человек или группа лиц в данный момент относятся к чему-либо именно так, а не иначе).

Вместе с тем я готов признать огромное значение проблемы компетентности для второго вида суждений, касающихся эффективности различных способов достижения поставленных целей. Обращение к широкому кругу людей для выяснения их мнений по таким вопросам действительно целесообразно лишь тогда, когда эти люди достаточно компетентны (если только целью исследования не является изучение как раз этой компетентности).

В этой области возрастает значение мнения специалистов, лиц, обладающих нужной подготовкой и имеющих доступ к соответствующей информации. Автор почему-то не относит мнения профессионалов к общественному мнению. Между тем даже там, где идет речь об истинах науки, общественное мнение играет немалую роль. Оно определяет, в частности, выбор наиболее важных направлений исследований, распределение средств, вырабатывает принципы научной этики и т. д.

Но если некоторые страницы книги Б. А. Грушина и дают повод для спора, то ее общий высокий уровень заставляет рецензента сомневаться в том, что ему удалось выдвинуть против автора аргументы, достойные его эрудиции и логики. В отечественной социологической литературе не так-то просто отыскать произведение, для которого было бы характерно столь большое число достоинств. Мне удалось отметить далеко не все.

В заключение я позволю себе остановиться еще на одном. В последнее время часто говорят о важности теоретических разработок в социологии. И это правильно. Однако не всегда подчеркивается, что наука испытывает потребность не в умозрительных, формально-дедуктивиых работах, а в исследованиях, в которых теоретические обобщения получены на основе изучения обширного эмпирического материала. Б. А. Грушин обладает даром теоретика, продуцирующего именно такие обобщения. Хотя рецензируемая книга написана в теоретическом ключе, читатель все время чувствует дыхание живой действительности даже тогда, когда автор прямо не ссылается на результаты тех или иных конкретно-социологических исследований. Я возлагаю надежду на то, что в этом смысле книга Б. А. Грушина станет на данном этапе хорошим примером для теоретических работ в марксистской социологии.

В. ШЛЯПЕНТОХ,
доктор экономических наук.
Новосибирск.

★

ПРАВО И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

Рене Давид. Основные правовые системы современности (Сравнительное право). Перевод с французского. «Прогресс». М. 1967. 496 стр.

Право, говорил Маркс, как и религия, не имеет своей собственной истории — оно отражает систему общественных отношений. Однако право не является простой функцией социально-экономического базиса: будучи показателем производственных и общественно-политических порядков, оно вместе с тем обнаруживает и существенные черты культуры, той социально-психологической атмосферы, которая господствует в обществе. Юридическая система не может не воплощать определенных установок, сложившихся в обществе и выявляющих оценку человеческой личности, ее положения в коллективе, признание за нею некоторой суммы прав. Поэтому по системе права, по его нормам в известной мере можно судить и о самом обществе, о нравственном статусе человека. В идеализированной, нормативной форме право передает облик социальной организации.

Нам кажется, что книга известного французского юриста Рене Давида, характеризующая распространенные в мире правовые системы, весьма поучительна в указанном смысле. В отличие от многих правоведов, занимающих формалистические позиции и рассматривающих право и его раз-

витие в отрыве от жизни, которая породила его и регулируется его нормами, Р. Давид обнаруживает тесную связь между концепцией права, преобладающей у того или иного народа, и общей системой нравственных ценностей, выработанных в процессе его культурно-исторического развития.

Под этим углом зрения он и обрисовывает право современного мира, сосредоточивая внимание на основных «правовых семьях». Соответственно этому книга включает в себя следующие разделы: «Романо-германская правовая семья», «Социалистическое право», «Общее право», «Религиозные и традиционные правовые системы». Отдельные части книги не равноценны: наиболее насыщены материалом части, посвященные западноевропейскому праву и праву США, тогда как раздел о социалистическом праве любопытен скорее как показатель усиливающегося на Западе интереса к праву социалистической системы, нежели сам по себе,— советскому читателю он не даст чего-либо существенно нового.

Наиболее ценные качества книги Р. Давида, на наш взгляд, состоят, во-первых, в том, что он развертывает широкую панораму права современности на историческом фоне, обнаруживая его корни, уходящие в прошлое — без чего право вообще непонятно,— и, во-вторых, в том, что он сопоставляет различные правовые системы. Нам и хотелось бы остановиться подробнее на этом сопоставлении.

Для романо-германской правовой семьи, то есть для юридической системы, сложившейся в Западной Европе и оказавшей влияние на право ряда других народов, характерна высокая оценка права в социальной жизни. Между тем эта оценка в иных мировых регионах оказывается более низкой. Этот факт, разумеется, нуждается в объяснении. В. Туманов, автор предисловия к русскому изданию книги Р. Давида, не без основания отмечая, что последний не вскрыл социально-экономической основы господства в Западной Европе «идеи права», полагает, что ключ к объяснению лежит в процессе вызревания буржуазного общества в недрах феодализма, в развитии отношений собственности и обмена, перехода от внеэкономического принуждения к экономическому. Все это вряд ли может вызывать сомнения, но для действительно полного и глубокого выявления причин торжества «идеи права» в Европе необходимо обратиться к более ранней эпохе. Дело в том, что принципы, которые легли в фундамент романо-германской правовой общности, возникли в средние века, точно так же, как к весьма далеким временам восходят и особенности восточного права. Не нуждается в комментариях мысль о римских источниках современного буржуазного права,— рецепция римского права началась в период средневековья и продолжалась вплоть до новейшего времени. Все это подробно показано в книге. Но когда Р. Давид пишет о забвении права в феодальную эпоху, о режиме анархии и произвола, якобы царившем до возрождения римского права усилиями университетов начиная с XII—XIII веков, то, по нашему убеждению, он отдает дань устаревшему предрассудку, который мешает увидеть очень важную предпосылку правового развития Европы.

Феодализм вовсе не был враждебен праву, и период господства феодального строя никак нельзя свести к разбою и насилию, к преобладанию «кулачного права». Маркс однажды заметил: «Быть «либеральным» за счет средневековья чрезвычайно удобно» [1], и это меткое замечание в адрес буржуазных историков прошлого века не утратило значения и поныне. Речь идет об «идее права», а не об общественной практике, ибо даже в обществе, располагающем самым совершенным правом, можно столкнуться с вопиющими беззакониями, насилием и бесправием,— история, и в частности история Западной Европы с ее многовековой правовой традицией, являет тому предостаточно примеров. Но если бы автор рецензируемой книги обратил внимание на представления о праве, господствовавшие в Европе в период раннего средневековья, еще до возникновения феодализма, то он был бы принужден признать, что право понималось в варварском обществе очень широко и ставилось чрезвычайно высоко. Право мыслилось как всеобщая связь людей, как одна из основ мироздания, объединяющая мир человеческий с миром природы. Правопорядок и миропорядок для варваров почти синонимы. «Страна строится правом и разоряется отсутствием права» — гласила скандинавская поговорка, имевшая силу юридической максимы. Разу-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 729, примечание 192.

меется, в варварском обществе, характеризующемся очень слабой дифференцированностью различных отраслей социальной жизни, право, строго говоря, еще не вполне выделилось в особую сферу человеческой деятельности и было тесно переплетено с языческой религией, с моралью, представляло собой обычай, всесторонне регулировавший поведение человека. Но важно отметить, что право истолковывалось членами этого общества не только как сила, стоящая над людьми, которые должны ей безусловно повиноваться, но и как признак, присущий каждому человеку. У варваров господствовала развитая система личных статусов: человек всегда принадлежит к той или иной группе, социальному разряду и в соответствии с этой принадлежностью пользуется определенными правами и исполняет обязанности. Юридический статус был неотъемлемым признаком члена социальной группы, и лишение человека его прирожденных прав, лишение его статуса, сопровождавшееся изгнанием из общества, считали тягчайшим наказанием. Жить «в праве», «по закону» значило жить с людьми, поддерживать с ними отношения, основанные на справедливости и взаимном уважении личных прав.

Но личностные, непосредственные связи, доминировавшие в варварском обществе,— это связи родовые, племенные, семейные, отношения родства и свойства. Индивид, как правило, не выбирает людей, с которыми он входит в группу, элемент волеизъявления в образовании и функционировании социальных групп здесь почти отсутствует, что получает свое отражение и в праве.

Иначе обстоит дело в феодальном обществе. Слабый, бедный человек ищет себе покровителя, вассал вступает в договор с сеньором. Образуемые ими связи уже не природные, а чисто социальные, эти формы отношений возникают вследствие взаимного согласия вступающих в них индивидов. В отличие от коллективных связей варварского общества феодальные связи строились на индивидуальной основе. Все это не могло не оказать решающего влияния на структуру и характер средневекового европейского права. В социальных отношениях средневековья большую роль играет принцип взаимности: вассал должен служить и повиноваться сеньору, а тот, со своей стороны, обязывается покровительствовать ему и быть по отношению к нему справедливым. Право феодального договора основывалось на отношениях между лицами, стоявшими на разных ступенях иерархии, но они одинаково были включены в сферу действия права и несли индивидуальную ответственность за выполнение своих обязательств. Концепция феодального контракта наложила сильнейший отпечаток и на государство: власть короля основывалась не на одностороннем «нисхождении» власти от него к подданным (как учила церковь), а на сотрудничестве монарха с вассалами, находившимися с ним в индивидуальных, личных отношениях.

Огромная роль права в феодальном обществе в немалой мере объясняется особым положением индивида в коллективе. Все формы человеческой деятельности подчинены правилам и канонам, отступление от которых возбраняется. Традиционализм общественной практики, подчинение ее требованиям религии вели ко всеобщей нормализованности социального поведения человека. В силу этой нормализованности право приобретало значение всеохватывавшего регулятора социальных отношений, универсальной формы жизнедеятельности индивидов и общественных групп. Все социальные категории в феодальном обществе были также и прежде всего правовыми категориями. Средневековье не знает состояния индивида, не оформленного юридически. Классовые различия не выступают здесь в «чистом виде», сословные признаки определяют общественное положение людей. Поэтому в духовной жизни средневекового общества право не могло не выступать в качестве одной из основных категорий сознания составлявших его индивидов. Право вырастает в сознании людей в силу, стоящую над всеми, в том числе и над монархом. Закон обладает в глазах средневекового человека по меньшей мере двумя обязательными качествами: он «добр» — право не может быть дурным, несправедливым, в таком случае это не право, а нарушение его; и он — «древний», от века существующий. Следовательно, право можно лишь унаследовать либо, если оно забыто, «отыскать», восстановить, но не создать заново. Как отмечает Р. Давид, за государем по существу не признавалось законодательной инициативы, он считался скорее исполнителем и хранителем закона, чем его творцом. Поэтому закону подвластны все, включая монарха, и нарушение им права влечет

за собой расторжение его связи с подданными, которые могут, более того — обязаны, защищать право от нарушений, даже если они совершены их государем. Право сопротивления монарху — нарушителю старинных установлений в средние века не опиралось на «общественный договор» — теорию, чуждую средневековому правосознанию,— эта обязанность соблюдать право вытекает как раз из представления об универсальной силе права, которому все без исключения подчинены.

Европейское общество средних веков не только иерархично, но и корпоративно, и понять его право можно, только в полной мере учитывая оба эти признака. Связи, которые объединяли людей в группу (союз вассалов, монастырскую братию, городскую коммуну, сельскую общину, ремесленный цех и гильдию), были сильнее связей, существовавших между разными группами или между индивидами, принадлежавшими к разным группам,— социальные связи средневекового общества были прежде всего внутригрупповыми. В каждой группе существовал свой регламент, устав, кодекс поведения,— он не даровался корпорации сверху властью, но вырабатывался самою группою и основывался на принципах всеобщего согласия и самоуправления. В сфере сословных и корпоративных отношений сложился принцип представительства и выработался дух равенства, соблюдения личных прав членов группы, которая сплачивала их в защите этих прав и общих интересов от посягательств со стороны любых внешних сил. Подчиняя себе индивида и препятствуя свободному развитию его самобытности, корпорация вместе с тем научила его уважению самого себя и себе подобных.

Конечно, европейское право в ныне существующей форме сложилось в результате социально-экономического и идейно-политического развития в новое время. Но для понимания общего духа романо-германской юридической системы, принципов, которые легли в ее основу, необходимо принимать в расчет правовые предпосылки, существовавшие еще в средние века.

Средневековое мусульманское общество имело ряд черт, сближавших его с европейским феодализмом. Р. Давид подчеркивает и важную особенность мусульманского права: в то время как в Европе, несмотря на засилье церкви, право представляло собой относительно самостоятельную силу, в арабском мире право было неотделимо от религии и составляло неотъемлемую ее часть, «это право церкви, право общины верующих». В мусульманском праве преступник рассматривается как грешник, которому, кроме земного наказания, грозят загробные муки. Мусульманский мир не знает чисто светского права, право здесь в силу своей сакральной природы мало способно к изменениям и лишь с трудом может быть приспособлено к новым социальным условиям. Оно оказывается значительной консервативной силой.

С большим интересом читается раздел книги, посвященный китайскому праву. Оно восходит к еще более отдаленному времени, чем другие правовые системы, и имеет ярко выраженный традиционный характер. Взгляд на право, доминирующий в Китае, совершенно отличен от понимания его европейцами и раскрывает существенные стороны образа мышления китайцев. Право не мыслится в качестве основы социального строя, не регулирует поведения индивида,— для этого существуют особые предписания, определяющие человеческие поступки во всех случаях жизни. «Конфуцианская Азия,— цитирует Р. Давид французского исследователя, — предпочитает равенству идеал сыновних отношений, состоящих из внимательного управления и уважительного подчинения». Согласно принятой в Китае точке зрения, закон в силу присущей ему абстрактности не может учесть многообразия бесчисленных конкретных ситуаций и поэтому представляет собой не добро, а зло. «Идея «субъективных прав», которую порождают законы, противоречит естественному порядку вещей; что-то нарушается в обществе с того момента, как индивид получает возможность говорить о своих «правах»; речь может идти лишь об обязанностях по отношению к обществу и к себе подобным». «Строго требовать того, что тебе причитается... антиобщественно, противоречит добрым нравам». Трудно представить себе что-либо более противоречащее правосознанию, легшему в основу романо-германской системы.

Нормы права в Китае не обеспечивают функционирования общества и государственного управления. Процветание общества, по убеждению китайских мыслителей, зависит от поведения людей, и в первую очередь от лиц, управляющих государ-

ством. Поэтому, пишет Р. Давид, принцип законности — идеал правового государства — не имеет корней в китайской цивилизации, и попытки кодификации права, предпринятые было в КНР в первый период ее существования, прекратились после ухудшения отношений ее с Советским Союзом. «В современном Китае более не намереваются вводить в действие кодексы, не хотят слышать ни о законности, ни о социалистической гуманности. Оба эти понятия рассматриваются как противоречащие истинной марксистской доктрине. Судьи подчинены местным властям, а не закону». Контраст между китайским и европейским правом станет еще более ясным, если вспомнить о постулируемой последним независимости суда от власти.

Обрисованные выше три подхода к праву обнаруживают глубокие различия, коренящиеся в разном понимании отношения индивида к социальному целому, в своеобразии оценки человеческой личности в различных исторически сложившихся социально-культурных системах.

Юрист прочитает книгу Р. Давида, вероятно, иначе, чем историк культуры, и обратит внимание на другие поднятые автором проблемы, в частности на специфический строй права в разных системах. Несомненно, однако, что книга привлечет интерес не только специалистов, но и более широких кругов читателей. Тем досаднее, что перевод ее сделан недостаточно тщательно. Ограничимся немногими примерами. Переводчики пишут о «консилиумах» (стр. 55), которые в готской Испании занимались законодательной деятельностью, хотя достаточно было заглянуть в элементарный французско-русский словарь, чтобы выяснить, что речь идет о соборах. Раннее средневековье превратилось в «позднее» (стр. 56). Подлинный перл недопустимой небрежности мы находим на странице 255. «В 1086 году в Домсдее был составлен документ», в котором перечислены существовавшие тогда в Англии земельные владения. В «Домсдее» не составляли никакого документа по той простой причине, что подобного географического пункта не найти ни на одной карте. «Домсдей» — это Domesday, или Doomsday, то есть «судный день». Речь идет о «Книге страшного суда» — фискально-поземельной описи. Переводчики — доктор и кандидат юридических наук — могли бы об этом узнать из учебника истории или англо-русского словаря.

А. ГУРЕВИЧ,
доктор исторических наук.

★

СОВРЕМЕННИКИ О НИЛЬСЕ БОРЕ

Нильс Бор. Жизнь и творчество. Сборник статей. Составитель У. И. Франкфурт. Ответственный редактор Б. Г. Кузнецов. «Наука». М. 1967. 344 стр.

Попросите назвать имена трех самых выдающихся физиков нашего века. Вы немедленно услышите в ответ: «Эйнштейн, Бор...», а затем после маленькой паузы профессионал в зависимости от своих личных интересов и вкусов назовет одного из десяти примерно ученых, теоретиков и экспериментаторов, чьими трудами и идеями живет современная физика. У нас уже опубликовано несколько биографий Эйнштейна, и вот вышла книга о великом датском физике Нильсе Боре, основателе квантовой теории атома, имя которого настолько широко известно, что не нуждается в подробных аттестациях. Если для детей всего мира Дания — это Страна Христиана Андерсена, то для физиков всего мира — это Страна Нильса Бора.

Бор предстает в этой книге в воспоминаниях своих друзей, близких и коллег. Статьи написаны разными людьми, а образ получился цельным и гармоничным и, добавим, совершенно обаятельным. Среди авторов мы находим имена творцов современной квантовой механики: Гейзенберга и Дирака, крупных физиков-теоретиков, учеников Бора, О. Клейна, Л. Розенфельда, Х. Казимира и других. Читая эти статьи, мы, как это всегда бывает, знакомимся и с самими авторами. Но не только с ними. Со страниц книги возникают и образы других физиков, окружавших Бора. Вот иронический Паули, которого сам Бор ценил более других своих молодых сотрудников, темпераментный Эренфест. Многое узнаем мы о Харальде Боре, брате Нильса,

знаменитом математике; встречаемся и с нашим Ландау. И, конечно, чаще других — с Эйнштейном.

Каждый из авторов сборника смотрел на Бора своими глазами, каждый увидел в нем что-то близкое себе самому. Но, естественно, некоторые черты Нильса Бора запомнились всем. Очевидно, они и являются для него самыми характерными. Приступая к их перечислению, мы сталкиваемся с довольно обычной трудностью: получается стандартный набор добродетелей. Удивительная скромность. Уважение к чужому мнению. Непримиримость к лжи и жестокости, доброта и отзывчивость. Но, описывая Бора именно таким, его коллеги не «навели хрестоматийный глянец» на его образ, и он не получился скучным «положительным героем» из числа тех, кого не может оживить и добрая приправа недостатков. «Идеальность» Нильса Бора ни в коей мере не раздражает читателя.

Представление о жестокости воплотилось для Бора в фашизме. Его активная помощь жертвам гитлеризма, участие в работах по созданию атомного оружия, продиктованное опасением, что оно может быть разработано в Германии раньше, чем в США, борьба за мир в послевоенные годы — все это открывает нам в образе Бора черты борца. Советский физик Е. Л. Фейнберг пишет по этому поводу: «Сама его жизнь в то время (в годы войны.— *В. Ф.*), бегство от гитлеровцев — сначала на лодке, затем на самолете,— все это эпизоды, которые вряд ли встречались в жизни ученых такого масштаба на протяжении последних сотен лет».

То обстоятельство, что Бор и Эйнштейн были самыми крупными физиками нашего века, что их связывала дружба и взаимная симпатия, невольно настраивает на сравнительное освещение особенностей их характеров. Скажем о некоторых существенных чертах, которые — как это вырисовывается при чтении книги о Боре — отличают их друг от друга.

Совершенно разной была у них манера работать. Эйнштейн любил говорить, что лучшая для ученого «работа по совместительству» — это профессия смотрителя маяка. Этот образ был призван подчеркнуть его стремление в глубоком одиночестве размышлять о физике: сотрудники помогали ему (особенно в последний период его жизни, в США) лишь в математическом оформлении его идей. Бор в частной беседе в Москве в 1961 году заметил: «Эйнштейн был не только гений, но он был еще и прекрасный, очень добрый человек. Его улыбка и сейчас стоит передо мной. Но он привык все делать сам, и делать прекрасно... А для понимания квантовой механики были необходимы совместные обсуждения». И действительно, таков был метод самого Бора. «...Характер его мышления,— пишет Л. Розенфельд,— лучше всего проявлялся в диалоге... При этом он никогда не стремился заставить оппонента признать свое поражение, а хотел лишь, чтобы он разделил с ним радость по поводу преодоления всех трудностей». Забавно, что эта особенность Бора проявлялась не только в работе, но даже и при игре в шахматы. Очевидцы рассказывают, что играть с ним было трудно. Всякий раз, как противник делал неудачный ход, Бор требовал, чтобы он взял его назад, словно призывая к продолжению шахматного диалога!

Видимо, в этом стремлении к коллективному обсуждению проблем, в способности формулировать свою мысль в процессе диалога и коренится причина того, что у Бора в его Институте теоретической физики в Копенгагене сложилась несравненная школа, получившая в истории физики название «копенгагенской». Не только Бор был нужен молодежи, которая стекалась в Данию со всех концов света, чтобы учиться у него тонкому анализу основных понятий квантовой физики. Молодежь в той же мере была необходима и самому Бору, на партнерах по диалогу он проверял свои мысли, развивал и углублял их, прислушиваясь к критике, стимулировавшей его работу.

Вот еще одно характерное различие между Бором и Эйнштейном — отношение к философии. Если Эйнштейн был, так сказать, «стихийным» философом, интересовавшимся гносеологическими вопросами в видимом противоречии со своими — правда, полушутливыми — «антифилософскими» декларациями, то Бор занимался философией не походя, а специально уделяя ей много времени и сил. По существу оба известных в квантовой механике боровских принципа — дополнительности и соответствия — принципы не только физические, но и философские.

Все сотрудники Бора характеризуют его как поистине самоотверженного труже-

ника. Это проявлялось, в частности, и в том, что он по многу раз правил корректуры (число их иногда достигало семи!), хотя уже и первой такой корректуре предшествовала кропотливая, многие недели занимавшая работа над рукописью. Столь же нелегким занятием было для него и писание писем. Зная за Бором такую слабость, брат Харальд свои письма к нему в молодые годы заканчивал словами: «Пусть мама напишет, как твои дела». Можно привести много милых эпизодов, относящихся к этой черте характера Бора и разбросанных по страницам книги.

Критиковать книгу, да и любую работу за то, чего в ней нет, обычно считается запрещенным приемом. Но в данном случае его использование представляется допустимым. Дело в том, что русский вариант ее отличается от датского оригинала (и его полного английского перевода, вышедшего несколько позднее русского). Можно только приветствовать включение в рецензируемый сборник трех статей советских авторов. Одна из них (Б. Г. Кузнецова) посвящена анализу творчества Бора, в двух других (В. Л. Гинзбурга и Е. Л. Фейнберга) этому анализу сопутствуют личные впечатления, основанные на встречах с Бором в Москве и живо и ярко переданные читателям. Однако — и здесь мы должны сделать упрек составителю — из сборника выпал ряд интереснейших статей. Нет воспоминаний об отце, написанных Аге Бором, известным физиком-теоретиком, преемником Бора по Институту теоретической физики в Копенгагене. Отсутствует статья Ф. Калькара — одного из основных сотрудников Бора по работе в области ядерной физики. Выпущена статья знаменитого математика Р. Куранта (кстати, иностранного члена нашей Академии наук). Вместе с тем книга получилась не такой уж большой, чтобы оправдать это ограничение ее размеров. Если уж необходимо было делать такие сокращения, то их можно было произвести за счет скучной статьи Ю. Педерсена («Нильс Бор и Датское королевское общество наук») или малоудачной статьи В. Вейскопфа («Нильс Бор и международное научное сотрудничество»).

Этот и некоторые другие недостатки нетрудно устранить в последующем — надо надеяться, более полном — издании книги.

В. ФРЕНКЕЛЬ

КОРОТКО О КНИГАХ

★

РЫЦАРЬ РЕВОЛЮЦИИ. Воспоминания современников о Ф. Э. Дзержинском. Политиздат. М. 1967. 335 стр.

«Зачем говорить о нем как о человеке?..— спрашивает в своем очерке о Дзержинском ближайший преемник его на посту председателя ВЧК — ОГПУ В. Менжинский.— Массы знали и любили его как руководителя борьбы с контрреволюцией, как борца за восстановление хозяйства, как стойкого партийца, умершего в борьбе за единство партии. Казалось бы, и довольно...» Однако, продолжает Менжинский, Дзержинский как человек и деятель «так не похож на тот казенный образ, который уже начал слагаться и заслонять живого человека, что секрет его влияния на всех, кто с ним встречался, и особенно на тех, кого он вел за собой, начинает становиться непонятной тайной. Поэтому в интересах молодежи, которая не имела счастье лично его знать, я попробую дать представление о некоторых его чертах». Этой цели — создать живой образ Дзержинского — служат воспоминания современников, напечатанные в сборнике «Рыцарь революции».

Есть в этой книге и воспоминания, в которых агитационный пафос выражен больше всего в эпитетах «пламенный», «стальной», «твердокаменный», «несгибаемый». Однако там, где рассказаны простые эпизоды будней революции, облик «железного Феликса» сам по себе предстает воплощением беззаветной революционной преданности и человеческой красоты.

Немало внимания авторы сборника уделяют чекистской этике, которую вырабатывал Дзержинский: его отношению к анонимным письмам и вообще к «доносителям», его указаниям, как должен вести себя чекист при проведении обыска или ареста, фактам беспощадного наказания за произвол или грубость некоторых сотрудников ЧК. Знаменитые высказывания Дзержинского («У чекиста должно быть горячее сердце, холодная голова и чистые руки», «ЧК должна быть органом ЦК, иначе она вредна, тогда она выродится в охранку или в орган контрреволюции», «Тот, кто стал черствым, не годится больше для работы в ЧК»),— высказывания эти, ставшие уже хрестоматийными, обретают плоть и кровь в живых воспоминаниях шофера Дзержинского С. Тихомолова, сотрудника Дзержинского по Юго-Западному фронту, ныне писателя Н. Равича, видной деятельницы КПСС Е. Стасовой, секретаря Ленина Л. Фотиевой, коменданта Московского Кремля П. Малькова.

Стоит отметить и ту сторону в деятельности Дзержинского, живо представленную, например, в воспоминаниях А. Луначарского, которую можно назвать воспитательской. Сюда относится не только известная его инициатива — принятие Чрезвычайной комиссией шефства над беспризорниками. Он умел не отдавать «колеблющихся» или просто «обиженных» в руки врага, умел привлекать их на сторону советской власти. Сколько незаменимых специалистов нашел он таким образом и использовал в деле восстановления народного хозяйства, будучи уже на посту наркома путей сообщения, а потом главой ВСНХ!

Наконец, глубокое впечатление оставляют и те места воспоминаний, где показывается полное личное бескорыстие и простота быта Феликса Эдмундовича. «Мы, коммунисты,— говорил он,— должны жить так, чтобы широчайшие массы трудящихся видели, что мы не дорвавшаяся к власти ради личных интересов каста, не новая аристократия, а слуги народа». Таким был он сам, таким он встает со страниц скромных, непритязательных, но искренних воспоминаний о нем его друзей и соратников.

Рязань. **Л. Водолазов.**

★

ПРОБЛЕМЫ ПОЗНАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ. «Мысль». М. 1968. 259 стр.

В последние годы вышло немало книг по вопросам социологии, поэтому каждая очередная работа на эти темы должна проходить особенно строгую поверку вопросом: что нового несет она читателю? В этом смысле данная книга, как нам кажется, представляет интерес в двух отношениях: во-первых, здесь делается попытка раскрыть методологическое значение некоторых об-

щефилософских принципов для конкретных социологических исследований, чему до сих пор не уделялось должного внимания, а во-вторых, она написана преимущественно молодыми философами — аспирантами Академии общественных наук при ЦК КПСС.

Интересна статья Н. Т. Литвиненко «О единстве теории и практики в социальном познании». Подчеркивая специфический характер общества как объекта познания (общество — одновременно и объект и субъект такого познания), автор исследует взаимодействие, взаимообусловленность в общественной жизни материальных и духовных процессов, взаимосвязь интересов людей с механизмом действия социальных законов. В статье З. М. Каримовой «Категории «сознательность» и «стихийность» и их применение в познании общественных процессов» дана характеристика этих категорий на основе анализа трудового процесса, выделены и рассмотрены три типа сознательности: индивидуальная, групповая (или классовая) и общественная. В статье Л. Н. Москвичева «Критика концепции «деидеологизации» науки и проблема партийности социального познания» проведен обстоятельный, аргументированный анализ некоторых буржуазных социологических теорий. Думается, эти статьи сборника привлекут внимание читателя.

Нельзя не указать вместе с тем на неточности и упущения в некоторых материалах сборника. Н. В. Перевощикова в статье «Повторяемость в истории и значение ее познания для исследования общественных законов» критически оценивает концепцию общественного развития Арнольда Тойнби, который считает движущей силой истории «творческое меньшинство», ведущее за собой «инертное большинство». Автор упрекает англий ского историка, в частности, в том, что тот, объясняя известные закономерности, единообразие и повторяемость в историческом процессе, видит в них «результат единообразия человеческой природы, особенно ее иррационального, эмоционального, подсознательного «слоя»,— того самого, в котором столько новых открытий совершено уже на протяжении нашей жизни...». Упрек резонный. Однако Н. В. Перевощикова, к сожалению, не дает своего собственного достаточно убедительного объяснения причин повторяемости, которое можно было бы противопоставить концепции Тойнби.

Подобный упрек можно сделать и В. И. Евсевичеву, автору статьи «Индивидуальное сознание и некоторые проблемы его исследования». Указав, что труд для советского человека стал «неотчужденной формой жизнедеятельности», автор, однако, не развивает этого положения. Тем самым он оставляет без объяснения такой, например, феномен, как неудовлетворенность того или иного работника своим трудом. Между тем исследования, проведенные, в частности, ленинградскими социологами (см., например, сборник «Человек и его работа» под редакцией А. Г. Здравомыслова, В. П. Рожина и В. А. Ядова, «Мысль». М., 1967), показывают, что процент рабочих, не удовлетворенных своим трудом, и прежде всего трудом однообразным, малотворческим, все еще достаточно высок.

Некоторые неточности, в том числе терминологические, можно отметить в статье З. М. Каримовой. Автор пишет: «Хотя при социализме отсутствуют объективные причины, обусловливающие стихийный характер экономического развития, было бы упрощенчеством утверждать, что во внутренних условиях самого социализма нет никаких оснований для элементов стихийности». Закономерен вопрос: какой особый смысл вложен здесь в понятия «причина», «основание», «элемент»? Это тем более неясно, что страницей раньше мы читаем: «Одна из внешних причин (стихийности в социалистическом обществе.— *В. С.*) — это все еще значительная зависимость экономики от сил природы». Так и написано: «одна из причин», и непонятно, какому же из приведенных утверждений следует верить. К сожалению, подобные небрежности встречаются и в других материалах сборника.

В. Савин.

★

ТАНЗИЛЯ ЗУМАКУЛОВА. Радуга над домами. Стихи и поэмы. Перевод с балкарского. «Советский писатель». М. 1968. 114 стр.

У балкарки Танзили Зумакуловой, как почти у всякого кавказского поэта, заметна тяга к афористичности. В книге «Радуга над домами», как и в ее сборнике «Стихи», вышедшем двумя годами раньше в издательстве «Молодая гвардия», попадаются миниатюры-формулы вроде: «Не спеши ругать соседа, раздражаться не спеши — у хорошего соседа все соседи хороши».

Это если не хуже, то и не лучше многих подобных афоризмов, в которых, быть может, и запечатлена истина, но не своя, не сейчас добытая. Мне кажется, в пристрастии Зумакуловой к афоризму более видна обязательность, чем лирический характер.

Характер проявляется в другом.

Вот стихотворение, финал которого тоже вполне афористичен: «Обещаю: в день, когда умру я, ни один не оборвется век... Тварь, дыши!.. Я — смертный человек. жизнедатель — жизнь тебе дарую!»

Само по себе, вне контекста, это может показаться декларацией, к тому же, возможно, слишком уж торжественной. Но сила стихотворения не в заключительном утверждении, а в пути к нему, в душевных затратах, оставляемых на пути.

Стихи эти — о жестоком обычае, все еще существующем в Балкарии, о жертвенных животных, убиваемых в день похорон хозяина: «Кто ж обычай породил суровый?! В доме — горе. Страшен женский вой... Умер горец. И его корова с пастбища спускается домой. Словно все предчувствуя заране, чуть бредет она, в коленях --

дрожь... Отдается жертва на закланье, шею вытянув, идет под нож...»

Сердечный трепет, с каким описана жертва, говорит о подлинности сочувствия, о серьезности переживания.

В балкарской поэзии эта жалость ко всему живому имеет свой принципиальный смысл, свою историю. Классик Балкарии Кязим Мечиев сочувствовал (в стране охотников!) раненому туру: «О, раненый тур, мы похожи...» И Кайсын Кулиев восстал против безжалостности охотника: «Неужель закон моей страны так жесток?..»

Легче всего объяснить это наивностью, не желающей считаться с суровой необходимостью. Но тут — другое. Необходимость есть необходимость, однако жестокий обычай (пусть даже неизбежно жестокий) оставляет в душе народа то, что поэзия обязана преодолеть.

В этой жалостливости — не просто душевная склонность, но нравственная позиция и Кайсына Кулиева, и его ученицы Танзили Зумакуловой.

Характер лирической героини Зумакуловой обаятелен: добр и серьезен, эмоционален и одновременно сдержан. И очень совестлив. Когда Зумакулова во всем хочет оставаться в тени, чуть ли не самоуничижается,— это не только скромность, это иммунитет поэта, знающего серьезность своего назначения и своей ответственности.

Первая из балкарок начавшая писать стихи, Зумакулова отказывается от первенства, говоря о «горских поэтессах», о «создательницах песен непропетых»: «Праматери мои, мне хвастать нечем. Из сердца слово я могу извлечь не потому ль, что вас лишили речи, а мне сегодня подарили речь...»

Лирику Зумакуловой хорошо перевели Н. Гребнев и Ю. Нейман. С поэмами — хуже.

Я знаю, что в Балкарии иные считают поэмы Зумакуловой лучшим из написанного ею. О русском их варианте этого не скажешь. Перевод поэм не просто небрежен или неровен. За ним — в отличие от переводов лирики — просто не разглядеть авторского лица, просто нет возможности судить о том, что автору удалось, а что — нет. Но в чем Зумакулова явно не повинна — это в болтливо-запинающейся интонации, в дурных русских стихах, которыми отличается перевод А. Янова.

Ст. Рассадин.

★

П. М. КЕРЖЕНЦЕВ. Принципы организации. Избранные произведения. «Экономика». М. 1968. 464 стр.

П. Керженцев и А. Гастев были в двадцатые годы организаторами исследований в области научной организации труда. Когда организовалась «Лига Время», П. Керженцев стал ее председателем, а почетным председателем был избран В. И. Ленин. О книге Керженцева Ленин положительно отозвался в одной из последних своих статей.

Керженцев и Гастев представляли основные направления НОТ, и оба эти имени исчезли из обихода в те же годы, когда исчезло и слово «НОТ». Возрождение их популярности и новый интерес к их работам закономерны сейчас, когда и НОТ опять популярен.

Новый сборник содержит пять работ Керженцева. Здесь его самый крупный труд, написанный в 1922 году,— «Принципы организации». Именно его Ленин считал возможной основой учебника по организации труда. Работы «НОТ — научная организация труда» и «Борьба за время» — блестящий образец популяризации НОТ. «Памятка организатора» написана как пособие для молодых, начинающих организаторов. Работа «Организуй самого себя!» обращена к комсомолу.

Чрезвычайно интересна, например, в «Принципах организации» глава о подборе кадров, излагающая как общие принципы, так и практическую технологию этой работы. «Как известно из всех учебников статистики,— пишет Керженцев,— анкеты являются наименее удовлетворительным и наименее достоверным видом статистического материала... В нашей Советской Республике почему-то установилось, что каждый гражданин должен заполнять подробные анкеты по всякому пустячному поводу». Предлагая свести такую формальную информацию к минимуму, Керженцев обращает внимание на роль личных бесед и подробно объясняет, как их проводить, рассказывает о созданных передовой наукой приемах точного исследования способностей человека и его пригодности к той или иной профессии. Такие исследования, почитаемые ныне новшеством, в последнее время входят в практику.

Не выделяя хозяйственную организацию из общей организационной науки, Керженцев часто приводит в пример организацию советскую и особенно большевистскую партийную организацию, научно анализирует организационный опыт Ленина, Октябрьской революции. Как пример верного принципа организации (отрицания шаблона), он приводит выдержку из резолюции III конгресса Коминтерна: «Не может быть абсолютно правильной, неизменной формы организации коммунистических партий. Условия пролетарской классовой борьбы в процессе эволюции подвержены беспрерывным изменениям, заставляющим пролетарский авангард постоянно искать целесообразных форм своей организации. Равным образом, исторически обусловленные особенности каждой отдельной страны требуют особых форм организации для каждой отдельной партии».

В работе «НОТ — научная организация труда» для современного исследователя интересна глава о течениях в НОТ. Но содержащаяся в ней критика гастевской методики «узкой базы» на взгляд сегодняшний

далеко не бесспорна. Можно пожалеть, что в предисловии составителя сборника И. Слепова нет на сей счет оговорок. Дело в том, что в историческом плане в этом споре правы были оба: нам нужны и погастевски основательная, глубокая разработка «нормалей», дающая затем основу для массового обучения лучшим приемам труда, и увлекающая людей агитация и пропаганда «по Керженцеву».

О. Лацис.

★

В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧ. Воспоминания. «Художественная литература». М. 1968. 207 стр.

Мемуары Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича всегда интересны. Ведь это зарубки памяти видного коммуниста-ленинца, человека большого жизненного опыта, разностороннего ученого. Дороги его жизни пересекались с дорогами многих замечательных людей. Ему довелось долго работать рядом с В. И. Лениным.

Оправдывают ожидания и «Воспоминания» В. Бонч-Бруевича, связанные с русской литературой. Литературное дело не было второстепенным для В. Д. Бонч-Бруевича, оно — часть его революционной деятельности.

Особенно ценна в книге глава, где рассказано об отношении В. И. Ленина к литературе («Ленин о поэзии», «Ленин о книгах и писателях»). Убедительно показал автор, с какой любовью относился Владимир Ильич к устной народной поэзии, как советовал раскрывать политический смысл творений народа, его чаяния, его психологию. Для ленинских оценок творчества литераторов свойственны глубокая объективность, всесторонний, вдумчивый анализ. Известно, как четко охарактеризовал он мировоззрение и творчество Л. Н. Толстого; из воспоминаний мы узнаем, что В. И. Ленин собирался писать и о Тургеневе.

В. Д. Бонч-Бруевич отмечает, как бережно относился В. И. Ленин к таланту. Когда встал вопрос о работе Д. Бедного в Управлении делами СНК, В. И. Ленин возразил: «Демьян Бедный — писатель, поэт,— не надо мешать ему в развитии его творчества».

В книге нет развернутых биографий писателей; к портретам литераторов автор добавил лишь новые, свежие штрихи. Но сведения, которыми он делится, исторически содержательны, они — итог общения его с героями очерков, раздумий над их творчеством.

К творчеству Л. Н. Толстого В. Д. Бонч-Бруевич обратился в книге не впервые: он написал о нем ряд статей, участвовал в подготовке издания его сочинений, создавал Музей Л. Н. Толстого в Москве. В очерке о Толстом, рассказывая о встречах с великим писателем, Бонч-Бруевич обращает особое внимание на его живой интерес к работе профессиональных революционеров, к их психологии. Услышав от В. Д. Бонч-Бруевича, что распространение нелегальной литературы для него стало постоянным делом, Л. Н. Толстой заметил: «Ну, если революционная борьба стала «ежедневным» делом... я не поздравляю правительство: ему действительно грозит опасность... Революция, переходящая в жизнь, чревата большими последствиями...»

Немало нового узнаем мы из воспоминаний о Горьком (В. Д. Бонч-Бруевич намерен был писать о нем повесть), в частности о сотрудничестве Горького с партийным издательством «Жизнь и знание», где печатались его произведения. Издательские работники были покорены простотой, приветливостью Горького, его умением создавать атмосферу взаимного понимания.

Лучшими в книге являются, на мой взгляд, воспоминания о Д. Бедном. В. Д. Бонч-Бруевич был другом поэта, внимательно следил за его творчеством. Он оказал значительное влияние на идейное формирование Д. Бедного, знакомил его с большевистской литературой, ввел в круг выдающихся революционеров (Я. М. Свердлов, М. С. Ольминский, В. В. Воровский, Г. И. Петровский), содействовал привлечению к сотрудничеству в большевистской печати. Еще в 1913 году В. Д. Бонч-Бруевич выступил как первый критик произведений Д. Бедного, искренне заинтересованный в становлении поэта.

Находим мы в книге и воспоминания о В. Г. Короленко, о Д. Н. Мамине-Сибиряке.

Мемуары В. Д. Бонч-Бруевича, пронизанные большой любовью к деятелям русской культуры, обогатили наши представления о литературной жизни начала века. В то же время мы ближе познакомились и с В. Д. Бонч-Бруевичем, другом многих писателей. Составитель книги П. Николаев в обстоятельной вступительной статье с большой теплотой рассказал об авторе.

В архивах В. Д. Бонч-Бруевича имеется еще немало материалов, относящихся к деятельности писателей, есть огромная переписка. Хочется надеяться, что и они станут доступны читателю.

Ю. Дементьев.

Воронеж.

★

РУССКИЕ. Историко-этнографический атлас. Земледелие. Крестьянское жилище. Крестьянская одежда (Середина XIX—начало XX века). «Наука». М. 1967. 359 стр.

Необходимость в таком атласе ощущалась давно. Еще в 1916 году Русское географическое общество рассылало по всем уездам анкету и собирало статьи корреспондентов с целью использовать их для атласа, который общество намеревалось составить. В разное время было создано несколько обобщающих работ о русских; обширный материал этих книг использован

авторами атласа для составления подробнейших этнографических карт, значение которых трудно переоценить. Они показывают, как развивалась материальная культура русского народа, как осваивались людьми земли.

Стремясь к наибольшей полноте фактов, составители атласа широко пользовались материалами музеев. Это экспонаты Государственного музея этнографии народов СССР в Ленинграде, Музея народов СССР в Москве (этот музей существовал до 1941 года, основой его фонда явилась знаменитая Московская этнографическая выставка 1867 года), музеев Архангельска, Вологды, Костромы, Рязани и других городов. Были использованы частные коллекции, архивы, материалы экспедиций, особенно полевых экспедиционных исследований, организованных Институтом этнографии АН СССР в пятидесятые годы. Наконец, большую помощь оказала составителям атласа этнографическая литература—книги, статьи в сборниках, журналах, газетах, словари, издания земской статистики и т. д. Жаль, что в атласе нет библиографического отдела, он тут совершенно необходим, и странно читать такую сноску на странице девятой: «Дать хотя бы краткую библиографию использованной для атласа обширной литературы в настоящем издании нет возможности». Почему?

В текстовой части атласа—статьи, где рассматриваются различные стороны культуры и быт дореволюционной русской деревни, фотографии и рисунки, а также раздел «Таблицы», то есть довольно обширный альбом иллюстраций, изображающих земледельческие орудия (разнообразные сохи, косули, плуги. бороны, волокуши, серпы, косы), способы сушки снопов, молотьбы и веяния, варианты овинов, гумен, амбаров, ветряных и водяных мельниц, типы крестьянских домов, женская и мужская одежда (есть даже выкройки и показаны способы ручного плетения поясов). Нетрудно отметить, просматривая таблицы, что некоторые особенности старинной русской культуры не исчезли окончательно и до сих пор.

Атлас посвящен русскому населению, живущему только в европейской части страны. Атлас — книга и альбом с великолепно выполненными картами—несомненное и крупное достижение советской этнографической науки.

В. Афанасьев.

★

Э. ДОБРОВОЛЬСКАЯ. Ярославль. «Искусство». М. 1968. 222 стр.

Серия книг, посвященных художественным памятникам крупнейших центров древнерусской культуры, таких, как Владимир и Суздаль, Новгород, Псков, Вологда, Киев и другие, уже в течение десяти лет выпускаемых издательством «Искусство», давно завоевала широкую известность. Сейчас серия пополнилась новой книгой — «Ярославль», написанной Э. Д. Добровольской.

Приятное впечатление производит строгое и вместе с тем нарядное оформление книги с изображением на корешке характерного для периода расцвета ярославского зодчества образца «каменосечной хитрости» местных мастеров-строителей. Золоченый форзац воспроизводит фрагменты иконы XVII века на темы «Сказания о Мамаевом побоище», где в числе городов—участников битвы на Куликовом поле показаны Ярославль, а также Ростов и Курба.

Удачна сама структура книги. Памятники архитектуры сгруппированы в тексте не только по маршрутам, но и в строго хронологической последовательности. Описанию памятников того или иного периода предшествует краткая характеристика многогранной художественной жизни города того же времени. Это позволяет читателю проследить последовательность развития ярославского зодчества, глубже понять особенности отдельных произведений архитектурно-строительного искусства.

Как и большинство книг серии, «Ярославль» не рядовой путеводитель-справочник, а строго научное, хотя и популярное издание, включающее материалы исследований последних лет. В этом отношении особую ценность представляет рассказ о первых посадских храмах, основанный на исследованиях самого автора. По-новому показаны такие интереснейшие архитектурные сооружения первой половины XVII века, как церкви Николы Надеина и Рождества на Волге. Впервые церковь Рождества предстает перед читателем во всем богатстве своего декоративного убранства. Особенно интересен полихромный изразцовый декор— древнейший в Ярославле.

Интересна сравнительно подробная характеристика развитого посадского зодчества второй половины XVII века — периода, давшего такие уникальные памятники зодчества, как церковь Иоанна Предтечи в Толчкове. Это основная, узловая глава книги.

Любители русской классической архитектуры найдут в книге краткую, но емкую по содержанию главу «Ярославль губернский», где просто и доходчиво раскрывается художественная значимость планировки центра Ярославля — «одного из наиболее зрелых образцов русской градостроительной школы второй половины XVIII века». По-новому ставится в книге вопрос о той роли в застройке города, какую в двадцатых — сороковых годах играл архитектор П. Я. Паньков. Очень интересно предположение автора о том, что имя строителя Гостиного двора и Епархиального училища — лучших сооружений Ярославля начала XIX века —следует искать в окружении Карло Росси.

Приходится лишь пожалеть о слишком скупом иллюстративном материале этого раздела. В книге нет фотографий Гостиного двора и Присутственных мест на Советской площади, определивших художественный облик старой части города. Хотелось бы видеть в ней и побольше иллюстраций старинных жилых домов, которыми пока еще так

богат Ярославль. Ведь некоторые из них до сих пор оказывают сильное влияние на формирование художественного облика городских кварталов и улиц.

Заключительная глава книги выводит читателя за пределы Ярославля, рассказывая о памятниках Тутаева (бывшего Романова-Борисоглебска), чудесного городка, заслуживающего того, чтобы о его художественных сокровищах говорили во весь голос. (Жаль, что в названии книги Тутаев не нашел своего законного отражения.)

Одним из недостатков книги является малое количество иллюстраций изразцов, которые являются очень важным элементом декоративного оформления. Нет изразцов церквей ни Николы Мокрого, ни Тихвинской богоматери, нет даже фотографии знаменитого наличника окна церкви Иоанна Златоуста в Коровницкой слободе, хотя в тексте на эту поистине «керамическую симфонию» обращено особое внимание.

В. Косточкин.

★

В. Л. МАЛЬКОВ, Д. Г. НАДЖАФОВ. Америка на перепутье. Очерк социально-политической истории «нового курса» в США. «Наука». М. 1967. 228 стр.

Нельзя сказать, чтобы у нас не писали о «новом курсе» президента Ф. Д. Рузвельта или о нем самом. Но, пожалуй, общей картины, созданной на солидной научной основе и в то же время написанной популярно, живо, интересно, еще не было. Книга В. Л. Малькова и Д. Г. Наджафова удачно восполняет этот пробел. Менее всего авторы озабочены показом внешней, фактической стороны, выяснением отдельных деталей. Их цель иная — вскрыть основы внутренней политики буржуазии США и ее правительства в «бурные 30-е годы», установить внутренние связи, диалектическое единство и взаимодействие различных факторов, осмыслить значение «нового курса». И еще одна задача—показать «новый курс» не только как «златую пору» либерально-буржуазного реформизма, но как штормовую эпоху в истории страны, время широких, мощных движений народных масс. И ранее все это «имелось в виду», и показывалось, и исследовалось. Но авторы сумели найти новый подход к теме.

Новым и, наверное, самым интересным представляется анализ сдвигов в «политическом климате» страны. Обстоятельно, с привлечением широкого круга источников рассказывается о том, как просыпался и поднимался на битву главный «автор» «нового курса» — американский пролетариат, широкие народные массы. Книга напоминает о тех потенциальных возможностях, резервах силы, энергии, здравого смысла, мужества, которыми располагают американские рабочие.

Читателя, несомненно, привлекут страницы, посвященные трудному и острому вопросу — о роли мелкобуржуазных движений. Известно, что об этих движениях пишут чаще всего в плане укорительном. Авторы разносторонне исследуют эту проблему и убедительно показывают «большой положительный заряд» «главного потока мелкобуржуазного радикализма».

Тщательно исследуется авторами процесс вызревания основных идей «нового курса»— идей государственного вмешательства в частное предпринимательство—в стане самой буржуазии. При этом они находят новые краски для политического портрета самого Ф. Рузвельта, прослеживают все зигзаги и перепады его реформаторской деятельности, выясняют ее идейные, теоретические и политические основы. Читатель оценит и полнокровный рассказ о главных реформах «нового курса», составивших Рузвельту славу «великого капитана» буржуазии, и анализ столкновений сил реакции и прогресса вокруг этих реформ.

В книге подробно говорится о стратегии и тактике компартии США в те трудные годы, о ее борьбе за создание Демократического фронта.

Возможно, специалист найдет в книге отдельные неточности и ошибки. Но в целом и специалист и каждый читатель с пользой прочтут свежую, содержательную работу В. Л. Малькова и Д. Г. Наджафова.

Б. К.

★

ИЛЬЯС ЕСЕНБЕРЛИН. Схватка. Роман. Перевод Ю. Домбровского. «Жазушы». Алма-Ата. 1968. 196 стр.

Энергичное название романа Ильяса Есенберлина — «Схватка» — точно выражает и тот накаленный конфликт, который лежит в его основе, и тот напряженный ритм, в котором он написан. В короткий промежуток времени разрубаются узлы, затягивавшиеся в течение десятилетий. Отсюда — сюжет, насыщенный драматизмом.

Учительница Дамели и геолог Бекайдар молоды, красивы и любят друг друга. Роман начинается с их свадьбы, свадьбы, которая тут же была расстроена. Невеста, которую на минуту отозвали от свадебного стола, не вернулась. Роман выясняет причины этого разрыва, выясняет не только для читателя, но прежде всего для самих героев. Вместе с молодыми героями читатель постигает существенные нравственные истины, которые и составляют пафос этого произведения.

На полюсах конфликта оказываются отцы молодых — Даурен Ержанов (отец Дамели) и Нурке Ажимов (отец Бекайдара), присвоивший себе открытие Даурена, пока тот воевал, а потом скитался по геологическим партиям Сибири и Дальнего Востока. Но Даурен вовсе не собирается сво-

дить счеты с Ажимовым. Человек крупный и щедрый, он чистосердечно считает счастьем, что Ажимову удалось продолжить его дело, довести его до признания.

Суть конфликта не в прошлом, а в настоящем. Как человек сильный, Даурен обладает великой способностью начинать все сначала в любой точке своей жизни, даже если эта точка приходится на шестьдесят лет. Он начинает искать медь там, где уже отчаялись ее найти. Потерял эту веру и Ажимов — во многом эта потеря была ему выгодна. Он испугался соперничества Даурена.

Одна из существенных сторон романа И. Есенберлина в том, что он сумел передать почерк поступков действительно крупного человека. Обычному житейскому сознанию они представляются романтичными — роман показывает их нормальность, их естественность для нравственно здорового человека. Герои романа много размышляют: молодые — узнавая, старшие — делясь постигнутым; размышляют о вещах простых и вечных — о чести, о благородстве, об измене и груде. В этом смысле роман очень молод, и молодежь должна стать его первым читателем. Очень хорош разговор Даурена с дочерью, где он осуждает ее за то, что ей кажется как раз благородным, за разрыв с женихом. Это ли не принципиально? И Даурен обнажает неожиданное — бесчеловечность этой принципиальности и этого самопожертвования.

«Но вот что я тебе скажу твердо: каждый отвечает только за себя — это верно. Но если с ним связан другой, более слабый человек, или, положим, он его воспитатель, то ошибки ученика — и его ошибки. Я не сумел воспитать отца твоего жениха, и он сделал... Ну, скажем, так: он просто поступил непорядочно. За эти его поступки отвечаю и я. Так что пойми, прости и сама проси прощения у своего жениха. Иначе ни ты, ни я, ни он, ни его отец не будем счастливы».

Через Даурена Ержанова и его брата Хасена, вырастившего Дамели, входит в книгу и тема Казахстана — его гор, долин, степей, его камней и трав, птиц и змей. Казахстан увиден как бы ержановскими глазами, здесь равный видит равного, ибо Казахстан и Ержановы — величины равновеликие. Ержановский взгляд сказывается и в другом: природа увидена здесь глазами природоведов. Поэзия смыкается здесь с наукой.

То лучшее, что есть в книге, связано с братьями Ержановыми и Казахстаном. Нурке Ажимов точно определен в мотивах своих поступков и слабее выражен как оригинальный характер. Смутно очерчены молодые герои повести Дамели и Бекайдар. Автор слишком по-хозяйски распоряжается ими, не оставляя за ними возможности самопроявления. Энергично завязанный сюжет далеко не всегда находит опору в характерах, которые оказываются то аморфными, как Дамели и Бекайдар, то слишком — до шаблона — определившимися в своем злодействе, как Ажимов-старший или, еще больше, как Еламан Курманов, который братьям Ержановым сломал жизнь, а Нурке Ажимову — характер. Тогда в сюжете возникает мелодраматизм. И зло истинное сменяется ходульным злодейством. Наконец, слишком любят герои романа щеголять цитатами «из классиков». Некоторые цитаты настолько расхожие, что употребление их скорее компрометирует героев, чем что-то раскрывает в них.

Вероятно, это не последнее издание романа, и автору стоит еще поработать над своей книгой. Она заслуживает того.

И. Б.

★

РОБЕРТ ОППЕНГЕЙМЕР. Летающая трапеция: три кризиса в физике. Перевод с английского. Атомиздат. М. 1967. 78 стр.

Имя Роберта Оппенгеймера хорошо известно как за рубежом, так и у нас. Его знают не только как видного специалиста по ядерной физике и релятивистской астрофизике, но и как талантливого организатора, бывшего научного руководителя Лос-Аламосской физической лаборатории, где были созданы первые образцы атомной бомбы. Среди специалистов он славился своей высокой научной эрудицией, редким умением сочетать в исследовательской деятельности концептуальную смелость и математическое «безумие» физика-теоретика со здравым смыслом экспериментатора. Широкой общественности же Оппенгеймер известен главным образом как один из тех мыслящих американских интеллигентов, которые стали жертвами печально знаменитой маккартистской инквизиции; уже при жизни он стал героем художественных произведений, в его образе не без основания воплощено то, что принято называть «совестью ученых».

Р. Оппенгеймер принадлежал к той замечательной плеяде ученых-естествоиспытателей, которые, будучи широкомыслящими людьми эпохи, никогда не замыкались в скорлупе узкопрофессиональных интересов, а, глубоко осознав свою социальную роль, живо откликались на общие проблемы современного общества. Достаточно указать на мучительный поиск им «конкретной правильной идеи относительно преобразования мира», который привел его в конечном счете к утопической идее всемирного правительства, возглавляемого учеными.

В этом отношении особенно интересна лекция «Война и нации», которая наряду с двумя другими Уилденскими лекциями Оппенгеймера («Пространство и время» и «Атом и поле») вошла в рецензируемый сборник ученого. В последние годы жизни (Оппенгеймер скончался в 1967 году) его глубоко волновали те неожиданные и в высшей степени сложные социальные и моральные проблемы, которые поставил перед людьми XX века «досрочно» покоренный атом. Рассказывая историю создания и военного применения первой атомной бомбы, Оппенгеймер так определяет суть соз-

давшегося критического положения: «Мир никогда еще не стоял перед возможностью самоуничтожения—в известном смысле, аннигиляции,— которую можно было бы сравнить с нынешней возможностью. Он также не стоял перед необходимостью принять решение, подобное хоть в какой-то степени тому, которое связано с этой проблемой». Хотя в высказываниях ученого бросается в глаза его стремление оправдать поведение американских физиков и химиков — непосредственных участников драмы начала атомного века, тем не менее Р. Оппенгеймер не может не признать, что они несут «огромную ответственность» за то, какое использование получат результаты их исследований. Атомный век придал новый смысл взаимоотношению науки и общества; лучшие умы современной ядерной физики это хорошо понимают.

Из иных проблем, выдвинутых на передний план быстрым развитием научного знания, Р. Оппенгеймера особенно привлекает вопрос о «приобщении миллиардов людей к современным научным достижениям», о возможностях адекватного перевода с языка науки на «общий» язык. Этот вопрос волновал не только Оппенгеймера, он горячо обсуждается и многими другими крупными учеными (А. Н. Колмогоров, Р. Фейнман и др.). Р. Оппенгеймер, как и некоторые другие зарубежные ученые, был склонен считать, что барьер между ученым миром и остальной частью человеческого общества непреодолим. Однако этот взгляд встречает обоснованные возражения.

Не вдаваясь в обсуждение других интересных вопросов, поднятых в книге, хотелось бы в заключение сделать еще лишь одно замечание. «Три кризиса в физике» — такой перевод подзаголовка представляется несколько неточным. В действительности в лекциях Оппенгеймера речь идет не о кризисе физики как науки, а о кризисах, последовательно пережитых самими физиками. Р. Оппенгеймер, по его собственным словам, в первую очередь хотел показать, как «прогресс в познании природы коренным образом изменил не только наши представления о ней, но и некоторые наши представления о самих себе как об исследователях». Соответственно этому авторскому замыслу и точному значению английского оригинала и следовало озаглавить советское издание книги.

Акбар Турсунов.

Душанбе.

★

ТАЙСТО СУММАНЕН. Иду по родной земле. Стихи. Перевод с финского. «Советский писатель». М. 1967. 64 стр.

Тайсто Сумманен был десятилетним мальчиком, когда в его родную Карелию пришла война. И хотя со Дня победы минуло почти четверть века, события того времени по-прежнему живут в душе поэта. В книге Сумманена не так уж много стихотворений, непосредственно связанных с трудными испытаниями военной поры, но именно война сформировала характер лирического героя, именно война определила его отношение к жизни, к людям. Автор обращается к детству, к родным местам, где оно протекало,— и возникают строки: «Тут голодал, тут повзрослел и вырос,— на той большой безжалостной войне». Он мысленно возвращается к тем дням, когда трудно было раздобыть обыкновенные спички, каждая из которых воистину была на вес золота, когда «за огоньком бежали по соседству», когда «холодным утром ждали мы впотьмах, когда зажжется чье-нибудь оконце. С чадящей головешкой, второпях, домой мы возвращались будто с солнцем». Нет, он не просто вспоминает тогдашние суровые обстоятельства, отличные от условий мирного времени,— он осмысляет их заново, делая важный вывод: «Добыть огонь, должно быть, каждый мог, но человек свое прославил имя не тем, что для себя очаг зажег, а поделился пламенем с другими».

Эта мысль составляет сквозной «сюжет» книги. В неодолимой внутренней потребности делиться с людьми всем прекрасным, что встречается поэту на жизненном пути, едва ли не самая характерная черта ее. Это особенно заметно в стихотворениях о внешне неприметной, но полной скромной красоты природе Карелии с ее лесами, камнями, озерами и реками.

Искренностью и естественностью поэтической интонации подкупает сборник стихотворений Тайсто Сумманена.

Из краткой аннотации, которой снабжена эта книга, читатель узнает, что в 1956 году в Петрозаводске вышел первый сборник стихотворений автора на финском языке, что в рецензируемый сборник (все переводы для него выполнены Т. Стрешневой) вошли стихи, написанные им в последние годы.

А. Бельский.

★

А. ЗАПАДОВ. Новиков. «Жизнь замечательных людей». «Молодая гвардия». М. 1968. 191 стр.

«Благородная натура этого человека постоянно одушевлялась высокою гражданскою страстию — разливать свет образования в своем отечестве»,— писал Белинский о Николае Ивановиче Новикове (1744—1818). Жизнеописанию этого просветителя-энтузиаста его автор, знаток русской литературы XVIII века А. Западов, предпослал в виде эпиграфа строки Радищева, с которыми сквозь толщу лет перекликались слова Белинского:

Во свет
рабства тьму претвори.

Историческое значение жизни Новикова в талантливой книге А Западова выражено не в общих словах, а в чрезвычайно насыщенном фактами лаконичном рассказе о

том, как обличал Новиков жестокость крепостников, как презрительно высмеивал галломанию, закоснелое невежество, как истово верил в благодетельную силу правдивого печатного слова, обогащал русскую культуру и приобщал к ней сограждан.

Новиков — зачинатель русской демократической журналистики, редактор, сатирик, публицист. Он издавал четыре сатирических журнала (будучи их основным автором) и десять других — среди них «Экономический магазин», «Санкт-Петербургские ученые ведомости» (первый в России библиографический журнал), научно-популярный журнал, первый русский журнал для детей, журнал мод, масонские религиозно-нравоучительные журналы. Из его «Опыта исторического словаря о российских писателях» (1772) — предтечи русских литературных справочников и энциклопедий — Белинский приводил большие цитаты, говоря, что этот словарь «нельзя миновать в историческом обзоре русской критики». Новиков первым начал выпускать книги сериями («Древняя Российская вивлиофика», 1773—1775) и в виде приложения к газете («Городская и деревенская библиотека», 1782—1786). А взяв в аренду типографию Московского университета, он положил начало массовому производству книг и разветвленной книготорговой сети, увеличил продажу книг в Москве в несколько десятков раз и распространял их во многих городах. Когда же Новиков основал совместно с масонами Типографическую компанию (1784), размах его деятельности стал еще шире. В иной год он издавал более ста пятидесяти книг! Произведения Сумарокова, Фонвизина, Княжнина и — в переводе на русский язык — иностранных писателей XVII и XVIII веков от Корнеля, Мольера, Свифта до Дидро, Стерна и Лессинга, изящно изданные, расходились главным образом среди разночинцев.

А. Западов уделил большое внимание стилю Новикова. Обращаясь к традиционному эпистолярному жанру, вводя в русскую журналистику образы, ситуации, эмоционально-интонационный строй, которые станут потом в журналах Карамзина типичными для русского сентиментализма, Новиков подчинял эти стилевые элементы своим замыслам сатирика-просветителя. Он сатирически стилизует письма крепостников; в реалистически бытовом плане — письмо крепостного Филатки. Элементы сентиментального стиля в «Отрывке путешествия в *** И*** Т***» («О человечество!.. О блаженная добродетель, любовь к ближнему...» и т. п.) служат чисто реалистическому выражению горькой правды о бедственном положении крестьян. В произведениях Новикова уже накапливаются — А. Западов это тщательно прослеживает — и крупицы того стиля великой русской прозы, который будет создан в XIX веке. Стиль Новикова, «как в зародыше... содержит в себе многие пути и открытия русской прозы позднейшего времени, развивавшейся в направлении критического реализма».

Демократическая по духу сатира, публицистика и просветительская издательская деятельность Новикова раздражали Екатерину II. Она запретила продавать перевод произведений Вольтера, изданный Новиковым для мещан-разночинцев. Совсем на плохом счету Новиков оказался после того, как сблизился с масонами, увлеченный их призывом к самоусовершенствованию и к филантропической деятельности. Когда Екатерина объявила мартинистом (то есть масоном) Радищева, заявив, что этот мартинист—«бунтовщик хуже Пугачева», судьба Новикова была решена: его самого — в Шлиссельбургскую крепость, книги, изданные им,— уничтожить. Для биографии, написанной А. Западовым, характерно, что драматизм ее последних глав усилен чисто литературоведческой наблюдательностью автора: измученный и доведенный до отчаяния, Новиков обратился к Екатерине с мольбой о милосердии, «не заметив, что повторяет в интонации» мольбу о милосердии крепостного Филатки, чье письмо он когда-то сочинил для своего журнала «Тругень». Так функции литературного стиля Новикова прослежены в его биографии до конца.

Н. Миловидова.

★

АРТУР КЛАРК. Сокровище Большого рифа. Перевод с английского. «Мир». М. 1967. 224 стр.

Ничто (разве только приземление «летающего блюдца» во дворе вашего дома) не может внести такой сумятицы в обыденную жизнь, как открытие сокровища, утверждает А. Кларк. Утверждает с полным знанием дела. В 1961 году группа аквалангистов при его участии обнаружила у Большого рифа, в шести милях от южного берега Цейлона, затонувший корабль с грузом серебряных монет могольского императора Аурангзеба (сына Шах-Джехана, построившего знаменитый Тадж-Махал), который владел большей частью Индии с 1659 до 1707 года, и подняла около трехсот пятидесяти фунтов серебра.

За последние четыре столетия морю уплатили немалую пошлину корабли, которые перевозили сокровища по исторически сложившимся путям: испанские армады из Карибского моря в Испанию, перуанские транспорты из Перу в Испанию мимо мыса Горн, манильские галионы из Акапулько на Филиппины, наконец, на «пути пряностей» с Востока в Европу. Значительная часть этих богатств в размере нескольких сот миллионов долларов золотом и серебром еще лежит на дне.

«Серебряный корабль» тоже терпеливо ждал своей участи около двухсот шестидесяти лет. И это не мудрено. Потонувшее судно быстро заносится песком и илом, а в тропиках кораллы покрывают каждый до-

ступный им квадратный сантиметр. Поэтому работа на погибших судах—это совсем не развлечение и не спорт. Это тяжелый труд, который по плечу только опытному и дисциплинированному отряду, руководимому человеком, знающим, что и как делать. Притом нужны люди достаточно культурные, которые не будут ничего разрушать, пока не определят, что именно они нашли. Экспедиция А. Кларка оказалась в особенно выгодном положении, так как в ней участвовал опытный археолог Питер Трокмортон, составивший описание найденных предметов, что позволило определить место найденного корабля в истории, хотя название его и национальность мореходов остались невыясненными.

Вследствие нелепой случайности А. Кларк получил тяжелую травму, но если такова цена сокровища и романтики, говорит он, то я не прогадал. Выиграл и читатель, так как каждая новая книга Артура Кларка — это еще одна встреча с интересным писателем, независимость суждений которого, непринужденная парадоксальная манера речи удивительно покоряют.

Ю. Моисеев.

★

М. А. АНАНЬЕВ. Международный туризм. «Международные отношения». М. 1968. 206 стр.

Во всем мире международный туризм с каждым годом приобретает все больший и больший размах. Быстро развивается он и в нашей стране: с 1956 по 1965 год путешествия за рубеж совершили более 7 миллионов советских граждан, в то же время около десяти миллионов иностранных гостей прибыли к нам. Эти цифры следует признать значительными, так как международный туризм в СССР начался в 1955 году практически от нулевой величины.

На Западе давно уже существует целая отрасль литературы, посвященная международному туризму: тут и статистические сборники, и исследования, и прогнозирование и т. п. У нас рецензируемая книга является по существу первой работой на эту тему. Первой и — скажем сразу — удачной работой. Основное ее достоинство — обильный и разнообразный фактический материал. Международный туризм, как убедительно показал автор, это отнюдь не развлечение чудаков, любящих фотографироваться на фоне Акрополя или Собора Парижской богоматери, сегодня международный туризм стал массовым явлением: по неполным данным, уже в 1964 году в мире было зарегистрировано свыше 107 миллионов туристов. А в 1965 году в одной только Франции из 30 миллионов человек, совершивших путешествия во время отпуска, свыше 10 миллионов выезжало за границу. Туризм превратился в одну из крупнейших отраслей мирового хозяйства, и специалисты пророчат этой отрасли дальнейшее бурное развитие.

Автор исследует проблему разносторонне, подробно рассматривая политическое, социальное и экономическое воздействие туризма на жизнь современного общества в различных странах. Каждой из стран, развитых в туристском отношении, посвящена специальная главка. Читатель, без сомнения, почерпнет из книги много интересного. Взять хотя бы такой вопрос, как посещаемость различных государств иностранными туристами. В 1965 году на первом месте шла Испания — 12,3 миллиона туристов, затем Италия и Франция—по 11,1 миллиона, ФРГ — 6,4 миллиона, затем традиционные страны туризма — Австрия и Швейцария (соответственно 6,4 и 5,7 миллиона). Туризм приносит странам-«хозяевам» огромные доходы. Так, например, поступления иностранной валюты в Испанию в 1965 году превысили миллиард долларов. Сейчас в европейских странах идет самая настоящая война за привлечение туристов. Как показано в книге, эта проблема становится вопросом государственной политики, обсуждается на заседаниях парламентов и правительств. Разрабатываются долгосрочные планы развития туризма. Да, идет война за туриста, но это одна из тех войн, от которых человечество ничего не потеряет, а только выиграет: автор совершенно справедливо рассматривает туризм как одну из форм мирового сотрудничества, способствующего сближению между народами.

Очень интересны разделы книги, посвященные социалистическим странам Европы, где международный туризм растет буквально с каждым днем. И не случайно: здесь много делают для привлечения туристов.

Наиболее бледный раздел книги — это, к сожалению, раздел о развитии советского туризма. Фактический материал здесь очень скуден. Конечно, статистические материалы о международном туризме (заметим попутно — и о внутреннем тоже) у нас публикуются скупо, поэтому специалистам трудно изучать проблему. От этого страдает в конечном счете само туристское дело в нашей стране. Однако автор в недостаточной мере использовал даже наличные статистические данные (например, о развитии гостиниц, предприятий сферы обслуживания и т. п.). Хотелось бы увидеть и конкретные рекомендации о развитии отечественного туризма с учетом всего лучшего из опыта зарубежных туристских организаций.

Несмотря на эти недостатки, содержательная книга М. А. Ананьева, несомненно, привлечет внимание читателей, интересующихся туризмом, число которых все время увеличивается.

С. Семанов.

★

А. АНИКСТ. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. «Наука». М. 1967. 455 стр.

Рамки исследования А. Аникста шире заглавия книги. Развитие теории драмы прослежено на громадном материале и громадном временном протяжении — от диалогов

Платона до Гёте и Шиллера включительно. Исследователь заставляет задуматься над внутренней логикой этого развития. В любую эпоху взгляды писателей и мыслителей на задачи и формы драмы были так или иначе связаны с общеэстетическими, гражданскими, нравственными идеями. А. Аникст все время имеет в виду эту связь, и это делает его труд интересным не только для искусствоведов и работников театра, но и для гораздо более значительного круга читателей.

Правда искусства — ключевое понятие всей книги. А. Аникст дает множество подтверждений тому, что взгляд на искусство как на отражение действительности вовсе не есть продукт XIX века. Он разделялся величайшими писателями и эстетиками начиная с древнейших времен. Это обнаруживается уже в знаменитом диалоге Эсхила и Еврипида из комедии Аристофана «Лягушки». Оба драматурга считали, что искусство должно выражать жизненную правду, но толковали эту правду очень поразному. На протяжении веков теория драмы помогала художникам овладевать действительностью. Однако в ходе творческих поисков то и дело сталкивались мнения, и истина рождалась именно в борьбе мнений. А. Аникст дает динамическую картину этой борьбы, не умалчивая о том, какой неожиданной оказывалась иногда расстановка сил. Аристократ Гоцци спорил с демократом Гольдони, критиковал его с охранительных позиций — но вместе с тем именно автор «Принцессы Турандот» защищал народные традиции итальянского театра масок, пригодившиеся в конечном счете и новейшей реалистической драматургии.

Самые великие драматурги мира — Шекспир, Лопе де Вега, Мольер — наиболее бескомпромиссно, и притом каждый по-своему, отстаивали принцип правды в искусстве. Соотношение теории и практики драмы в разные эпохи складывалось неодинаково: и в эпоху Возрождения, и тем более в годы торжества классицизма творчество драматургов было смелее и богаче, чем обобщения теоретиков. В философский, просветительский XVIII век, когда закладывались основы реалистической эстетики, теория ушла вперед самой драмы. Но не случайно, что теоретики драмы XVIII столетия, от Лессинга до Юнга и включая Гёте, ссылались на сценическую практику Шекспира.

Утверждение правды в театре порой оказывалось делом очень нелегким. Пример тому — споры вокруг Корнелева «Сида». В документе Французской академии, осуждавшем пьесу, прямо говорилось: «Не всякая правда хороша для театра... Лучше разрабатывать сюжет вымышленный, но разумный, чем правдивый, но не отвечающий требованиям разума». Не в разуме тут было дело, а в том, что идейная концепция «Сида», как замечает автор, «не устраивала фактического главу абсолютистского государства — кардинала Ришелье». И так бывало не раз. За спорами, казалось бы, сугубо отвлеченного свойства, о катарсисе или границах жанров, вставало противоборство общественно-политических взглядов и интересов.

Книга написана с живым чувством современности, иногда в ней возникают и прямые переклички с нашим временем. Руссо в своей полемике с идеями Аристотеля, как показывает А. Аникст, предвосхищает Брехта. А мнение Аристотеля о том, что наиболее сильное впечатление производят конфликты между близкими людьми, подкрепляется практикой новейшей драмы вплоть до «Любови Яровой». Подобные современные ассоциации встают у А. Аникста не раз — это тоже делает его книгу интересной не только для специалистов.

Т. Мотылева

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ДАВАЙТЕ ЖЕ СПОРИТЬ!

Когда я вижу в нашей общедоступной печати выступления специалистов по вопросам самой современной отрасли биологической науки — молекулярной биологии,— во мне всегда борются два чувства.

Первое, очевидно, разделяют со мной все или во всяком случае огромное большинство читателей — чувство восхищения прорывом науки в новую, неизведанную область биологических явлений.

Что говорить, в этой области действительно наука совершила гигантский скачок, разгадав одну из самых сокровенных загадок живой природы, может быть, самую важную, потому что она относится к главному свойству жизни — свойству самовоспроизведения. Нельзя не восхищаться мастерством, техническим умением, изобретательностью, настойчивостью и смелостью мысли ученых, уловивших во мраке неимоверного множества протекающих в клетках химических процессов язык, или, как его называют, код, на котором совершается управление синтезом белковых молекул — наследственной основы всего живого. Пропаганда этих выдающихся достижений заслуживает всяческой поддержки и поощрения.

Но к чувству восхищения и одобрения у меня неизменно примешивается другое, гораздо более сложное, которому даже трудно подобрать название.

Пожалуй, с таким же или сходным чувством слушаешь абитуриента, который после блестящей сдачи первого экзамена с жаром повествует о своих планах полной перестройки и подъема на высшую ступень той специальности, которой он будет овладевать после приема в вуз. Это и досада на легкость расправы с теми науками, в которых блестящий юноша собирается проводить полную перестройку; и некоторое беспокойство и обида за науки, которым предстоит подвергаться атакам блестящего юноши; и раздражение самоуверенностью, с которой ведется рассказ об одержанных победах,— хотя сдан пока еще только один экзамен.

Признаюсь, при чтении рецензии на мою книгу «Разум Вселенной» («Новый мир», № 6, 1968), написанной членом-корреспондентом АН СССР М. В. Волькенштейном, специалистом по молекулярной биологии, первое чувство испытано было мной в минимальной степени. Зато второе — в самом сложном переплете — переживалось, да и сейчас, когда улеглось первое впечатление от чтения этой рецензии, переживается с достаточной силой.

Наивно было бы с моей стороны реагировать на оценку моей книги как художественного произведения. Как и любой читатель, М. В. Волькенштейн имеет полное право выразить в печати одобрение или неодобрение любому художественному произведению, в том числе, конечно, и моей книге. Понравилось — не понравилось, приятно это или неприятно автору, но критика для того и существует, чтобы оценивать достоинства и вскрывать недостатки появляющихся в нашей печати книг. К сожалению, хотя М. В. Волькенштейн и подчеркивает, что его отклик на это событие появляется не в научном, а в литературном журнале, поскольку автор «обнародовал свою концепцию в форме романа», три четверти его краткой рецензии посвящены критике этой концепции. Вот почему автор, научный работник, которому дорога развиваемая и пропагандируемая им научная концепция, вынужден дать некоторые разъяснения по поводу критических замечаний М. В. Волькенштейна.

Мне не хотелось бы использовать ту форму, в которой эта концепция подверглась критике в рецензии М. В. Волькенштейна. Здесь я могу только повторить те слова главного героя моей книги профессора Панфилова, которые цитирует М. В. Волькенштейн: «Любого научного противника можно и нужно уважать», «Дисциплина познания заключается прежде всего в уважении к чужой мысли». Правда, сейчас же за этими цитатами следует не очень приятное для автора обращение рецензента: «Ах, как хорошо прозвучали бы эти слова лет двадцать назад в борьбе, в которой А. Студитский принимал участие отнюдь не как миротворец».

Что говорить, в те времена, в конце сороковых—начале пятидесятых годов, то есть примерно лет двадцать назад, уважительная форма взаимной критики в науке действительно была не в почете. Мне не довелось участвовать ни в более ранних дискуссиях, ни в дискуссиях 1948 года (сессия ВАСХНИЛ) и 1951 года (объединенная сессия АН СССР и АМН СССР), но я очень сожалею о резком тоне своих статей середины пятидесятых годов (на которые, впрочем, мои оппоненты отвечали мне в не менее резкой форме, да еще вынуждая меня печатать их статьи в редактируемом мной журнале). Правда, небольшую скидку можно было бы сделать на возраст, в котором мы тогда пребывали. Однако в наши дни, и даже с учетом возраста моего рецензента, я не нахожу никаких оправданий той пренебрежительной и оскорбительной форме, которую использует М. В. Волькенштейн, развивая далее свою мысль.

«Сейчас А. Студитский призывает к мирному сосуществованию сторонников и противников современной генетики. Но мирное сосуществование различных теорий в науке возможно лишь до тех пор, пока не хватает экспериментальных фактов для решения вопроса. Современная генетика и молекулярная биология опираются на громадную совокупность фактов, а то, что им иногда пытаются противопоставить, сводится к бессодержательным общим фразам. Гибридизовать науку с лженаукой нельзя».

В еще более резкой форме оценка выдвигаемой автором романа концепции дается во вступительной части рецензии: «В самом деле, в жанре научной фантастики еще не встречалось книги, где бы ставилась задача внушить читателю истинность идей, опровергнутых всем ходом развития науки, идей, никогда не имевших научного значения или полностью его утративших. Научная фантастика во имя лженауки».

Я понимаю, что резкость и оскорбительность формы критики вызваны не только сравнительно молодым возрастом, но и запальчивостью, с которой автор защищает дорогую ему научную концепцию. Но я убежден, что он спустя какой-то срок пожалеет о том, что называл лженаукой другую научную концепцию только за то, что она противоречит его взглядам.

Из текста рецензии явствует, что рецензент, к сожалению, не счел нужным познакомиться с той н а у ч н о й основой, от которой отправляется н а у ч н о-фантастическая сюжетная линия романа. Ему кажется, что если борьба идей, изображенная в романе, затрагивает молекулярную биологию, или — упаси боже — современную генетику, в какой бы форме эта борьба ни проявлялась, она не может относиться к сфере научного спора. «Словом, роман задуман как полное опровержение современной генетики и молекулярной биологии. Автор отстаивает те самые представления Т. Д. Лысенко, во имя которых насильственно тормозилось развитие советской биологии. Не выступая с этими идеями в научной печати, А. Студитский проповедует их теперь в романе». Но, право же, дело обстоит совершенно не так.

Во-первых, одновременно с романом «Разум Вселенной» А. Студитским и его сотрудниками опубликован сборник работ под названием «Экспериментальная гистология опухолевого роста» («Наука». М. 1966), в котором приведен большой экспериментальный материал, позволяющий иметь достаточно обоснованную самостоятельную точку зрения на вопросы развития, лучевого поражения и наследственности, о которых идет речь в романе. Конечно, ни о каком «полном опровержении современной генетики и молекулярной биологии» ни в этих работах, ни в тексте романа нет и речи. Выдвигается только определенная интерпретация данных современной генетики и молекулярной биологии, на что любой автор-экспериментатор, располагающий бесспорными экспериментальными данными, имеет право.

Во-вторых, в то же самое время, то есть в конце 1966 года, одновременно с романом вышла брошюра А. Студитского «Строящийся организм», в котором достижения молекулярной биологии изложены в том восторженном тоне, которого они заслуживают, хотя вместе с тем излагаются и сомнения, составившие в романе его н а у ч н у ю сюжетную канву.

В-третьих, одновременно с романом, то есть тоже в конце 1966 года, вышла большая специальная статья А. Студитского «Рибосомный аппарат и его возможная роль в приспособительной активности клетки»[1], в котором также излагаются факты и соображения, относящиеся к н а у ч н о й сюжетной основе романа. Я не говорю уже о выступлениях с докладами на те же темы на различных конференциях и конгрессах, где защищалась развиваемая мной научная концепция. Тем не менее автору рецензии угодно было, заявив, что А. Студитский «не выступает с этими идеями в научной печати», подвергнуть критике не развиваемые мной научные идеи, а их отражение в научно-художественном произведении, не потрудившись даже разобраться, в чем эти идеи заключаются.

Каково бы ни было мое отношение к корпускулярной генетике в середине пятидесятых годов, когда я выступал с критикой ее теоретических положений, рождение и развитие молекулярной биологии и других новых биологических дисциплин не могло, естественно, не повлиять на мое отношение к этой науке, которая за десять — пятнадцать лет сама претерпела столько изменений. Любая из биологических дисциплин, в том числе и экспериментальная гистология, составляющая мою специальность (не знаю, известно ли это М. В. Волькенштейну). не могут развиваться дальше без учета данных молекулярной биологии и современной генетики. В каждом моем научном выступлении, будь то книга, статья или научный доклад, достаточно отражены как огромный интерес к этим биологическим дисциплинам, так и профессиональное (как морфолога-экспериментатора) отношение к их достижениям.

Рецензенту, кинувшему критикуемому автору обвинение в том, что автор. «не выступая с этими идеями в научной печати, проповедует их теперь в романе», следовало бы заглянуть в каталог любой научной библиотеки. Но, может быть, дело и не в этом.

Беда молекулярной биологии и современной генетики заключается в том, что эти научные дисциплины развиваются, как тепличные растения, огражденные от критики в любой форме, будь то научная статья или научно-фантастический роман. Магическая формула о насильственном торможении развития советской биологии (имеется в виду корпускулярная генетика) внедрением идей Т. Д. Лысенко отбивает охоту у любого ученого высказывать какие-либо критические замечания в адрес этих привилегированных дисциплин. Теоретики и пропагандисты достижений молекулярной биологии и современной генетики волей или неволей за последние десять лет (считая со дня организации первого специализированного учреждения этого профиля в Новосибирске) постепенно становятся замкнутой, аристократической кастой, охраняющей чистоту развиваемых ими теорий путем пресечения любых попыток делового критического их рассмотрения. Однако сильная теория не боится критики. Мне и в голову не приходило, что моя попытка изобразить в моем научно-фантастическом романе здоровую атмосферу научного спора и борьбы научных мнений может вызвать такую негативную реакцию у рецензента только потому, что в этом споре в какой-то мере подвергаются критике некоторые крайние взгляды и представления современной генетики. Такой же критике в моем романе подвергается со стороны теоретиков молекулярной генетики и герой романа профессор Панфилов. Взаимная критика рождает планы новых экспериментальных исследований. А как же иначе?

Какие поразительные успехи ни знаменовали бы собой в наше время развитие той или иной биологической дисциплины, самой гибельной ошибкой представителей этой дисциплины было бы игнорирование достижений других, в особенности смежных дисциплин.

«Громадная совокупность фактов», на которую, как справедливо говорит М. В. Волькенштейн, опираются молекулярная биология и современная генетика, не

[1] Журнал «Успехи современной биологии», т. 62. 1966, стр. 345—382.

должна заслонять ученым не менее громадную совокупность фактов, стремительно добываемых в наше время представителями других отраслей биологической науки.

М. В. Волькенштейну должны быть хорошо известны слабые места и трудности, испытываемые и молекулярной биологией, и современной генетикой при переходе от тех предельно простых объектов (вирусы, бактерии, плесени), на которых достигнуты ошеломляющие успехи этих наук, к высшим организмам, развитие которых составляет сферу исследований экспериментальной морфологии, функциональной морфологии и биохимии, эмбриофизиологии и других дисциплин, владеющих специальными методами для анализа явлений развития. Не надо бояться, если от этих дисциплин будут исходить требования о пересмотре некоторых представлений и даже основных теоретических положений молекулярной биологии и современной генетики. Повторяю: а как же иначе?

Я не думаю, что М. В. Волькенштейн будет всерьез настаивать на своем заключении о том, что «мирное сосуществование различных теорий в науке возможно лишь до тех пор, пока не хватает экспериментальных фактов для решения вопроса». Такое заключение, в сущности, закрывает дорогу для всяких дискуссий в науке. Стоит только объявить одно решение достаточно экспериментально обоснованным, как любое другое неизбежно переходит в разряд лженаук, о которых говорит М. В. Волькенштейн. Но разве можно говорить, что экспериментальных фактов достаточно для утверждения предлагаемых молекулярной биологией и современной генетикой решений таких проблем, как лучевое поражение и противораковая защита, дифференцировка тканей, регенерация органов, защитные реакции организмов и многие другие проблемы, в разработке которых наряду с молекулярной биологией и генетикой или и без их участия заинтересованы многие другие биологические дисциплины, а также, в частности в первую очередь, практика здравоохранения.

Нет, мирное сосуществование наук и творческие научные дискуссии нам необходимы, как воздух, иначе мы с места не сдвинемся, упиваясь успехами молекулярной биологии и современной генетики, составляющих сейчас наиболее влиятельный фронт биологической науки. Не нужно забывать, что все эти ошеломляющие успехи, которыми я восторгаюсь так же, как любой объективно мыслящий ученый, пока еще весьма далеки от решения актуальных практических задач, выдвигаемых современной жизнью перед биологической наукой. Даже зарубежная биология, не испытывавшая никакого «насильственного внедрения идей», которые могли бы задержать ее развитие, и опирающаяся на достижения современной генетики и молекулярной биологии, вот уже на протяжении пятнадцати—двадцати лет не имеет никаких существенных успехов в приближении к решению таких проблем, как лучевая травма и противолучевая защита или рак и противораковая защита, о которых говорится в моем романе. А такое важное достижение зарубежной биологической науки, как лечение лучевой болезни пересадкой костного мозга, было осуществлено не только не под влиянием идей молекулярной биологии, но скорее вопреки им, так как первоначальный замысел заключался в поиске терапевтического действия вещества наследственности — ДНК. Задача была решена только потому, что в ее решении участвовали специалисты, представляющие почти весь спектр направлений в биологической науке. Как же можно в наши дни с таким высокомерием отказываться от мирного сосуществования наук и клеймить как лженауку любую научную дисциплину, позволяющую себе опираться не на «громадную совокупность фактов» современной генетики, а прежде всего на собственный запас фактов и выдвигаемых на их основе гипотез?

Нет, тов. Волькенштейн, мирное сосуществование наук в форме творческих, товарищеских научных дискуссий не только возможно, но и необходимо, иначе науки неизбежно придут к застою и вырождению. Ограждение от критики самых влиятельных биологических дисциплин нашего времени — молекулярной биологии и современной корпускулярной генетики — с каждым годом все заметнее будет задерживать их развитие, пока не завершится глубоким разочарованием в их положительном влиянии на прогресс биологической науки. И чем скорее эти влиятельные науки отрешатся от иллюзии неуязвимости для критики, чем активнее они будут идти на сближение с другими

биологическими науками, критически используя добываемые ими факты и выдвигаемые гипотезы и не пугаясь критического рассмотрения собственных фактов и гипотез, тем быстрее будут расти их авторитет и влияние на развитие биологической науки.

Так будем же спорить!

А. Студитский,
профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией эволюционной гистологии ИЭМЭЖ Академии наук СССР.

О ЧЕМ СПОРИТЬ?

Пространное письмо профессора А. Н. Студитского полностью подтверждает то, что сказано в моей краткой рецензии на его роман. Профессор А. Н. Студитский действительно солидаризуется со своими положительными героями. Он не отрицает того, что не был в прошлые времена миротворцем, не отрицает и своей принадлежности к направлению, противостоящему идеям молекулярной биологии. Громкие похвалы ей в начале письма противоречат дальнейшему его содержанию.

Профессору А. Н. Студитскому не нравится, что я называю утверждения Панфилова и Чернова лженаучными. Придавая большое значение возрасту, профессор А. Н. Студитский находит мне извинение в моей молодости. Тут он, к сожалению, ошибается. То, что писали и говорили двадцать лет назад А. Н. Студитский и его соратники, мне очень памятно. И напрасно А. Н. Студитский сейчас ссылается на свою молодость в те времена. В ту пору ему было лет сорок. Тогда А. Н. Студитский опубликовал в журнале «Огонек» статью под названием «Мухолюбы — человеконенавистники». Профессор А. Н. Студитский сейчас сожалеет о ее резком тоне. Но, видимо, не о содержании. А содержание сводилось к тому, что в этой статье генетика отождествляется с фашизмом и расизмом, а ее творцы — с куклускласновцами. Слова эти звучали над еще не истлевшим прахом великого советского ученого-генетика Н. И. Вавилова. И, вопреки сказанному в письме, никто на эту статью не отвечал — ни в мягком, ни в резком тоне. И не стоило бы ссылаться на то, что «уважительная форма взаимной критики» тогда «была не в почете». Как у кого.

Я считаю недопустимым забывать прошлое, но не стал бы ворошить его, если бы профессор А. Н. Студитский сам этим не занялся.

Сейчас профессор А. Н. Студитский уже не говорит, что генетика — это расизм. Нет, сделав реверансы молекулярной биологии, профессор А. Н. Студитский пишет о ее практической бесплодности, кастовой замкнутости, нетерпимости к критике.

Что же, значит, вся современная микробиологическая промышленность, основанная на молекулярной генетике, практически бесплодна? Излечение некоторых видов лейкемии у животных аспарагиназой ничего не обещает человечеству? Или же вирусная теория рака? А какие реальные достижения науки и практики противоречат современной биологии?

И не заключается ли «кастовая замкнутость» молекулярной биологии в ее тесном союзе с физикой, химией, кибернетикой, в том сотрудничестве, которое и привело к «гигантскому скачку» науки? Кстати, пользу такого союза всегда отрицали представители направления, к которому принадлежит профессор А. Н. Студитский. Он и сегодня призывает к борьбе с «теорией информации в науке о наследственности» («Разум Вселенной», стр. 275; дальнейшие ссылки на ту же книгу).

Профессор А. Н. Студитский хочет вести научный спор. О чем?

Письмо А. Н. Студитского не содержит каких-либо положений, дающих материал для спора. Обратимся к «Разуму Вселенной». Это правомерно, так как и в послесловии к роману, и в письме профессор А. Н. Студитский утверждает, что роман имеет научную основу — ту основу, на которой строятся научные труды автора.

Нельзя спорить с Панфиловым или Черновым, утверждающими, что любые молекулы (стр. 107) или кристаллы (стр. 266) парамагнитны. Это просто грубые ошибки. Нельзя спорить с тем, что хромосома состоит из рибосом (стр. 129). Это — нелепость уже потому, что хромосомы содержат ДНК, а рибосомы — РНК. Нельзя спорить с

тем, что клетка построена из рибосом, так же как организм из клеток (стр. 124). Не спор здесь нужен, а ликбез.

Допустим, что студент говорит на экзамене, что хроматин — красящее вещество клетки (стр. 91). Ему ставят двойку. (Поясню далеким от биологии читателям, что хроматин бесцветен. Он окрашивается определенными красителями, другие органоиды клетки окрашиваются другими красителями.) Обычный студент постарается выучить предмет. Но может найтись студент, который обвинит экзаменатора в нетерпимости и призовет к «научному спору». Есть ли здесь место для спора? Кстати, в романе нет никакой «атмосферы здорового научного спора». Противники Панфилова и Чернова дискредитируются всячески (см., например, стр. 312).

В одном автор прав. Он действительно выступает и в научной печати. Здесь, однако, он не позволяет себе утверждений вроде следующего: «Возня с этой ДНК, как средством регуляции жизненных процессов, лишена всяких перспектив» (стр. 237). И здесь профессор А. Н. Студитский не может пожаловаться на отсутствие критики, спора. Упоминаемая им статья о «рибосомном аппарате» в «Успехах современной биологии» вскоре была подвергнута детальному анализу в том же журнале членом-корреспондентом АН СССР А. С. Спириным. А. С. Спирин убедительно показал полную научную несостоятельность этой статьи. Продолжения спора не последовало.

Сотрудники Института цитологии Академии наук СССР (цитологии, а не генетики или молекулярной биологии) не пожалели времени на обсуждение «Разума Вселенной». Обсуждение состоялось 18 декабря 1967 года. В нем приняли участие генетики и радиобиологи, цитологи и литературные критики. Было установлено абсолютное несоответствие этой книги науке. Профессор А. Н. Студитский был приглашен на обсуждение, но не смог или не захотел приехать. Спор не состоялся.

Не о «закрытии дороги» для всяких дискуссий в науке идет речь, а об устранении помех ее развитию. И ничего в науке нельзя «объявлять», а можно только доказывать. Доказывать экспериментальными фактами и логикой теоретических рассуждений. Таких доказательств своей концепции профессор А. Н. Студитский не выдвигает. Ни в научной печати, ни в романе, ни в своем письме. Вместо этого он вводит в заблуждение читателя, говоря о «громадной совокупности фактов», противоречащих «привилегированным» и «влиятельным» наукам — молекулярной биологии и генетике. Таких фактов нет, и эти области биологии пока не сталкивались с серьезными противоречиями.

«Любого научного противника можно и нужно уважать». Фраза совершенно правильная, но ударение в ней следует сделать на слове «научного». Панфилов и Чернов уважения не заслуживают.

М. Волькенштейн,
член-корреспондент Академии наук СССР.

О РАССКАЗЕ А. КУЗНЕЦОВА «АРТИСТ МИМАНСА»

В связи с появлением на страницах «Литературной газеты» (номер от 19 июня 1968 года) заметки И. Абрамова «Новоселье теней», посвященной, в частности, рассказу А. Кузнецова «Артист миманса» («Новый мир», № 4, 1968), а также публикацией сокращенной стенограммы обсуждения рассказа А. Кузнецова в коллективе артистов миманса ансамбля Большого театра СССР («Литературная газета» от 18 декабря 1968 года) редакция журнала получила ряд писем от читателей. Высказываемые в этих письмах суждения и мысли о рассказе А. Кузнецова и публикациях «Литературной газеты» могут быть полезны в завязавшейся дискуссии, так как дают представление об иной, чем уже известная, точке зрения читателей рассказа. Мы публикуем с сокращениями некоторые из откликов — в том числе и копии некоторых писем в «Литературную газету», не нашедших места на ее страницах и пересланных нам их авторами.

* * *

Дважды на протяжении полугода «Литературная газета» подвергла резкой критике рассказ Анатолия Кузнецова «Артист миманса», опубликованный в № 4 вашего журнала за 1968 год. Такая настойчивость вынуждает меня, как читателя, высказать некоторые мысли, как мне кажется, имеющие принципиальное значение в критике художественных произведений.

«На освещенном пятачке сцены,— пишет автор,— сходились, как в фокусе, все усилия, там происходило удивительное чудо искусства. А по ту сторону рампы пульсировал и вздыхал, как одно тысячеликое мохнатое существо (кстати, не унизил ли таким сравнением автор рассказа человеческое достоинство зрителей?! — *С. Щ.*), пятиярусный зрительный зал, который пришел смотреть именно на это чудо. Он волновался, переживая хорошо отрепетированные ситуации, взрывался восторгом при каскаде ослепительных фуэтэ прима-балерины, и ему совсем не нужно было видеть пот, который в это время веером слетал с нее».

В рассказе описывается как раз этот пот — в лице престарелого Ильи Ильича. Три десятилетия отдал он театру, но зритель его не знал, хотя встречался с ним на каждом спектакле. Когда-то он пришел в театр с гордыми надеждами, с мечтами о славе. И ему не на кого жаловаться. Талант — редкость. Не оказалось у него таланта.

И в личной жизни Илья Ильич неудачлив. Надежды на талант дочери так же не оправдались, как и на свой собственный. И замуж не вышла, растит ребенка без отца... Эта грустная судьба обрисована автором почти драматическими мазками. Столкновение Ильи Ильича с самоуверенным и черствым, удачливым человеком — премьером балета Валентином Борзых — воспринимается как прочный сюжетный стержень, на который ладно нанизываются все последующие события. С большой художественной силой изображена ночь Ильи Ильича после этого столкновения. Все неудачи и обиды, несправедливости судьбы и усталость, приближающаяся старость Ильи Ильича собираются к бессонной его постели.

Но без Ильи Ильича нет театра.

Содержание рассказа представляется гораздо более широким, чем видят его те, кто упрекает автора в злопыхательстве, очернительстве, искажении советской действительности и прочих смертных грехах. Художественная сила и ценность рассказа — в его общечеловеческом содержании. Увы! — неудачники, как и неразделенная любовь, как и землетрясения, возможны и при социализме.

Все счастливые люди похожи друг на друга. Каждый несчастливый человек несчастлив по-своему. Кузнецов мастерски описал одного несчастливого человека. При чем же тут советская власть? Хочется сказать людям, которые ссылаются на нее, чтобы надежнее опорочить рассказ: не употребляйте имя бога нашего всуе! (Может быть, они обвинят меня в том, что я сравниваю советскую власть с богом?!)

Я не считаю рассказ Кузнецова безукоризненным. В его художественной ткани есть прорехи. Но они не там, где их видят уважаемые мной артисты — критики рассказа. Кстати, я убежден, что среди артистов есть люди, воспринимающие этот рассказ иначе — примерно так, как воспринимаю его я и те читатели, мнение которых мне приходилось слышать. Допускаю, что «Литературная газета» опубликовала только

часть стенограммы обсуждения рассказа в Большом театре — критическую. А может быть, люди, имеющие другое мнение, промолчали? Может быть, многие просто не читали до этого рассказ?

В заключение позвольте привести небольшую выдержку из одной старой газеты.

«Не следовало, на наш взгляд, переиздавать сатирические романы И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок»... Романы Ильфа и Петрова дают искаженную картину жизни советского общества... Творческая, созидательная атмосфера страны совсем не отразилась в романе «Двенадцать стульев» и очень слабо показана лишь в последних главах «Золотого теленка». Авторы как бы смаковали пережитки старого, вместо того чтобы клеймить их грозным оружием сатиры».

Это писала «Литературная газета» 9 февраля 1949 года. Стоит ли нам два десятилетия спустя возвращаться к таким приемам критики?

С. Щеглов, *инженер.*

* * *

А вот «Артист миманса» А. Кузнецова раскритикован несправедливо вовсе. Тема «маленького человека», мима на сцене, мима в жизни, настолько вечная и волнующая, что, конечно, вспоминаешь и Гоголя и Чехова. Все хорошо в этом рассказе: и тонкий юмор, свойственный перу А. Кузнецова, и картинки закулисной жизни, и личная жизнь стареющего человека, его огорчения, привязанности, быт...

Конец рассказа, беседа с другом-музыкантом, их маленькая творческая гордость — это сама жизнь с ее оптимизмом и умудренностью возраста. Многим книголюбам, успевшим прочесть № 4 «Нового мира», этот рассказ доставил радость.

А стихи А. Жигулина как нельзя кстати в моем письме:

Кто додумался правду
На части делить
И от имени правды
Неправду творить?
Это тело живое —
Не сладкий пирог,
Чтобы резать и брать
Подходящий кусок.

(«Новый мир», № 4)

Мнение мое обобщенное, многих книголюбов. Одновременно пишем в «Литературную газету»...

И. Дмитриева.

г. Кировск,
Ленинградская область.

* * *

В редакцию «Литературной газеты».

Уважаемые товарищи!

Впервые в жизни мы решили написать вам. Это вызвано очень неприятным осадком, оставшимся после стенограммы «ЛГ» № 51—«Хозяева жизни или статисты?».

Мы читали рассказ Анатолия Кузнецова «Артист миманса» и долго находились под впечатлением этого правдивого и очень талантливого произведения.

Как и во всяком художественном произведении, в этом рассказе, конечно, есть гиперболизация. Ну и что же? Без этого нет искусства!.. Даже если в некоем Большом оперном театре и не случалось такого, этот рассказ предотвратит подобное... Рассказ заставит (мы надеемся) и директора, и выписанную так хорошо буфетчицу посмотреть на себя со стороны. Мы уже не говорим о балетмейстере, талантливом и распущенном, которому все дозволено.

Выступления работников Большого театра Союза ССР, приведенные в вашей стенограмме, нам показались очень натянутыми и неубедительными. И зачем понадобилось И. Туманову в качестве примера советского патриотизма (или героизма?) приво-

дить случай с танцовщиком Володей Васильевым, танцевавшим без кожи «на большом пространстве (!) спины»? Выпускать его на сцену в таком состоянии — это преступление и с человеческой и с медицинской точек зрения.

По примеру цитируемых в стенограмме нам хочется воскликнуть: «Куда смотрел местком Большого театра?!»

С глубоким уважением,

Н. Нечмирев, А. Близнюков.

Москва.

* * *

Редакции журнала «Новый мир».

Мне представляется, что писатели обязаны силой художественного слова бичевать отрицательные черты, присущие еще некоторым членам нашего общества. И вовсе не следует подвергать жестокому разносу такие произведения.

Что касается рассказа тов. Кузнецова «Артист миманса», то мне кажется, что тов. Абрамов в пылу критики прошел мимо основной идеи рассказа. Я не знаком с артистическим миром и не берусь судить о частностях, но основная мысль автора сводится к следующему: старого «маленького» человека обидел молодой и сильный — пусть даже случайно; но старики чувствительны, и эта незаслуженная обида не дает покоя старику. Однако для вышестоящих товарищей, на фоне их должностных интересов, этот случай кажется мелочью, не заслуживающей внимания, и пострадавший не встречает с их стороны душевного понимания. А ведь дружественная беседа могла бы все загладить...

Разве не встречаются подобные явления в некоторых коллективах? Правомерно ли желание писателя изобразить эти отрицательные явления или теневые стороны должны оставаться втуне?

С уважением.

Ваш читатель **П. Залесский,**
член КПСС с 1925 года, ведущий инженер.

Москва.

* * *

Главному редактору «Литературной газеты».

С большим интересом ознакомились с подборкой «Хозяева жизни или статисты?», помещенной на 6-й странице ЛГ № 51 от 18 декабря с. г.

Весь этот материал живо напомнил нам письмо ялтинских шоферов, которые обиделись на В. Аксенова за рассказ «Товарищ Красивый Фуражкин». Помните?..

Неужели работники Большого театра Союза ССР настолько одинаково мыслят?.. Особенно удручают теоретические экзерсисы главного режиссера театра И. Туманова, предложившего странные критерии оценки литературных произведений. Для него за кулисами нет пыльных декораций — это противоречит жизненной правде, но есть, оказывается, возможность ошпарить артиста крутым кипятком.

Мы просим Вас передать нашу большую благодарность писателю А. Кузнецову за умный и нужный рассказ.

Сотрудники Института кибернетики АН УССР

Е. Базилевский, Д. Галенко, А. Касаткин, Л. Касаткина, Э. Куссуль, А. Лук, И. Чепурнова.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

Д. Бахшиев. Марксистско-ленинские основы строительства и деятельности КПСС. 240 стр. Цена 93 к.

Ф. Бурлацкий. Маоизм — угроза социализму в Китае. 192 стр. Цена 29 к.

В. Гомулка. Избранные статьи и речи (1964—1967). Перевод с польского. 632 стр. Цена 1 р. 7 к.

Западная Европа и США. Очерк политических взаимоотношений. Коллектив авторов. 448 стр. Цена 1 р. 66 к.

Здесь жил и работал Ленин. Места жизни и деятельности В. И. Ленина в СССР и зарубежных странах (Альбом). Издание 3-е. 95 стр. Цена 86 к.

Э. Ильенков. Об идолах и идеалах. 320 стр. Цена 37 к.

М. Капустин. Заговор генералов (Из истории корниловщины и ее разгрома). 260 стр. Цена 94 к.

Е. Коновалов. Социально-экономические последствия «большого скачка» в КНР. 100 стр. Цена 14 к.

Н. Крупская. Воспоминания о Ленине. Издание 2-е. 504 стр. Цена 1 р. 43 к.

Математическое моделирование жизненных процессов. Сборник статей. 284 стр. Цена 1 р. 2 к.

В. Митрофанов. Соотношение в развитии промышленности и сельского хозяйства. 94 стр. Цена 14 к.

Преимущества и резервы социалистической системы хозяйства. Сборник статей. 254 стр. Цена 88 к.

С. Сдобнов. Собственность и коммунизм. 328 стр. Цена 1 р. 14 к.

Социальные проблемы медицины. Монография. Коллектив авторов. 128 стр. Цена 44 к.

Э. Тельман. Письма из тюрьмы родным и близким (1933—1937). Перевод с немецкого. 160 стр. Цена 25 к.

В. Шапко. Обоснование В. И. Лениным принципов государственного руководства. 344 стр. Цена 70 к.

«МЫСЛЬ»

А. Вахеметса, С. Плотников. Человек и искусство (Проблемы конкретно-социологических исследований искусства). 196 стр. Цена 57 к.

М. Волков. Политическая организация общества. 176 стр. Цена 27 к.

Деятели Октября о религии и церкви (Статьи. Речи. Беседы. Воспоминания). 240 стр. Цена 69 к.

Г. Егиазарян, А. Емельянов, М. Михайлов. Коллективные материальные интересы при социализме (Методологический очерк). 254 стр. Цена 93 к.

В. Ермаков. Исторический опыт культурной революции в СССР. 152 стр. Цена 17 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

И. Бражнин. Мое поколение.— Друзья встречаются. Романы. 656 стр. Цена 1 р. 7 к.

День поэзии — 68. Составители С. Ботвинник и П. Опара. 207 стр. Цена 1 р. 25 к.

День поэзии. 1968. Главный редактор А. Сурков. 239 стр. Цена 1 р. 86 к.

Р. Рыскулов. Поклон земле. Стихи. Перевод с киргизского И. Куклес. 128 стр. Цена 37 к.

М. Светлов. Беседует поэт. Статьи, воспоминания, заметки. 232 стр. Цена 62 к.

В. Файнберг. Зеленая стрела. Стихи. 75 стр. Цена 32 к.

С. Хохлов. Долгий день. Стихи. 95 стр. Цена 30 к.

К. Чуковский. Высокое искусство. 384 стр. Цена 92 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Абульгасан. Мир рушится. Роман. Перевод с азербайджанского. Послесловие Л. Антопольского. 348 стр. Цена 73 к.

Армянские сказки. Сказки Араратской долины. Перевод с армянского. 192 стр. Цена 66 к.

М. Астуриас. Сеньор Президент. Роман Часть 1 и 3. Перевод с испанского М. Былинкиной и Н. Трауберг. 272 стр. Цена 97 к.

С. Брахман. «Отверженные» Виктора Гюго. 104 стр. Цена 17 к.

Х. М. Варас. Бывалый. Повесть. Перевод с испанского Н. Бутыриной. 96 стр. Цена 23 к.

Гэсэр. Бурятский героический эпос. Перевод с бурятского С. Липкина. 280 стр. Цена 2 р. 64 к.

А. Еникеев. Марево. Повесть. Рассказы. Перевод с татарского. 287 стр. Цена 62 к.

В. Звягинцева. Избранные стихи. Вступительная статья Л. Озерова. 272 стр. Цена 68 к.

Вс. Иванов. Избранные произведения в двух томах. Том I. 488 стр. Цена 1 р. 3 к. Том II. 631 стр. Цена 1 р. 24 к.

В. Катаев. Собрание сочинений. В девяти томах. Том I. 607 стр. Цена 1 р. 10 к.

Б. Келлерман. Голубая лента. Роман. Перевод с немецкого. 312 стр. Цена 1 р. 6 к.

Р. Киплинг. Лиспет. Рассказы. Перевод с английского. 488 стр. Цена 88 к.

А. Кулешов. Избранные произведения. В двух томах. Перевод с белорусского. Том I. 352 стр. Цена 1 р. 30 к. Том II. 256 стр. Цена 1 р. 29 к.

Литература и современность. Сборник восьмой. Статьи о литературе 1967 года. 488 стр. Цена 1 р. 32 к.

А. Маленький. Покорители тундры. Роман. Книги 1 и 2. 656 стр. Цена 1 р. 22 к.

Т. Манн. Иосиф и его братья. Перевод с немецкого С. Апта. Вступительная статья Б. Сучкова. Том I. 760 стр. Цена 2 р. 19 к. Том II. 919 стр. Цена 2 р. 66 к.

Мариво. Жизнь Марианны, или Приключения графини де***. Роман. Перевод с французского. 552 стр. Цена 1 р. 12 к.

М. Марциал. Эпиграммы. Перевод с латинского, вступительная статья и комментарии Ф. Петровского. 488 стр. Цена 76 к.

С. Маршак. Собрание сочинений в восьми томах. Издание осуществляется под редакцией В. Жирмунского, И. Маршака, С. Михалкова, А. Пузикова, А. Твардовского. Том I. 544 стр. Цена 1 р. 50 к. Том II. 600 стр. Цена 1 р. 50 к.

Низами. Пять поэм. Перевод с фарси Редакция переводов А. Бертельса и С. Шервинского. Вступительная статья и примечания А. Бертельса. 864 стр. Цена 1 р. 77 к.

М. Никитин. Сибирские повести Предисловие Б. Брайниной. 472 стр. Цена 98 к.

В. Сафонов. Повести о морях и суше. 496 стр. Цена 1 р.

Я. Хелемский. Лирика. 272 стр Цена 70 к.

«ЭКОНОМИКА»

И. Бурштейн. Динамическое программирование в планировании. 128 стр. Цена 35 к.

Н. Иванов. Международные экономические отношения нового типа. 214 стр. Цена 68 к.

Ю. Кормнов. Международная специализация производства. 302 стр. Цена 1 р. 10 к.

Б. Плышевский. Экономический рост и эффективность. 104 стр. Цена 33 к.

Совершенствование структуры промышленного производства. Коллектив авторов, 224 стр. Цена 86 к.

Экономика стран социализма. 1967 год. Ежегодник. 272 стр. Цена 66 к.

«ПРОГРЕСС»

В. Гатри. Поезд мчится к славе. Роман. Перевод с английского. 342 стр. Цена 1 р. 15 к.

Итальянская лирика. XX век. Перевод с итальянского. 392 стр. Цена 92 к.

С. Лилова-Тихомирова. Первое небо. Стихи. Перевод с болгарского. 64 стр. Цена 21 к

Л. Лоренс. Утро, полдень и вечер. Роман. Перевод с английского. 328 стр. Цена 1 р. 6 к.

Р. Моралес. Кодексы. Стихи. Перевод с испанского. 104 стр. Цена 33 к.

К. Птачник. Город на границе. Роман. Перевод с чешского. 604 стр. Цена 1 р. 76 к.

Х. Траянов. Золотоискатели. Сборник очерков и рассказов. Перевод с болгарского. 112 стр. Цена 28 к.

С. Эндо. Женщина, которую я бросил. Повесть. Перевод с японского. 142 стр. Цена 37 к.

«МИР»

Г. Альвен. Миры и антимиры. Космология и антиматерия. Перевод с шведского. 120 стр. Цена 42 к.

Д. Грин, Р. Гольдбергер. Молекулярные аспекты жизни. Перевод с английского. 400 стр. Цена 1 р. 94 к.

Дж. Кендрью. Нить жизни. Перевод с английского. 128 стр. Цена 33 к.

Р. Линдон. Заметки по логике Перевод с английского. 128 стр. Цена 41 к.

Солнечный ветер. Сборник статей. Под редакцией Р. Дж. Маккина и М. Нейгебауэр. Перевод с английского. 440 стр Цена 2 р 5 к.

«ИСКУССТВО»

С. Алешин. Шесть пьес. 384 стр. Цена 1 р. 10 к.

Вопросы эстетики. Выпуск 8. Кризис западноевропейского искусства и современная зарубежная эстетика. 327 стр. Цена 1 р. 62 к.

М. Кваснецкая. Лев Кулиджанов. 118 стр. Цена 45 к.

Кино и зритель. Опыт социологического исследования. 237 стр. Цена 1 р. 14 к.

К. Корнилович. Окно в минувшее. 147 стр. Цена 1 р. 53 к.

В. Саппак и В. Шитова. Семь лет в театре. 279 стр. Цена 1 р. 40 к.

Это я? Шаржи — Кукрыниксы А. Раскин — Эпиграммы. Предисловие З. Паперного. 103 стр. Цена 2 р. 18 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

М. Агашина. Не просто женщине живется. Стихи. 136 стр. Цена 30 к.

Ф. Алиева. Маленькие огоньки Перевод с аварского. Стихи и поэма. 144 стр. Цена 47 к.

С. Алексеев. Исторические повести 272 стр. Цена 63 к.

Б. Житков. Рассказы. 128 стр. Цена 17 к.

О. Зверев. Сентябрьская теплынь. Стихи. 80 стр Цена 28 к.

М. Магамедов. Кипжал. Повести. Перевод с аварского. 176 стр. Цена 47 к.

Н. Равич. Война без фронта. Мемуары. 320 стр. Цена 71 к.

С. С. Смирнов. В самой далекой стране. Очерки. 128 стр. Цена 21 к.

Н. Якутский. Судьба. Роман. Перевод с якутского. 180 стр. Цена 90 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Л. Загайнов. Экономические функции Советского государства. 263 стр. Цена 1 р. 1 к.

Правовые вопросы семьи и воспитания детей. 184 стр Цена 57 к.

Справочник государственного нотариуса. Сборник официальных материалов. 488 стр. Цена 1 р. 26 к.

А. Шебанов. Форма советского права. 216 стр. Цена 94 к.

Юридический справочник для населения. 504 стр. Цена 1 р. 78 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Б. Заходер. Стихи и сказки. 303 стр. Цена 88 к.

Н. Лукин. Судьба открытия. Роман. 534 стр. Цена 1 р.

М. Меньшиков. Рассказы о Киргизии. 185 стр. Цена 44 к.

Г. Мухаметшин. Мы живем на Земле. Две повести. 159 стр. Цена 35 к.

Н. Носов. Собрание сочинений. В трех томах. Том I. Рассказы. Сказки. Повести. 663 стр. Цена 1 р. 29 к.

И. Папанин. На полюсе. 48 стр. Цена 18 к.

«НАУКА»

К. Дзевановский. Архангелы и шакалы. Репортаж накануне потопа. Перевод с польского. 231 стр. Цена 66 к.

Из истории стран Юго-Восточной Азии. Сборник статей. 208 стр. Цена 86 к.

История русской поэзии. В двух томах. Том I. 560 стр. Цена 3 р. 84 к.

О. Нейгебауэр. Точные науки в древности. Перевод с английского. 224 стр Цена 1 р. 39 к.

Очерки общей этнографии. Европейская часть СССР. 480 стр. Цена 2 р 20 к.

Проблемы истории докапиталистических обществ. Книга 1. 691 стр. Цена 3 р. 8 к.

В. Растянников. Развивающиеся страны: продовольствие и политика. 107 стр. Цена 36 к.

М. Топильский. Ранние зори Таджикистана (1924—1931). Воспоминания. 240 стр. Цена 82 к.

И. Фролов. Генетика и диалектика. 360 стр. Цена 1 р. 43 к.

Чего стоит хлеб. Рассказы африканских писателей. 120 стр. Цена 31 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В. Александров. Чужие — близкие. Роман. Ташкент. 296 стр. Цена 47 к.

Брюсовские чтения 1966 года. Ереван. «Айастан». 632 стр. Цена 2 р. 6 к.

Н. Лобко. Варенька.— Первый подарок. Повести. Ярославль. Верхне-Волжское книжное издательство. 436 стр. Цена 84 к.

С тобой мое сердце, товарищ. Очерки. Омск. Западно-Сибирское книжное издательство. 216 стр. Цена 55 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия

Ч. Айтматов, И. И. Виноградов, Р. Г. Гамзатов, Е. Я. Дорош, А. И. Кондратович (зам. главного редактора), **А. А. Кулешов, В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, И. А. Сац, К. А. Федин, М. Н. Хитров** (ответственный секретарь)

Редакция: Малый Путинковский пер., д.1/2. Тел. 299-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 29/XI 1968 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 26/II 1969 г.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 27,85 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.).
А 06016. Заказ 3820. Тираж 123.700.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп. 70636